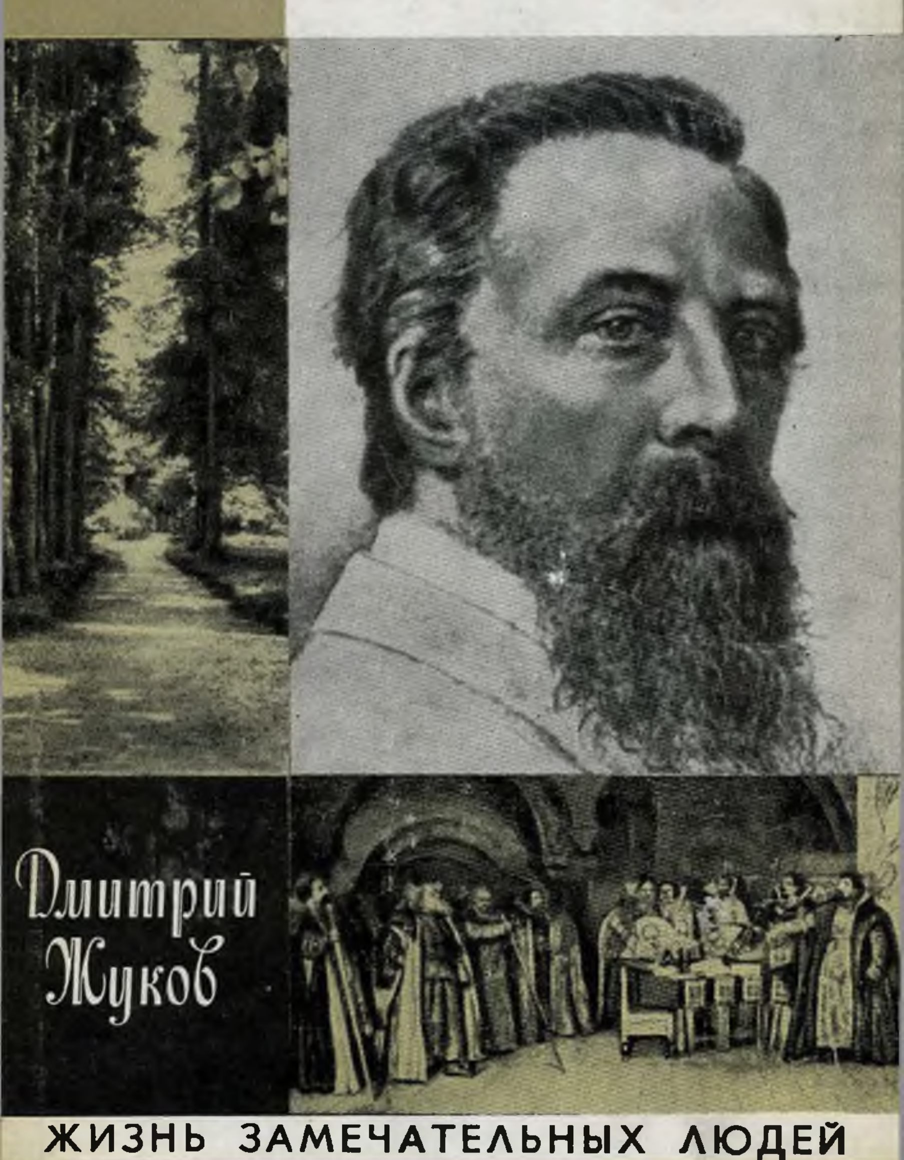
АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ



Дмитрий Жуков

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ


Гр. Алексей Толстой

Жизнь замечательных людей

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ



ВЫПУСК 14

(631)

Дмитрий Жуков

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1982

83.3Р1
Ж 86

Рецензенты: кандидат филологических наук, научный сотрудник Института мировой литературы имени А. М. Горького **В. И. Сахаров**; кандидат филологических наук **Н. П. Сухова**.

Ж $\frac{4702010200-308}{078(02)-82}$ Без объявл.



ВСТУПЛЕНИЕ

Всю неделю с петербургского неба падал мокрый снег, было слякотно и мрачно. А 13 ноября 1816 года ветер вдруг переменился, сквозь разорванные тучи брызнуло солнце, и золоченый шпиль колокольни Симеоновской церкви заблестел радостно и празднично.

В алтаре священник поправлял на себе облачение; причт суетился; дьякон рыкал, пробуя голос; на клиросе кашляли певчие, простудившиеся в непогоду... Венчание, конечно, дело привычное, но сегодня ожидались люди именитые, и управляющий самого графа Разумовского предупредил со значением, чтоб все было благолепно, чтоб не гнали как на перекладных.

Уже и на мосту через Фонтанку, и со стороны Литейного показались первые кареты, уже у паперти выстроились слуги в графских ливреях. Торопливо разостлав ковер на мокрых и грязных каменных плитах, они открывали дверцы экипажей, из которых вылезали господа и подавали руки дамам. Сверкали на солнце ордена и золотое шитье придворных и гвардейских мундиров. Гости быстро проходили низковатую трапезную и вступали в высокую церковь. Из ее восьми окон второго яруса бил

яркий свет, зажигая пилястры, писанные золотом по пурпурному фону. Иконостас давно не поновлялся и даже облупился кое-где до дерева, иконы закоптились от свечного и лампадного чада.

Как-то само собой получилось, что приглашенные Толстыми сбились в одну толпу, а Перовскими — в другую. Поручитель по женихе, его родной отец, генерал-майор и кавалер граф Петр Андреевич Толстой, и поручитель по невесте, действительный тайный советник и кавалер граф Алексей Кириллович Разумовский, тихо беседовали в стороне от прочих.

Разумовский был родным отцом невесты и почти десятка других красивых молодых людей и барышень, которые, однако, называли его «благодетелем», носили фамилию, производную от его подмосковного имения Перово, и дворянство их считалось сомнительным.

Граф Разумовский помнил еще своего деда, простого украинского казака Григория Розума, что жил на хуторе Лемёши, у самой дороги из Чернигова в Киев. Казак был буйным гулякой и под пьяную руку любил говаривать о себе: «Гей! Що то за голова, що то за розум!», отчего и получил свое прозвание. Его сыновья, Алексей и Кирила, пошли в мать, умную и рассудительную Наталию Розумиху.

Судьба им была уготована необыкновенная, и, может быть, началом их восхождения на вершину почестей следует считать тот день, когда Григорий Розум возвратился из шинка и застал сына Алексея с книгой в руках. Подростка определили в пастухи, но он тайком ходил учиться грамоте к дьячку соседнего села Чемер. Пьяного отца один вид книги привел в ярость, он схватил топор и бросился на Алексея, а тот, пометавшись по двору, едва успел выскочить за ворота... Брошенный вслед топор вонзился в столб.

Домой Алексей больше не возвращался. Он поселился у того самого дьячка, что обучал его грамоте, пел в церкви. Вырос Алексей в молодца, чернобрового, стройного, наделенного типичной украинской смуглой красотой.

Когда ему пошел двадцать второй год, как-то в морозный январский день 1731 года в местную церковь заглянул полковник Вишневский, возвращавшийся из Венгрии, где закупал токайское для петербургского двора. Полковнику так понравился голос Алексея да и сам молодец, что он забрал его с собой в Петербург.

Нового певчего придворного хора уже через несколько дней заметила в церкви цесаревна Елизавета Петровна и взяла к своему маленькому двору. А тут еще царица Анна Иоанновна велела схватить и отправить на Камчатку с урезанным языком возлюбленного царевны сержанта Шубина. Елизавета Петровна поплакала, поплакала и утешилась с Алексеем. Стал он гофинтендантом и дворянином Разумовским.

Через десять лет, когда немец Бирон и его советник, поглотитель государственных средств банкир Липман, изрядно надоели русской гвардии, она вознесла на престол дочь Петра, а вместе с нею «попал в случай» и Алексей Разумовский.

Елизавета Петровна души не чаяла в Алексее и вскоре после переворота тайно венчалась с ним, по слухам, в церкви подмосковного села Перова, которое и было подарено ему вместе с другими селами и землями. Германский император Карл VII пожаловал Разумовского в графы Римской империи. В грамоте говорилось, что род Разумовских очень древний, переселившийся на Украину из Польши, получивший свое прозвание за *разумные* советы неведомым государям. Так трансформировалась любимая поговорка казака Григория.

Разумовского любили при дворе за его добродушие. Впрочем, как и его отец, он «весьма неспокоен бывал пьяный», и всесильная графиня Шувалова заказывала молебны во здравие своего супруга, который, выезжая на охоту с фаворитом, частенько возвращался битый палкой.

Разумовский завел при дворе итальянскую оперу, украинский хор, бандуристов. Свою родню и вообще украинцев он не забывал... Много простых казаков произвел он в полковники, положив начало знатным фамилиям.

Младшего брата, пятнадцатилетнего Кирилу, который до тех пор ходил за отцовскими волами, Алексей Разумовский под чужим именем отправил учиться за границу, поручив надзор за ним ученому человеку и композитору Григорию Николаевичу Теплову. Кирила побывал во Франции, учился в Берлине. Возведенный тоже в графское достоинство, он по возвращении в Россию окунулся в тот вечный праздник, в котором жил «кочевой двор» Елизаветы, танцевавшей на балах и маскарадах и тешившей себя зрелищами едва ли не все дни недели.

Поэт Алексей Константинович Толстой, правнук Ки-

рилы Разумовского, скажет об этом времени предельно коротко и саркастично:

Веселая царица
Была Елисавет:
Поет и веселится,
Порядка только нет.

Через год восемнадцатилетнего юношу Кирилу Разумовского назначают президентом Императорской академии наук... «в рассуждении усмотренной в нем особливой способности и приобретенного в науках искусства».

Он был первым русским главой академии (прежде ее возглавляли немцы) и при церемонии вступления в должность произнес внушительную речь. Его приветствовали академики Шумахер, Миллер и профессор элоквенции, а попроще — красноречия, Тредиаковский. Кстати, у молодого президента были недурные советники, а поддержать Ломоносова он в конце концов догадался сам.

В двадцать два года Кирила Разумовский был избран «Малыя России обеих сторон Днепра и Войска запорожского гетманом» и получил в собственность город Батурин с уездом, город Почеп с уездом и другие «маетности», когда-то бывшие владениями петровского любимца Меншикова.

Ломоносов приветствовал его устами музы Каллиопы:

Между прохладными днепровскими струями,
Между зелеными и мягкими кустами,
Тебя я посетить пришла с Кастальских гор,
Чтоб радость мне свою соединить с твоею,
Едино щастие с тобою я имею,
Един у нас предстатель Полидор...

Смерть Елизаветы Петровны не поколебала положения Разумовских. Командир измайловцев Кирила Григорьевич под разными предлогами изгнал из своего гвардейского полка всех немцев — сторонников Петра III, а потом, назначенный главнокомандующим, в нужный момент перешел на сторону Екатерины.

Впрочем, это не помешало Екатерине упразднить гетманство, когда до нее донеслись слухи, что Кирила Разумовский хочет, по примеру Богдана Хмельницкого, сделать свою власть над Украиной наследственной.

Разумовские наряду с Шереметевыми были первыми богачами в России. Состояние генерал-фельдмаршала Кирилы Григорьевича Разумовского складывалось из гетманских земель, приданого его жены Екатерины, урожденной

Нарышкиной, и наследства, оставленного братом Алексеем.

Последние годы жизни Кирила Разумовский провел в городе Почепе. Здесь им был построен большой Воскресенский собор, сохранившийся до наших дней, и дворец, разрушенный во время Великой Отечественной войны. Возводил его архитектор Яновский по проекту де ла Мотта. Поскольку нам еще придется вернуться к этому дворцу, воспользуемся его описанием, сделанным лет сто семьдесят назад путешествовавшим немцем Оттоном фон Гуном («Поверхностные замечания по дороге от Москвы в Малороссию к осени 1805 года»):

«Он есть великолепное каменное здание, необъятного пространства. Главною фасадою стоит в саду. С другой стороны, то есть со стороны двора, флигели его составляют превеликий овал, за коими построены еще хозяйственные строения. Во всем вообще здании семеро ворот. Средняя часть дома, или главный корпус, который занимается самим графом, состоит из двух этажей, на погребах и имеет со стороны двора портику. Во всем фасаде двадцать пять окон, и я должен был пройти сто тридцать шагов, когда хотел смерить весь ряд комнат нижнего этажа главного корпуса. Особливо хорош там зал для балов и концертов. Также и библиотека, из пяти тысяч книг состоящая. Сад перед домом велик, расположен в голландском вкусе и отделяется от противоположного луга, который, нечувствительно возвышаясь, простирается до горизонта, рекой Судостью...»

В этом дворце у старого Разумовского было человек триста прислуги. Его уже водили под руки, а он все еще принимал гостей и играл по крупной в карты.

Первое поколение Разумовских отличалось отсутствием заносчивости, доступностью, хлебосольством. Своими десятками тысяч подданных оно управляло весьма снисходительно, без излишней жестокости. Может быть, сказывалось происхождение, память об убогом детстве... Во всяком случае, существует рассказ о Кириле Разумовском, которому англичанин-управляющий доложил о бегстве нескольких сотен крестьян в Новороссийский край.

— Можно ли быть до такой степени неблагодарными! — добавил англичанин. — Ваше сиятельство относится к своим подданным как истинный отец...

— Батько хорош, — ответил Кирила Григорьевич, — да матушка-свобода в тысячу раз лучше. Умные хлопцы: на их месте я бы тоже утек.

Свои огромные доходы Разумовские тратили в основном на возведение палат и церквей в Петербурге, Москве, Батурине, Почепе, Петровском-Разумовском и в других имениях. Они наполняли здания редчайшими коллекциями, библиотеками, произведениями искусства, скупая все подряд у обедневших западных аристократов. Они давали работу Растрелли и Казакову, отечественным художникам, скульпторам и ремесленникам. И в конечном счете все эти сокровища вернулись к народу...

Последующие поколения Разумовских предпочитали все больше жить за границей, обогащать вывозимыми из России доходами парижских и венских буржуа.

Уже в старшем наследнике Разумовских — Алексее Кирилловиче — очевидно это убывание личности, отчуждение от народа. Воспитывали его иностранцы, отрочество он провел за границей, числился на военной службе и в тринадцать лет, при Петре III, был произведен в ротмистры. В Россию он вернулся начиненный презрительным скептицизмом ко всему русскому, служил брезгливо и немного, но стал тайным советником и сенатором. После отставки жил в Москве, в окружении ботанических коллекций.

В свое время его женили на самой богатой невесте в России — Варваре Шереметевой, но Алексей Кириллович Разумовский не ужился с ней и расстался, хотя она родила ему четверых детей. При нем неотлучно жила мещанка Марья Соболевская, с которой у них было десятеро — пять мальчиков и пять девочек, числившихся в доме «воспитанниками».

Граф был нелюдим, вечно всем недоволен, редко виделся с «воспитанниками», а с гувернанткой их, жившей в нескольких комнатах от него, сносился не иначе, как письменно.

В эпоху «вольнолюбивых мечтаний, политических утопий и административного дилетантизма», когда Александр I вместе с Чарторижским, Строгановым и Кочубеем облекали свои мысли о России во французские фразы и отвергали даже намеки на освобождение крестьян, в столице началось увлечение католицизмом. Вместе с французскими эмигрантами в Россию нахлынули иезуиты. В гостиных шуршали сутаны. Голицыны, Куракины, Растопчины временно обратились в католичество, исповедовались по-латыни в многочисленных грехах. Явился на сце-

ну и «пророк прошедшего» Жозеф де Местр, опутывавший аристократов расчетливой иезуитской лестью.

Часами он беседует с Разумовским, который решил вернуться к государственной деятельности. Став попечителем Московского университета и управляя им через канцеляриста Михаила Качони, быстро превратившегося в профессора и литератора Каченовского, граф Разумовский оказался и на посту министра просвещения, который прежде предназначался Карамзину.

Славянофил Юрий Самарин в своей книге «Иезуиты и их отношение к России» писал о Разумовском и Жозефе де Мéстре:

«Поверенный иностранной державы, притом еще иноверец... подступает к русскому министру народного просвещения, уставив в него строгий начальнический взгляд, хватает его за ворот, трясет, поднимает с министерских кресел, садится на его место и, поставив перед собой как школьника, читает ему нотацию о том, что для России нужно и что не нужно, как управлять русскими и чему их учить, или, точнее, чему их не учить».

Граф передавал царю записки мракобеса де Местра, слово в слово повторял слова иезуита о вреде естественных наук, истории, археологии для будущих государственных служащих, когда началась организация лицея. И все-таки слава основателя Царскосельского лицея выпала на долю Разумовского.

Он присутствовал на экзамене, где Пушкин декламировал свои «Воспоминания в Царском Селе», растрогавшие Державина.

Разумовский тоже считал себя не чуждым литературе, поскольку посещал шишковские собрания. И потому на торжественном обеде он счел себя вправе сказать отцу юного поэта, Сергею Львовичу Пушкину:

— Я бы желал, однако, образовать вашего сына в прозе...

— Оставьте его поэтом! — возразил Державин.

Законные дети Разумовского не стали выдающимися личностями. Попадая под влияние проходимцев, они кутили, разорялись и кончили плохо.

Иначе было с «воспитанниками», присутствовавшими на венчании. Еще не родившийся Алексей Толстой взрастет среди них и долго-долго будет опекаем своими родственниками. Они станут могущественными сановниками, безуспешно пытающимися привить ему собственные взгляды.

Марья Михайловна Соболевская тоже была сейчас в церкви, стояла, окруженная детьми, очень красивая и статная. Кто-кто, а Марья Михайловна могла бы порассказать про норов неуживчивого и нелюдимого графа. Вот уже несколько месяцев Разумовский снова был не у дел, подав в отставку после того, как почувствовал неодобрительное отношение императора Александра I к увлечению своего министра масонством и его дружбе с иезуитами. Теперь он готовился к отъезду в город Почеп, где наводили лоск в громадном дворце, построенном еще отцом.

Марья Михайловна могла бы порассказать, как тревожно ей было все эти тридцать с лишним лет жизни с Алексеем Кирилловичем, как много думала она о судьбе своих детей. Образование «воспитанники» получали прекрасное, но кто они в глазах общества? Кто она сама? Марья Михайловна хлопотала о получении дворянского звания, не жалея денег на взятки крючкотворам, придумавшим ей покойного мужа из знатной польской фамилии, Алексея Перовского, бывшего на русской службе поручиком и погибшего под Варшавой в 1794 году. И даже нашли в городе Погаре его «закладную» на крестьян, нашли «свидетелей». Лет пять добивалась она внесения Перовских в дворянскую родословную книгу, получила выписку из нее и грамоту с приложением герба «рода Перовских». Однако ухищрения ее были напрасны, никто не верил ее грамоте. Любивший ее Разумовский просил за нее Александра I, жертвовал большие деньги в пользу училищ. Царь согласился дать дворянское звание его «воспитанникам», но не их матери. Еще три года, смиряя гордый нрав, Разумовский уговаривал членов Государственного совета, где рассматривалось это дело, но не преуспел. Дети стали дворянами, а Марья Михайловна Соболевская так и осталась мещанкой.

Старший ее сын Николай поссорился с «благодетелем» и рано ушел из семьи. Самый младший, Боренька, едва начал лепетать, он сегодня остался дома на попечении кормилицы и нянек. Марья Михайловна с гордостью поглядывала на еще троих своих сыновей, блестящих гвардейских офицеров, приехавших в церковь при всех регалиях. Все трое кончили Московский университет, были на виду и отличились во время войны с Бонапартом — казачьего полка штабс-ротмистр Алексей Перовский, штабс-капитан гвардейского штаба Лев Перовский, лейб-гвардии егерского полка подполковник Василий Перов-

ский. Двух дочек она уже пристроила за видных людей — слава богу, Алексей Кириллович давал за ними приданое, заставлявшее забывать об их сомнительном дворянстве. Да и красивы они все, особенно двадцатилетняя Анна *, что венчается сегодня с Государственного ассигнационного банка советником, отставным полковником графом Константином Петровичем Толстым. У нее ослепительно белая кожа, румянец во всю щеку, она умна, только гордячка не в меру, а граф Константин...

Вот они... уж подходят к аналою — невеста, очень стройная в белом платье, с фатой, падающей на покатые оголенные плечики, с белыми померанцевыми цветами в кудрях, и жених, большеголовый тридцатишестилетний плотный человек в полковничьем мундире, при наградах, среди которых выделяется орден св. Анны II степени.

Лицо невесты было безмятежным и несколько надменным, жених же заметно волновался, грубоватые черты его лица даже исказились от внутренней несвободы, страха сделать какую-нибудь неловкость, отчего оно казалось тупым, хотя именно ему, графу Константину Толстому, уже сочетавшемуся когда-то браком с девицей Хлюстиной и ныне вдовому, волноваться следовало бы куда меньше своей молодой неопытной невесты.

Уже все было готово к обряду, уже трижды священник перекрестил головы жениха и невесты и вложил им в руки зажженные свечи. От густого дьяконского баса пламя свечей трепетало...

— Миром господу помолимся-а-а... О мире всего мира-а-а... О рабе божии Константине и рабыне божией Анне-е... О еже спожити им добре в единомыслии... да господь бог дарует им брак честен и ложе нескверно-е-е-е...

Отец жениха граф Петр Андреевич Толстой крестился рассеянно. Он думал о судьбе сына, всех своих детей, которым не мог дать состояний, приличествовавших их титулу и положению, думал о роке, тяготевшем, по преданию, над родом Толстых...

Толстые вели начало своего рода от некоего Индроса, переселившегося из Литвы в Чернигов, а прозвище Толстой получено было потомком Индроса уже в Москве при Иване III. Род был не из видных — рядовые воеводы, стольники, окольничие. Быть запечатленным в русской

---

* Родилась 20 июня 1796 года.

истории он удостоился, очевидно, в тот день 1682 года, когда прадед генерала, тоже Петр Андреевич Толстой, проскакал вместе с племянником боярина Ивана Милославского по Стрелецкой слободе, крича, что Нарышкины задушили царевича Ивана Алексеевича. Вместе с другими он готовил бунт стрельцов, и, хотя через несколько лет Петр Андреевич Толстой перешел на сторону Петра I, долго не было ему веры. Современники о Петре Толстом и его брате Иване отзывались как о людях «в уме зело острых и великого пронырства и мрачного зла в тайне исполненных».

Петр I не любил Толстого за коварство, но ценил за ум. «Голова, голова, кабы ты не так умна была, давно бы я отрубить тебя велел», — говаривал царь.

Всякое говорили и писали о Петре Андреевиче. Было в нем такое, что невольно вызывает уважение и заставляет приглядеться к нему попристальнее. В 1697 году Петру Андреевичу было за пятьдесят, но он вызвался ехать за границу вместе с молодыми стольниками изучать морское дело. В Венеции он учился математике, для мореходной практики плавал на корабле по Адриатическому морю, объехал Италию, знакомясь с ее памятниками искусства. Вернулся он в Россию тогда же, когда Петр I вернулся из Голландии. Моряка из него не вышло, но зато получился превосходный дипломат.

Итальянским языком часто пользовались на Востоке в политических переговорах, и Петр I отправил Толстого послом в Турцию, собственноручно вписав в наказ, что там надо разведать.

После Полтавской победы послу не удалось удержать турок от объявления войны, да и самого его посадили в Семибашенный замок, «в глубокую земляную темницу, зело мрачную и смрадную», а освобожден он был лишь через полтора года, после неудачного Прутского похода Петра I. Не скоро еще кончились мытарства больного и разоренного Толстого, лишь на семидесятом году жизни он достиг Петербурга, где стал членом только что учрежденного «тайного чужестранных дел коллегиума».

С той поры и следует считать звезду Петра Андреевича взошедшей. Немало было на счету его удачных дипломатических и иных, тайных, дел, самым сложным из которых оказалось поручение Петра, данное Толстому 1 июля 1717 года в городе Спа. Поехал он в Вену, а потом в Неаполь уговаривать вернуться в Россию царевича Алексея Петровича. Толстому удалось получить согласие австрий-

ского императора на добровольный выезд царевича и сломить «замерзелое упрямство» наследника.

Петр Андреевич обещал Алексею, что у того с головы волос не упадет, а дело обернулось суровым розыском, откровенными показаниями фаворитки царевича Ефросиньи и гибелью царского сына. Оправдывая Петра I, историки сурово осудили коварство его слуги Петра Андреевича Толстого. Одни современники говорили, что Толстой осторожно заступался за царевича Алексея. Когда Петр, рассуждая об этом деле, сказал: «Всему виною бородачи, старцы и попы», то Толстой заметил: «Кающемуся и повинующемуся милосердие, а старцам пора обрезать перья и поубавить пуха». Другие прямо указывали, что Толстой выслуживался перед мачехой царевича Екатериной и намеренно вел розыск к гибельному исходу. Было даже подложное письмо, где говорилось, что Толстой задушил царевича подушками в каземате крепости. Во всяком случае, Петр I «за великую службу не токмо мне, но паче ко всему отечеству в привезении по рождению сына моего, а по делу злодея и погубителя отца и отечества» пожаловал Толстому чин действительного тайного советника, орден св. Андрея Первозванного и деревни в Переславском уезде.

Как бы то ни было, всякий потомок Петра Андреевича помнил предание, что царевич в муке пытки осевшим от страданий голосом проклял Толстого и весь род его до двадцать пятого колена. Еще при жизни действительного тайного советника Толстого писали, что кара падет на его род, что «смерть царевичева... отомстится». И именно это считали потом причиной того, что в каждом поколении Толстых наряду с людьми выдающимися рождались безумные и слабоумные...

Канцелярия тайных розыскных дел, учрежденная сперва в связи с делом царевича Алексея, не прекратила своего существования и оставалась в ведении коллегии, состоявшей из Толстого, Бутурлина и Ушакова. Наследники князя-кесаря Ромодановского, которого сам Петр I, бывало, останавливал словами: «Зверь, долго ли тебе кровь пить», не изменяли заведенному обычаю, лили кровь в застенках, давали встряску на дыбе, жгли огнем и раскаленными клещами... Тогда это было в порядке вещей.

Одновременно Толстой заведовал коммерц-коллегией, основывал мануфактурные компании, вел дипломатические переговоры в европейских столицах, и во время ко-

ронации Екатерины Петр I в собственноручной записке велел «объявить тайному действительному советнику Толстому надание графства и наследникам его». С тех пор и пошли графы Толстые, и без иных из них невозможно представить себе отечественную литературу. И без поэта и драматурга Алексея Константиновича Толстого в том числе.

Впрочем, и сам их предок граф Петр Андреевич не чужд был литературного труда и, кроме дневников и описаний стран, в которых пребывал, корпел над переводом с итальянского «Метаморфоз» Овидия. Слог у него был тяжелый, но некоторые строки впечатляют и по сей день:

«Тамо живяще лютый змий марсов, никому не знаем; упещрен был весь златыми пестринами, и очи горели огнем великим, а тело наполнено ядом вредительным, и из челюстей показывались три языка, а в челюстях тремя рядами стояли смрадные зубы...»

Кончил Петр Андреевич Толстой плохо. После смерти Петра I он смелой речью повлиял на вельмож, решивших возвести на престол Екатерину I. Он был ее правой рукой и одним из шести членов верховного тайного совета. Светлейший князь Меншиков и другие верховники ввиду крайнего расстройства управления и народного неудовольствия торопились с отменой некоторых преобразований Петра I, в новых губернских учреждениях они видели излишнее «умножение правителей и канцелярий», служащих «к великому отягощению штата и к великой тягости народной». Толстой тормозил ломку петровской реформы и стал врагом Меншикова. Но в общем это была борьба за власть, и Меншиков одолел в ней всех. Императрица уже не считалась с Толстым, а когда решался вопрос о браке великого князя Петра Алексеевича с дочерью Меншикова, Петр Андреевич решительно воспротивился этому и заговорил о «страшных последствиях».

Он боялся, что Петр Алексеевич, став царем после Екатерины, будет мстить ему за отца, за царевича Алексея. Ему хотелось, чтобы на престол взошла цесаревна Елизавета Петровна. Но не успел он составить заговор, как Меншиков велел арестовать его, судил в считанные дни, лишил чести, чина и деревень и отправил с сыном Иваном в Соловецкий монастырь. Там, в гранитной твердыне, вскоре он и скончался в возрасте 84 лет, лишь на несколько месяцев пережив своего сына.

Графское достоинство его внукам вернули только че-

рез тридцать лет. И среди них был прадед Льва Николаевича и Алексея Константиновича Толстых, двадцатого поколения потомков полулегендарного Индроса.

Но это поколение еще не народилось на свет. Еще лишь обручается один из девятнадцатых Толстых с одной из первых Перовских... Невнятно звучит скороговорка священника:

— ...прощение беззаконий вольных же и невольных, ведый немощное человеческого естества... не помяни грехов наших неведения о юности... рабы твоя Константина и Анну соедини к друг другу любовию...

Сладкий дым из кадила повисал облачками, все подпевали хору. Батюшка, приступая к венчанию, произнес поучительное слово о том, что есть тайна супружества, как жить в супружестве — богоугодно и честно.

— Имаши ли, Константин, произволение благое и непринужденное и крепкую мысль пояти себе в жену сию Анну, ю же здесь пред собою видиши?

— Имам, честный отче.

— Не обещался ли иной невесте?

— Не обещался.

— Имаши ли, Анна, произволение...

И рокотал дьякон:

— ...о рабех божиих Константине и Анне, ныне сочетающихся друг другу в брака общение... о еже возвеселитися им видением сынов и дщерей...

Генерал Петр Андреевич Толстой вслушивался в слова, навевавшие воспоминания и мысли, радостные и тревожные.

Отец жениха был человеком очень добрым и непоколебимо честным. Толстым вернули графское достоинство, но большая часть имущества их богатого предка перешла в чужие руки. Жили тем, что давала служба. К тому же Петр Андреевич женился рано, влюбившись, когда служил в Казани, в четырнадцатилетнюю Елизавету Барбот-де-Марни-де-Женевьев, племянницу адмирала Крузе. Жили они славно, дружно. Тринадцать детей родила ему покойная Елизавета Егоровна, и каждого она учила русской и французской грамоте, рисованию и вышиванию... Когда приходила пора отправляться в казенные учебные заведения, все мальчики Толстые с грустью расставались с отцом, матерью и добрейшей няней Ефремовной, с домом кригскомиссариата у Поцелуева моста...

Петр Андреевич был при деле очень хлебном, управлял кригскомиссариатом, ведал снабжением армии, выдачей жалованья офицерам и солдатам, но ни одной казенной копейки ни разу не прилипло к его рукам.

Был с ним случай во время шведской кампании, когда бригадиру Толстому поручили еще и начальство над всеми военными госпиталями и надзор над постройкой военных крепостей. Однажды загорелся Выборгский замок, в котором помещалась казна комиссариата. Петр Андреевич прискакал на пожар, бросился в пламя не задумываясь и спас все документы и громадные суммы денег. На другой день он доложил об этом главнокомандующему. Тот посмотрел на Толстого с удивлением.

— Дурак ты, граф Петр Андреевич, чистый дурак!..

— За что ты ругаешься? — спросил Толстой. — Ведь тут все цело...

— Знаю, знаю, батюшка, что у тебя все цело... Да ведь оттого-то, что все цело, ты и дурак! Огня-то, братец ты мой, мы считать бы не стали, что-нибудь, наконец, да могло бы сгореть. Ну что бы тебе стоило отложить миллиончик... Жаль мне тебя, братец, жаль! Будешь ты беден всю жизнь.

В первые же дни воцарения Павла I бессребреника отстранили от службы и даже посадили на гауптвахту. Будучи еще наследником, Павел нуждался в деньгах и както послал занять их в кассе комиссариата. Имея строгий запрет Екатерины II не давать наследнику денег, Петр Андреевич посланцу отказал. Павел тогда прислал нового нарочного с приказанием:

— Поезжай и скажи, чтоб он это помнил!

Вскоре его из-под караула выпустили, но уволили с половинным жалованием. Пришлось жить еще скромнее. Петр Андреевич с женой посвятил себя целиком воспитанию своих младших, читал им исторические рассказы, учил мастерить всякие мудреные вещички. Особенно отличался в поделках Федя Толстой, впоследствии знаменитый скульптор. «У меня было так много занятий, — вспоминал он, — что недоставало времени на исполнение того, что я затевал. Мы всегда были заняты полезным, любимым нами делом и были совершенно счастливы».

...Глухо доносился голос священника:

— Венчается раб божий Константин рабе божией Анне...

— Венчается раба божия Анна рабу божию Константину...

Федор Петрович Толстой наблюдал за обрядом венчания с живейшим интересом. Он уже познакомился с Анной Перовской. Она была умна, остра на язык, и его удивляло, как она могла остановить свое внимание на его брате Константине.

Федору Петровичу припомнился кадетский корпус, куда их с братом определили с малолетства, сад, где они гуляли вместе, каменная стена вокруг сада, расписанная фресками — изображениями исторических событий, географических карт, планет и прочего. Дети играли, запоминая наглядную премудрость.

Кроме Константина и Федора, в корпусе учились еще пять их двоюродных братьев, все они жили в дортуаре, который называли «комнатами графов Толстых». Верховодил у них Толстой, тоже Федор, но только Иванович, прозванный потом Американцем. Он и тогда уже слыл сорвиголовой, был жестоким драчуном и проявлял склонность к интригам.

Большеголовый Константин всегда был неуклюжим увальнем. Впрочем, лицо у него хоть и некрасивое, но очень доброе и в этой доброте даже привлекательное. Телом он всегда был крепок, широк в кости, а характером слаб, податлив, отзывался на любую ласку, доброе слово, чем часто пользовались другие, особенно будущий Американец, тороватый на злые проделки.

Федор Петрович оглянулся и нашел глазами Федора Ивановича — Американца. Среднего роста, плотный, смуглый, с черными вьющимися волосами, тот смотрел на венчающегося Константина откровенно насмешливо. Они были произведены в офицеры почти одновременно — Константин в семнадцать лет, Федор в шестнадцать. Константин служил счастливо во Фридрихсгамском полку, считался хорошим товарищем, не пропускал дружеских попоек... Привычка к вину осталась и сильно потом помешала ему в жизни. Он был неплохим танцором, и как-то на балу шведская королева даже избрала его своим кавалером. Константин Петрович участвовал в серьезных делах, получил золотую шпагу за храбрость и много других наград. Из-за серьезного ранения в левую ногу, отчего он стал прихрамывать, его в двадцать шесть лет уволили в отставку «с мундиром». Но и в свои тридцать шесть лет он по старой памяти был для Федора Ивановича

Толстого «растяпой»... Они с Константином Петровичем начали служить в одной бригаде, только Федор Иванович уже через полгода за какую-то дикую выходку был выслан из полка, потом возвращен, дрался на дуэли с полковником Дризеном, разжалован в солдаты, снова стал офицером...

Впоследствии Булгарин писал о нем: «Все, что делали другие, он делал вдесятеро сильнее. Тогда в моде было *молодечество,* а гр. Толстой довел его до отчаянности. Он поднимался на воздушном шаре вместе с Гарнером и волонтером пустился в путешествие вокруг света вместе с Крузенштерном».

Федор Петрович Толстой вспоминал, как сам был выпущен из Морского корпуса мичманом и должен был идти в плаванье с капитан-лейтенантом Иваном Крузенштерном на «Надежде», но не пошел, уступив место Федору Ивановичу Толстому. Тогда Федор Петрович как-то вдруг нашел себя в искусстве. Занимаясь математикой с профессором Фусом, однажды он в ожидании учителя взял лежавший на столе восковой огарок, подкрасил его, как сумел, в телесный цвет и при помощи перочинного ножа и иголки сделал такую великолепную копию с камеи Наполеона, что профессор посоветовал посещать ему классы Академии художеств. Там в считанные недели Федор Петрович сделал такие успехи, что за него хлопотали перед адмиралом Чичаговым, и тот взял его к себе адъютантом, чтобы дать возможность остаться в Петербурге и продолжить образование.

Два Федора Толстых встретились глазами. Федор Иванович озорно подмигнул и осклабился. Обряд уже подходил к концу...

Федор Петрович Толстой так и остался мичманом. Он и в тридцать три года был ясноглаз и строен. У него были красивые, даже классические лоб, глаза, нос, и только нижняя челюсть, как у всех Толстых, была несколько крупновата. Решив заняться искусством основательно, он в 1804 году вышел в отставку, чем вызвал всеобщее негодование. Знатная родня соблазняла его званием камер-юнкера, любой протекцией, и на это он тогда же ответил, что «ни по душе, ни по рассудку не рожден для этой должности», что «всякий честный человек должен добиваться чинов и наград своим собственным трудом, а не случайной протекцией...».

И все, все, кто восхищался его дилетантскими работами, все отвернулись от него.

«Аристократ, имеющий титул, блестящие связи, которому все само в руки дается, и вдруг все отвергает и идет в *маляры!..* Этим он бесчестит не только свою фамилию, но все дворянское сословие!» — таково было общее мнение. Перед ним закрывались двери знакомых домов, он прослыл опасным сумасбродом. Отец, Петр Андреевич, негодовал — кто-то написал ему, что его сын сошел с ума, ибо, «будучи взрослым, продолжает учиться как маленький».

В 1805 году, захваченный патриотическим порывом, Федор Петрович подал прошение о зачислении его в действующую армию, но его художественные работы попались на глаза императору Александру I, и тот сказал:

— Я обещал назначить вас в кавалергардский полк, но так как у меня много офицеров и я могу нажаловать их сколько хочу, а художников, таких, как вы, я не могу создать, то мне бы хотелось, чтобы вы, при вашем таланте к художествам, пошли по этой дороге.

Это звучало приказанием и соответствовало осознанному только потом желанию Федора Толстого, но нисколько не улучшило его положения. Его давила нужда, он расстался со всеми, нанял домик у Смоленского кладбища, где поселился со своими единственными дворовыми — мальчиком Иваном и девочкой Аксиньей, смотрел в окошко на похоронные процессии, у которых в ногах путались гуси и утки, и работал, работал... Учился, посещал классы Академии художеств, копировал античные статуи, изучал греческие вазы и барельефы, костюмы и утварь, а для заработка изготовлял модные гребешки и брошки. Отец, Петр Андреевич, совсем разорился, Федор взял к себе жить сестру Надежду Петровну и старую няню Матрену Ефремовну. Та все приговаривала:

— Ничего, батюшка, работай, учись, не заботься ни о чем: у старой няньки найдется из чего щей и кашки тебе сварить, недаром в барском доме жила. Работай себе с богом.

Она вытаскивала свои сбережения, а когда они кончились, вязала чулки и тайком продавала их.

Впрочем, уже через год Федора Петровича определили на службу в Эрмитаж с жалованьем полторы тысячи ассигнациями в год, потом подоспела работа на Монетном дворе, добавившая восемьсот рублей серебром. Он женился по любви на Анне Дудиной.

За восковой барельеф «Триумфальный въезд Ромула в Рим» на двадцать четвертом году жизни его избрали почетным академиком. Это была громадная победа, если припомнить, как ополчались сперва на «дворянчика» профессиональные художники и профессора академии.

«Его дело, — говорили они, — полы натирать на придворных балах, а не в художники лезть, у других хлеб отбивать!.. Хочет быть и графом, и офицером, да еще и художником! Никогда никакой дворянчик не может достигнуть того, чтобы стать настоящим художником».

Федор Петрович стал мастером на все руки, он делал сам все свои инструменты, изучил все ремесла, которые могли пригодиться ему для большой задуманной серии медалей на события Отечественной войны 1812 года. «Русским Леонардом» назовет его Буслаев. «Толстого кистью чудотворной» будет восхищаться Пушкин.

Федор Петрович начал работать над своими знаменитыми медалями едва ли не в год женитьбы брата Константина Петровича на Анне Алексеевне Перовской. Сочинять сюжеты, делать тысячи рисунков, лепить на грифельной доске из розового воска, вырубать медали из бронзы было и наслаждением и мукой. Над первой же медалью он работал год. И не дай бог сделать царапину, пропадут труды... Работал Федор всегда в изорванном халате и лишь к обеду являлся в черной бархатной блузе, красавчиком.

Брат Константин Петрович приходил к нему часто навеселе, лез обниматься и жаловался на молодую жену, с которой никак не находил общего языка. Приходила и Анна Алексеевна и слушала рассказы старой няньки Ефремовны о детских годах своего мужа и Федора Петровича.

— Костенька маленький чистая ступа был! — говорила нянька. — Головища у него была пребольшущая, все его перетягивала... А туда же, за Федичкой норовил разные штуки показывать. Тот, бывало, стройненький, легонький, как перышко, кувыркнется и станет на ножки, как струночка. А Костенька тоже за ним — кувырк! И головизной, как свайкой, об пол хлоп!..

Анна Алексеевна грустно кивала головой и шла смотреть, как работает Федор Петрович, красивый, веселый. Бывало, поговорит она о том, о сем, а потом вздохнет и спросит с французским прононсом, немного в нос:

— Отчего ты не женился на мне, Теодор? Я бы тебя очень любила...

— Да оттого, должно быть, что прежде тебя увидел другую Аннету, влюбился и женился на ней, — шутливо же отвечал ей Федор.

Обе Анны ждали детей. Анна Алексеевна Толстая на всякий случай приготовила два приданых — для мальчика и для девочки. Она говорила жене Федора:

— Вот, Аннет, если рожу мальчика, то девочкино приданое ты возьмешь, а если девочку, а ты мальчика, то наоборот...

У Федора с Анной родилась девочка, вспоминавшая потом, какими роскошными были кружева на подаренных богатой Анной Алексеевной пеленках и распашонках. Тетки Толстые даже отпороли их и пришили себе к парадным манишкам...

«Сим свидетельствую, что в Санктпетербургской Симеоновской церкви в метрических книгах за № 178 значится, что Его Сиятельства Графа Константина Петровича Толстого сын граф Алексей родился и молитвован тысяча восемьсот семнадцатого года августа двадцать четвертого числа; а крещен сентября пятнадцатого числа. При крещении восприемниками были: Действительный Тайный Советник Граф Алексей Кириллович Разумовский и супруга Генерал-Лейтенанта Графа Апраксина, Графиня Елизавета Кирилловна Апраксина...»

Так было засвидетельствовано рождение Алексея Константиновича Толстого, но никто не засвидетельствовал, что произошло вскоре между Анной Алексеевной и Константином Петровичем Толстым, отчего она взяла шестинедельного сына и уехала в одно из своих имений.

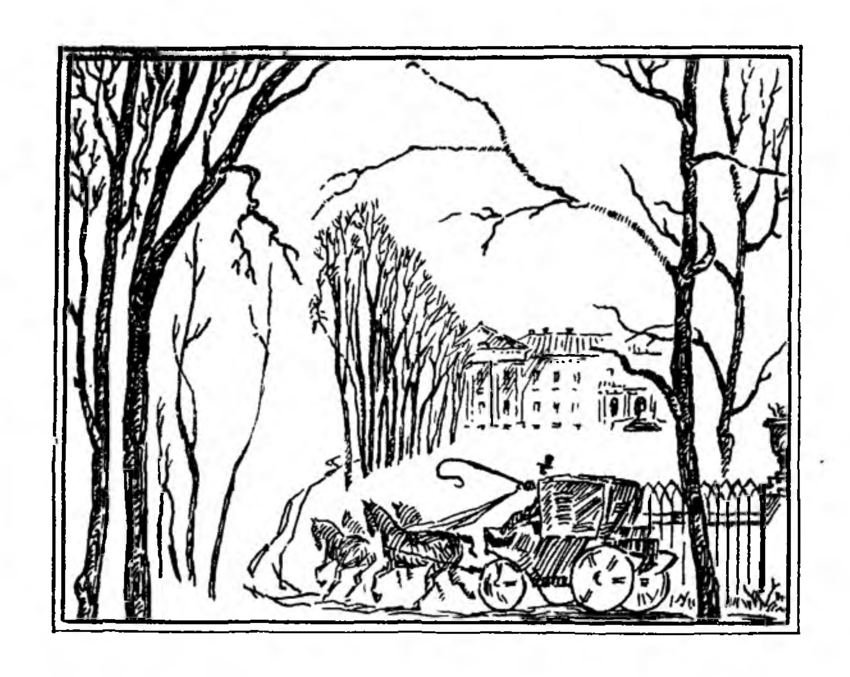
Княгиня Софья Алексеевна Львова, младшая сестра Анны Алексеевны, вспоминала:

— Не сошлись характерами! Толстой был, кажется, прекрасный человек, но попивал. Она его не любила, ее выдали за него. Надо сказать правду, что не всякий мог и ужиться с Аннет; у нее было столько причуд...

Толстые никогда не обвиняли ее в этом разрыве, а Федор Петрович даже говаривал:

— Брат Константин никогда не должен был жениться на Анне Алексеевне — она слишком была умна для него... Тут ладу и ожидать было трудно.

Анна Алексеевна после разрыва перестала видеться с Толстыми, но поздравления по торжественным дням посылала.



Глава первая

ВОСПИТАТЕЛЬ

Говорят, что больше всего знаний о мире человек получает в первые несколько лет своей жизни, что именно тогда складывается его характер и склонности. Если это так, то именно первым младенческим шагам и первому лепету и надо отводить львиную долю в биографиях замечательных людей. Но, к сожалению, отобразить процесс, совершающийся в душе маленького человечка, бессильна даже наука. Это скорее под силу писателю, обладающему громадным воображением и способностью к перевоплощению. Однако писатели предпочитают иметь дело с характерами уже сложившимися, боясь, очевидно, что перевоплощение может зайти слишком далеко...

Не изменяя общему правилу, сделаем лишь беглый очерк младенческих лет Алексея Толстого. В начале октября 1817 года Анна Алексеевна Толстая вместе с еще несколькими «воспитанниками» выехала из Петербурга в свите своего «благодетеля» Алексея Кирилловича Разумовского.

Граф Разумовский любил путешествовать с комфор-

том. Эта привычка осталась у него с екатерининских времен, когда вельможи высылали вперед, за день пути, сотни слуг, поваров и прочей челяди, которая превращала в чертоги простые обывательские дома, обивая их шелковой материей, расставляя приличную мебель.

Мягко покачивалась на рессорах вереница дорожных карет, в одной из которых граф Алексей Толстой посапывал, пищал и пачкал пеленки (их был большой запас, тех самых, роскошных, с кружевами). Стояли пасмурные октябрьские дни, ветер срывал с деревьев желтые листы и нес их над мокрыми полями. Розовая атласная обивка кареты изгоняла тусклость, бросая приятный отсвет на лица Анны Алексеевны Толстой и Марьи Михайловны Соболевской. Дорожную скуку разгоняли рассказы их брата и сына Алексея Алексеевича Перовского.

Он, любитель всего таинственного и мистического, впоследствии знакомый Гофмана, выискивавший свидетельства волшебства у всех древних и недревних авторов, начиная с Геродота, Диодора Сицилийского, Юлия Цезаря, Плиния, Плутарха, Цицерона, заводил знакомства с ворожеями, но в своих попытках отыскать это таинственное в жизни всякий раз наталкивался на шарлатанство. Теперь он рассказывал о своем знакомстве со знаменитой гадалкой Ленорман.

Похожий на сестру, кудрявый Алексей Алексеевич повертел пальцем перед носом бессмысленно таращившего глазенки графа Толстого, о судьбе которого женщины недавно справлялись у одной петербургской гадалки, оказавшейся женщиной весьма наслышанной о перипетиях жизни Толстых и Перовских.

— Поверьте, maman, и ты, Annette, она знала загодя о вашем приезде к ней... И потом, что мудреного, если, часто гадая, что-нибудь и отгадаешь? Я в бытность мою в Париже имел честь лично познакомиться с госпожою Le Normand. Вы знаете, она предсказала судьбу первой супруге Наполеона, императрице Иозефине... В одно утро на площади Лудовика XV я взял фиакр и приказал ему ехать к Le Normand. Ее знают все извозчики в Париже. Встречает меня горничная, провожает в гостиную, просит подождать. Подхожу к окну и вижу — горничная уж на улице, прилежно выспрашивает обо мне кучера. Наконец отворилась стеклянная дверь, и меня впустили в храм Пифии, которая присела передо мною новейшим манером. Я увидел женщину лет за сорок, дородную, с большими черными глазами. На столе у нее лежали

всякие математические инструменты, меж ними чучелы крокодила и змеи. В углу — скелет, завешенный черным флером... Прошу гадалку открыть мне будущую судьбу, а она отвечает вопросом: на каких картах хочу, чтоб она загадала, на больших или на маленьких. «Какая между ними разница?» — спросил я. Отвечает: «Гадание на маленьких картах стоит пять франков, а на больших десять». Я сказал, чтоб гадала на больших. Она помешала их, пошептала над ними, так же как и у нас в России это делается, и потом разложила их на столе... Многое она наговорила, да только ничего из сказанного со мной до сей поры не сбылось...

— Так что ж, она обманщица? — спросила Марья Михайловна.

— Обыкновенная шарлатанка, — подтвердил Алексей Алексеевич. — Но это еще ничего не доказывает. История знает примеры великих предсказаний. Дельфийский оракул, скажем... Но тогда не знали так называемых ésprits forts *. Тогда славнейшие мудрецы боялись отвергать то, чего не понимали, а теперь даже дети никому и ничему не верят, никого и ничего не боятся...

— Ну и дай бог, чтоб мой Алешенька ничего не боялся, — сказала Анна Алексеевна, всегда мыслившая приземленно и посмеивавшаяся над увлечениями брата.

— Бедные дети только принимают на себя вид крепких умов, между тем как у них совсем иное на душе.

— А ты почем знаешь?

— Сам был ребенком... Но виноваты не дети, а их родители и воспитатели, которые не умеют ни укрощать их самолюбия, ни давать правильное направление неопытному и пылкому их уму.

Алексей Алексеевич, повинуясь своей склонности к отвлеченным рассуждениям и раздвоению в мыслях, принялся говорить о свойствах человеческого ума, о родах его, как-то: здравом смысле, проницательности, понятливости, глубокомыслии, дальновидности, ясности, сметливости (le tacte), остроумии, остроте (der Scharfsinn), гостином уме (ésprі de societé). Разнородно ученый, он легко переходил с одного языка на другой, но вскоре наскучил женщинам, которые с преувеличенным вниманием наклонились к младенцу, морщившему лобик и готовому закатиться в крике.

* Крепкие умы *(франц.)*.

— Алешенька, Алеханчик, — прервав себя, растроганно забормотал Алексей Алексеевич. — Бедное дитя, я сам буду заниматься твоим воспитанием...

Поскольку Алексей Перовский не изменил данному им слову и занимался воспитанием нашего героя на протяжении последующих двадцати лет, познакомимся с ним поближе хотя бы ради того, чтобы предположить, в каком направлении могут развиваться задатки, заложенные в Алексее Толстом его природой.

Но сперва старшие «воспитанники» проводили своего «благодетеля» до Горенок, где он и остался, потому что дворец в Почепе все еще приводился в порядок. От Москвы до Горенок всего девятнадцать верст. Дорога шла через шереметевскую вотчину Кусково; чуть в стороне оставалось Перово, давшее фамилию «воспитанникам». Горенки было место, графом Разумовским обжитое, здесь он занимался селекцией, выводил новые виды растений, одна ботаническая коллекция в этом имении оценивалась в полмиллиона рублей. Заведовал тут всем знаменитый ботаник Фишер, позже директор Государственного Ботанического сада. Алексей Перовский прошелся еще раз по оранжереям и парку, припоминая о своих занятиях ботаникой в угоду «благодетелю».

Алексея Алексеевича влекла литература, но ему все было недосуг проявить себя в ней основательно. После ссоры с «благодетелем» и ухода Николая он оставался старшим среди «воспитанников» и был под не слишком ласковой, но бдительной опекой. Разумовский определил его к себе в Московский университет, а через два года. в девятнадцать лет, Перовский уже получил степень доктора философии и словесных наук и, по положению, прочел три пробные лекции на трех языках. На русском — «О растениях, которые бы полезно было размножить в России», на немецком — «Как различаются животные от растений и какое их отношение к минералам» и на французском — «О цели и пользе Линнеевой системы растений». Благодетель был доволен, и все три лекции вышли книжкой в следующем, 1808 году.

Меньше удовольствия доставляли графу меланхолическая мечтательность и попытки Алексея Перовского приобщиться к поэзии. Трагический надрыв в юношеских стихах, написанных в подражание Карамзину, вызывал у графа недоумение и подозрение, что воспитанник не со-

всем счастлив, несмотря на сыпавшиеся на него милости.

Впрочем, «благодетель» тоже не чурался словесности, а мрачное настроение воспитанника в стихах скорее объяснялось романтической модой. Граф поспешил пристроить Алексея Перовского на службу в Сенат, но жизнь в Петербурге была новоиспеченному коллежскому асессору не по душе; угнетала и опека благодетеля, ставшего вскоре министром просвещения.

Москва, студенческие годы вспоминались приятно, и Алексей Перовский обратился к московскому попечителю Голенищеву-Кутузову с просьбой устроить его экзекутором в одно из сенатских учреждений древней столицы.

Павел Иванович Голенищев-Кутузов был ставленником нового министра и тотчас доложил тому о своей услуге. Они с Разумовским были в одной масонской ложе. Искательный и ловкий, московский попечитель писал министру доносы на профессоров и на Карамзина, о чем остряк Воейков выразился так:

Вот Кутузов: он зубами
Бюст грызет Карамзина...
Пена с уст валит клубами,
Кровью грудь обагрена.
Но напрасно мрамор гложет,
Тратя время только в том:
Он вредить ему не может
Ни зубами, ни пером.

Граф Разумовский был недоволен решением сына, но снабдил его рекомендательным письмом к «великому мудрецу» московской масонской ложи Поздееву, который в романе «Война и мир» выведен под именем масона Баздеева, наставлявшего Пьера Безухова. Ни Голенищев-Кутузов, ни Поздеев (который в жизни был совсем не идеалистом, а грубоватым интриганом, обскурантом и жестоким крепостником) не понравились Алексею Перовскому. Но тот все же добивался вступления в масонскую ложу.

Дореволюционный историк А. И. Кирпичников писал, что «по оптимизму, свойственному молодости, он, очевидно, склонен был думать, что масонство скрывает в себе самую настоящую правду и что господа вроде Кутузова имеют свою идеальную сторону, только показывают ее не в обыденной жизни, а там, в тайных собраниях братской ложи».

Но, видно, Разумовский знал своего сына, его искренность и прямоту, и велел не принимать его в масоны. Поздеев же доносил Разумовскому как старшему в масон-

ской иерархии о времяпрепровождении «воспитанника», о его дружбе с графом Мамоновым...

Но более интересны дружеские узы, связывавшие Перовского с молодым поэтом князем Петром Вяземским, с Василием Жуковским, с Карамзиным.

Вместе с ними он подписал заявление об основании при Московском университете Общества любителей российской словесности, из которого выбыл лишь в 1819 году «за неявку и неизвещение о себе».

Он продолжал писать грустные стихи, но в жизни был весьма резв и остроумен, склонен к проказам.

Однако время забав и сентиментальных стихов кончилось в тот самый день, когда «благодетель» решил, что Алексею Перовскому должно все-таки послужить государю и не иначе как в Петербурге. Отъезд в Петербург ознаменовался шампанским, распитым с друзьями, и напутственным посланием князя Вяземского:

Прости, проказник милый!
Ты едешь, добрый путь!
Твой гений златокрылый
Тебе попутчик будь...

Не замышляй идиллий,
Мой нежный пастушок:
Ни Геснер, ни Виргилий
Теперь тебе не впрок.

Какие уж идиллии могли прийти в бедную кудрявую голову, забитую входящими и исходящими нумерами, которые надлежало читать секретарю министра финансов от департамента внешней торговли.

Он был не прочь служить, заниматься делом. Но служба службе рознь. Сверстники его, одетые в гвардейские мундиры, как казалось ему, вели жизнь более осмысленную и полезную. Военная гроза лишь поутихла, но снова тучи клубились над горизонтом России. Как славно было бы со шпагою в руке в пороховом дыму отстаивать честь родины!

Перовский явился к «благодетелю» испросить его благословения. Боже, что с тем сталось! Сухое лицо графа, прорезанное глубокими морщинами у рта, вдруг потемнело, длинные пальцы впились в ручки кресел.

— Так-то вы платите мне за мою заботу о вас! В угоду порыву слепого честолюбия вы хотите пуститься в глупую авантюру! Вы неблагодарны, бесчувственны! Все ваше прежнее послушание — сплошное лицемерие, под-

сказанное желанием получить от меня имение... Что ж, попробуйте, но в таком случае не попадайтесь мне на глаза и не рассчитывайте на вашу мать!

Все это было высказано на превосходном французском языке, но звучало не менее презрительно и оскорбительно, чем русская брань. Комок встал в горле Перовского, и он вышел потрясенный. Как несправедливы упреки отца! Его сыновняя почтительность, уважение и любовь были искренни, он всегда старался выполнять все, что предписывали ему долг и честь. Пойти снова объясняться к «благодетелю» он не решился, а написал ему длинное письмо.

«Неужели изъявлением желания переменить род службы заслужил я от вас столь несправедливую и для меня уничтожительную угрозу, что вы меня выкинете из дому и лишите навсегда помощи, которую я мог ожидать? Можете ли вы думать, граф, что сердце мое столь низко, чувства столь подлы, что я решусь оставить свое намерение не от опасения потерять вашу любовь, а от боязни лишиться имения? Никогда слова сии не изгладятся из моей мысли...

Я думаю, что, вступая в военную службу в то время, когда отечество может иметь во мне нужду, я исполняю долг верного сына оного, долг тем не менее священный, что он некоторым кажется смешным и презрительным...

Я не прошу у вас ни денег, ни какой-нибудь другой помощи; пускай нужда и нищета меня настигнут, я буду уметь их переносить; одно лишение вашего благословения может меня погубить безвозвратно».

В армию он все же попал, но только после братьев Василия и Льва, тоже кончивших университет и ставших колонновожатыми, а по-современному, войсковыми штабными работниками. Родители имели на него особые виды, что явствует хотя бы из письма Василия матери, просившего за Алексея: «Не сердитесь за это на него, теперь всякому не грех служить».

Еще бы! Надвигалось на Россию многоязычное наполеоновское войско, и дома не могли усидеть даже безусые юноши. Став штаб-ротмистром 3-го Украинского казачьего полка, Алексей побывал во многих «авангардных и арьергардных делах», ходил с полком в глубокий французский тыл, партизанил и присоединился к регулярной армии лишь после изгнания Наполеона из России.

Брату Василию Алексеевичу повезло меньше. Тот был ранен под Бородином, а при отступлении к Москве взят

в плен французами, беседовал в горящей Москве с Мюратом и Даву, шел в колонне пленных до Парижа, хороня павших товарищей...

Алексей Перовский в конце войны был при главном штабе, участвовал в сражениях при Кульме, под Дрезденом, состоял старшим адъютантом русского генерал-губернатора в Саксонии князя Репнина, зятя А. К. Разумовского, и вернулся на родину лишь в самый канун свадьбы своей сестры Анны Алексеевны.

В Петербурге «благодетель» определил его чиновником особых поручений департамента духовных дел иностранных вероисповеданий. При столь сложном названии должности обязанностей она требовала от него минимальных, а скорее всего никаких, потому что в Петербурге Перовский занимался продажей дворца графа Разумовского, строительством нового дома. Теперь же он и вовсе отлучился надолго, собираясь удалиться в свое имение Погорельцы и заняться писанием книг, для которых уже были заготовлены впрок названия и сюжеты. Он даже придумал себе псевдоним — Антоний Погорельский. А для будущего героя вполне подходила фамилия Блистовский. — Анна Алексеевна со своим Алешей поселилась поблизости, в своем имении Блистова.

А десять лет спустя в «Московских Ведомостях» № 93 за 1827 год можно было прочесть объявление:

«Императорского Воспитательного Дома от С.-Петербургского Опекунского совета сим объявляется, что в оном продается с аукционного публичного торга заложенное и просроченное недвижимое имение Коллежской Советницы, Графини Анны Алексеевны Толстой, состоящее Черниговской губернии, Кролевецкого повета в селе Блистове, 302 мужеска пола души...»

За этой обычной приметой дворянского быта чудится жизнь не по средствам, чрезмерные траты на туалеты, плут управляющий, который водит вокруг пальца молодую неопытную барыню...

У Толстого осталось смутное воспоминание о Блистове, о песчаном овраге, пруде и ручье Серебрянке, о кормилице, которую он обожал, о сказках, которые она рассказывала. Хотя не сохранилось даже имени ее, быть может, благодаря ей Алексей Толстой написал в шесть лет свои первые стихи не по-французски, а по-русски.

Но было это уже не в Блистове, откуда Анна Алек-

сеевна вскоре уехала. Она больше живала в Погорельцах, где трудился над своими первыми книгами Антоний Погорельский, лишь изредка наезжавший в Петербург для участия в заседаниях Вольного общества любителей российской словесности. В 1820 году он напечатал в столице перевод оды Горация в «Сыне отечества» и созвал на вечер знакомых, среди которых были Федор Глинка, Николай и Александр Бестужевы, Кюхельбекер.

«Двойник, или Мои вечера в Малороссии» — так называлось первое произведение, с которым Алексей Перовский связывал свои честолюбивые мечты. Оно начиналось так:

«В северной Малороссии — в той части, которую по произволу назвать можно и лесною, и песчаною, потому что названия эти ей равно приличны — находится село П***. Среди оного, на постепенно возвышающемся холме, расположен большой сад в английском вкусе, к которому с северной стороны примыкает пространный двор, обнесенный каменною оградою; на дворе помещичий дом с принадлежащими к нему строениями. Из одних окошек дома виден сад, из других видна улица, а по ту сторону улицы зеленеются коноплянники, составляющие главный доход жителей тамошнего края. Холм окружен крестьянскими избами, выстроенными в порядке и украшенными (на редкость в той стране) каменными трубами. На некотором расстоянии от села густой сосновый лес со всех сторон закрывает виды вдаль...»

Это село П*** и есть Погорельцы. Сюда же следовало бы добавить розы и великолепную библиотеку, насчитывавшую шесть тысяч томов, среди которых были даже старинные рукописные книги.

Окна библиотеки и кабинета, выходившие на северо-восток, открывали Алексею Перовскому вид на пруд и стену могучего леса, но на юге, до речки Лубны и дальше, взгляду было свободнее, и частые хутора казались зелеными островками в желтом море степи.

Тогда, тогда еще у Алексея Толстого начал складываться образ Украины с ее шумной и героической историей. Он будет чувствовать себя легко только там. И тосковать, уезжая...

Ты знаешь край, где все обильем дышит,
Где реки льются чище серебра,
Где ветерок степной ковыль колышет,
В вишневых рощах тонут хутора,
Среди садов деревья гнутся долу
И до земли висит их плод тяжелый?..

Туда, туда всем сердцем я стремлюся,
Туда, где сердцу было так легко,
Где из цветов венок плетет Маруся,
О старине поет слепой Грицко,
И парубки, кружась на пожне гладкой,
Взрывают пыль веселою присядкой!..

Там оставался мир курганов времен Батыя, чубов — «остатков славной Сечи», времен Палия и Сагайдачного...

Ты знаешь край, где с Русью бились ляхи,
Где столько тел лежало средь полей?
Ты знаешь край, где некогда у плахи
Мазепу клял упрямый Кочубей
И много где пролито крови славной
В честь древних прав и веры православной?

Ты знаешь край, где Сейм печально воды
Меж берегов осиротелых льет,
Над ним дворца разрушенные своды,
Густой травой давно заросший свод,
Над дверью щит с гетманской булавою?..
Туда, туда стремлюся я душою!

В 1822 году в Почепе умер сын последнего украинского гетмана. И дети, и «воспитанники» графа Разумовского унаследовали его бесчисленные имения. Алексею Перовскому, кроме всего прочего, достался Красный Рог. Трудно сказать, оговорена ли была доля Анны Алексеевны и Алеши Толстых, но они тотчас переехали в имение, а Алексей Алексеевич Перовский вышел в отставку, чтобы полностью посвятить себя литературным занятиям и воспитанию племянника.

Некогда тут проходила граница между Московским княжеством и Литвой. Местные жители издавна говаривали: «Красный Рог — Москвы порог». По преданию, речка Рожок в свое время была полноводной и называлась Рогом. Здесь в зимнюю пору произошла битва москвичей с воинами Витовта, и лед реки Рог стал алым от крови. Первыми поселились у реки беглые ратники. Сначала село называлось Алым Рогом, а с XVIII века Красным. Жители его долго были свободными, потом государственными крестьянами. При Елизавете они были подарены Нарышкину и пошли за его дочерью в приданое Кириле Григорьевичу Разумовскому.

Всякое можно услышать ныне в селе Красный Рог: и

были и небылицы. Если ехать из Брянска и, не доезжая километров двадцати до Почепа, остановиться на мосту через Рожок, то увидишь прямо перед собой колокольню Успенской церкви, у которой похоронен Алексей Константинович Толстой, крону пятисотлетнего дуба, а вокруг — крестьянские усадьбы. Вправо от дороги за речным лугом встает, четко вырисовываясь в небе, роща высоченных лип.

Была она и в ту пору, когда только что получивший гетманскую булаву Кирила Разумовский проезжал большаком от Брянска. Увидев рощу, он пришел в восторг и велел построить в ней себе дворец, и будто бы даже Красный Рог едва не стал столицей гетманства.

Но главное строительство началось в Почепе, где воздвигнут был громадный дворец и Воскресенский собор, колокольня которого в ясный день была видна из Красного Рога, где по проекту Растрелли встал среди липовой рощи деревянный охотничий замок. Местная легенда говорит, что через брянские леса была прорублена широкая просека, по которой строитель-немец должен был проложить совершенно прямую дорогу от ворот красногорского здания до главного входа в почепском дворце. И этот немец будто бы пожалел одного крестьянина, чей дом надо было снести, проводя дорогу, и чуть отклонил ее. В Почепе это отклонение уже составило сорок метров. Гордившийся своим искусством немец не в силах был вынести такого срама и повесился. А оказалось, что дорога в точности пришлась куда надо, когда дворец в Почепе достроили...

По этой-то дороге и привезли маленького Алешу Толстого в красногорский дом. Ныне дороги уж нет, да и дом сгорел во время Великой Отечественной войны. А дом был большой, на высоком каменном фундаменте, с высокими окнами, множеством покоев, с восьмигранным бельведером, сквозь полуциркулярные окна которого лился верхний свет в очень высокую залу. Бельведер венчался смотровой площадкой с перилами и башенкой посередине. Сверху был виден весь парк — разбегающиеся во все стороны липовые аллеи, куртины перед парадным подъездом и террасой, флигеля и службы, дубы, лиственницы, гигантские клены, серебристые тополя, туи, черемуха, белые акации, ели, множество обвитых хмелем уютных беседок, фруктовый сад за парком, река и мельница на ней, омут, березовая роща за рекой, сосновый лес на севере, луга, крестьянские поля...

Алексей Константинович Толстой вспоминал: «Мое детство было очень счастливо и оставило во мне одни только светлые воспоминания. Единственный сын, не имевший никаких товарищей для игр и наделенный весьма живым воображением, я очень рано привык к мечтательности, вскоре превратившейся в ярко выраженную склонность к поэзии. Много содействовала этому природа, среди которой я жил; воздух и вид наших больших лесов, страстно любимых мною, произвели на меня глубокое впечатление, наложившее отпечаток на мой характер и на всю мою жизнь и оставшееся во мне и поныне».

Ради сына Анна Алексеевна Толстая отказывалась от светских развлечений. Даже незначительное его недомогание было для нее трагедией, а любой его поступок или успех — целым событием. Она не мыслила себе и дня, который бы прожила без ненаглядного белокурого сыночка, изнеженного и вместе с тем рослого, сильного, подвижного, всегда одетого в нарядные костюмчики, на какие только была способна ее фантазия. Очень добрый от природы, Алеша платил ей такой же беззаветной любовью и почтительностью, которой, казалось бы, трудно было ожидать от избалованного ребенка. Хорошие задатки развивались продуманной системой воспитания, о чем неусыпно заботился дядя Алексей Перовский.

В архивах сохранились его письма к шестилетнему племяннику, подписанные: «Твой дядя Алексинька». Из них видно, что Алеша подробно рассказывал дяде о своих делах и огорчениях. В письмах Перовский передает поклоны домашнему доктору, няне, гувернерам Руберу и Пети, просит погладить собак Вичку и Скампера (эта собачья кличка через много лет вдруг всплывает в одном из творений Козьмы Пруткова). Племянника он называет Алеханчиком, Алехашечкой, Ханочкой... На конвертах пишет: «Милому Алешиньке в собственные ручки».

Перовский старается привить ему любовь к животным. Он посылает в Красный Рог живого лося, но предупреждает, что он опасен: «Помни же, мой милый Алехаша, и сам близко не подходи, и маму не пускай». 19 февраля 1824 года он пишет из Феодосии: «Я нашел здесь для тебя маленького верблюденка, осленка и также маленькую дикую козу, но жаль, что мне нельзя будет взять их с собою в бричку, а надобно будет после послать за ними. Маленького татарчика я еще не отыскал, который бы согласен был к тебе ехать».

Богатство давало возможность удовлетворять детское любопытство, опо же позволяло нанимать хороших педагогов, научивших Алексея Толстого уже в шесть лет говорить и писать на французском, немецком и английском языках. Поэзией же мальчик увлекся русской.

«С шестилетнего возраста, — вспоминал впоследствии Алексей Константинович, — я начал марать бумагу и писать стихи — настолько поразили мое воображение некоторые произведения наших лучших поэтов, найденные мною в каком-то толстом, плохо отпечатанном и плохо сброшюрованном сборнике в обложке грязновато-красного цвета. Внешний вид этой книги врезался мне в память, и мое сердце забилось бы сильнее, если бы я увидел ее вновь. Я таскал ее за собою повсюду, прятался в саду или в роще, лежа под деревьями и изучая ее часами. Вскоре я уже знал ее наизусть, я упивался музыкой разнообразных ритмов и старался усвоить их технику. Мои первые опыты были, без сомнения, нелепы, но в метрическом отношении они отличались безупречностью».

В январе 1825 года Перовский пишет из Петербурга, рассказывает о леопардах, белом медведе, слоне и даже удаве, которых видел в зверинце. «Они (удавы) очень злые, могут задавить быка и задавивши проглотить его совсем. А когда проглотят, так им после несколько месяцев не хочется есть и тогда они сделаются смирные...»

А в феврале он уже благодарит за присылку сочиненной племянником басни про льва и про мышку «и за две песни про султана да про мужика с козаком». К сожалению, ничего из написанного Толстым в детстве и юности не сохранилось.

В этот свой приезд в Петербург Перовский решился напечатать главу «Лафертовская Маковница» из своей книги «Двойник, или Мои вечера в Малороссии», что и было сделано им в мартовском номере «Новостей литературы». В книге, упреждавшей гоголевские «Вечера на хуторе близ Диканьки», но далеко не равной им, было много фантастики. Однако сквозь нее проглядывала русская жизнь, рассматриваемая Перовским-Погорельским с добродушным юмором.

«Лафертовская Маковница» была сразу замечена. Читатели прекрасно представляли себе и бывшего солдата, почтальона Онуфрича, и его милую дочь Машу, и колдунью-бабушку, пожелавшую выдать внучку за своего

кота, вдруг принявшего обличье титулярного советника Мурлыкина... Редакция напечатала главу с оговорками и в примечании, явно не приемля ни романтизма, ни фантастики и не понимая иронии Погорельского, серьезно объясняла, что Маша приняла кота за титулярного советника, потому что была одурманена. Заодно редакция выразила возмущение успехами ворожей среди светских дам. «Благонамеренный автор сей русской повести, вероятно, имел здесь целью показать, до какой степени разгоряченное и с детских лет сказками о ведьмах напуганное воображение представляет все предметы в превратном виде».

Но Пушкин, тот сразу же обратил внимание на мастерство Перовского, на живость его пера. Уже 27 марта он писал своему брату Льву Сергеевичу: «Душа моя, что за прелесть бабушкин кот! Я перечел два раза и одним духом всю повесть, теперь только и брежу Тр. Фал. Мурлыкиным. Выступаю плавно, зажмуря глаза, повертывая голову и выгибая спину. Погорельский ведь Перовский, не правда ли?»

Погорельский был потом настолько популярен, что Пушкин в своем насмешливом «Гробовщике» из «Повестей Белкина», рассказывая о будочнике Юрко, походя сравнит его с Онуфричем: «Лет двадцать пять служил он в сем звании верой и правдою, как почтальон Погорельского».

Алексей Перовский решил вернуться на службу, и новый министр народного просвещения Александр Семенович Шишков, знаменитый адмирал-литератор, еще бодрый в свои семьдесят пять лет, тотчас назначил его попечителем Харьковского учебного округа, в который входил не только университет, но и нежинская Гимназия высших наук, где в то время учился Гоголь. Перовский сразу заслужил признание студенческой вольницы. Незадолго до его назначения несколько студентов Харьковского университета как-то скупили все места в театре, собираясь изгнать неполюбившегося им актера Новицкого. На сцену полетели сотни гнилых яблок, дамы падали в обморок, началась схватка на площади с вызванными жандармами. Семерых студентов взяли. На другой день студенты явились в полицию и, заявив, что полиция не имеет права арестовывать членов студенческой корпорации, освободили их и препроводили к ректору. Тот и «депутатов», и освобожденных отправил в карцер. Началось следствие, студентов исключили из университета без пра-

ва поступления на службу. Перовский же исходатайствовал у царя прощение виновным и после переговоров с министром А. С. Шишковым о Харьковском университете, «столь бедном во всех отношениях», был назначен в начале 1826 года еще и членом комитета по устройству учебных заведений.

При Перовском было и громкое «дело о вольнодумстве» в нежинской гимназии, во время которого допрашивали и Николая Гоголя с Нестором Кукольником, старавшихся обелить своего профессора естественного права Белоусова, но этим занимался не попечитель, а III Отделение. Кстати, вскоре Гоголю придется служить под началом еще одного брата Перовского, Льва Алексеевича, который, будучи вице-президентом департамента уделов, начертает на его прошении:

«Означенного студента Гимназии высших наук князя Безбородко Гоголь-Яновского, определив на вакацию писца во 2 отделение с жалованием по шести сот рублей в год и приведя его на верность службы к присяге, обязать подпискою о непринадлежности его к масонским ложам... 10 апреля 1830 года за № 669».

Такова была формула. Гоголя она не касалась. Отношения с масонством у старшего поколения дворян были сложнее.

Завезенное в Россию издавна, масонство служило целям более чем сомнительным. Тайные организации, в которых рядовые «братья» ничего не знали о намерениях руководителей лож, уходили своими корнями за рубеж, а там, на самых высших «градусах», распоряжались люди, не имевшие ничего общего с просветительством, пышными ритуалами, христианством.

Русские понимали часто масонство на свой лад и, беря организационные основы его, создавали независимые общества, не признававшиеся международным масонством. Основателем одного из них был, например, скульптор Федор Петрович Толстой.

Был масоном граф Алексей Кириллович Разумовский. Его сыновья Василий и Лев Перовские входили в «Военное общество», членами которого были многие будущие декабристы. Но потом пути их разошлись. 14 декабря 1825 года Василий Перовский оказался на Сенатской площади с новым царем, и его даже тяжело контузило поленом, которое кто-то бросил в свиту.

Василий Алексеевич с *1818* года был адъютантом великого князя Николая Павловича. Теперь он стал флигель-адъютантом, и впереди его ждала блестящая карьера. Он дружил с Пушкиным, а с Жуковским его связывали весьма трогательные отношения.

На нового царя уповали многие, и в числе их — Жуковский. Воспитателем нового наследника престола, будущего императора Александра II, был Карл Карлович Мердер. Василию Андреевичу Жуковскому предложили заняться образованием царского сына. Он согласился, видя в том возможность привить будущему государю гуманные взгляды.

Жуковский сказал Николаю I, что наследнику было бы полезно иметь товарищей по занятиям. Были выбраны старший сын композитора графа Михаила Виельгорского — Иосиф и сын генерала, добродушный лентяй Александр Паткуль. Товарищами для игр стали Александр Адлерберг и Алексей Толстой, позже к ним присоединился юный князь Александр Барятинский.

Было ли это заранее согласовано Перовскими или случилось, когда Алеша с матерью уже приехали в Петербург, но с Красным Рогом пришлось распроститься надолго. И вообще вся жизнь Алексея Толстого прошла бы, возможно, совсем по-другому, если бы не близость к престолу, за которую впоследствии пришлось платить...

Свою коронацию Николай I решил отпраздновать особенно пышно.

Он думал, что в шуме торжеств забудется худая слава его восшествия на престол.

В ожидании коронации дворяне потянулись в Москву. Анна Алексеевна, хорошо принятая при дворе и в обществе, переехала с сыном в первопрестольную, засиявшую заново золочеными маковками церквей, такую просторно, цветасто и неупорядоченно русскую после разлинованного на европейский манер однообразно-охряного Петербурга.

Они остановились у бабушки Марьи Михайловны, которая после смерти «благодетеля» вышла замуж за генерала Денисьева и обрела наконец дворянство. Она жила на Новой Басманной в просторной городской усадьбе, где в саду был пруд, а на большом дворе паслась стреноженная лошадь. Дом этот стоит и по сей день.

22 августа 1826 года была, как тогда выражались, «излита милость» и на Анну Алексеевну Толстую, произведенную указом в статс-дамы. Скорее всего она присутствовала на грандиозном обеде, данном тогда в Грановитой палате, и на множестве праздников с фейерверками, продолжавшихся еще месяц.

У взрослых были свои развлечения, у детей — свои. Аккуратнейший Мердер, не оставлявший своего воспитанника ни днем, ни ночью, все же успевал вести дневник.

«31 августа. Вчера праздновали день ангела его и. в. наследника Александра Николаевича; пригласили детей князя Голицына, московского генерал-губернатора, графа Виельгорского, Толстого, князя Гагарина, всего 10 мальчиков и столько же девочек; пили чай, потом до $7^{1}/_{2}$ ч. в саду играли в зайцы, в комнатах в другие игры. Именинник получил много подарков и, между прочим, прекрасную арабскую лошадь от бабушки императрицы Марии Федоровны. Завтра будет маскарад в Большом театре!»

Были и другие забавы. Через три года мальчик Алеша Толстой напишет дяде Алексею Перовскому, что в Москве он снова побывал в Нескучном саду и что беседка там «хранит следы пуль, где мы стреляли с Наследником».

У Перовского были в те дни не только забавы, но и заботы.

После коронации Николай I в тревоге за безопасность трона продумывал систему надзора за «направлением умов». В сентябре по совету Бенкендорфа из Михайловского привезли Пушкина, с которым царь долго беседовал, обещал, что сам будет цензором великого поэта, и предложил написать записку о просвещении в России.

Попечитель Казанского учебного округа М. Л. Магницкий, чувствуя неприязнь царя ко всяким умствованиям, написал доклад о прекращении преподавания философии во всех учебных заведениях страны. Доклад попал на отзыв к Алексею Перовскому, который составил записку, формально сдержанную, но пропитанную ядом иронии.

Конечно, «учение философии часто было во зло употребляемо», «не основанные на истинах христианской религии умствования некоторых писателей и наставников имели вредное влияние на незрелые умы, не умевшие отличить лжемудрие от любомудрия. Но таковые заблуж-

дения несправедливо б было приписывать философии, которой одно уже этимологическое значение показывает благодетельную цель и пользу, могущую произойти от преподавания оной».

Человеческому уму свойственно заблуждаться, и вообще нет такой науки, которую нельзя было бы, превратно толкуя, использовать как вредоносное политическое оружие. На что уж математика — наука совершенно нейтральная, но и она, если рассматривать ее пристрастно, наводит на подозрительные мысли...

«Если мы позволим себе, — продолжал Перовский, — смешивать самые науки с заблуждениями, которые или неприметно вкрались в преподавание оных, или злоумышленными людьми нарочно посеяны, то полезнейшие и необходимейшие познания должно будет изгнать из университетов, — и тогда грубое невежество заступит у нас место просвещения».

Пушкин в Москве сошелся с Перовским покороче, бывал у него дома. Алеша Толстой во все глаза смотрел на поэта, всегда оживленного, непоседливого, на его русые курчавые волосы, ловил взгляд его прозрачных светлых глаз... Мальчика, как и взрослых в присутствии Пушкина, охватывало чувство значительности мгновения, причастности к величию духовному; все вокруг как бы становилось иным, и люди становились умнее, говорили так, как никогда не говорили бы ни при ком другом. То, что говорил сам поэт, впитывалось всем существом, и, если даже слова потом забывались, оставалось ощущение, а тяга к родникам поэзии уж наверное...

Навсегда остался в памяти Алексея Толстого смех Пушкина...

Довольно скоро Алеша встретился с еще одним великим поэтом.

Известно, что Алексей Перовский летом 1827 года взял трехмесячный отпуск и поехал с сестрой и племянником в Германию. Весной Алеша сильно болел, но терпеливо глотал лекарства и поправился. Жили они с матерью в Погорельцах. Алексей Алексеевич заехал за ними. Июль и большую часть августа они провели в Карлсбаде, где Перовский лечил водами свои болезни. Он както внезапно сдал, постарел, хотя и старался на людях сохранять свою прежнюю живость. Карлсбад, потом Дрезден с Альтштадтом, Нейштадтом, королевским замком, легкими изящными павильонами дворца Цвингер, картинной галереей... Но и в Карлсбаде, и в Дрездене

Толстому придется бывать еще не раз, как, впрочем, и в Веймаре, где и произошла памятная встреча.

Путешествовали с комфортом, останавливались в лучших отелях. Алешу сопровождал гувернер Науверк, совершенствовавший своего питомца в немецком языке. Гуляя с Алешей по идеально стриженному веймарскому парку, Науверк запрещал ему играть с собакой Каро (с которой Алеша не расставался), чтобы тот не отвлекался и слушал внимательно старинную легенду о докторе Фаусте, продавшем душу черту.

Перовский был принят во дворце Саксен-Веймарского великого герцога. Потом они с дядей навестили Гёте. Тот интересовался славянской поэзией, считал, что у русской литературы большая будущность. Он только что закончил лирический цикл «Западно-восточный диван». Еще продолжалась работа над второй частью «Фауста». В свои восемьдесят лет Гёте был еще бодр.

С Алешей Толстым он обошелся ласково, посадил его к себе на колени и подарил кусок мамонтового клыка с собственноручно нацарапанным на нем изображением фрегата. «От этого посещения, — вспоминал Толстой, — в памяти моей остались величественные черты лица Гёте... к которому я инстинктивно был проникнут глубочайшим уважением, ибо слышал, как о нем говорили все окружающие».

Анна Алексеевна с сыном вернулась в Россию, а Перовский, просрочив отпуск, задержался до января следующего года. Но даже из Берлина он интересовался успехами своего «Ханочки» и просил его стараться быть умным, кланяться Жаду (гувернеру, сменившему Науверка) и погладить Каро...

Из переписки дяди с племянником, сохранившейся в архиве, можно вполне усвоить воспитательную методу Алексея Перовского и характер их отношений. Писем много, потому что Перовский и Анна Алексеевна с сыном постоянно были в разъездах и часто жили порознь.

Алеша по-прежнему изучает языки (прибавились итальянский, латинский и греческий), литературу, историю, занимается живописью и музыкой. Перовский без конца справляется об успехах племянника. Из Одессы (28 августа 1828 года) он пишет о дельфине, обещает привезти раковины. Алеша в это время жил в Петербурге и прибаливал.

В мае 1829 года Алеша писал из Москвы: «Был с маменькой на водах. Видели там Пушкиных...» Рассказы-

вал о своих занятиях, об успехах в верховой езде. О том, что маменька наняла для него клавикорды и что они были с ней в Нескучном саду и в саду у Закревского. О том, как он поймал молодую чайку и потом выпустил ее на волю.

В карманных деньгах Алешу строго ограничивали, чтобы не появилась привычка к мотовству. Когда ему понадобились деньги, он решил продать свою коллекцию медалей, что и просил сделать дядю.

26 июня Перовский ответил ему из Петербурга большим назидательным письмом.

«До сих пор я не успел еще их продать, потому что живу на даче; я тебе больше бы прислал денег за медали, но у меня самого мало. Ты видишь, милый Ханчик, по опыту, как нужно беречь деньги, оттого-то и говорится пословица: береги копейку на черный день; когда у тебя были деньги, ты их мотал по пустякам, а как пришел черный день, т. е. нужда в деньгах, так у тебя их не было. Не надобно никогда предаваться тому, что желаешь в первую минуту: ты сам уже испытал и не один раз, что когда ты купишь чего-нибудь, чего тебе очень хотелось, то и охота к тому пройдет и деньги истрачены по-пустому. Хорошо еще, что случайно у тебя есть медали, а если бы их не было, ты бы и оставался без денег. Деньги прожить легко, а нажить трудно. Вообрази себе, что еще с тобой случиться могло бы! Например, ты истратишь свои деньги на пустяки, которые надоедят тебе на другой день: вдруг ты увидишь какого-нибудь бедного человека, у которого нет ни платья, ни пищи, ни дров, чтоб согреться в холодную зиму, и к тому еще дети, умирающие с голоду. Ты бы рад ему помочь, тебе его жаль; — и бог велит помогать ближнему — но у тебя нет ни копейки! Каково же тебе будет, если вспомнишь, что ты мог избавить его от несчастья, когда бы накануне не истратил деньги свои на пустяки!»

Перовский использовал каждый предлог, чтобы внушить племяннику чувство сострадания и любви к ближнему. Там же он пишет: «Стихи, которые ты сочинил на день рождения маминьки, я получил, но они не хороши, хуже всех других, которые ты писал».

Алеша интересуется творчеством дяди и спрашивает, кончил ли тот «свое сочинение»...

О каком сочинении шла речь?

Сборник повестей Антония Погорельского «Двойник, или Мои вечера в Малороссии» уже был издан.

Кстати, там есть словесный автопортрет А. Перовского: «Дверь отворилась без скрипу, и вошел в комнату мужчина средних лет и росту повыше среднего. Волосы его были кудрявые, глаза голубые, губы довольно толстые и нос вздернутый немного кверху».

Вышла в начале 1829 года и волшебная повесть для детей «Черная курица, или Подземные жители». К тому времени по представлению Шишкова ввиду «основательных, доказанных сочинениями сведений в отечественном языке» Российская Академия наук выбрала Алексея Перовского своим членом.

Алексей Перовский высмеивал тех, кто во что бы то ни стало стремился изъясняться на французском языке, а тем более на дурном, почерпнутом из сомнительных источников, от нанятых по дешевке бывших парижских кучеров и лакеев, полуграмотных, невежественных. Дипломатам французский необходим, но в свете, считал он, лучше говорить по-русски. Об этом он писал в романе «Монастырка», о котором, очевидно, и спрашивал его в письме Алеша.

Несколько лет спустя этот роман стал самым популярным среди русской публики. И не только из-за острого сюжета и прекрасно выписанных характеров. Интересно, например, такое рассуждение героя романа Блистовского:

«Вообще господа писатели должны бы приступать осторожнее к печатанию суждений своих о нравах, обычаях и недостатках нашего отечества. Предоставим врагам нашим писать карикатуры на русский народ...»

Сам Перовский старался пробуждать в читателе добрые чувства. Особенно в детях. Написанная им волшебная повесть «Черная курица» издается и в наши дни, а имя Антония Погорельского называют среди основоположников русской детской литературы...

Написал ее Перовский для Алеши Толстого, который иногда ленился готовить уроки.

Однажды вечером он пригласил к себе в кабинет сестру и племянника и торжественно положил руку на стопку исписанной бумаги. В камине весело горели березовые дрова и маленькие можжевеловые чурки, дававшие смолистый запах. Пламя отражалось в стеклах книжных шкафов, впитывалось красным деревом с его причудливым рисунком, блестело на грифонах из прекрасно прочеканенной золоченой бронзы. Алексей Алексеевич запахнул потуже бархатный малиновый халат, надетый поверх панталон и белоснежной рубахи с широким

отложным воротником, придвинул поближе серебряный шандал и вскинул глаза на племянника и сестру, уже уютно устроившихся на сафьяне широкого дивана. Все это было для них обычным — Перовский часто читал им.

— Ступай, — коротко сказал он слуге, снявшему нагар со свечей и теперь возившемуся у камина. — Нынче я написал сказку или волшебную повесть...

И начал читать.

Сперва это не было похоже на сказку. Алеше представился Петербург, каким он был лет сорок назад, еще без тенистых аллей на Васильевском острове, с деревянными тротуарами, без Конногвардейского манежа и других знакомых ему домов. Ему представились старушки-голландки, которые собственными глазами видели Петра Великого, и десятилетний мальчик, тоже Алеша, которого родители отдали в пансион, а сами уехали далеко. Мальчику было одиноко, когда по субботам воспитанников разбирали по домам...

Алеша Толстой подумал, что дядя, наверно, был в детстве некоторое время в пансионе, но почему-то не любил рассказывать об этом.

А мальчик из пансиона зачитывался немецкими рыцарскими романами и волшебными повестями. Он тоже часто воображал себя рыцарем, ходил по страшным развалинам, дремучим лесам, сражался с драконами. Наяву же был двор пансиона, по которому бродили куры. Дядин Алеша полюбил одну из них, черную, хохлатую, называл ее Чернушкой, приносил ей кусочки после обеда. Но вот уже Чернушку хотят поймать и зарезать к праздничному обеду. Она убегала от страшной кухарки с ножом и, казалось, кричала: «Кудах, кудах, кудýху! Алеша, спаси чернуху!» Мальчик не пожалел золотого империала, дал его кухарке и спас курицу. Вечером он надел свою красную бекешу на беличьем меху и зеленую бархатную шапочку с собольим околышем и пошел проведать Черну-ху. В ту же ночь и началась сказка, которой все дожидался Алеша Толстой.

Он вместе с Чернушкой попал в подземное царство, увидел маленьких рыцарей в пол-аршина ростом, короля маленького народца в мантии, подбитой мышиным мехом, и Чернушку, обратившуюся в главного министра короля. Благодарный за спасение министра король обещал исполнить любое желание мальчика, и тот сказал:

— Я бы желал, чтобы, не учившись, я всегда знал урок свой, какой бы мне ни задали...

— Не думал я, что ты такой ленивец, — ответил король, но дал ему конопляное семечко, повелев ни терять его, ни рассказывать никому про волшебную страну, так как это грозило маленькому народцу большими бедами...

Много чудесного было еще в той стране, но интереснее всего иметь бы такое же конопляное семечко и *отвечать все уроки, не учивши...* Память у Алеши Толстого прекрасная, он запоминает целые страницы, но так скучно иной раз сидеть над книгами, хочется побегать или просто помечтать, забившись в уголок... У дяди получается, что без труда отвечать — плохо, мальчик стал нескромным и баловным, а потом потерял семечко, опозорился, был наказан розгами и рассказал о подземном народце. Это уже непохоже на сказку. И почему дядя считает его совсем маленьким, когда он, Алеша Толстой, уже почти взрослый? С некоторых пор он стал стесняться откровенничать с дядей, который в представлении своем никак не хотел расставаться с несмышленышем Алехашечкой...

В августе 1829 года Алеша с матерью уже в Петербурге. Они живут в доме дяди Василия Алексеевича, который в прошлом году был ранен в левую сторону груди под Варной, страдал легкими, но сохранил силу, которую показывал племяннику, скручивая штопором кочергу. Василия Алексеевича только что произвели в генерал-майоры, и он был в большой милости у государя, как и другой дядя — Лев Алексеевич, назначенный вице-президентом департамента уделов.

О Петербурге у Алексея Толстого есть воспоминание в поэме «Портрет», написанной октавой «Освобожденного Иерусалима», которую ввел в русскую просодию Шевырев.

...Известно, нет событий без следа:
Прошедшее, прискорбно или мило,
Ни личностям доселе никогда,
Ни нациям с рук даром не сходило.
Тому теперь, — но вычислять года
Я не горазд — я думаю, мне было
Одиннадцать или двенадцать лет —
С тех пор успел перемениться свет.

Подумать можно: протекло лет со сто,
Так повернулось старое вверх дном.
А в сущности, все совершилось просто,
Так просто, что — но дело не о том!
У самого Аничковского моста

Большой тогда мы занимали дом:
Он был — никто не усомнится в этом, —
Как прочие, окрашен желтым цветом...

. . . .

Родителей своих я видел мало;
Отец был занят; братьев и сестер
Я не знавал; мать много выезжала;
Ворчали вечно тетки; с ранних пор
Привык один бродить я в зал из зала
И населять мечтами их простор.
Так подвиги, достойные романа,
Воображать себе я начал рано.

. . . .

Предметы те ж зимою, как и летом,
Реальный мир являл моим глазам:
Учителя ходили по билетам
Все те ж; порхал по четвергам
Танцмейстер, весь пропитанный балетом,
Со скрипкою писклявой, и мне сам
Мой гувернер в назначенные сроки
Преподавал латинские уроки...

Эти строки, несомненно, навеяны детскими впечатлениями, герой поэмы как две капли воды походил на Алешу Толстого. Алексей Алексеевич Перовский, заменивший ему отца, и в самом деле с головой ушел в дела литературные. А мать? Вступив в пору увядания, она жадно уже ловила восторженные взгляды мужчин на балах — напоминание об ушедшей молодости. Анна Алексеевна была добра и щедра, но не знала границ своей воле, сорила деньгами... В магазинах, поставлявших наряды ко двору, она отдала приказ посылать ей те же материи, которые покупались императрицей. На каком-то торжестве Анна Алексеевна появилась в шляпе с белыми страусовыми перьями — точно такой, какая была на императрице. Император Николай Павлович заметил это, и о его недовольстве передали Анне Алексеевне, но та не отступилась от своего тщеславного обыкновения...

Обязанности при дворе появились и у Алеши. По воскресеньям он навещал наследника престола и в Петербурге и в Царском Селе, гулял с ним в саду на Елагином острове. Дети играли не в одни лишь жмурки и жгуты, они устраивали военные учения, стреляли из небольшой пушки. Так хотел царь, воспитатель же наследника Жуковский был полон благих намерений. «Государыня, простите... — писал Василий Андреевич царице о ее старшем сыне, — но страсть к военному ремеслу стеснит его душу: он привыкнет видеть в народе полк, в отечестве — казарму...» Маленький наследник ни в чем себя особенно не проявлял, был просто добродушным мальчиком.

Накануне тридцатого августа, дня своего ангела, он старательно, высовывая от напряжения язык, выводил крупными буквами по карандашным линиям приглашение графу Алексею Толстому. Вместе с Жуковским они были у обедни в церкви Зимнего дворца, а потом наследник показывал подарки, и в первую очередь оловянных солдатиков, присланных его дедушкой из Берлина. Игра в солдатиков оказалась увлекательной, к ней присоединился император Николай Павлович, да еще с таким азартом, что вызвал почтительное недоумение застывших вокруг вельмож, старавшихся, впрочем, мимикой выказывать живейший интерес...

Александра Осиповна Россет, будущая Смирнова, в том же году была свидетельницей схватки между наследником, Сашей Адлербергом, Алешей Толстым и «знаменитым лентяем» Паткулем. Впоследствии в ее бумагах оказалась такая заметка:

«Наследник весь в поту, Саша с оторванным воротником (в то время дети носили большие воротники), Паткуль растрепанный более, чем когда-либо, Алеша красный, как индейский петух, все хохочут как сумасшедшие, счастливые возможностью бороться, кричать, двигаться, размахивать руками. Алеша отличается баснословной силой, он без всякого усилия поднимает их всех, перебрасывает их по очереди через плечо и галопирует с этой ношей, подражая ржанью лошади. Он презабавный и предложил Государю помериться с ним силой. Его Величество сказал ему:

— Со мной? Но ты забываешь, что я сильнее тебя, гораздо выше.

— Это все равно, я не боюсь помериться с кем бы то ни было, я очень силен, я это знаю.

Государь ответил ему:

— Так ты, значит, богатырь?

Мальчуган возразил:

— У меня казацкая душа.

И, к всеобщему удивлению, привел стих из «Полтавы» *; это восхитило Государя, который сказал ему:

— Что ж, померимся силами, я выше тебя ростом и буду бороться одной рукой.

Алеша сжал кулаки, наклонился как в кулачном бою, а затем спросил:

---

* Поэма «Полтава» закончена была Пушкиным незадолго до этого.

— Я могу больно бить?

— Нисколько не стесняясь.

Казак мгновенно сорвался с места, точно ядро, выброшенное из жерла пушки. Государь, отражая это нападение одной рукой, от времени до времени говорил:

— Он силен, этот мальчишка, силен и ловок.

Заметив, что тот, наконец, задыхается и еле дышит, Государь поднял его, поцеловал и сказал ему:

— Молодец и богатырь.

Тогда и остальные пожелали сбить Государя с ног; богатырю с казацкой душой дали немного передохнуть, и все они ринулись на своего противника, который скрестил руки на груди; они хватали его за полы мундира, за ноги, стремясь заставить его согнуть колени, но ничего поделать не могли. От времени до времени он говорил им: «Да не кричите так сильно, только запыхаетесь!» Напрасный труд, они были слишком возбуждены. Наконец битва кончилась за неимением бойцов; все попадали в траву, совсем обессилев...»

При всем желании трудно узреть в этом поединке двенадцатилетнего мальчика с императором что-либо тираноборческое. Идиллическое отношение к Николаю I, под оловянным взглядом которого дрожали и даже теряли сознание боевые офицеры, мы оставляем на совести Россет, для нас же важно в этой сцене упорство и бесстрашие маленького Толстого, его любознательность, ранний интерес к поэзии.

Алеша Толстой взрослел на глазах. Он увлекся театром, в письмах к дяде Алексею Перовскому он делится мыслями о достоинствах композиторов, он уже собирает библиотеку...

Вскоре дядя вышел в отставку окончательно. В первых номерах «Литературной газеты» за 1830 год был напечатан отрывок из его романа «Магнетизер», потом начало «Монастырки». В конце XIX века один из историков литературы отметил: «Монастыркою» наши бабушки и матери зачитывались так, как наши жены и дочери — «Анною Карениной».

Алексей Перовский часто видится с Пушкиным и Дельвигом. Дом его издавна уже притягателен для литераторов.

Пушкин читал здесь своего «Бориса Годунова», еще немногим известного. В числе слушателей были И. А. Крылов, П. А. Вяземский и другие знаменитые писатели. Можно представить себе, какое впечатление про-

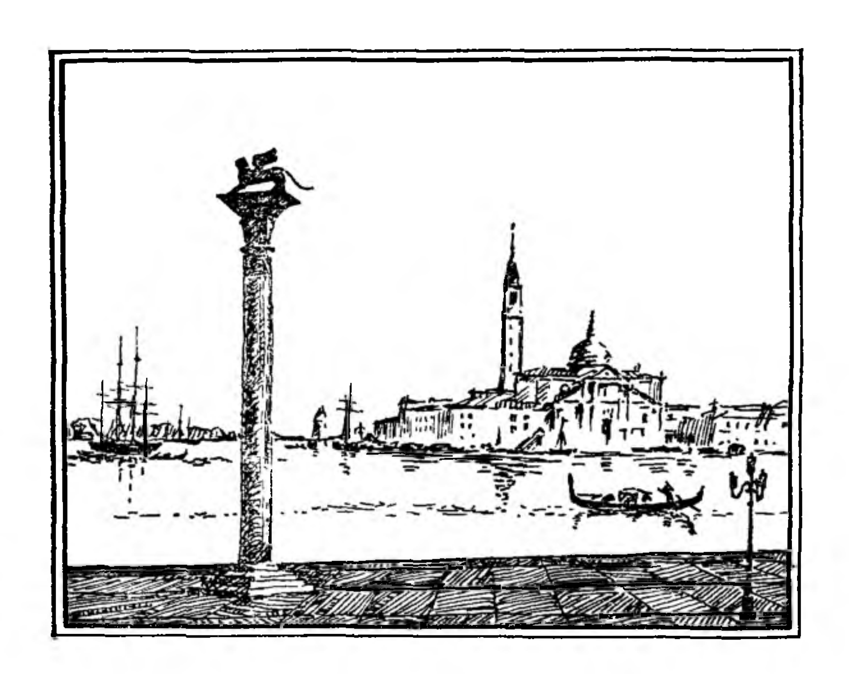
изводили на юного стихотворца подобные встречи. И если чтение «Годунова» ошеломляло даже такого маститого историка, как Погодин, которого бросало то в жар, то в озноб, когда Пушкин доходил до рассказа Пимена о посещении Кириллова монастыря Иоанном Грозным, если раздавался «взрыв восклицаний» при словах самозванца: «Тень Грозного меня усыновила», если после чтения молодежь обнималась и лила слезы, то как, наверное, был потрясен Алеша Толстой... И не тогда ли еще пробудился в нем острый интерес к эпохе, породившей Смутное время?..

Дети тогда допускались на большие обеды вроде тех, что задавал Алексей Перовский. По дворянскому обычаю, детям гостей и хозяев накрывали у самого входа, и они под надзором гувернеров учились у взрослых манерам, учтивости, умению вести разговор.

Толстой много читает, и постепенно у него складывается свое миропонимание, настолько отличное от взглядов дяди и матери, что он вынужден таиться, чтобы их не огорчить. «Помню, как я скрывал от него (от А. Перовского. — *Д. Ж.*) чтение некоторых книг, из которых черпал тогда свои пуританские принципы, ибо в том же источнике заключены были и те принципы свободомыслия и протестантского духа, с которыми бы он никогда не примирился и от которых я не хотел и не мог отказаться. От этого происходила постоянная неловкость, несмотря на то огромное доверие, которое у меня было к нему».

Внешне их отношения не изменились. Послушный сын и племянник внимал наставлениям матери и дяди, готовившим его к блестящей служебной и придворной карьере. Досада прорывалась только тогда, когда его упрекали в чрезмерном увлечении стихами. Перовский показывал их Жуковскому и Пушкину, и они одобряли опыты талантливого подростка. Но тем не менее однажды Перовский устроил так, что одно из стихотворений Алеши напечатали в журнале и тут же поместили убийственную рецензию на него. Журнальная взбучка, кажется, нисколько не охладила юного поэта, но надолго отбила охоту печататься.

Однако это случилось уже после его первого путешествия в Италию.



Глава вторая

ВСТРЕЧИ С ИСКУССТВОМ

Еще стояла перед глазами замерзшая Нева. Шпиль Петропавловского собора был воткнут в низкое небо и исчезал в нем. Ветер взметывал полы шуб, прохватывал до дрожи. По Невскому в тучах снежной пыли неслись рысаки, струи пара вырывались из лошадиных ноздрей...

Это было похоже на чудо — благостное итальянское утро, воздух, напоенный запахом цветов и моря, и что-то белое, солнечное вдали, где должна была появиться Венеция. И она появилась за искрящейся водой, в дымчатом серебристо-перламутровом воздухе. Косые лучи мартовского солнца выхватывали из белой массы дома и башни, тени делали их отчетливыми. Белый цвет отступал, и нежная пестрота малиновых, фисташковых, кремовых, терракотовых стен, казалось, притягивала к себе, как магнитом, гондолу, в которой сидели Анна Алексеевна с сыном и Алексей Алексеевич Перовский.

Алеше шел уже четырнадцатый год, он был начитан, свободно владел итальянским языком и готовился к этой поездке тщательно — проштудировал историю

искусств и теперь с лихорадочным нетерпением ждал встречи с прекрасным. Хотя солнце вскоре скрылось за тучами и начался дождь, который лил весь март, лихорадочное состояние, запомнившееся ему до конца жизни, осталось. Он не замечал дурного запаха, стлавшегося над водой каналов, он смотрел на проплывавшие мимо мосты, дворцы венецианских патрициев, на каменные столбы с фонарями и кольцами, к которым привязывали гондолы...

В гостинице «Европа», ступени главного входа которой спускались прямо в воду Большого канала и были покрыты зелеными водорослями, русских встретили радушно и даже угодливо, предоставили роскошные апартаменты, накормили завтраком с непременными моллюсками и другими frutti di mare*. Стол был недорог, однако в день с приезжих в гостинице брали по четыре луидора — около восьмидесяти рублей.

Потом путешественниками завладел чичероне синьор Антонио Ре.

Алеша решил вести дневник и вел его аккуратно, делал рисунки пером: виды, живописно одетые итальянцы... О своем чичероне Антонио он важно, подражая взрослым, записал, что «рекомендует его всем путешественникам как одного из опытнейших и ученейших путеводителей».

В дневнике перемешивались собственные впечатления и рассказы синьора Антонио.

«Мнение, что в Венеции нельзя обойтись без гондолы, несправедливо; хотя улицы очень узки, можно, однако, почти везде пройти, исключая немногие дома, у которых крыльцо выдается только на канал.

Гондолы очень узки и длинны; посередине у них — маленькая будочка, обитая черным сукном, а на конце — железный гребень и топор. Гребцы ездят с чрезвычайным проворством и ловкостью; сидя в лодке, опасно высовывать голову, оттого что топор другой гондолы может ее отрубить Также надо остерегаться прыгать в лодку, когда в нее садишься, ибо пол, сделанный из тонких досок, может проломиться.

Входить надо задом, в противном случае неловко будет обернуться, чтобы сесть на скамейку, оттого что будка очень узка. В ней могут поместиться четыре человека: двое — на скамейке против гребня и двое — на обеих

---

* Дары моря *(итал.)*.

боковых скамейках; сверх того, есть еще довольно места вне будки.

Мы пришли на площадь св. Марка...»

Мальчика поразил этот архитектурный музей с самого начала, когда они остановились под арками Фаббрикке Нуове — здания, построенного по совету Наполеона. Громадное замкнутое пространство с красивыми колоннадами, древней церковью святого Марка, стометровой колокольней, Часовой башней... Синьор Антонио водил Алешу с матерью и дядей во дворец дожа, на мраморную Лестницу великанов... В рассказах гида оживала история купеческой республики, ее былое могущество, пиратские нравы, заговоры...

Алеша с восторгом рассматривал львиные головы с открытыми пастями, вделанные в стену, а вечером записывал:

«В эти пасти мог каждый бросать доносы на кого бы то ни было; они падали в комнату инквизиторов, и обвиняемый получал на другой день повеление явиться в инквизицию.

Преступников сажали в темницу, соединенную маленьким и совсем темным мостиком с дворцом».

Он представлял себе, как заключенные идут по крытому темному «мосту вздохов» в комнату судей и как их отсылают оттуда либо на эшафот, либо в Пьомби, темницу под самой свинцовой крышей дворца, где люди задыхались от жары и умирали в страшных мучениях. Он удивлялся богатству и роскоши дворцов, прекрасным картинам, мозаикам, древним статуям...

Но он видел и другое — дворцы были запущенны, многие дома разваливались, на улицах стояла мертвая тишина, черные гондолы на каналах усугубляли печальную картину.

Он рассматривал рукопись Леонардо да Винчи, писавшего справа налево, картины Тициана и Тинторетто, глядел на творения Палладио и все больше влюблялся в прекрасную старину. Впоследствии он вспоминал в одном из писем:

«Ты не можешь себе представить, с какою жадностью и с каким чутьем я набрасывался на все произведения искусства. В очень короткое время я научился отличать прекрасное от посредственного, я выучил имена всех живописцев, всех скульпторов и немного из их биографии, и я почти что мог соревновать с знатоками в оценке картин и изваяний.

При виде картины я мог всегда назвать живописца и почти никогда не ошибался.

Я до сих пор ощущаю то лихорадочное чувство, с которым я обходил разные магазины в Венеции. Когда мой дядя торговал какое-нибудь произведение искусства, меня просто трясла лихорадка, если это произведение мне нравилось.

Не зная еще никаких интересов жизни, которые впоследствии наполнили ее хорошо или дурно, я сосредоточивал все свои мысли и все свои чувства на любви к искусству» (курсив А. К. Толстого. — *Д. Ж.*).

Синьор Антонио свел Алексея Перовского с графом Гримани, предки которого были венецианскими дожами. Теперь молодой аристократ ютился в одной из комнат своего развалившегося дворца. Сперва он предложил богатому русскому купить этот дворец целиком, а когда тот отказался, стал суетиться, показывать картины и статуи, доставать бумаги, подтверждавшие их подлинность...

«Дворец был наполнен самыми прекрасными вещами на свете, — продолжал в том же письме Толстой, — но, уверяю тебя, что, несмотря на надежду приобрести некоторые из них, мне было тяжело видеть эту разоренную семью, принужденную продавать своих предков, писанных во весь рост Тицианом, Тинторетто и другими.

Когда мы отправились в гондоле во дворец Гримани и когда мы проезжали мимо других дворцов, одинаково разрушенных, владельцы которых были одинаково разорены и в долгах, я ощущал смешанное чувство уважения, восхищения, жалости и алчности, так как тогда существовало во мне чувство собственности, которое я с тех пор совершенно утратил».

Больше всего Алеше приглянулся бюст фавна. Он стоял в громадной зале с золоченым потолком, с большим мраморным камином и расписанными стенами и... смеялся. Алеша не мог оторваться от смеющегося лесного бога и улыбался сам. Граф Гримани, заметив интерес мальчика, тотчас достал бумагу, свидетельствовавшую о том, что бюст якобы был создан самим Микеланджело. Граф говорил, что совсем недавно один англичанин давал ему за фавна четыре тысячи фунтов стерлингов, но он его не отдал, потому что еще не нуждался в деньгах.

Перовский купил фавна и еще бюст Геркулеса, две порфировые колонны, девять столов, мозаичных и мраморных, шесть картин, среди которых был портрет дожа

Антонио Гримани, изображенного Тицианом в полный рост.

Перовский решил пробыть в Венеции всего пять дней, но покупки задержали его. Граф Гримани умолял, чтобы вещи из дворца в гостиницу перевезли ночью, так как не хотел, чтобы венецианцы видели, что он распродает свое наследство, хотя это было секретом полишинеля, да и торговался граф упорно и искусно.

Когда бюст фавна наконец оказался в гостинице, Алеша прыгал и даже плакал от радости. Бюст стоял на полу. Мальчик часами лежал возле него, любовался. Ночью он вставал посмотреть на него, ему вдруг представлялось, что в гостинице может вспыхнуть пожар, и Алеша пытался поднять своего фавна, проверяя, сумеет ли спасти его...

Потом Толстой бывал в Венеции еще не раз, но первые впечатления оказались самыми сильными. Он и через тридцать лет напишет: «Мне кажется, я слышу шум, с которым укладывались гондольерами весла в гондолу, когда подходили к какому-нибудь дворцу, — когда гребут, весла у них совсем не шумят, — мне кажется, я чувствую запах в каналах, дурной запах, но напоминающий хорошую эпоху в моей жизни!..»

Поездка по Италии только начиналась. Судя по записи в дневнике от 1 апреля 1831 года, Алеша с матерью и дядей остановились потом в Вероне, осмотрели громадный римский цирк, темные погреба под трибунами, где держали диких зверей перед тем, как выпустить их на арену.

Подъезжая к Милану, они еще издали увидели знаменитый собор. Описание его в дневнике Толстого весьма красочно:

«Это ужасное готическое здание, с высокими башнями, сделано из белого камня и усыпано сверху донизу мелкими арабесками резной работы и прекрасными мраморными статуями и барельефами.

На этой церкви считается башней 400, а статуй 5500. Она слабо освещена большими готическими окнами с цветными стеклами; когда солнечные лучи в эти стекла ударяют, то высокие своды и длинный ряд колонн, ведущий к алтарю, покрываются каким-то таинственным светом, которого невозможно изъяснить; вы входите в древнюю церковь, и шаги ваши раздаются в пространном здании; тень разноцветных стекол рисуется перед вами на каменном полу и на готических колоннах, вы перено-

ситесь мысленно в старые времена средних веков, в вас пробуждаются чувства, которые бы в другом месте молчали».

Рекомендательные письма, которые вез с собой Перовский, раскрывали перед ними все двери, вплоть до эрцгерцогского дворца, где в одной из кладовок они увидели сваленные в кучу статуи и портреты Наполеона. Это было все, что осталось от почитания его личности. Время нового увлечения этой личностью еще не пришло...

Италия заставляла как бы заново пройтись по учебникам истории. Миновав место, где Ганнибал одержал победу над Сципионом, путешественники прибыли в Геную. Как и в прочих городах Италии, ее улицы темны и нечисты, «оттого что всякую дрянь выбрасывают на улицу», отмечает мальчик. Он описывает одежду итальянцев, их привычку кричать и жестикулировать при разговоре. И снова:

«Дяденька купил здесь у одного продавца картин портрет Христофора Колумба, [писанный] неизвестным художником. Он очень хорошо был сделан, но его испортили, когда хотели уложить».

Во Флоренции они поселились в гостинице рядом с домом Данте. Анна Алексеевна с сыном пошли покупать собаку и вдруг набрели на русскую лавку, где продавали чай. Купец невероятно обрадовался соотечественникам

Записи Алеши во Флоренции напоминают современные ему путеводители. Он не пропускает ни одной достопримечательности, восторгается творениями Бенвенуто Челлини, Микеланджело, Кановы... В картинной галерее ему нравятся и Рафаэль, и голландцы, а вот «фигуры Рубенса почти все отвратительны, особенно же женские». Дядя все время что-то покупает, и, очевидно, ему чаще всего подсовывают подделки — слишком часто мелькают в дневнике имена Микеланджело и Леонардо да Винчи. К Перовскому присасываются всякие проходимцы. Становится нахлебником некий Афендулов, рябой, с орлиным носом и темно-серыми глазами. Он все рассказывал, как жители острова Киндии возмутились против турок и избрали его своим королем и за это будто бы император Александр I навсегда изгнал его из России. Рассказывал он занятно, а заодно промышлял перепродажей картин...

30 апреля рано утром они приехали в Рим, сняли дом на площади Испании, и дяденька тотчас послал человека

к Соболевскому, который не замедлил явиться. Приятель Пушкина был большого роста, полный, самоуверенно-важный, в шляпе набекрень и щегольском полуфраке изумрудного цвета. В России он ходил бритый, поскольку ношение бород императором не одобрялось, а за границей отпустил рыжеватую эспаньолку, которая вкупе с ярко-рыжими усами придавала ему вид чрезвычайно живописный. Величавость его была обманчива и больше про-истекала от воспитания и сознания полной денежной обеспеченности, поддерживаемой изрядной предприимчивостью. Ум же у Соболевского был острый и гибкий, его эпиграмм и экспромтов побаивались и самые могучие литераторы.

Соболевский тотчас принялся выкладывать Перовскому римские новости, касавшиеся русской части населения Вечного города. Много говорил смешного о поселившейся в Риме княгине Зинаиде Волконской и воспитателе ее сына Степане Шевыреве.

С таким чичероне, как Сергей Александрович Соболевский, гулять по Риму было вдвое интереснее. И в дневнике Алеши появляются записи, тронутые иронией. Колизей, Пантеон, собор св. Петра — они все описаны им, но вот и другое — мраморная лестница, по которой Иисус будто бы взошел в дом Пилата, и «что лучше всего — обломки лестницы, которую Иаков видел во сне!!!»

Или еще:

«Чтобы предохранить Колоссей от буйства народа, построили в нем несколько часовен и крест, который имеет свойство уменьшать за каждый поцелуй целым днем пребывания в чистилище.

Весьма простое и полезное заведение для грешников!»

Ему явно передался скептицизм Соболевского в отношении католических чудес.

2 мая вместе с Соболевским и Шевыревым они побывали в Ватикане.

Нет, все-таки Рим был великолепен и заставил присмиреть даже шутников. Да и устали они. В один день посмотрели собрание статуй и картин в Ватикане, «Рафаэлевы ложи», Сикстинскую капеллу, Траянскую колонну и триумфальные ворота Константина, которые, когда их отрыли до основания, оказались в глубоких ямах. Ходили даже на «скалу Тарпейскую, с которой римляне сбрасывали преступников».

Однажды Перовский справился о художнике Карле Брюллове, о котором в Петербург доходили самые фантастические слухи.

— Брюллов здесь нарасхват, — сказал Шевырев. — После копии Рафаэлевой «Афинской школы» его считают первейшим художником в Риме. Работает быстро и превосходно, с ним не сравнится никто. Правда, с «Последним днем Помпеи» не управился в срок, обещал Демидову закончить в прошлом году, но пока успел только фигуры поставить на места и пропачкать в два тона. В две недели это сделал, и от упадка сил у него дрожали голова, руки, ноги. Лечился в Милане. Теперь вернулся в Рим, а за «Помпею» взяться побаивается, пробавляется всякой мелочью. Можешь заказать ему что-нибудь. Надо только подгадать настроение — то веселится вовсю, то строптив и угрюм...

Коренастый белокурый Брюллов встретил их у себя в студии радушно. Совсем недавно он получил от Демидова письмо, в котором тот возобновил расторгнутое было соглашение о «Помпее». Однако художник все боялся подступиться вновь к большому холсту, потом не раз заставлявшему его падать в нервном изнеможении. Алеша Толстой записал, что у Брюллова «есть много портретов и других картин, которые все очень хороши».

Торвальдсен же, к которому они ездили с Шевыревым, ему не понравился. Им показали модель Христа, являющегося апостолам. «Все хвалят эту статую и говорят, что она лучшая, которую сделал Торвальдесоно, — записывает Алеша Толстой. — Мне кажется, однако, что в лице Христа мало выражения и что статуи апостолов, находящихся в той же зале, ее превосходят».

Карл Брюллов стал часто приходить по вечерам, пил чай с Алексеем Перовским, Анной Алексеевной и Алешей Толстыми. 10 мая, кроме обычных сведений о покупках Перовского, Алеша записал: «У нас обедал Брюллов и нарисовал мне в альбом картинку».

Тогда же Брюллов обещал Перовскому поработать на него, сделать портреты всех троих, как только вернется в Россию.

А на следующее утро Перовский с сестрой и племянником выехал в Неаполь. Их сопровождал вооруженный до зубов Соболевский. Ходили слухи о разбойниках, и он напросился в поездку. Теперь он наслаждался своим воинственным видом и впечатлением, которое производил

на располневшую, но еще красивую Анну Алексеевну. Она притворно ахала и кокетливо поправляла прическу, когда Сергей Александрович, приглаживая непокорные рыжие усы, рассказывал о нравах разбойников.

Вот, мол, совсем недавно ограбили одно семейство англичан. Остановили экипаж и положили их лицом к земле. Один обыскивал карманы путешественников, а другой приставлял нож... А то еще уводят людей побогаче и требуют выкуп, который должен быть положен под такой-то дуб или камень. А ежели не получат выкупа в назначенное время, то отрубают у путешественника уши, руку или ногу и посылают его родным или знакомым. И все эти ветурини, наемные кучера, заодно с разбойниками... Можно, конечно, взять с собой отряд драгун, да что толку — сии господа, следуя им свойственному влечению, при первом шуме убегают что есть мочи и прячутся куда могут. Одно спасение — общество храброго и хорошо вооруженного человека... И Соболевский горделиво подкрутил ус.

Рассказы его производили большое впечатление на Алешу Толстого, который уважительно вглядывался в морщинистую загорелую шею кучера. А один раз его сердце даже заколотилось в предвкушении схватки — на обочине он увидел людей с ружьями и штыками за поясом. Но они оказались обыкновенными итальянскими мужиками.

Путешественники говорили всю дорогу не умолкая, чтобы не заснуть. Заночевали в придорожной гостинице. Вечером «все деревья в саду заблистали маленькими огоньками, которые потухали, зажигались, опускались, подымались, кружились и бросались во все стороны».

Это были, наверно, светлячки.

А потом были Неаполь и море, раскрашенные и позолоченные будки с фруктами и лимонадом на главной улице, грузчики — лаццарони в коротких штанах, рыбаки, гроты, курившийся Везувий, граф и графиня де Местр, похороны какого-то генерала, которого несли в открытом гробу, как хоронят в Италии холостяков. Была Помпея с храмами и домами без крыш, с глубокими следами колес на каменных плитах, скрепленных железом; фрески на стенах даже в маленьких комнатах. Был менее сохранившийся Геркуланум с его подземельем и мозаичными полами. Были итальянские праздники, похожие на языческие; опять всякие дяденькины покупки; восхождение к

Везувию по струистой застывшей лаве; бездна кратера, испещренная красным, желтым, зеленым, голубым, белым...

31 мая в 9 утра Соболевский проводил путешественников на французский пароход «Сюлли». Из трубы валил страшной густоты дым, в ниспадающих клочьях которого мелькали изумрудный полуфрак и рыжие усы. Вскоре пристань исчезла из виду, на море началось волнение, и пушественникам сделалось дурно...

Не раз потом Алексей Константинович Толстой возвращался в своих письмах к милым ему воспоминаниям об Италии, о встречах с прекрасным, о пробудившейся с невероятной силой любви к искусству. За год до своей смерти он уверял даже, что по возвращении в Россию он впал в нечто вроде ностальгии, в какое-то отчаяние, отказывался от пищи и рыдал по ночам, когда ему снился потерянный рай.

Но это продолжалось недолго, он быстро повзрослел, появились первые любовные увлечения и первые любовные стихи:

Я верю в чистую любовь
И в душ соединенье;
И мысли все, и жизнь, и кровь,
И каждой жилки бьенье
Отдам я с радостию той,
Которой образ милый
Меня любовию святой
Исполнит до могилы.

Это незрело, как незрелы его «Сказка про короля и монаха», «Вихорь-конь», баллада «Телескоп», но уже обозначились собственные жанры в поэзии — всю жизнь он будет верить «в чистую любовь и в душ соединенье», он не оставит балладу и даже вознесет ее на недосягаемую высоту.

В 1832 году Перовский берет с собой племянника в Одессу и в Крым. Год спустя Алексей Толстой получает от него письмо из Оренбурга со всякими хозяйственными наказами. Алексей Алексеевич Перовский был в гостях у брата Василия Алексеевича Перовского, оренбургского военного губернатора. В сентябре 1833 года Пушкин тоже был в Оренбурге, собирал сведения о пугачевском бунте и останавливался у В. А. Перовского и В. И. Даля.

* * *

Алексей Перовский стоял перед картоном с брюлловским наброском «Нашествия Гензериха на Рим» и, показывая на него Пушкину пальцем, восторженно ругался:

— Заметь, как прекрасно подлец этот нарисовал всадника, мошенник такой! Как он умел выразить свою канальскую, гениальную мысль, мерзавец он, бестия!

Пушкин описал эту сцену в письме к жене из Москвы в мае 1836 года. И добавил от себя: «Умора».

Он уже побывал у скульптора Витали, где поселился Карл Брюллов, и знал, почему ругается Перовский...

Брюллов зяб после итальянской теплыни, жаловался Пушкину, показывал свои работы.

«У него видел я несколько начатых рисунков и думал о тебе, моя прелесть, — писал жене Пушкин. — Неужто не будет у меня твоего портрета, им написанного? Невозможно, чтоб он, увидя тебя, не захотел срисовать тебя; пожалуйста, не прогони его, как прогнала ты пруссака Криднера. Мне очень хочется привезти Брюллова в Петербург. А он настоящий художник, добрый малый и готов на все. Здесь Перовский его заполонил: перевез к себе, запер под ключ и заставил работать. Брюллов насилу от него удрал...»

Брюллов написал портрет Алексея Толстого. Но это целая история, и ее надо бы рассказать по порядку...

Картина Брюллова «Последний день Помпеи» была выставлена в Риме, Милане. Имела она громадный успех и в Париже. Заказчик картины А. Н. Демидов подарил ее императору Николаю I. Она была привезена в Петербург и выставлена. Ей посвятили восторженные стихи Пушкин и Баратынский.

18 марта 1835 года А. Перовский писал племяннику Алексею Толстому из Петербурга: «Третьего дня я ездил смотреть картину Брюллова, которая меня изумила. В самом деле изумительное произведение! Я более часу ее рассматривал и часто вспоминал о тебе, жалея, что ты ее не видишь...»

22 марта: «Какого бы роду ни был экзамен, Русскую Историю всегда спрашивать будут. Итак, приготовляйся сколько можешь... И Жуковского еще не видел: теперь идут экзамены у Великого князя, и он очень занят; однако сегодня назвался ко мне обедать».

27 марта: «И Жуковского я видел, любезный Карапузик. Он апробует последнюю твою пиэсу и велел тебе сказать, что он отроду не говорил Ване, что вершины Альп твои нехороши: они, напротив, ему нравятся. Он только сказал ему, что греческие пиэсы твои он предпочитает, потому что они доказывают, что ты занимаешься древними...» *

9 апреля: «Брюллова картину считаю я самою первоклассною и полагаю, что она ничем не уступит отличнейшим произведениям, а может быть, и превосходит лучшие картины всех времен без исключения».

А Брюллов еще только собирался в Россию, предполагая объехать по пути Грецию и Малую Азию. Перовский с нетерпением ждал его, памятуя обещание, данное художником в Риме.

Из писем видно, как высоко он ценил Брюллова. В них же кое-что сказано о делах «любезного Карапузика», который вымахал уже в высокого, стройного и мускулистого юношу. И хотя не все понятно из того, о чем пишет Перовский (произведений Алексея Толстого тех лет сохранилось мало), очевидно, что им интересовались замечательные поэты — друзья Перовского и что самому Толстому предстояли важные экзамены...

---

* В 1912 году в Париже вышло большое исследование об А. К. Толстом, написанное Андре Лиронделем, который пользовался устными свидетельствами современников поэта, а также письмами и другими документами, утраченными к настоящему времени. В частности, А. Лирондель утверждал, что и Пушкин хвалил стихи молодого Толстого. Эта книга, вышедшая на французском языке, и еще небольшой труд А. А. Кондратьева «Граф А. К. Толстой. Материалы для истории жизни и творчества», изданный в Петербурге тоже в 1912 году, служат главным источником биографических сведений о поэте. В дальнейшем труды литературоведов касались в основном творчества А. К. Толстого. Еще А. А. Кондратьев считал, что «ввиду скудости фактов о жизни Алексея Толстого не представляется возможным писать его биографию». Действительно, уже к тому времени пожары уничтожили дома в имениях, где жил Толстой, вместе с большею частью того, что было написано его рукой. Погибла значительная часть интимной переписки. Летописи жизни поэта не существует. Однако усилиями исследователей мало-помалу накапливается все больше биографических сведений. Автору этой книги пришлось собирать их «по крохам», сопоставлять косвенные данные, искать сведения об А. К. Толстом во многих наших и зарубежных изданиях и архивах, посещать места, связанные с жизнью поэта в Москве и Ленинграде, в Брянской области и на Украине, побывать в Красном Роге, Пустыньке, Дрездене, Веймаре, Вартбурге, на Рюгене, в Бауцене.

Мало того, он уже год как служил, если можно назвать службой редкое хождение в Московский главный архив министерства иностранных дел, куда его определили «студентом» матушка с дядюшкой.

При поступлении в архив Толстому пришлось представить свидетельство о внесении герба его рода в гербовник, в графе же о родовом имуществе написано: «За родительницею его в Черниговской губернии, Кролевецкого уезда, 350 душ...»

Архив был учреждением непростым. Здесь в старинном каменном здании, что стояло в кривом переулке за Покровкой, под низкими сводами палат царил Алексей Федорович Малиновский, знавший как свои пять пальцев старинные хартии, которые хранились в этом «каменном шкапе». Ученый был добродушен и не требовал, чтобы в два обязательных присутственных дня — понедельник и четверг — блестящая дворянская молодежь, служившая в архиве, глотала пыль, разбирая, читая и описывая древние столбцы. Кому нравилось, тот этим занимался, но остальные больше увлекались философией и литературой. Тут когда-то изучали философию Шеллинга «любомудры», отсюда вышли братья Веневитиновы и Киреевские, Хомяков, Соболевский, Кошелев, Шевырев... Тут ступали на свою стезю многие русские литераторы и философы. Пушкин, правда, посмеивался над архивными юношами, «которые воспитывались в Московском университете, служат в Московском Архиве, они одарены убийственной памятью, все знают и все читали, которых стоит только тронуть пальцем, чтобы из них полилась всемирная ученость...»

Алексею Толстому в это время жилось привольно. Его мать Анна Алексеевна часто уезжала в Петербург, а он писал стихи, тратил деньги, покупал собак, увлекался танцами, ездил каждый день завиваться, брал (безуспешно) уроки игры на флейте и мандолине, влюблялся в сестер своих приятелей, среди которых были Самарины и молодые князья Мещерские и Черкасские.

Впрочем, у него было слабое горло, он часто простужался и в 1835 году взял на четыре месяца отпуск, чтобы подлечиться в Германии.

И все это время он готовился к университетскому экзамену. Его дядья Алексей, Василий и Лев Перовские закончили Московский университет с докторскими и кандидатскими дипломами, того же они ждали от племянника.

Но держал он лишь экзамены «из предметов, составляющих курс словесного факультета, для получения ученого аттестата на право чиновников первого разряда».

Сдал он экзамены по английскому, французскому, немецкому языку и словесности, латинскому языку, всеобщей и российской истории, русской словесности и российской статистике, получив за все вместе 33 балла.

Это было 17 и 18 декабря 1835 года, а 25 декабря в Москву из-за границы приехал Брюллов.

Карл Павлович Брюллов велел остановить экипаж у гостиницы на Тверской и тотчас щедро рассчитался с сопровождавшим его человеком, подарив ему вдобавок свою лисью шубу. Художник хандрил, у него болела голова, но на другой же день он отправился к своему товарищу по академии Ивану Дурнову. Туда же стали ходить московские художники, слушали с открытыми ртами Брюллова, невысокого, с белокурыми вьющимися волосами, выпуклым лбом. Однажды, вернувшись к себе в гостиницу, он не нашел своих чемоданов и услышал от хозяина:

— Его превосходительство господин Перовский изволили-с забрать. Они тут рядом живут, на Тверской же, в доме господина Олсуфьева...

По-разному описывали пребывание Брюллова в квартире Перовского.

Версия приятеля Алексея Толстого князя А. В. Мещерского совпадает с тем, что сообщал Пушкин со слов Перовского в письме к жене. Перовский давно уже заказал Брюллову портреты сестры, племянника и собственный. Он собирался щедро вознаградить Брюллова, но, зная, мол, о его невоздержанности, о буйной молодости, капризном нраве и непостоянстве, поставил условие, чтобы художник неотлучно находился в квартире до окончания портретов, не брал работ со стороны... Сперва будто бы художник был польщен своим положением в доме и был очень доволен хозяином, который умел очаровывать людей. Перовский тоже наслаждался беседами с умницей Брюлловым. Первым художник написал Алексея Толстого в охотничьем платье. Все были в восторге, и польщенный Брюллов приступил к портрету Перовского, но потом охладел к работе, стал исчезать из дому. Перовский усугубил любезность, но потом как-то не выдер-

жал и «весьма мягко прочел отеческое наставление». Это стало так раздражать художника, что он кое-как закончил портрет Перовского и бежал из дому, не взяв своих чемоданов и так и не начав портрета Анны Алексеевны Толстой.

Воспоминания московских художников не противоречат личным впечатлениям Пушкина, но дополняют их любопытными подробностями.

В Москве Брюллова постоянно окружали художники Тропинин, Витали, Дурнов, Маковский и другие. Они навещали живописца и тогда, когда он жил у Перовского, однако тот в конце концов велел отказывать им... Они видели портреты Алексея Толстого и Перовского и находили их превосходными. Брюллов, до этого пять месяцев не державший кисти в руке, работал с увлечением.

— Наконец я дорвался до палитры, — говорил он, потирая руки.

Правда, портретом Перовского он был недоволен, жаловался Егору Маковскому, что затемнил изображение, и приговаривал:

— Ведь вы знаете, что от меня потребуют после «Помпеи»!

Историк искусства Рамазанов пишет, что он «вскоре написал эскиз «Нашествие Гензериха на Рим»; и когда А. С. Пушкин, посетивши К. П. (Карла Павловича Брюллова. — *Д. Ж.*), заметил ему, что картина, произведенная по этому эскизу, может стать выше «Последнего дня Помпеи», он отвечал: «Сделаю выше Помпеи!» Потом он нарисовал эскиз «Взятие на небо Божией матери» карандашом в подарок графу Толстому; а другой эскиз с тем же сюжетом написал красками для А. А. Перовского. Еще написал для последнего гадающую Светлану...»

Егор Маковский говорил, что видел в комнате художника молодого человека, графа Толстого.

«Он (Брюллов) ему нарисовал свинцовым карандашом «Взятие на небо Божией матери» и, показывая этот рисунок преимущественно мне, сказал, хорошо ли он награвирован. Размером в открытый лист, из трех фигур, в несколько часов, признаюсь, так было нарисовано в полный штрих... и окончено до миниатюры. Подобного исполнения по правильности рисунка, выражению и эффекту я ничего подобного не видывал, и это было сделано в подарок графу».

Впоследствии Брюллов написал на ту же тему запрестольный образ для Казанского собора. Маковский уверял

также, что Пушкин будто бы бывал у Перовского, когда еще там жил Брюллов.

«Дурнов мне рассказывал, что, навещавши Карла Павловича не так здорового в квартире г. Перовского, встретил там А. С. Пушкина. У них шел оживленный разговор, что писать из русской истории. Поэт говорил о многих сюжетах из истории Петра Великого. Карл Павлович слушал с почтительным вниманием. Когда Пушкин кончил, Карл Павлович сказал: я думаю, вот какой сюжет просится на кисть, и начал объяснять кратко, ярко, с увлечением поэта, так, что Пушкин завертелся и сказал, что он ничего подобного лучше не слышал и что он видит картину писанную перед собою. Дурнов не сказал, какой сюжет, но до того был очарован, что поставил Брюллова в красноречии выше Пушкина.

Не видавши Карла Павловича у Перовского, его люди нам стали отказывать, что Брюллов нездоров и его нельзя видеть. Как-то приезжает Карл Павлович ко мне в Кремль, я имел тогда казенную квартиру на углу Конюшенного корпуса, против церкви Увара. С ним явился и Дурнов. Он сказал, почему мы его не посещали чаще, и узнавши, что нам отказывали, весьма остался недоволен своею квартирою и желал бы из-под опеки освободиться, сказал: я перееду к Маковскому, вот у него есть особая комната и все будем видеться чаще. Сказано и сделано...»

Пребывание у Перовского было временем самым плодотворным для Брюллова. Жаль только, что неизвестно, *как* писал художник портрет молодого Толстого, о чем они говорили во время сеансов... Брюллов несимпатичных ему людей никогда не писал, а иной раз даже бросал начатый портрет или превращал его в карикатуру, если разочаровывался.

Алексея Толстого он написал с любовью. На портрете Толстой стоит с ружьем и ягдташем, в архалуке, под которым виднеется белоснежная рубаха с отложным воротником и манжетами; у ног собака; в смутном пейзаже угадывается тростниковое болото. Лицо у Толстого продолговатое, холеное, волосы завитые и тщательно уложенные, над фарфоровыми лазурными мечтательными глазами высоко подняты дуги бровей, крупный нос, изящные линии рта и подбородка... А вот плечи, грудь, руки развиты не по возрасту, мышцы распирают архалук, бугрятся...

Мещерский, в свое время описывавший этот портрет, свидетельствовал: «Действительно, Алексей Толстой был необыкновенной силы: он гнул подковы, и у меня, между прочим, долго сохранялась серебряная вилка, из которой не только ручку, но и отдельно каждый зуб он скрутил винтом своими пальцами».

Карл Павлович говорил страстно, как всегда. В то время он увлекался русской стариной. Он хотел написать картину о 1812 годе.

— Я так полюбил Москву, — говаривал он, — что напишу ее при восхождении солнца и изображу возвращение ее жителей на разоренное пепелище.

В Москве Брюллов взбирался на колокольню, на Ивана Великого, откуда открывалась картина, какой не увидишь ни в одном другом городе мира — больше тысячи многоцветных каменных церквей теснились вокруг Кремля, на горизонте вздымались колокольни монастырей, воздух был насыщен историей. Брюллову то чудился самозванец, идущий на Москву с разношерстной ордой негодяев, то привиделся встревоженный Годунов, «то доносились до него крики стрельцов и посреди их голос боярина Артамона Матвеева, то неслись на конях Дмитрий Донской и князь Пожарский, то рисовалась около соборов тень Наполеона...». Брюллов любовался кремлевскими теремами, а впечатление от Успенского собора было сродни впечатлению, произведенному церковью святого Марка в Венеции.

Они с Толстым говорили об Италии и ее искусстве, они оба любили эту страну. Сохранились рассуждения Брюллова об упадке тогдашней живописи:

— Почему искусство пало? Потому что за мерило прекрасного в композиции взяли одного мастера, в колорите — другого и так далее. Сделали из этих художников каких-то недосягаемых богов, пустились подражать им, забыв, что сами живут в другой век, имеющий другие интересы и идеи, что сами имеют свои собственные ум и чувство, а потому ни Рафаэлями, ни Тицианами не вышли, а вышли жалкими обезьянами...

Толстому нравился Рубенс. У Брюллова было особое мнение о месте Рубенса среди великих живописцев.

— Рубенс — молодец, который не ищет нравиться и не силится обмануть зрителя правдоподобием, а просто щеголяет оттого, что богат; рядится пышно и красиво оттого, что это ему к лицу; богат, роскошен, любезен, что не всем удается. Не всегда строг к истине оттого, что при-

хотлив и своенравен, потому что богат, а богатство и мудрость, как известно, редко сочетаются. В его картинах роскошный пир для очей, а у богатого на пирах ешь, пей, да ума не пропей; пой, танцуй, гуляй, а пришедши домой, коли сам не богат, у себя пиров не затевай, а то или ум пропьешь, или с сумой по миру пойдешь, и пир твой похож будет на тризну, где обыкновенно уста плачут, а желудок улыбается. С Рубенсом не тягайся...

Брюллов обрывал себя вдруг и бормотал:

— Тут у меня повисло... Поверните голову немного влево... Нос у вас, милый граф, великоват — будем учиться у древних пониманию красот в природе и исправлению недостатков... Здесь нужно облегчить... И руку, руку... Да у вас целый оркестр в руке!.. Пока получается точно в перчатке, а картина должна быть так окончена, чтобы, закрыв ее, по одной руке можно было судить о характере целого... Рука заодно действует при каждом внутреннем движении человека — испуг ли это, удивление, грусть ли... Положим здесь светлой... и оживет...

Брюллов всматривался в крепкого юношу и видел не одну лишь розовую свежесть лица и легкий пушок на щеках. В глазах он улавливал волю, но его смущала линия рта, выдававшего если не слабохарактерность, то излишнюю доброту и совестливость, которые будут мешать юноше найти сразу свою дорогу. Художник угадывал в Алексее Толстом художника, и в облике его на портрете все отчетливее складывался артистизм как главная черта характера...

Алексей Алексеевич Перовский умирал.

Умирал от «грудной болезни» в Варшаве, в гостинице, где остановился проездом в Ниццу.

Перовский почувствовал себя очень плохо еще в мае, когда выяснял свои отношения с Брюлловым и разговаривал с Пушкиным. Врачи посоветовали выехать на юг Франции. Потом он собирался поселиться в Италии, нужны были деньги, и он срочно распродавал часть своих коллекций.

7 июня Алексей Толстой первый раз в своей жизни подал прошение об увольнении от службы, не поговорив предварительно ни с дядей, ни с матерью. Он уже решил стать поэтом, посвящать все свое время Искусству. Потом он вспоминал: «Все, что печалило меня, — а бы-

ло это часто, хотя и незаметно для посторонних взглядов, — и все то, чему я хотел бы найти отклик в уме, сердце друга, я подавлял в самом себе, а пока мой дядя был жив, то доверие, которое я питал к нему, сковывалось опасением его огорчить, порой — раздражить и уверенностью, что он будет со всем пылом восставать против некоторых идей и некоторых устремлений, составлявших существо моей умственной и душевной жизни».

Так оно и случилось. Хотя архив, в котором служил Толстой, «к увольнению препятствий не находил», родственники забеспокоились, и вскоре директор архива Малиновский получил собственноручное письмо от директора своего департамента графа Н. Виельгорского:

«Милостивый государь Алексей Федорович! На прошедшей почте имел я честь препроводить к вашему превосходительству отношение департамента хозяйственных и счетных дел о дозволении графу Толстому ехать в Ниццу на 4 месяца. Полагая, что он воспользуется сею высочайшею милостью и *отменит намерение оставить службу* (курсив мой. — *Д. Ж.*), я остановил просьбу о его отставке...»

Алексея Толстого заставили отменить свое решение, чего впоследствии он никак не мог себе простить. В 1856 году он напишет в одном из писем: «...Всякий день я сильнее убеждаюсь, что моя жизнь пошла по неверному пути и что все мои мысли 20 лет тому назад были справедливы, по крайней мере, что касается самого себя...»

Алексей Перовский отправился в путь вместе с сестрой и племянником. Перед отъездом к ним заехал попрощаться их старый знакомый А. Я. Булгаков, который уже тогда понял, что Перовский безнадежен, и отметил, что «лицо его еще болезненнее рядом со свежим веселым лицом сестры...»

И вот Варшава...

Анна Алексеевна все не верила в тяжелое состояние брата, и теперь она рыдала в соседней комнате. Алексей Толстой вместе с врачами неотлучно был у постели умирающего. Дядя заменил ему отца, опекал каждый его шаг, и, хотя опека эта порой казалась обременительной, сердце его не могло не откликаться на дядюшкину любовь и ежедневную заботу.

Перовский лучше, чем кто-либо другой, знал, что жить ему оставалось на свете немного, и тревожился за

будущность племянника. Тревога эта вылилась как-то у него в стихи простые и трогательные.

Друг юности моей! Ты требуешь совета?
Ты хочешь, чтобы план я точный начертал,
Как сыну твоему среди соблазнов света,
Среди невидимых, подводных, острых скал
По морю жизни плыть, — безвредно, безмятежно?
Задача трудная! Мой друг, в юдоли сей
Для бедствий мы живем, и горе неизбежно, —
Чрезмерно счастлив тот, кто на закате дня
Успел свой ломкий челн спасти от сокрушенья
И твердым якорем на верном грунте стать!
Но сколько есть пловцов, которым нет спасенья,
Которым суждено напрасно погибать!

Перовский мучился всю ночь, а наутро позвал «друга Анниньку» и племянника, сделал распоряжение о своем имуществе и долгах. Все его имения переходили в собственность Алеши, но распоряжаться ими должна была Анна Алексеевна.

Перовский угас. Прошло несколько дней, прежде чем Толстые пришли в себя и могли известить многочисленную родню.

Алексей Толстой писал к своему двоюродному брату Льву Перовскому: «...мой благодетель скончался после трех дней безмерных мучений, сохраняя ту силу любви и ту готовность принять смерть, которая была присуща ему. Он сохранил присутствие духа и память до конца. Он говорил нам о тебе: «Кланяйтесь Левушке и скажите ему, что я ему дарю те табакерки, которые я дал ему на подержание». Это случилось 9 21 июля в 9 часов утра. Он несколько раз благословил нас, попрощался с нами, дал нам советы и сказал, что следует делать после его смерти. Прощай, мой милый Левушка, я совершенно не в себе. Ни маменька, ни я еще не очнулись. Прощай, мой милый Левушка, помни своего

Алешу».



Глава третья

ПРОБА СИЛ

В Россию Толстые вернулись только осенью. В письме, посланном из Петербурга, Алексей Константинович извинился перед директором архива Малиновским о просрочке отпуска и поблагодарил за представление к чину коллежского регистратора. Но тогда же молодого человека перевели в другой департамент министерства иностранных дел, а позже назначили «к миссии нашей во Франкфурте-на-Майне, сверх штата».

Назначение было формальным. Чтобы не пропадала выслуга лет, или, как говорили, «старшинство». На самом деле он с головой окунулся в светскую жизнь Петербурга. Вспоминают, что он танцевал на балах, волочился напропалую, тратил две-три тысячи рублей в месяц.

На двадцатом году жизни даже глубокие раны рубцуются быстро.

Но было бы несправедливым упрекать Толстого в совершенном легкомыслии. Обаяние пустой и беззаботной жизни не заглушало до конца тоски по делу, по стихам,

которые хоть и писались, но все безделки, потом безжалостно уничтоженные.

По воспоминаниям, Толстой в то время поражал воображение своих сверстников.

«Граф Толстой, — писал А. В. Мещерский, — был одарен исключительной памятью. Мы часто для шутки испытывали друг у друга память, причем Алексей Толстой нас поражал тем, что по беглом прочтении целой большой страницы любой прозы, закрыв книгу, мог дословно все им прочитанное передать без одной ошибки; никто из нас, разумеется, не мог этого сделать».

В «Записках Василия Антоновича Инсарского» говорится: «Граф Алексей Толстой был в то время красивый молодой человек, с прекрасными белокурыми волосами и румянцем во всю щеку. Он еще более, чем князь Барятинский, походил на красную девицу; до такой степени нежность и деликатность проникала всю его фигуру. Можно представить мое изумление, когда князь однажды сказал мне: «Вы знаете, это величайший силач!» При этом известии я не мог не улыбнуться самым недоверчивым, чтобы не сказать презрительным образом; сам принадлежа к породе сильных людей, видавший на своем веку много действительных силачей, я тотчас подумал, что граф Толстой, этот румяный и нежный юноша, силач аристократический и дивит свой кружок какими-нибудь гимнастическими штуками. Заметив мое недоверие, князь стал рассказывать многие действительные опыты силы Толстого: как он свертывал в трубку серебряные ложки, вгонял пальцем в стену гвозди, разгибал подковы. Я не знал, что и думать. Впоследствии отзывы многих других лиц положительно подтвердили, что эта нежная оболочка скрывает действительного Геркулеса».

В короткой автобиографии, составленной много позже для итальянского литературного критика Анджело де Губернатиса, Алексей Толстой писал, что к страсти к искусству и Италии «вскоре присоединилась другая, составлявшая с ней странный контраст, на первый взгляд могущий показаться противоречием: это была страсть к охоте. С двадцатого года моей жизни она стала во мне так сильна и я предавался ей с таким жаром, что отдавал ей все время, которым мог располагать. В ту пору я состоял при дворе императора Николая и вел весьма светскую жизнь, имевшую для меня известное обаяние; тем не менее я часто убегал от нее и целые недели проводил в лесу, часто с товарищем, но обычно один. Среди

наших записных охотников я вскоре приобрел репутацию ловкого охотника на медведей и лосей и с головой погрузился в стихию, так же мало согласовавшуюся с моими артистическими наклонностями, как и с моим официальным положением; это увлечение не осталось без влияния на колорит моих стихотворений. Мне кажется, что ему я обязан тем, что почти все они написаны в мажорном тоне, тогда как мои соотечественники творили большею частью в минорном».

Весной 1837 года, судя по письмам, Алексей Толстой с матерью живут в Красном Роге. Охота заполняет почти все его время. Он бьет лис, косуль, зайцев. По ночам подстерегает волков.

Анна Алексеевна в это время захвачена хозяйственной деятельностью. Она переносит на другое место флигель (из всех красноргских зданий он один только и сохранился), она самовластно вводит строгости по отношению к крестьянам, которые при сердобольном и снисходительном Перовском привыкли к безнаказанности за потравы и порубки в господских владениях. Ожесточенные новыми порядками, двадцать пять крестьян из Рославца подстерегли в Пашицком лесу главного лесника, напали на него и избили до полусмерти.

По преданиям, которые рассказывают и по сей день в селе Красный Рог, Толстого занимала не только охота. В громадном парке и сегодня еще можно найти поляну, тесно обсаженную липами так, что они образуют круг. В середине этого круга молодой Толстой будто бы устраивал веселые празднества — девушки из села пели песни, показывали свое искусство бродячие скоморохи и плясуны. В «шалаше» — своеобразном зале на чистом воздухе, со стенами из подстриженных лип — на помосте стоял стол, за которым пировали молодой хозяин и его друзья. Рассказывают, что силач Алексей любил мериться силами с деревенскими богатырями.

В 1837 году Толстой съездил во Франкфурт-на-Майне, к месту службы. Там он впервые увиделся с Гоголем, с которым случилось забавное происшествие, о чем поведал со слов Алексея Толстого Пантелеймон Кулиш. Тот писал, что, остановясь в одной из франкфуртских гостиниц, Гоголь «вздумал ехать куда-то далее и, чтобы не встретить остановки по случаю отправки вещей, велел накануне отъезда гаускнехту (то, что у нас в трактирах

половой), уложить все вещи в чемодан, когда еще он будет спать, и отправить их туда-то. Утром, на другой день после этого распоряжения, посетил Гоголя граф А. К. Т(олстой), и Гоголь принял своего гостя в самом странном наряде — в простыне и одеяле. Гаускнехт исполнил приказание поэта с таким усердием, что не оставил ему даже во что одеться. Но Гоголь, кажется, был доволен своим положением и целый день принимал гостей в своей пестрой мантии, до тех пор пока знакомые собрали для него полный костюм и дали ему возможность уехать из Франкфурта».

Из-за рубежа Толстой вернулся в Петербург.

Он еще находится под «обаянием» большого света, который, по словам Соллогуба, умел и любил веселиться; на родовитых россиян еще не пахнуло ни английской деревянностью, ни французской распущенностью. Богатые дворяне стараются перенимать у соседей европейцев все щегольское, красивое, тонкое. Быть комильфотным — значит не позволять себе ничего экстравагантного. Ценится опрятность во всем — белоснежное белье; ни пылинки, ни складки на платье: на английском макинтоше без талии, панталонах от Шевреля, фраке, шитом в Лондоне...

Версификация среди образованного сословия — болезнь повальная, но почитаются поэты истинные — Пушкин, Жуковский, Баратынский, Языков... В домашних спектаклях играют все без исключения — от мала до велика. В многочисленных салонах царил умеренно фрондерский дух, что воспринималось императором, строго следившим за проявлениями истинного вольнодумства, с достаточной снисходительностью.

Федор Толстой, дядя Алексея Толстого, держал открытый дом: музыкальные и танцевальные вечера сменялись живыми картинами и домашними спектаклями. Алексей Толстой тогда еще не бывал у Федора Петровича, потому что, настроенный матерью, не хотел встречаться там с отцом, который дневал и ночевал у брата. У Федора Толстого часто прохаживались насчет императора. Дочь Федора Петровича вспоминала:

«Резкие речи его иногда доходили до императора; один раз Адлерберг нарочно приехал к отцу и передал ему слова монарха: «Спроси ты, пожалуйста, у Толстого, за что он меня ругает? Скажи ему от меня, чтобы он, по крайней мере, не делал это публично».

Давно кончился XVIII век, век временщиков и произ-

вола. Царь и его семейство при всем могуществе фактически были уже не более чем первыми дворянами государства и не могли не считаться с коллективным самосознанием дворянства. Заведенная после 14 декабря система сыска была внешне грозной, но не слишком действенной, когда дело касалось контроля над умами, что давало право Герцену говорить о «времени наружного рабства и внутреннего освобождения».

Алексей Толстой, проявивший потом себя как сатирик, в свои двадцать лет еще мало задумывался над политическими сложностями эпохи, да и сильно было влияние многочисленных Перовских, упорно делавших большую карьеру. Они и Алексея Толстого прочили на высокие посты.

В одном из его писем того времени есть такое: «Дядя мой Л. А. Пер(овский) известил меня, что В(аше) пр(евосходительство) сообщили ему намерение е. и. в. госуд. наследника поручить мне должность секретаря при его особе...» Это был дальний прицел «русской» партии при дворе, боровшейся за влияние с «немецкой» партией Бенкендорфа, Нессельроде, Клейнмихеля и других. Но назначение почему-то не состоялось. Скорее всего сказалось отвращение Толстого к бюрократии и манкирование им службой вообще.

Живя в Красном Роге с осени 1837 года, Толстой с удовольствием переписывается со своими молодыми петербургскими знакомыми. Письма он сочиняет в виде веселых «фантазий в нескольких действиях, не считая интермедий и дивертисментов», в которых наряду с вымышленными персонажами действуют его вполне реальные светские знакомые — Безбородко, Голенищев-Кутузов... Там множество пародий, выказывающих превосходное знакомство Толстого с репертуарами столичных театров, а также с модными сочинениями. Свои письма Толстой снабжал карикатурными иллюстрациями.

Со смертью Алексея Алексеевича Перовского его стал опекать дядя Лев Алексеевич Перовский, упорно старавшийся приобщить Толстого к государственным делам. Так, он дал ему ответственное поручение приглядеться к главнейшим статистическим учреждениям в Европе и представить ему результаты этих наблюдений. Толстой частично выполнил это поручение, ознакомился с французской и баварской статистическими комиссиями, но сохранившийся черновик его отчета полон скрытой иронии. Он советует обратиться к многочисленным сочинениям на

сей счет. Что же касается изложения собственных наблюдений применительно к русским потребностям, то он желал бы знать, «какие средства людьми и деньгами могут быть употреблены на это?».

Князь А. В. Мещерский, светский знакомый Толстого, рассказывает в мемуарах о своей семье, о матери, о сестре Елене, которая из милого подростка вдруг сделалась красивой барышней. Толстой влюбился в Елену Мещерскую не на шутку, но Анна Алексеевна была настороже...

Мещерский пишет: «Графиня-мать очень была дружна с моей матушкой и поэтому разрешила своему сыну бывать у нас. Впоследствии, когда сын ее был уже взрослым человеком и поведал матери свою первую юношескую любовь к моей сестре, причем просил разрешения просить ее руки, она, по-видимому, гораздо более из ревности к сыну, чем вследствие других каких-нибудь уважительных причин, стала горячо противиться этому браку и перестала видеться с моей матерью. Сын покорился воле матери, которую он обожал. Эта ревность графини к единственному своему сыну помешала ему до весьма зрелого возраста думать о браке...»

В семье девушки об Алексее Толстом были самого высокого мнения. А. В. Мещерский вспоминал: «Многолетняя дружба с этим замечательным человеком дает мне несомненное право думать, что мое мнение о нем как о лучшем из всех людей, которых я только знал и встречал в жизни, верно и не преувеличено. Действительно, подобной ясной и светлой души, такого отзывчивого и нежного сердца, такого вечноприсущего в человеке нравственного идеала я в жизни ни у кого не видел». Примерно так отзывался об Алексее Толстом всякий, с кем его сводила судьба и впоследствии.

Анна Алексеевна не выпускала сына из поля зрения ни на месяц. Была она с ним и в Италии в октябре 1838 года.

Через тридцать четыре года, посетив Комо снова, Алексей Константинович Толстой вглядывался в озеро, по которому ходили «голубые волны, золотистые, с маленькими серебряными шипочками», и чувствовал, что «шум от них идет в самое сердце». Так он вспоминал в одном из писем. И все здесь: горы «почти что наотвес», собор, где с обеих сторон у дверей стояли статуи двух

древних римлян — Плиния Старшего и Плиния Младшего в докторских мантиях четырнадцатого века, башни замка Бараделло — все напоминало ему о молодости и о романтическом приключении...

Толстой ходил тогда на виллу Реймонди вместе с наследником стрелять в цель и в голубей. Жуковский был с ними. Перед дворцом около большой дороги, на лужайке стоял большой ясень, под которым всегда сидели аббаты. Жуковский нарисовал ясень в своем альбоме, но с аббатами не справился и попросил Алексея Толстого нарисовать ему одного, что тот и сделал.

Однажды утром Толстой заметил в окне нижнего этажа девушку редкой красоты, с очень тонкой талией и уже развитой грудью. Она поглядывала на него с нескрываемым интересом. Он сказал ей несколько комплиментов, она оказалась бойкой девушкой, смело отвечала ему, и глаза ее обещали многое...

Ему захотелось встретиться с девушкой, и он нарочно забыл пороховницу в одной из гостиных виллы, а днем пошел ее разыскивать. Девушка оказалась дочерью местного сторожа, и звали ее Пеппина. Она охотно взялась помочь Толстому отыскать пороховницу, и они нашли ее в комнате, в которой были закрыты ставни.

«Прежде чем уйти, — вспоминал Толстой, — я сделал Пеппине объяснение в любви — такое, что она не могла больше сомневаться в моих чувствах. Остальное я забыл...»

Нет, он ничего не забыл и тридцать четыре года спустя, когда снова посетил виллу Реймонди, увидел ясень и под ним аббата, как тогда. Он позвонил у решетки, и калитку ему открыла молодая девушка, как в былое время открывала ее Пеппина.

«Она была похожа на Пеппину, но я хорошо знал, что это не была она, так как ей тогда было 16 лет, которых она теперь более иметь не может, по крайней мере, я так думаю.

Я попросил видеть сторожа, и старый человек пришел, но я знал, что это не был тот же самый, так как тому было тогда лет шестьдесят, и ему не могло быть их и теперь.

На мои вопросы новый сторож сообщил мне, что прежний умер, а также и жена его, но он ничего не мог мне сказать о Пеппине.

Он был тогда помощником сторожа, и у него глуповатый вид.

Я попросил его открыть мне, и я отыскал комнату и стул, на который я сел, как во время оно. Он спросил меня, не родственник ли я прежнему сторожу? Я отвечал: «Да, немного». Потом я посетил сад, и, к его удивлению, я ему указал место, где прежде было стрельбище... Это мне напомнило удивление швейцара дома Шиллера в Веймаре, когда я вернулся в него после тридцатипятилетнего отсутствия и расспрашивал его о различных лицах 26-го года.

— Но вы у меня спрашиваете о лицах, которые давно умерли, — сказал он мне. — Кто же вы?

Тем не менее я не отчаиваюсь найти Пеппину.

Я поручу это моему другу, старому лодочнику Франжи, и, если она не умерла, я пойду навестить ее».

В декабре 1838 года в Риме Алексей Толстой снова встретился с Гоголем и был приятно поражен переменой в его внешности. Исчез смешной хохолок, не стало костюма, составленного из резких противоположностей щегольства и неряшества; отрывистая речь, прерываемая легким носовым звуком, подергивающим лицо, сменилась плавным течением слов, и лишь глаза по-прежнему излучали доброту, веселость и любовь. Теперь у него были прекрасные белокурые волосы почти до плеч, он отпустил усы и эспаньолку, которые как-то скрадывали длинный и кривоватый нос; просторный сюртук вместо модного фрака придавал ему солидность.

Это тогда Гоголь, желая помочь одному своему земляку-художнику, согласился читать «Ревизора» у княгини Зинаиды Волконской в ее Палаццо Поли. Все русские бросились покупать билеты, съезд был огромный. Но Гоголь, чем-то расстроенный, читал монотонно. Многие из высокопоставленной публики не вернулись к чтению второго действия и даже говаривали: «Этой пошлостью он кормил нас в Петербурге, теперь он перенес ее в Рим». Художники и друзья Гоголя были возмущены таким поведением знати, и Алексей Толстой тоже.

Из окружения наследника престола Алексею Толстому был ближе всего молодой граф Иосиф Виельгорский, юноша очень любознательный, жадный до знаний. Он слушал курс наук вместе с наследником, но особенной дружбы между ними не было, потому что Александр не обладал волевой целеустремленностью и чувствовал себя неловко с людьми цельными. Впоследствии Александр II

подчинялся разнородным влияниям, включая и самые дурные, что делало его политику расплывчатой и противоречивой, и при всех своих либеральных (по сравнению с отцовскими) делах терпел губительные провалы.

Гоголь сдружился с Виельгорским и Толстым. Они узнали Рим с такой стороны, с какой из русских знал Вечный город лишь один Гоголь... У Виельгорского была чахотка. Он умер в мае. Смерть этого добрейшего и талантливого молодого человека Гоголь и Толстой переживали тяжко.

Как-то Александра Осиповна Россет-Смирнова, знавшая Алексея Толстого с детства, побывала вместе с ним и Гоголем на богослужении в соборе святого Петра. Престарелого папу Григория VI внесли на носилках с балдахином. Длинноносый худой старик со слезящимися глазами часто делал знаки носильщикам, чтобы они останавливались — папа боялся головокружения. На паперти он простер руки, толпа стала на колени. Играла музыка, звонили колокола, стреляли пушки. В толпу бросали индульгенции, началась свалка, люди грубо рвали друг у друга из рук отпущение грехов прошлых и будущих. Странно было наблюдать этот средневековый пережиток, но картина в общем была забавная и красочная. Кардиналы были в красных мантиях, аббаты — в лиловых, папские гвардейцы — в красных мундирах с белыми султанами...

Толстой с матерью больше жил в Ливорно, где у графини был салон. Летом 1839 года историк Погодин встретил Толстого в Париже.

Толстой унаследовал от Алексея Перовского интерес к мистике и громадную библиотеку, посвященную таинственным явлениям. В те годы Толстой писал рассказы на французском языке вроде «Семьи вурдалака», весьма искусно преподносил всякие ужасы в духе английских «готических» или «страшных» романов, начиненных встречами с призраками и вампирами.

Писатель Болеслав Маркевич, который впоследствии перевел «Семью вурдалака» с французского на русский, писал в примечании : «Рассказ этот вместе с другим: «Свидание через 300 лет»... заключающимся в той же имеющейся у меня тетради покойного графа А. К. Толстого, принадлежит к эпохе ранней молодости нашего поэта. Они написаны по-французски, с намеренным подражанием несколько изысканной манере и архаическим оборотам речи conteur'ов Франции XVIII века».

Вскоре он написал и фантастическую повесть в том же роде, назвав ее «Упырь», но уже по-русски и с русскими героями. Он следовал по стопам своего дядюшки Антония Погорельского, Гоголя, Владимира Одоевского...

Да и не у них одних домовые, привидения, бесы, движущиеся сами по себе неодушевленные предметы появлялись в романтических сочинениях. Традиция восходила к Гёте, Нодье, Мериме, Грильпарцеру, Гофману... Интерес к сверхъестественному у Толстого останется на всю жизнь, хотя он и пытался иронизировать над собственным увлечением.

В «Упыре» у Толстого фантастика замешана на русской действительности. На многолюдном московском балу герой повести Руневский встречается с молодым, бледным и совершенно седым незнакомцем, который обращает его внимание на бригадиршу Сугробину и ее внучку Дашу и утверждает, что был на похоронах старухи и та теперь «не что иное, как гнусный упырь», ждущий удобного случая, чтобы насытиться кровью внучки. На балу оказываются и другие упыри. Однако вскоре Руневский знакомится с Сугробиной и ее внучкой, и все вроде бы разъясняется.

«— Знаю, мой батюшка, — говорит старуха о незнакомце, — это господин Рыбаренко. Он родом малороссиянин и из хорошей фамилии, только он, бедняжка, уж три года, как помешался в уме. А это все от модного воспитания. Ведь, кажется, еще молоко на губах не обсохло, а надо было поехать в чужие края! Пошатался там года с три, да и приехал с умом наизнанку...»

Так строится вся повесть. Толстой завлекает читателя «жуткими» подробностями и приключениями, но каждый раз вновь возвращает его на реальную почву. Однако целый ряд фантастических совпадений оставляет подозрение, что все они совершаются не зря — что-то сверх разумения человеческого существует на самом деле.

В реалистичной части повести чувствуется ироническое настроение Толстого. Высказывалось мнение, что бригадирша Сугробина с ее сочными рассказами списана с бабушки Марьи Михайловны, но это вряд ли соответствует истине, так как Сугробина — типичная московская старая барыня и по разговору, и по повадкам. А Марья Михайловна, хоть и приобрела дом в Москве, и прежде и потом все больше живала на Украине со своим новым мужем генералом Петром Васильевичем Денисьевым. Видно, что-то осталось в ней привлекательное после

сорока лет жизни с Разумовским и многочисленных родов. Алексей Толстой бывал в их громадном украинском доме, полном всякой прислуги. Во время обеда там играл оркестр на хорах. Супруги выходили нарядные — Марья Михайловна в чепце с цветами, а дородный Денисьев в генеральском мундире — под звуки марша с хоров. Обеды длились долго — по два часа, подавалось двенадцать блюд, и генерал брал по два раза каждое. Умер он «от объядения». Марья Михайловна последовала за ним несколько лет спустя, в год смерти своего любимого сына Алексея Перовского.

Нет, в повести отразились иные, московские, впечатления. Тогдашние светские нравы изображены весьма язвительно. Особенно достается барышням вроде Софьи Карповны, жеманным, претенциозным, злым на язык. Зато как трогательно он рисует скромницу и умницу Дашу, как подробно изображает движения ее души, отражающиеся всякий раз в выражении ее лица. Возможно, он рисовал свой весьма туманный идеал любимой, который видел в княжне Мещерской или в ком-нибудь другом.

Одна из линий повести уводит читателя далеко, в Италию, к озеру Комо, на *виллу Ремонди,* где живет *дочь тамошнего сторожа Пепина,* сестра контрабандиста Титты Канелли. И мы уже догадываемся, какое воспоминание легло в те строки, где узнаватель упырей Рыбаренко вдруг застает в комнате заброшенной виллы Пепину, которая просит его выхлопотать прощение для брата.

«И говоря это, она обнимала мои колена, и крупные слезы катились по ее щекам. Огненного цвета лента, опоясывавшая ее голову, развязалась, и волосы, извиваясь как змеи, упали на ее плечи. Она так была прекрасна, что в эту минуту я забыл о своем страхе, о вилле Urgina и об ее преданиях. Я вскочил с кровати, и уста наши соединились в долгий поцелуй...»

Но не в описании различных романтических обстоятельств проявил себя искусником Алексей Толстой. Он блеснул умением строить очень сложный сюжет, раскрывая в себе дар драматурга. Все намеченные им в завязке ходы переплетаются сложнейшим и неожиданнейшим образом. Тут проклятье, тяготеющее над всем родом, и громадное (для повести небольшого объема) число перипетий... Стоит лишь упомянуть, что Рыбаренко оказывается незаконнорожденным сыном Сугробиной и кончает с собой, бросившись с колокольни Ивана Великого...

Толстой напечатал «Упыря» отдельной книгой в

1841 году, предварительно прочитав ее литераторам, собиравшимся у Соллогуба. Белинский сразу же заметил нового литератора и обнаружил в повести «все признаки еще молодого, но тем не менее замечательного дарования». Незрело все, конечно: чрезмерная пылкость и напряженность фантазии не умеряются еще опытом жизни. В фантастике нет глубокой мысли. Но «несмотря на внешность изобретения, — продолжал критик, — уже самая многосложность и запутанность его обнаруживают в авторе силу фантазии; а мастерское изложение, уменье сделать из своих лиц что-то вроде характеров, способность схватить дух страны и времени, к которым относится событие, прекрасный язык, иногда похожий даже на *слог*, словом, во всем отпечаток руки твердой, литературной, — все это заставляет надеяться в будущем на многое от автора «Упыря». В ком есть талант, в том жизнь и наука сделают свое дело, а в авторе «Упыря» — повторяем — есть решительное дарование».

Автора Белинский не знал. На титульном листе книги стояло: Упырь. Сочинение Краснорогского. СПб. 1841.

О литературных занятиях Алексея Толстого свидетельствует и письмо, направленное издателю «Современника» П. А. Плетневу.

«11 марта 1840 г.

Милостивый государь

Петр Александрович,

Если Вы найдете стихотворения мои достойными «Современника», то я почту себя счастливым, содействовав толщине сего журнала. Так как я малороссиянин, то легко быть может, что Вы встретите в меня ошибкы против правописания. В таком случае Вы, милостивый государь, немало меня обяжете, приняв на себя труд оные исправит, ибо мне на старости лет учиться Орфографии и Пунктуацыи кажется столько же трудным, сколько и бесполезным!

Прымите, милостивый государь, уверение в истинном почтении и совершенной преданности, с которымы честь имею бить

Вашим покорнейшим слугою.

Афанасий Погорельский»

Так было положено начало знаменитым потом мистификациям, но на этот раз стихи Афанасия Погорельского, предтечи Козьма Пруткова, не были напечатаны, и следы их пока, к сожалению, не обнаружены.

Приходно-расходная книга Алексея Толстого за 1841 год говорит о том, что он держал лошадей, заказывал ливреи для слуг, а для себя десятки пар перчаток, бывал в опере, посещал балы и концерты, абонировался на модное тогда катание с гор, учился рисовать красками, купил только что появившиеся телефонные аппараты, только в январе трижды ездил охотиться. Позже появляются записи крупных сумм, истраченных на медвежью охоту. которая не всегда кончалась благополучно...

Было время, когда медведи еще водились в окрестностях Ораниенбаума. Егеря отыскивали для Толстого берлоги, поднимали зверей, а он бил их в упор из ружья или, что было интересней, брал их на рогатину. Эта молодецкая забава требовала отчаянной смелости, громадной силы и ловкости. Надо было ждать, когда медведь приблизится почти вплотную, всадить ему в грудь острие рогатины и упереть ее древко в землю устойчиво, чтобы, напирая всей тушей, зверь сам пронзил себя. И здесь уж берегись — стоило дрогнуть, замешкаться, и рогатина разлеталась на куски от удара медвежьей лапы, другой удар сносил полчерепа неудачливому охотнику. За свою жизнь Толстой убил не менее сотни медведей, десятки раз он видел совсем рядом пасть с желтыми клыками, ощущал на своем лице зловонное дыхание зверя, увертывался от ударов могучих лап, а иной раз и цепляли его когти, вспарывая одежду и оставляя глубокие рваные раны...

Охотился он на всякую дичь. За год до смерти писал: «В старости я намерен описать многие захватывающие эпизоды из этой жизни в лесу, которую я вел в лучшие свои годы и от которой теперешняя моя болезнь оторвала меня, быть может, навсегда. Теперь же могу только сказать, что любовь моя к нашей дикой природе проявлялась в моих стихотворениях так же, по-видимому, часто, как и свойственное мне чувство пластической красоты».

Он не успел выполнить своего намерения, а наброски к воспоминаниям, которые, несомненно, существовали, погибли безвозвратно. Остались только очерки «Волчий приемыш» и «Два дня в киргизской степи», напечатанные в начале сороковых годов в «Журнале коннозаводства и охоты».

Первый связан с охотничьим приключением в Красном Роге, второй — с поездкой в Оренбург в июне 1841 года.

Путешествовать в то время по российскому бездоро-

жью было совсем непросто. «От Москвы до Нижнего — ни одной почтовой лошади, — писал А. К. Толстой; — дороги, превосходящие все самое чудовищное, что может создать горячечное воображение: до Владимира — якобы шоссейная дорога, каждый камешек которой по объему соответствует булыжнику петербургских мостовых, а по своей форме — артишоку; провалившиеся мосты, насыпи, размытые весной во время ледохода... а для переправы через Волгу — какие-то жалкие лодчонки и, наконец, в довершение бедствий — прочно слаженный экипаж, который ломается 11 раз в течение 20 дней...»

Толстой приехал в Оренбург вместе с камергером Скарятиным, который собирался там лечиться кумысом.

Оренбургским военным губернатором и командующим тамошним отдельным корпусом был старший брат Анны Алексеевны — Василий Алексеевич Перовский, личность настолько незаурядная, что Лев Толстой собирался писать о нем роман...

Алексей Толстой нашел своего дядю очень больным — на месте старой раны сделалась громадная опухоль, требовавшая хирургического вмешательства.

Тридцати восьми лет от роду Перовского назначили начальником обширного пограничного края, снабдив почти неограниченными полномочиями. Он был решителен, смел, порой даже жесток. Он мог предать смерти ослушавшегося подчиненного и стоять на своем до конца перед самым высоким начальством, если считал себя правым. На брюлловских портретах он красив, статен, усы у него лихо закручены, лоб высокий, взгляд умных глаз холоден. На одном из портретов он изображен в полный рост на фоне степи, лошадей, кибиток, на указательном пальце левой руки длинный серебряный наперсток, палец ему оторвало пулей в Бородинском сражении.

Перовский много сделал для освоения края. Правда, в походе на Хиву, предпринятом с шеститысячным отрядом, его постигла неудача из-за сильных морозов и падежа верблюдов.

Административным центром края была Уфа, но Перовский предпочитал быть ближе к войскам и жил в Оренбурге. Это к нему, «нежданный и нечаянный», приехал в 1833 году Пушкин собирать материалы для своей «Истории пугачевского бунта». Они с Перовским были на «ты». Пушкин остановился в доме губернатора на Губернской улице, а потом перешел жить к Владимиру Далю, с которым вместе ходил обедать к Перовскому. Изда-

тель «Русского архива» П. Бартенев писал о неизданной рукописи, содержавшей рассказ самого Пушкина:

«Поздно утром Пушкина разбудил страшный хохот. Он видит: стоит Перовский, держит письмо в руках и заливается хохотом. Дело в том, что он получил письмо от Б. из Нижнего (от губернатора Бутурлина. — *Д. Ж.*), содержания такого: «У нас недавно проезжал Пушкин. Я, зная, кто он, обласкал его, но, должно признаться, никак не верю, чтобы он разъезжал за документами о Пугачевском бунте; должно быть, ему дано тайное поручение собирать сведения о неисправностях. Вы знаете мое к вам расположение; я почел долгом вам посоветовать, чтоб вы были осторожнее...» Тогда Пушкину пришла идея написать комедию «Ревизор». Он сообщил после об этом Гоголю, рассказывал несколько раз другим и собирался сам что-то написать в этом роде».

Позже нижегородский военный губернатор М. П. Бутурлин получил указание из Петербурга о секретном полицейском надзоре за поэтом, о чем он известил, в свою очередь, Перовского, а тот сделал пометку на бумаге:

«Отвечать, что сие отношение получено через месяц по отбытии г. Пушкина отсюда, а потому, хотя во время кратковременного его в Оренбурге пребывания и не было за ним полицейского надзора, но как он останавливался в моем доме, то тем лучше могу удостоверить, что поездка его в Оренбургский край не имела другого предмета, кроме нужных ему исторических изысканий».

Все это было рассказано Алексею Толстому его дядей, оренбургскими чиновниками и офицерами. Перовский поручил племянника заботам завзятого охотника инженерного полковника Артюхова, который первым делом сводил Толстого в свою знаменитую на весь Оренбург баню, а в ней в свое время побывал и Пушкин. Веселый, круглолицый, голубоглазый, но уже растерявший свои золотые кудри Артюхов потчевал Толстого пивом и поведал ему о своем разговоре с Пушкиным об охоте.

— Вы охотитесь, стреляете? — спросил Александр Сергеевич.

— Как же-с, понемножку занимаемся и этим; не одному долгоносому довелось успокоиться в нашей сумке.

— Что же вы стреляете, уток?

— Помилуйте-с, кто будет стрелять эту падаль! Это какая-то гадкая старуха, — ударишь ее по загривку, она свалится боком, как топор с полки, бьется, валяется в грязи, кувыркается... тьфу!

— Так что же вы стреляете?

— Нет-с, не уток. Вот как выйдешь в чистую рощицу, как запустишь своего Фингала, а он — нюх направо, нюх налево... и стойку: вытянулся, как на пружине... одеревенел, окаменел! Пиль, Фингал! Как свечка загорелся, столбом взвился...

— Кто, кто? — перебил Пушкин, весь поглощенный рассказом.

— Кто-с? Разумеется, кто: слука, вальдшнеп. Тут царап его по сарафану... А он только раскинет крылья, головку набок... замрет в воздухе, умирая, как Брут!

Полковник Артюхов раскинул врозь руки, показывая смерть вальдшнепа. Толстой слушал не дыша.

— А что дальше? — спросил он.

— Дальше-с Александр Сергеевич долго смеялся, а через год прислал мне свою «Историю Пугачевского бунта» с надписью. Вот смотрите.

Он протянул Толстому книгу, на которой рукой Пушкина было написано: «Тому офицеру, который сравнивает вальдшнепа с Валенштейном».

Алексей Толстой еле сдержал смех, он почувствовал, что Артюхов обижен на поэта, не запомнившего имени...

Время было летнее, и вскоре Толстой выехал на «кочевку», в летнюю резиденцию Перовского, которая была между Оренбургом и Уфой, у реки Белой. Он хотел поохотиться с соколами на уток и стрепетов, но соколов еще только ожидали, и он ходил с легавой за тетеревами. На холмах, покрытых дубняком и березняком, в долинах, где росли усыпанные ягодами кусты, охота была невиданная. За три часа каждый охотник убивал шестьдесят-семьдесят тетеревов. Такая охота сперва забавляла, потом приелась, потеряла прелесть, была похожа на бойню, какую устраивают в немецких охотничьих парках.

Но тут пришло на «кочевку» известие, что за Уралом появились табуны сайгаков. Казаки рассказывали Толстому, что во время Хивинского похода гонялись за антилопами на самых быстрых скакунах и не могли догнать. Однажды удалось окружить табун и загнать в середину верблюжьего обоза, но сайгаки без всякого усилия перепрыгнули через навьюченных верблюдов и исчезли из виду.

В сопровождении вооруженных башкир и казаков Толстой отправился по речке Белгуш к Уралу. Он был возбужден, целый день перед отъездом выливал пули, делал патроны. Ехали быстро, останавливаясь в станицах

для короткого отдыха и подкрепления. Через реку Урал переправились у Сухореченской... Толстой описывал переправу так:

«Крутые берега, утесы, тарантас, до половины погруженный в воду, прыгающие лошади, башкирцы, вооруженные луками, наши ружья и сверкающие кинжалы, все это, освещенное восходящим солнцем, составляло прекрасную и оригинальную картину. Урал в этом месте неширок, но так быстр, что нас едва не унесло течением. На другой стороне степь приняла совершенно новый вид. Дорога скоро исчезла, и мы ехали целиком по крепкой глинистой почве, едва покрытой сожженною солнцем травою. Степь рисовалась перед нами во всем своем необъятном величии, подобная слегка взволнованному морю. Тысячи разноцветных оттенков бороздили ее в разных направлениях; в иных местах стлался прозрачный пар, через другие бежали тени облаков, и все казалось в движении, хотя ничто не поражало нашего слуха, кроме стука колес и конского топота. Вдруг один башкирец остановил коня и протянул руку. Последовав глазами направление его пальца, я увидел несколько светло-желтых точек, движущихся на горизонте: то были сайгаки...»

А потом он полз с казаками по жесткой, как камень, глине, покрытой еще маленькими острыми камешками, потом стрелял, промахнулся и снова стрелял, попал сайгаку в шею, заслужил у казаков за меткость одобрительный возглас: «Джигит!»

На другой день снова была охота, и казак ловко добил раненого сайгака метким ударом нагайки по носу. А вечером башкиры состязались в стрельбе из лука, боролись, пробовали силу. В борьбе ловкие башкиры бросали его на землю, но никто не мог взять над ним верх «в пробовании силы». Очевидно, в поднятии тяжестей.

«Когда настала ночь, мы все вместе отправились в Сухореченскую крепость. Казаки затянули песни, и голоса их терялись в необъятном пространстве, не повторяемые ни одним отголоском... Песни эти отзывались то глубоким унынием, то отчаянною удалью и время от времени были приправляемы такими энергетическими словами, каких нельзя и повторить...

Как теперь вижу я небо, усеянное звездами, и степь, похожую на открытое море; как теперь слышу слова:

Дай нам бог, казаченкам, пожить да послужить,
На своей сторонушке головки положить!

Слышу глухой топот и фырканье коней, бряцание стремян, шум и плеск воды, когда мы переезжали через Урал...»

Алексей Толстой был прекрасно воспитанным молодым человеком. Аристократическое воспитание обязывало его всегда быть подтянутым, держаться просто и непринужденно в любом обществе, к неприятностям относиться стоически и даже с иронией, скрывать свои мысли. Да и некому было «поверять мои огорчения, некому излить мою душу», — скажет он потом.

Анне Алексеевне Толстой казалось, что она живет интересами сына. Она хлопотала о его придворной карьере и благосостоянии, упивалась почтительностью и послушанием Алексея, ревниво относилась к любому его увлечению — будь то стихи или женщина. Ей хотелось, чтобы сын, пользуясь своим общественным положением «друга наследника престола», делал карьеру.

Жизнь Алексея Толстого до определенного возраста просматривается словно сквозь золотистую дымку. Все теряется в благополучии или, как он сам выражался, во «внешних событиях». а о «жизни внутренней» приходится лишь догадываться.

Отец дал ему графский титул. Дядя Алексей Перовский оставил громадное состояние — более трех тысяч крепостных в Черниговской губернии. Мать избавила его от хозяйственных забот, взяв на себя управление имениями. С помощью влиятельных братьев она старалась преумножить состояние, пускаясь в рискованные финансовые операции, «участвуя в золотых промыслах Оренбургской губернии».

Анна Алексеевна пыталась приохотить сына к своей деятельности, но он не проявлял к этому никакого интереса и навсегда остался человеком непрактичным.

Если судить по «Списку чинам II отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии», занимавшейся подготовкой различных законов и указов, то Алексея Толстого в это учреждение определили в 1841 году младшим чиновником в чине губернского секретаря. Служил он без рвения, сразу разобравшись, что инициатива не только не поощрялась, но во многих случаях была даже наказуема. Громоздкий административный аппарат империи был проникнут духом равнодушия и неприязнью к каким бы то ни было переменам.

Толстого охотно отпускали в поездки по стране и за границу, и если возникало желание поохотиться, то в Красный Рог из Петербурга летело письмо с просьбой к матери выхлопотать у главноуправляющего II отделением графа Д. Н. Блудова внеочередной отпуск: «Матушка, прикажите мне к Вам приехать!»

И где бы он ни был, за ним следило недреманное око родственников. Лев Алексеевич Перовский, назначенный министром внутренних дел, опекал его в Петербурге. Василий Алексеевич — в Оренбурге...

Их заботами Алексея Толстого повышали в чинах при всяком удобном случае. Следовали «Всемилостивейшие пожалования» в коллежские секретари и титулярные советники (1842), в коллежские асессоры (1845), в надворные советники (1846), в коллежские советники (1852).

Кроме того, в 1843 году Толстой получил придворное звание камер-юнкера.

Осенью того же года он анонимно напечатал в «Листке для светских людей» стихотворение «Серебрянка» («*Бор сосновый в стране одинокой стоит...*»). В последующие десять с лишним лет он не опубликовал ни одного своего стихотворения ни под псевдонимом, ни под собственным именем.

Были попытки публиковать прозу в литературных сборниках «Вчера и сегодня», составлявшихся графом В. А. Соллогубом. Рассказ «Артемий Семенович Бервенковский» (о встрече в пути с помещиком, увлекающимся механикой, строящим вечные двигатели и нелепейшие приспособления) оказался явным подражанием Гоголю и единственной пробой пера в духе «натуральной школы». Отрывок из несохранившегося романа «Стебеловский» под названием «Амена» был назван Белинским «скучной статьей», чем-то «вроде неудачного раздражения мысли, взятой в плен из сочинений Шатобриана». Критик намекал на «Мучеников» французского писателя, тоже сталкивавшего умирающий языческий мир с торжествующим христианством. Здесь несомненно одно — великолепная эрудиция Толстого...

Казалось бы, дарование, обещанное в «Упыре» и замеченное Белинским, не развивается, а раннее стихотворение Толстого «Поэт» — лишь набор громких фраз.

В жизни светской, в жизни душной
Песнопевца не узнать!
В нем личиной равнодушной
Скрыта божия печать...

Жизни ток его спокоен,
Как река среди равнин,
Меж людей он добрый воин
Или мирный гражданин.

Но порой мечтою странной
Он томится одинок;
В час великий, в час нежданный
Пробуждается пророк...

Создается впечатление, что «спокойный ток жизни» его вполне устраивает и он охотно подчиняется настояниям матери и дядюшек не слишком увлекаться литературными занятиями, накапливать светские знакомства и уделять больше внимания делаемой ему карьере. Время от времени родственники хлопочут о предоставлении ему длительных отпусков за границу. Мать по-прежнему не выпускает его из поля зрения. Здоровье ее пошатнулось, она требует ежечасной сыновней заботы. Так, в мае 1846 года Алексей Толстой «с соизволения Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича получил шестимесячный отпуск за границу для сопровождения матери, отправлявшейся туда по болезни».

Из этого отпуска Толстой вернулся лишь через год. «По-видимому, — пишет биограф поэта А. А. Кондратьев, — какая-то серьезная причина заставила графиню держать сына столь долгое время вдали от Петербурга». У матери с сыном была ссора, окончившаяся выражением горячей сыновней любви и обещанием слушаться во всем.

Она и в Петербурге держит его при себе. С ней он делает визиты к ее сверстницам, возит ее в театр и на концерты. Если ему случалось быть в обществе без Анны Алексеевны, графиня не ложилась спать до его прихода, как бы поздно он ни возвращался. Она страшно растолстела, задыхалась и могла спать только на матраце, постеленном на полу.

Алексей Толстой, напротив, чувствовал себя прекрасно. Художник П. П. Соколов в своих воспоминаниях рассказывает об одной встрече у Владимира Александровича Соллогуба, жене которого, Софье Михайловне, урожденной Виельгорской, он давал уроки рисования. Хозяева задержались. В гостиной у рояля стоял высокий, пышущий здоровьем человек с высоким белым лбом. Он обласкал художника взглядом и сказал:

— Чем нам врозь поглядывать друг на друга... присядемте-ка вот сюда. Ведь вы художник Соколов? А по-

звольте вас спросить, почему вы так пристально на меня смотрели?

— Да потому что вы обладаете таким здоровым цветом лица, что мне, художнику, крайне в диковинку встретить нечто подобное в Петербурге.

— Да, этому я обязан всецело только деревенской жизни. Ведь я постоянно живу в деревне, охочусь, вожусь со своими собаками и беру все, что может дать мне наша общая мать-природа. Но мы с вами еще незнакомы...

Высокий человек встал и подал руку.

— Алексей Толстой... Очень буду рад встретиться с вами. Ведь вы знаете Жемчужникова? Не литератора — тот мой друг, — а художника. Так вот, я у него бываю, и мы можем у него встретиться.

Очерчивается круг людей, с которыми Толстой общался в то время. Это его двоюродные братья Жемчужниковы, это Виельгорские и Соллогубы, это и те, кто посещал салоны Карамзиной, вдовы историка, и знаменитой некогда Авроры Демидовой, обеды Владимира Одоевского, к которым подавали омерзительно пахнувшие «химические соуса», сотворенные хозяином «научным способом»... Бывал там Федор Иванович Тютчев, неизменно остроумный, великолепный рассказчик. Соперничал с ним Вяземский. Толстой встречал там Гоголя, Некрасова, Панаева, поэтессу Ростопчину, Бенедиктова...

Сохранившиеся документы 1848 года опять же говорят о внешних событиях жизни Алексея Толстого. Вот пухлое дело, разбиравшееся в сенате «О захватах и других самоуправных поступках, произведенных крестьянами помещицы Уваровой в имении, называемом Шведским хутором». Это давняя тяжба между законными отпрысками графа Разумовского, которые представлены его дочерью Екатериной Алексеевной Разумовской, а в замужестве Уваровой, и Перовскими — «побочными». Дело началось еще при жизни Алексея Перовского из-за косьбы на лужке на речке Моисеевке, когда между крестьянами начались драки, за которыми последовали аресты и разбирательства, новые драки, порубки леса, захваты бортовых деревьев. Дело тянулось десятки лет (кус немалый — на хуторе Шведском было 2437 десятин), и выиграли его Перовские, которых формально представлял Алексей Толстой. Из документов известно, что поверенным его был дворовый Данила Гаврилов Ар-

хипенко, что самого Толстого, жившего тогда в 1-й Адмиралтейской части, во 2-м квартале, в доме под № 30/117, вызывали в канцелярию «для учинения рукоприкладства под выпискою из дела». 28 октября 1848 года пристав доносил, что Толстой находится в Царском Селе в доме Кобылянского. Толстой равнодушно подписывал длиннейшие кляузы, составлявшиеся поверенными.

В том же году Толстой получил такое свидетельство от морского министерства: «Сим объявляется всем и каждому, кому о том ведать надлежит, что предъявитель сего Граф Алексей Константинович Толстой, на основании Высочайше утвержденного 25 сентября 1846 года Устава Императорского С.-Петербургского Яхт-Клуба, внесен февраля 6-го дня 1848 года в список сего клуба под № 24-й...»

Этот документ давал ему права, о которых мы поговорим в дальнейшем...

И на службе и в свете Толстой встречался с одними и теми же людьми. В списках его сослуживцев по II отделению числятся князья Одоевский, Львов, Мещерский, Шаховской, Долгоруков, Юсупов, Щербатов, Урусов, графы Шувалов, Рибопьер... Фамилии громкие, но ни один из них не оставил какого бы то ни было следа в духовной жизни Толстого, и если есть упоминания о них в его переписке, то по самым незначительным случаям.

Пышные дворцовые церемонии, присутствие на бесконечных парадах и балах, встречи с императором и его наследником, высшими сановниками государства — все это для него каждодневная рутина, осмысливавшаяся Толстым с досадой, которая едва сглаживалась иронией.

И на службе и при дворе Толстой держится с большим достоинством. Его громадная физическая сила, рост, осанка, остроумие, которое избавляет его от слишком назойливых придворных, поездки на охоту с наследником престола и многое другое создает ему неуязвимую репутацию, позволяет жить и на виду и в то же время особняком...

Вот ему уже тридцать лет. И за тридцать. Он в чинах. Неженат — маменька усердно расстраивала налаживавшиеся было его отношения с ненавистными ей представительницами слабого пола, всякий раз увозя или отправляя Толстого подальше, предпочтительно за границу.

Но так ли уж пусто и бессмысленно протекали его дни? Все ли «в жизни светской, в жизни душной», под «личиной равнодушной»?

К 1848 году относится первая мимолетная встреча Алексея Константиновича Толстого и Софьи Андреевны Миллер. Подробности этой встречи неизвестны, и можно было бы вовсе не упоминать о ней, если бы не новая встреча через три года, преобразившая Толстого. В потоке писем, хлынувшем к Софье Андреевне после этой встречи, очень много признаний, касающихся «жизни внутренней» начиная с времен давних...

«У меня были внутренние бури, доводившие меня до желания биться головой об стену. Причиной этого было лишь возмущение против моего положения...»

Он бьется в золотой клетке, созданной для него родственниками, всем строем жизни, которую придумали для него. Как ему вырваться? Как попасть в общество людей, любящих искусство, и вернуться к тому, для чего он предназначен природой?

«Но как работать для искусства, когда слышишь со всех сторон слова: *служба, чин, вицмундир, начальство* и тому подобное?

Как быть поэтом, когда совсем уверен, что вас никогда не напечатают, и вследствие того никто вас никогда не будет знать?

Я не могу восторгаться вицмундиром, и мне запрещают быть художником; что мне остается делать, если не заснуть? Правда, что *не следует* засыпать и что нужно искать себе другой круг деятельности, более полезный, более очевидно полезный, чем искусство; но это перемещение деятельности труднее для человека, родившегося художником, чем для другого...»

Служба? Он бы рад быть полезным, но ведь большинство людей «под предлогом, что служат, живут интригами, одна грязней другой».

Как он завидует людям, которые наряду со службой занимаются еще и искусством! У них и лица другие. «Так и видно, что в них живут совсем другие мысли, и смотря на них, можно отдохнуть».

Он убежден, что «для служебной жизни» не рожден и пользы ей принести может мало.

«Я родился художником, но все обстоятельства и вся

моя жизнь до сих пор противились тому, чтобы я сделался вполне художником.

Вообще вся наша администрация и общий строй — явный неприятель всему, что есть художество, — начиная с поэзии и до устройства улиц...

Я никогда не мог бы быть ни министром, ни директором департамента, ни губернатором...»

Но выбора у него нет. В России стараются всех запихнуть в одну форму, в служебную.

«Иной и влезет, а у другого или ноги длинны, или голова велика — и хотел бы, да не впихаешь!

И выходит из него черт знает что такое.

Это люди или бесполезные, или вредные, но они сходят за людей, отплативших свой долг отечеству, — и в этих случаях принята фраза: «Надобно, чтобы каждый приносил по мере сил пользу государству».

Те же, которые не служат и живут у себя в деревне и занимаются участью тех, которые вверены им богом, называются праздношатающимися или вольнодумцами. Им ставят в пример тех полезных людей, которые в Петербурге танцуют, ездят на ученье или являются каждое утро в какую-нибудь канцелярию и пишут там страшную чепуху».

Толстой полагает, что из него вышел бы «хороший сельский хозяин», то есть помещик (в чем, как показало будущее, он явно ошибался).

Толстой отчасти проникнут теми настроениями дворянства, о которых писал Герцен:

«В глубине провинции и особенно в Москве явно увеличивается класс независимых людей, не соглашающихся ни на какую публичную службу и занимающихся управлением своих имений, науками и литературой. Они ничего не требуют от правительства, если это последнее оставляет их в покое. Они — полная противоположность петербургской знати, которая привязана к публичной службе и ко двору, преисполнена рабского честолюбия, ждет всякой правительственной службы и ею только живет. Ничего не прося, оставаясь независимыми и не добиваясь должностей, они именуются при деспотическом режиме творцами оппозиции. Правительство косо глядит на этих «лентяев» и недовольно ими. На самом деле они составляют ядро цивилизованных людей и настроены против петербургского режима...»

Но положение Алексея Толстого двойственно — он совершенно лишен «рабского честолюбия», хотя и «при-

вязан ко двору». Эта привязанность обуславливалась волей всего клана Перовских, которые считали своим священным долгом служить императору.

Николай I считал своим долгом навести порядок в таком великом и сложном государстве, как Россия, искоренить воровство и произвол, добиться процветания... Он старался регламентировать каждый шаг своих подданных, старался лично уследить за всем, без его утверждения не строилось даже ни одно казенное здание в стране. Он добился того, что внешне утвердился казарменный порядок. Но за этим фасадом царила формалистика, прикрывавшая те же произвол, лихоимство и казнокрадство. Бюрократическая формалистика развращала людей как ничто другое. Она порождала всеобщее лицемерие, которое само по себе исключало веру и убеждение.

Реакция на это людей честных, для которых смысл жизни был не в одних лишь материальных соображениях, проявлялась по-разному — одни бежали от казенщины в частную жизнь, другие боролись с лихоимством, оставаясь на службе, третьи отрицали существующий порядок целиком и, пытаясь заявлять о своих взглядах публично, подвергались гонениям.

Зная благодаря своим связям механику государственной цензуры, надзора над мыслями, Толстой все-таки мечтает о литературном поприще. Он твердо верит, что его призвание — *быть писателем.*

«Это поприще, в котором я, без сомненья, буду обречен на неизвестность, по крайней мере, надолго, так как те, которые хотят быть напечатаны теперь, должны стараться писать как можно хуже — а я сделаю все возможное, чтобы писать хорошо... С раннего детства я чувствовал влечение к художеству и ощущал инстинктивное отвращение к «чиновнизму» — к «капрализму».

Я не знаю, как это делается, но большею частью все, что я чувствую, я чувствую художественно...»

Толстой скромен. Работает он много, но не считает пока возможным публиковать написанное. С тягостным чувством он ездит на службу. По воспоминаниям, Толстой приходит в дурное настроение и ворчит, когда надо ехать на очередное дежурство во дворец, где у него тоже есть обязанности, связанные с придворным званием. Зато ночью он предоставлен самому себе. Толстой читает, пишет, и ночная работа переходит у него в привычку, оставшуюся на всю жизнь. Но это потом сказалось на его здоровье, так как спал он всегда очень мало — в каком

бы часу Толстой ни лег, в шесть утра он уже бывал на ногах.

Тут-то и разрушается окончательно представление об Алексее Константиновиче Толстом как о человеке, чья молодость прошла бесцельно, в одной лишь светской суете, в рабском подчинении деспотическим требованиям родных, в бесплодном существовании. Все эти годы он учится, запойно читает, его можно считать одним из самых образованных людей своего времени. Но его ничуть не манит и ученая карьера. Он остро чувствует красоту мира, он ищет себя в искусстве.

«Я рожден художником не только для литературы, но и для пластических искусств, — рассуждает он. — Хотя я сам ничего не могу сделать как живописец, но я чувствую и понимаю живопись и скульптуру также. Часто я сам себе говорю, смотря на картину: «Господи, если бы я мог это сделать... насколько бы я еще лучше сделал».

Музыка одна для меня недоступна; это великолепный рай, который я вижу издали, который я отгадываю и вокруг которого я хожу — но не могу взойти в него...»

Тем не менее Толстой живет музыкой, мелодии и ритмы звучат в его душе, облекаясь в слова, и рождаются стихи, пластичность которых будет неудержимо привлекать внимание композиторов.

Сколько было написано им стихотворений в сороковые годы прошлого столетия, о том не дано знать никому. Известно лишь, что уничтожал он их сотнями и сразу и много лет спустя. И все-таки он еще долго будет раздумывать, вправе ли он предлагать свои стихи читателю, настоящий ли он поэт?

Но и сохранившиеся стихи Толстой неоднократно переделывал, прежде чем отдать их в печать.

Откуда эта придирчивость к себе? Да и вообще, что мы знаем о тридцатилетнем Алексее Толстом? Только то, что он по летам своим человек зрелый, что у него представительная внешность, могучее сложение, покладистый характер, что он щепетильно честен и перед собой, и перед людьми, которые называют это качество благородством. Но мало кто догадывается, что за внешним лоском и умением говорить умно и занятно, за автоматизмом поведения, выработанным воспитанием и привычкой, скрывается юношеская мечтательность, неуверенность в своих силах и невероятная застенчивость.

Да, он мечтатель. Мечтатель запойный, наделенный необузданным воображением, которого он стыдится, по-





Кирилл Григорьевич Разумовский. Алексей Кириллович Разумовский.

Дворец Разумовских в Почепе.





Анна Алексеевна
Толстая
с сыном Алексеем.

Константин Петрович
Толстой,
отец поэта,
в преклонные годы.



Алексей Толстой в отрочестве.



Алексей Алексеевич Перовский, дядя поэта.



Анна Алексеевна Толстая.

«Охотничий замок» в Красном Роге.

Дом Перовских в Москве на Ново-Басманной улице.
Фото автора.

Федор Петрович Толстой, дядя поэта.



К. Брюллов. Портрет А. К. Толстого. 1836.



И. А. Крылов.



А. С. Пушкин.



В. А. Жуковский.



Н. В. Гоголь.

Петербург.
Невский проспект.



К. Брюллов.
Автопортрет.
1835.



К. Брюллов.
Алексей Алексеевич
Перовский
(Погорельский).

К. Брюллов.
Василий Алексеевич
Перовский.





Лев Алексеевич
Перовский.



Л. М. Жемчужников,
Л. Ф. Лагорио,
А. Е. Бейдеман.
Портрет Козьмы Пруткова.
1853.

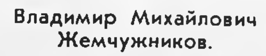
Здание Пробирной палатки, где жил, служил, творил и скончался К. П. Прутков. Ленинград, ул. Плеханова, 28 (б. Казанская). Фото автора.



Алексей Константинович
Толстой.



Алексей Михайлович
Жемчужников.



Владимир Михайлович
Жемчужников.

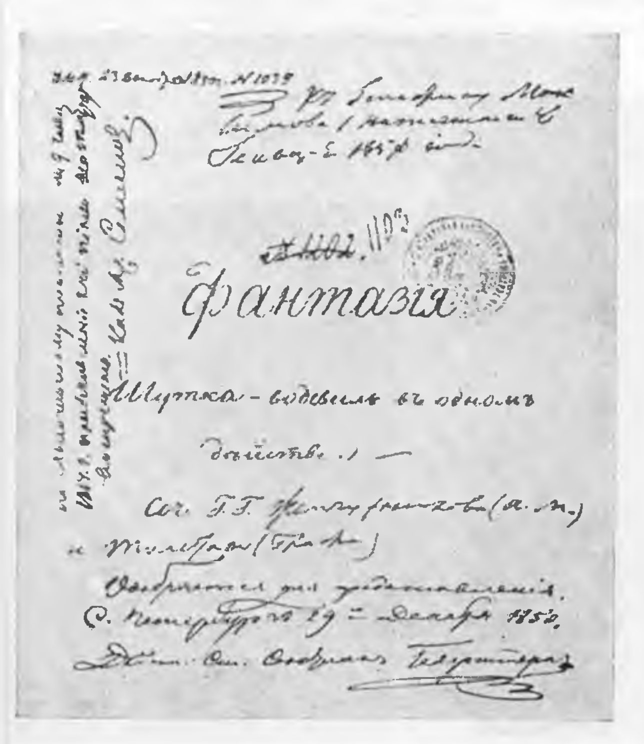


Александр Михайлович
Жемчужников. 80—90-е годы.





Рисунок А. К. Толстого «Юный президент Вашингтон».



Фантазія

Шутка-водевиль въ одномъ дѣйствіи

Титульный лист цензурного экземпляра «Фантазии».



Алексей Толстой и Алексей Жемчужников в Пустыньке.
Акварель.

Колокольчики.

Александре Осиповне Смирновой от сочинителя.

Автограф стихотворения «Колокольчики».



А. О. Смирнова-Россет.

тому что в этой мечтательности есть что-то беззащитно-детское, несерьезное, неприличное в конце концов. Ну право же, достойно ли взрослого человека представлять себя великим музыкантом, внезапно, чудесным образом получающим замечательный дар импровизации и своей игрой на скрипке способным по желанию заставлять толпы людей плакать или смеяться? Или вот, он живописец, с легкостью создающий полотна, которые превосходят все созданное искусством всех времен и народов и завораживают те же толпы, не устающие повторять его имя. Воображал он себя и героем, совершающим чудеса храбрости на полях былых битв...

Странно это для человека зрелого, невероятно сильного, не раз испытывавшего свою храбрость на охоте, когда брал на рогатину матерых медведей... Но, пожалуй, это была единственная отдушина в той в общем-то монотонной жизни, в той «спокойной» эпохе, на которую пришлась его жизнь. Мечтал он и о встрече с необыкновенной женщиной, о необыкновенной любви, давая волю воображению, рисовавшему необыкновенные приключения...

Была ли такая мечтательность творческой? И да и нет. Он осознавал детскость этой игры, но не мог противостоять ее увлекательности, прорывавшейся и в стихи. Он рвал исписанные листки и читал Пушкина и Лермонтова, находя в их творениях фантазию, обузданную философским смыслом и вложенную в тщательно обдуманные рамки. Он начинал понимать, что стихотворение сродни любому прекрасному зданию, в котором фантазия архитектора сочетается с точнейшим расчетом, и что в этом расчете и рождаются пропорции — непременное условие красоты. То, что жило в нем стихийно, постепенно приобретало порядок, но рационалистичность не гасила воображения. Как долго совершался этот процесс, трудно определить по позднейшим намекам в его письмах. Толстой пробовал себя в «Упыре», он проделывал немало опытов, прежде чем обрел острое литературное чутье, позволяющее сразу же ощущать, удалось ли написанное. С годами это чутье обостряется, писать становится из-за собственной придирчивости не легче, а труднее.

К счастью, рационализм не заглушил фантазии Толстого, вдохновение не стало редким гостем, а внутренний цензор не сковывал руку...

Не раз говорилось о том, что Алексей Константинович Толстой всю жизнь оставался романтиком. У него жизнь и поэзия — всегда одно. Романтичны и «Цыганские пес-

ни», лучшее произведение начального периода творчества Толстого.

Из Индии дальной
На Русь прилетев,
Со степью печальной
Их свыкся напев...

Не знаю, оттуда ль
Их нега звучит,
Но русская удаль
В них бьет и кипит;

В них голос природы,
В них гнева язык,
В них детские годы,
В них радости крик...

И грозный шум сечи,
И шепот струи,
И тихие речи,
Маруся, твои!

Маруся, Мария... К этому имени есть обращение и в другом стихотворении. Кто она? Какие отношения связывали ее с Алексеем Толстым? А может быть, это еще одно бесплотное порождение поэтических мечтаний?

Ты помнишь ли, Мария,
Один старинный дом
И липы вековые
Над дремлющим прудом?..

Нет, Мария, юная, милая Мария Львова была. И был старинный обветшавший дом в имении князей Львовых в подмосковной усадьбе Спас-Телешово, где висели потемневшие портреты предков, считавших свой род от Рюрика. Из рам чопорно глядели бородатые бояре, служившие при царе Алексее Михайловиче, и вельможи в белых париках, презиравшие Бирона и сложившие за это головы на плахе.

Пятнадцатилетняя Мария была кузиной Алексея Толстого, дочерью одной из многочисленных сестер его матери. Ее отец, князь Львов, считал себя литератором и служил цензором, но впоследствии был отстранен от должности личным распоряжением Николая I за пропуск отдельного издания «Записок охотника» И. С. Тургенева. На его петербургской даче в Лесном корпусе часто гостили юные Жемчужниковы, двоюродные братья Алексея Толстого. И сам он часто бывал там. В 1848 году он про-

вел несколько дней в Спас-Телешове, бродил с кузиной по безмолвным аллеям старого заглохшего сада, спускавшегося к реке, за которой золотились поля. Все это запечатлелось в целомудренных стихах Толстого и вспоминалось потом, когда Мария вышла замуж за С. С. Волкова, предводителя дворянства Клинского уезда. Толстой переписывался с ней, делился с Марией Владимировной своими мыслями и планами, а году в 1860-м спрашивал:

«Что дорожка? Произведение рук человеческих, а я всегда вспоминаю с удовольствием, как мы раз удрали в лес и поздно вечером вернулись домой, никем не примеченные».

Невинные прогулки уже через год вспоминались тепло и даже с сожалением о том, что могло быть и не было.

И роща, где впервые
Бродили мы одни?
Ты помнишь ли, Мария,
Утраченные дни?

В сохранившихся стихах сороковых годов Толстой вновь и вновь возвращается к теме (как ее принято теперь называть) «малой родины». Старинная усадьба, деревня, природа — вот к чему обращены его чувства. Все остальное — Петербург, высший свет, служба, заграничные впечатления — никак не отражается в его творчестве. Ему слышится призывный благовест колоколов пятиглавых сельских храмов...

К себе он тянет
Неодолимо,
Зовет и манит
Он в край родимый,

В край благодатный,
Забытый мною, —
И, непонятной
Томим тоскою,

Молюсь и каюсь я,
И плачу снова,
И отрекаюсь я
От дела злого;

Далеко странствуя
Мечтой чудесною,
Через пространства я
Лечу небесные...

«Дело злое» могло быть и поэтическим преувеличением, а могло и относиться к бездушию государственно-

го механизма, в котором его вращала, как и все другие колеса, жестокая регламентация. Он бежит — иногда въявь, иногда в мечте — в край своего детства, в край предков, где среди степей спокойно катятся реки, а над золотистыми нивами видны дымки дальних деревень... Пейзажи в то время он выписывал скупо и точно. Но по большей части его стихотворения пронизаны грустным настроением, какое бывает у одинокого человека в осеннюю пору, когда он, вглядываясь через окно в мокрый унылый сад, слушает, как барабанит по крыше дождь.

Подсмотренные картинки деревенской жизни и те служат ему лишь фоном для передачи своего настроения. Иной раз он ловит себя на том, что какая-нибудь сказанная им фраза и обстановка, в которой она произнесена, — все это уже было с ним когда-то. Это ощущение, знакомое почти каждому и объясненное психологией, в поэзии появилось впервые у Алексея Толстого в стихотворении «По гребле неровной и тряской...», где с падающим сердцем он вдруг чувствует такое повторение.

...Так точно ступала лошадка,
Такие ж тащила мешки,
Такие ж у мельницы шаткой
Сидели в траве мужики...

Уже в сороковые годы Алексей Толстой, несмотря на замеченную им впоследствии подражательность некоторых своих ранних стихов, обещал стать поэтом самобытным, способным музыкально передавать интимнейшие чувствования и переживания. Настроение тогда его было не сплошь элегично. Во все времена ему отрадно в Красном Роге,

Где гнутся над омутом лозы,
Где летнее солнце печет,
Летают и пляшут стрекозы,
Веселый ведут хоровод.

Очевидно, в одну из поездок на родину (Петербург, где родился Толстой, он своей родиной не считал) было задумано знаменитое стихотворение «Ты знаешь край, где все обильем дышит». Тогда Толстой объездил весь край, где некогда главенствовал его прадед, последний украинский гетман Кирила Григорьевич Разумовский. Побывал он и в Почепе и в Батурине — гетманских резиденциях. Он увидел Батурин совершенно запустелым. Покривившись, стоял деревянный одноэтажный дом, в котором Ра-

зумовский провел последний год жизни в окружении многочисленной челяди, сутками сиживая за ломберным столом. Только раз прокатили в кресле больного гетмана в каменный дворец, который он распорядился построить на высоком берегу Сейма. Теперь дворец разваливался, из стен росли деревья, в заросшем бурьяном дворе пасся вол. Разумовского похоронили в церкви. Толстой увидел там памятник, сотворенный каким-то льстивым скульптором из темно-серого гранита и белого мрамора, с урной и барельефным аристократическим профилем, хотя в действительности гетман тонкостью черт лица не отличался...

Все здесь напоминало о бурном веке Елизаветы и Екатерины, о необыкновенных судьбах простых казаков Алексея и Кирилы Разумовских.

Посещением Батурина навеяны строфы:

Ты знаешь край, где Сейм печально воды
Меж берегов осиротелых льет,
Над ним дворца разрушенные своды,
Густой травой давно заросший вход,
Над дверью щит с гетманской булавою?..
Туда, туда стремлюся я душою!

Ты знаешь дом, где, враг презренной лести,
Родной земле отдав остаток сил,
Последний гетман жизни, полной чести,
Златой закат спокойно проводил?
Ты знаешь дом и липы над горою?
Туда, туда стремлюся я душою!

Алексей Толстой несколько идеализировал своего предка, и, когда пришло время публиковать стихотворение, он и сам понял это и вместе с некоторыми другими строфами выбросил последнюю...

Не раз возвращается Толстой в те годы к теме заброшенных дворянских гнезд, где в прошлом столетии кипела жизнь, а ныне все являет собой развал и запустенье. Ему кажется, что патриархальная старина, когда крупные помещики сами занимались хозяйством и чинили суд и расправу над крестьянами, лучше нынешних времен с их мотовством, забвением вотчин, которые передоверены управляющим. Толстой в стихотворении «Пустой дом» обвиняет своих светских знакомых, свою родню, не щадя и себя самого:

В блестящей столице иные из них
    С ничтожной смешались толпой;
Поветрие моды умчало других

Из родины в мир им чужой.
Там русский от русского края отвык,
Забыл свою веру, забыл свой язык!

Крестьян его бедных наемник гнетет,
Он властвует ими один;
Его не пугают роптанья сирот...
Услышит ли их господин?
А если услышит — рукою махнет...
Забыли потомки свой доблестный род!..

И здесь уже можно усмотреть зародыш того социального мотива, который с такой силой прозвучит в «Забытой деревне» Некрасова.

Антикрепостнические взгляды Толстого известны достаточно хорошо из его стихотворений и писем. Меньшего внимания удостаивается его баллада «Богатырь», написанная в конце сороковых годов.

Сколько раз в своих поездках по России и особенно по западным ее губерниям он видел безобразные сцены у кабаков, видел, как спиваются целые деревни, губятся судьбы человеческие... И постепенно у него складывается образ этакого «богатыря», разъезжающего по Руси на разбитой кляче, покрытого дырявой рогожей и со штофом в руке. И где бы он ни появлялся, «ссоры, болезни и голод плетутся за клячей его». Зловещий всадник тянет в кабак всякого, кто уже вкушал злого зелья. «В кабак, до последней рубахи, добро мужика снесено». Толстой рассказывает о пьяных драках, о заброшенных нивах, о талантливом художнике, пристрастившемся к водке и забывшем кисть, о преступности, порождаемой пьянством, о молодом человеке, полном желания заняться наукой и в городе от голодухи прельстившемся водкой... «И вот потонули в сивухе родные святые мечты!»

Стучат и расходятся чарки,
Рекою бушует вино,
Уносит деревни и села
И Русь затопляет оно.

Дерутся и режутся братья,
И мать дочерей продает,
Плач, песни, и вой, и проклятья —
Питейное дело растет...

Да, размах «питейного дела» в России ему знаком превосходно. Он знает разговоры о вреде водки, которые то и дело ведутся во дворце, но знает он, что это сплошное

лицемерие, так как страна находится в постоянном финансовом кризисе. Недалекий Николай I целиком доверяет выходцу из Германии министру финансов Канкрину.

Верный слуга царю, Канкрин тормозил строительство железных дорог, покрывал ежегодный дефицит выпуском бумажных денег, хотя Россия кормила своим хлебом едва ли не половину Европы. Это он завел винные откупа, давая возможность наживаться на спаивании народа откупщикам Утину, барону Гинзбургу, Бенардаки, Горфункелю и им подобным.

— Я знаю, что дело нечистое, да денежки чистые, — говаривал Канкрин, перефразируя римского императора Веспасиана, который, взимая налог с отхожих мест, утверждал, что деньги не пахнут. Тот же Канкрин хвастался перед военным министром Чернышевым: «А у меня, батушка, кабаков больше, чем у вас батальонов!»

А всадник на кляче не дремлет,
Он едет и свищет в кулак;
Где кляча ударит копытом,
Там тотчас стоит и кабак.

Это было обвинение, брошенное Толстым в лицо николаевским сановникам, которые в сотрудничестве с представителями крупной буржуазии спаивали народ. Казенная монополия на производство и продажу «орленых штофов» объяснялась финансовой «необходимостью». Запрет на водку лишил бы двор возможности делать многие бессмысленные расходы, лишил бы наживы откупщиков и их многочисленных родственников-кабатчиков, о которых Толстой сказал, что они «богатеют, жиреют» по мере того, как «беднеет, худеет народ». Ту же политику проводил и преемник Канкрина, рекомендованный им после ухода в отставку новый министр Вронченко. Весьма невзрачный, но невероятно хитрый, Вронченко на одном из первых же докладов в присутствии всех других министров, сделав вид, что страшно испугался вошедшего Николая I, выронил портфель, и все бумаги разлетелись по полу. Когда все захохотали, царь строго сказал: «Тут нет ничего смешного!» — и первого принял нового министра финансов. Император любил отличать тех, кто его боялся, и вскоре сделал Вронченко графом.

Двоюродный брат Алексея Толстого художник Лев Жемчужников в своей записке «Император Николай I и характеристика этой личности» писал: «Незабвенный»

император Николай I, вступивший на престол при громе пушек и при громе пушек сошедший в могилу, наследовал безумие отца, мстительность и лицемерность своей бабушки. Он совмещал в себе качества противоположные: рыцарство и вероломство, храбрость и трусость, ум и недомыслие, великодушие и злопамятность. Царствовал он тридцать лет и, думая осчастливить Россию, разорил и унизил ее значение».

В записке, написанной на рубеже XIX и XX веков, прямо указывается, что многие сведения о характере и поступках Николая I почерпнуты из рассказов А. К. Толстого.

Царь всячески подчеркивал свою скромность. Спал на походной кровати, стоявшей в скромном помещении, главным украшением которого был большой бюст графа Бенкендорфа.

И хотя в тревожные для царизма дни 1848 года царь, обращаясь к петербургским дворянам, воскликнул: «Господа! У меня полиции нет, я не люблю ее: вы моя полиция...», он свято чтил память Александра Христофоровича Бенкендорфа, шефа жандармов, задумавшего зловещее III Отделение сразу же после декабрьских событий 1825 года и писавшего в своем проекте:

«Для того чтобы полиция была хороша и обнимала все пункты империи, необходимо, чтобы она подчинялась системе строгой централизации, чтобы ее боялись и уважали и чтобы уважение это было внушено нравственными качествами ее главного начальника».

Он предлагал царю на этот пост себя. Зная природу нелучшей части человечества, Бенкендорф предлагал начальнику тайной полиции сделаться фигурой явной.

«Злодеи, интриганы и люди недалекие, раскаявшись в своих ошибках или стараясь искупить свою вину доносом, будут по крайней мере знать, куда им обратиться».

Алексей Толстой едва ли не первый в России осмелится показать в литературе «лазоревых полковников», но это потом, а пока он лишь превосходно осведомлен, что существует еще одна тайная полиция, подчиняющаяся его родному дяде, министру внутренних дел Льву Алексеевичу Перовскому и выследившая петрашевцев. Император был весьма доволен соперничеством параллельных сысков, обеспечивавших относительную безопасность, хотя, по его словам, «возникнув сперва во Франции, мятеж

и безначалие... разливаясь повсеместно с наглостию, возраставшею по мере уступчивости правительств», теперь угрожают «в безумии своем и нашей богом вверенной России».

Казалось бы, внешних перемен при царском дворе нет. По-прежнему царя можно встретить днем на Невском, по-прежнему он бывает в русском и французском театрах, не пропускает маскарадов в Большом театре и Дворянском собрании, где ходит по залам, громадный, всеми узнаваемый, с какой-нибудь стройной маской под руку, но делающий вид, что не замечает почтительных поклонов. По-прежнему задаются балы и маскарады в Зимнем дворце, устраиваются спектакли и музыкальные вечера, на которых к оркестрантам-итальянцам иногда присоединяется император, недурно играющий на флейте. Чаще балы и вечера бывают в Аничковом дворце, где живет наследник Александр, женатый с 1841 года на дочери великого герцога Гессен-Дармштадтского, которая из принцессы Максимилианы-Вильгельмины-Августы-Софьи-Марии после православного миропомазания превратилась в великую княгиню Марию Александровну.

Здесь-то и бывает чаще всего по долгу службы Алексей Толстой. И он ощущает тщательно скрываемую тревогу царской семьи. Порой она прорывалась в таких сценах: наследник произнес патриотический спич перед офицерами по поводу частичной мобилизации, и те по обыкновению крикнули «ура!», а цесаревна, услышав крик, бросилась к супругу в полной уверенности, что его уже убивают...

С вестью о парижской революции 1848 года в петербургских кофейнях было не протолкнуться среди людей, листавших газеты. Симпатии даже в высшем обществе были на стороне парижан.

Революция на Западе отразилась в России духовным гнетом. Началось «мрачное семилетие», продолжавшееся до самой смерти Николая I. Особый «бутурлинский» комитет обследовал содержание журналов и действия цензуры. Бутурлин поговаривал о запрещении Евангелия за его демократический дух, а формулу Уварова «православие, самодержавие, народность» объявил революционным лозунгом. Сам Уваров был замещен на посту министра просвещения Ширинским-Шихматовым, который, как каламбурили современники, объявил русскому просвещению шах и мат.

Многие издания были закрыты, остальные утратили

определенность направлений, потеряли лицо. Комитет считал литературу «скользким поприщем» и выискивал крамолу между строк. Журнал «Современник» был обвинен едва ли не в проповеди коммунизма и революции.

— Должно повиноваться, а рассуждения свои держать про себя, — сказал Николай I по поводу одной из журнальных статей.

Алексей Толстой в журналах не печатался, но читал их. На его глазах разгоралась полемика, которая отражала, как писали в отчетах III Отделения, «беспрерывно тлеющую мысль о свободе крестьян». Демократически настроенное дворянство западной ориентировки сражалось со славянофилами, идеализировавшими допетровскую Русь, верившими в сельскую общину и считавшими, что у России особый, самобытный путь исторического развития. Антикрепостниками были и те и другие. На глазах Толстого расправились с петрашевцами и Кирилло-Мефодиевским братством, которым занимался, кстати, наследник. (По этому делу проходили и Шевченко с Костомаровым.) Но Толстой ничего не мог поделать, хотя и сочувствовал Шевченко, о чем говорит приписка к одному из его писем того времени: «Шевченко вовсе не умер и не убит. У меня перед глазами вид Аральского моря, сделанный им. Он здравствует и будет, вероятно, скоро представлен к повышению, поелику начальство им довольно». Вскоре Толстой будет хлопотать об облегчении участи и освобождении отданного в солдатчину поэта.

На глазах Толстого зарождалась «натуральная» школа. Только она, перераставшая в крепкий русский критический реализм, и проявляла себя в «мрачное семилетие» вопреки цензуре...

Журнальная полемика не вызывала у Толстого особенного желания стать на ту или иную сторону, потому что у него была своя точка зрения на все, и он охотно соглашался с тем, что считал разумным, и отвергал крайности. Ему нравились некоторые идеи славянофилов, и не без их влияния были написаны в сороковые годы замечательные стихотворения «Колокольчики мои, цветики степные!..» и «Ой стоги, стоги...», в которых Толстой воспевал Россию как единственную силу, способную защитить и объединить разрозненное славянство. Мессианская роль России представлялась ему в романтическом свете. Сла-

вянский конь, «дикий, непокорный», не воспитанный «ученым ездоком», чем-то напоминает у Толстого гоголевскую тройку.

Есть нам, конь, с тобой простор!
    Мир забывши тесный,
Мы летим во весь опор
    К цели неизвестной.

И хотя путь этот чреват многими опасностями и бедствиями, Толстой предвидит торжество объединения и неодолимость славянства, но когда это будет? Мечта так далека от действительности...

Громче звон колоколов,
    Гусли раздаются,
Гости сели вкруг столов,
    Мед и брага льются,
Шум летит на дальний юг
    К турке и к венгерцу —
И ковшей славянских звук
    Немцам не по сердцу!

Гой вы, цветики мои,
    Цветики степные!
Что глядите на меня,
    Темно-голубые?
И о чем грустите вы
    В день веселый мая,
Средь некошеной травы
    Головой качая?

Обо всех своих пристрастиях Толстой выскажется позже, но, видимо, он думал над словами Гоголя:

«Все эти славянисты и европисты, — или же староверы и нововеры, или же восточники и западники, а что они в самом деле, не умею сказать, потому что покамест они мне кажутся карикатурами на то, чем хотят быть, — все они говорят о двух разных сторонах одного и того же предмета, никак не догадываясь, что ничуть не спорят и не перечат друг другу».

Гоголь считал, что с обеих сторон «наговаривается много дичи», что ни те, ни другие не могут увидеть и понять «строение» — основу народной жизни.

С Гоголем Толстого связывало многое. Очевидно, встречаясь, они говорили и об отечественной истории.

Когда Алексей Толстой увлекся историей? Карамзи-

ным он зачитывался едва ли не с тех пор, как научился бегло читать. Кратковременная служба в архиве и личное знакомство (по рекомендации А. А. Перовского) с Погодиным еще больше приохотили Толстого к историческим занятиям.

— Ни одна история не заключает в себе столько чудесного, как российская! — восклицал Погодин, и Алексей Толстой вполне разделял восторги маститого ученого, выказывая в разговорах с ним отменную начитанность.

Да и кто из литераторов в те годы не проявлял интереса к истории! Во времена, для духовной жизни удушливые, обращение к истории своего народа помогало осмысливать современные явления. Славянофилы и западники сражались, побивая друг друга историческими концепциями и фактами, а речь шла, в сущности, о будущем...

Но, как и у Гоголя, у Толстого было слишком развито воображение, чтобы воспринимать историю рационалистически. Всякий эпизод при чтении мгновенно сцеплялся с другим, художническое видение тотчас рождало эффект присутствия, фантазия заполняла пробелы и творила недостающие подробности, а найти форму и слова было уже делом таланта и навыка... Когда эмоции сталкивались с хронологией, она частенько бывала вынуждена отступать, но это не наносило ущерба историческим балладам, которые писал в то время Алексей Толстой.

Порой пером двигало влияние мощного таланта какого-либо из предшественников, как в «Кургане», шесть строф которого Толстой вычеркнул, почувствовав, что по строю своему они напоминают «Волшебный корабль» в переводе Лермонтова.

«Курган» — это подступ к исторической теме, романтический уход в далекое прошлое родины, где Толстой будет искать все то, чего ему не хватало в повседневной жизни, — деятельности, подвигов, общения с сильными личностями. Российская история разрушительным временем отрублена от своих корней, письменные источники уничтожены — лишь немые курганы остались свидетелями того, что совершалось в эпохи, предшествовавшие тысячелетней писаной истории. И естественно это обращение Толстого к таинственным следам деятельности наших предков, в которой не могут, а порой и не желают разобраться историки. Остается острое любопытство и множество вопросов.

А витязя славное имя
До наших времен не дошло...
Кто был он? венцами какими
Свое он украсил чело?

Чью кровь проливал он рекою?
Какие он жег города?
И смертью погиб он какою?
И в землю опущен когда?

Безмолвен курган одинокий...
Наездник державный забыт,
И тризны в пустыне широкой
Никто уж ему не свершит!

Толстой верит в неотделимость прошлого от настоящего, в единство корней и растущего древа, в зависимость будущности от любого деяния в прошлом: добро откликнется добром, зло — злом. Люди честные, подвижники — это факелы, горящие во мраке, и свет их брезжит сквозь туман лжи, искажений истории. «Жизнь ваша не прошла даром, ибо ничто на свете не пропадает, — напишет он вскоре, обращаясь к читателям «Князя Серебряного» и размышляя о прошлом, — и каждое дело, и каждое слово, и каждая мысль вырастает, как древо; и многое доброе и злое, что как загадочное явление существует поныне в русской жизни, таит свои корни в глубоких и темных недрах минувшего».

Не только исторические источники, но и древнерусская словесность были внимательно изучены Толстым. Былины, сказки, «Слово о полку Игореве» завораживали своим поэтическим строем, краткостью и емкостью сочетаний слов. И тут уж забыт Жуковский с его «ужасными» балладами.

Порой воображение будила одна лишь строка из «Слова о полку Игореве», и он берет ее в качестве эпиграфа для баллады: «Уношу князю Ростиславу затвори Днепр темне березе». (В тогдашних изданиях текст «Слова» публиковался в искаженном виде.) И эта баллада о переславльском князе Ростиславе, утонувшем после битвы с половцами в реке Стугне, была последней данью заемному романтизму, «русалочьему» антуражу.

Баллады «Василий Шибанов», «Князь Михайло Репнин», «Ночь перед приступом» берут свое начало в чтении «Истории государства Российского» Карамзина, в «Сказаниях князя Курбского», в писаниях Авраамия Палицына... Анахронизмы, или, как их называл Толстой, «отступления в подробностях», нисколько не вредили по-

том воздействию их на любого читателя, как бы он ни был искушен в изучении исторических источников.

Так, в «Василии Шибанове» бегство Курбского переносится в более позднее время, когда уже существовала опричнина. Царь Иван Грозный у Толстого совершает свои молебствия не в Александровской слободе, а в центре Москвы, на глазах у всего народа. Карамзинский рассказ обрастает в балладе подробностями, созданными воображением Толстого, и теперь они кажутся неотъемлемыми от исторических фактов, настолько психологически убедительно рисуется характер Василия Шибанова.

«Князь Курбский от царского гнева бежал» и с ним его верный стремянный. Под дородным князем падает конь, и Шибанов отдает ему своего. Этого нет у Карамзина. Но что с того? Верна психологически картина, рисующая не менее злобного и мстительного, чем царь, Курбского, *который спешит уязвить своего бывшего владыку* и ничтоже сумняшеся шлет с письмом к нему на муку своего верного слугу. У Карамзина изменник Курбский спешит «открыть душу свою, исполненную горести и негодования».

Шибанов, хотя и следующий за своим князем, у Толстого и в мысли не держит измену родине. «Вишь, *наши* меня не догнали», — говорит он. Внешне очень эффектна сцена, когда царь читает послание Курбского, вонзив в ногу Шибанова острый конец своего жезла. Карамзин умиляется верности Шибанова. Толстой потрясен тем, что Курбский выдает своего верного друга и слугу, по словам царя, «за бесценок». Под пытками Шибанов не остается у Толстого тупым, по-собачьи преданным исполнителем воли своего господина. Шибанов славит его, но как:

О князь, ты, который предать меня мог
За сладостный миг укоризны,
О князь, я молю, да простит тебе бог
Измену твою пред отчизной!

В балладе промелькнуло выражение «опричнии кромешная тьма», и тут же короткие и меткие характеристики опричников, характеристики, которым еще предстоит вырасти в характеры: Вяземский лютый, Васька Грязной, Малюта Скуратов и гордящийся своею красой, «с девичьей улыбкой, с змеиной душой» любимец царя Басманов.

Толстой знал, что слова «опричь» и «кроме» синони-

мы. Современники часто называли опричников «кромешниками» — служителями ада, вечного мрака, сатаны, намекая на совершенно иное значение слова, чем то, которое подразумевал царь, деля страну на земщину и опричнину. Но тавтологии не чувствуется, поскольку до XIX века дошло лишь выражение «кромешная тьма», требующее особого разъяснения.

Адом представляется Толстому царствование Ивана IV. Отныне он будет клеймить тиранию во всех ее проявлениях.

Из глубины веков дошли дворянские легенды о Шибанове, на самом деле схваченном, подвергнутом пыткам, но так и не вручившем царю письма. Придумана была и версия о гибели на пиру князя Репнина, «победоносного воеводы», на которого царь пытался надеть потешную маску. Иван IV приказал за отказ принять участие в шутовстве вытолкать боярина взашей. Потом его убили на улице. В балладе «Князь Михайло Репнин» Толстого боярин гибнет на пиру, опять же «жезлом пронзенный», пожелав перед смертью гибели опричнине, которая в это время еще не существовала, и славя православного царя. *В народных песнях царь Иван зовется Грозным. В них* он величествен и справедлив. Как это ни странно, тираны часто оставляют о себе в народе хорошую память.

Не будем вдаваться в споры историков о правомерности тех или иных способов утверждения русской государственности и об остающейся загадочной до сих пор причине возникновения и сущности опричнины. Толстого интересовала лишь моральная сторона поступков людей. Герои его баллад были лишь поэтическими символами. В «Князе Михайле Репнине» он отстаивает человеческое достоинство. Лучше гибель, чем унижение.

Одно несомненно для Толстого — родину, Русь, надо защищать до последней капли крови, какими бы ужасными ни были внутренние обстоятельства, связанные с деспотизмом ее правителей или смутными временами. Он пишет балладу «Ночь перед приступом» об осаде Троице-Сергиевой лавры войсками Сапеги и Лисовского во время польской интервенции. Шестнадцать месяцев, с осени 1608 года, отбивали все штурмы защитники крепости, которая за все время своего существования никогда не бывала в руках врага. Из этого монастыря вышли Ослябя и Пересвет — герои Куликовской битвы, а вскоре во все

концы Русской земли оттуда полетят послания с призывом идти на врагов, и после чтения одного из них скажет свое слово нижегородец Козьма Минин.

Все больше и больше Толстого влечет к Смутному времени и эпохе, предшествовавшей ему. По некоторым сведениям, у него уже в конце сороковых годов были наброски романа «Князь Серебряный» и даже план будущей драматической трилогии.

Карамзин пробудил интерес русской публики к собственной истории. Томики его «Истории государства Российского» издавались неоднократно и проглатывались читателями, чьи патриотические чувства были обострены героическими событиями 1812 года. Но если не считать «Бориса Годунова» Пушкина и еще нескольких произведений, основной поток исторических сочинений, низринувшийся в типографии и на театральные подмостки, не отличался художественными достоинствами. Патетика не могла быть заменой подлинных знаний и чувств, психологизма.

По-видимому, Толстой уже был лично знаком с Тургеневым и соглашался с его мнением, высказанным в рецензии на неудачную драму Гедеонова «Смерть Ляпунова» в 1846 году и не раз потом повторяемым в беседах:

— Кто нам доставит наслаждение поглядеть на нашу древнюю Русь? Неужели не явится, наконец, талант, который покажет русских живых людей, говорящих русским языком... Да, русская старина нам дорога... Мы все ее любим не фантастическою вычурною старческою любовью; мы изучаем ее в связи с действительностью, с нашим настоящим, которое совсем не так оторвано от нашего прошедшего.

Золотые слова! Сказанные походя, они выражали суть нового отношения к истории, которая для многих оставалась складом пыльных реликвий и лишь для некоторых — неисчерпаемым источником уроков на будущее, учительницей жизни, по словам Цицерона, поводом для выражения собственных чувств, весьма далеких от событий многовековой давности...

Есть прямая преемственность у пушкинской концовки «Бориса Годунова» и эпиграфа, который взял Алексей Толстой из Тацита для своего «Князя Серебряного»:

«А тут рабское терпенье и такое количество пролитой дома крови утомляет душу и сжимает ее печалью. И я не

стал бы просить у читателей в свое оправдание ничего другого, кроме позволения не ненавидеть людей, так равнодушно погибающих».

Ненавидя «насилие и гнет», Толстой возмущался не тиранами, нет, он возмущался тем, что люди терпели и терпят деспотизм, подставляя шеи под топоры палачей, погибая тысячами, но не восставая, не сопротивляясь изуверской жажде уничтожения человеческих жизней. Но принесет ли бунт справедливость? Не станет ли он обыкновенной местью, пролитием еще большей крови и в конце концов средством для возвышения людей еще более жестоких, чем те, против которых бунт поднимался? Опасение это звучит и в словах, которыми Пушкин завершил главу, не включенную в «Капитанскую дочку» по цензурным соображениям: «Не приведи бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка — полушка, да и своя шейка — копейка».

Но не надо забывать, что Толстой по своим воззрениям был сторонником просвещенной монархии, а следовательно, в тех условиях либералом, которому претил очевидный радикализм, однако трудно было не признавать, что французская революция, чем бы она ни кончилась, крестьянские восстания в России, выступление декабристов привели если не к коренным, то весьма заметным изменениям в политических нравах. Страх перед народным возмущением смягчил их. Массовые казни были редки. Наступило царство бюрократии, в дебрях которой перемалывались человеческие эмоции.

Толстой принадлежал к тем дворянам, которые с отвращением относились к крепостному праву, телесным наказаниям, деятельности III Отделения и не могли простить Николаю I пяти повешенных декабристов, но рисковали в своем неприятии действительности очень малым, разве что увольнением, отстранением от государственной службы, а это богатому графу казалось благодеянием, мечтой, разбивающейся о непреклонность влиятельных родственников.

Власти предержащие подозрительно относились к занятиям историей, выходящим за жесткие рамки официальных установок. Цензоры внимательно следили за тем, чтобы у читателя не возникало никаких ассоциаций, намеков на действительность. А так как никому не дано

распрямить спираль истории, то уход в нее уже сам по себе — протест...

...Молодой боярин князь Никита Серебряный с отрядом ратников и своих холопей едет в Москву из Литвы, где провел пять лет, ведя неудачные (из-за бесхитростности князя) дипломатические переговоры и показав несомненную храбрость в боевых схватках, когда переговоры сорвались. С первых же страниц романа перед читателем возникает добрый и простодушный человек, верный и самоотверженный. Как выразился дореволюционный критик М. Соколов, «глядя на этого чисто русского человека... вы чувствуете, что хорошо заодно с ним жить и действовать».

И как бы в согласии с пожеланиями Тургенева, на первых же страницах толстовского романа зазвучала сочная русская речь — она и в лирических излияниях, чуть-чуть приправленных старорусскими словами и оборотами. Подлинно народный язык на устах многочисленных персонажей романа и его героя — в разговорах со стремянным Михеичем (в этом образе Толстой, по-моему, не избежал невольного подражания Пушкину с его Савельичем из «Капитанской дочки») и с крестьянами подмосковной деревни, в которой остановился Серебряный перед въездом в столицу.

То было в давние времена, в XVI веке, когда, по мнению славянофилов, еще не было разделения русской нации на «два народа» и господствующий класс по языку, быту, обычаям мало отличался от крестьянской массы. Толстой верит в «патриархальную простоту» отношений бояр и дворян с крестьянами. Серебряный у него благородный рыцарь, одинаково справедливый во взаимоотношениях с людьми, стоящими на любой ступеньке общественной лестницы. Говоря о благородстве и рыцарстве, Толстой обычно вкладывал в эти слова лишь их этический смысл, внушенный поэзией трубадуров. Герой его романа словно бы родился в домонгольской Руси, которую Толстой идеализировал и считал близкой по духу рыцарскому Западу. Уже XVI век помнил лишь романтические предания. Да, вся Западная Европа усыпана мрачными замками, но их каменными стенами рыцари отгораживались от простого люда, с самого начала выступая в качестве предводителей разбойничьих шаек, чьи грабежи были узаконены, когда сложились государственные образования. Правда, на Руси нигде не встретишь каменных замков, жизнь русской помещичьей усадьбы исстари тес-

нее сплетена с жизнью деревни, но это еще не повод для идеализации давно минувших времен.

Картина народного праздника, за которым наблюдает князь Серебряный в деревне, омрачена разбойничьим налетом опричников. Герой даже не знает этого слова, потому что весть о разделении Руси на земщину и опричнину будто бы не достигла Литвы. Это чисто литературная условность, каковых много в романе (включая анахронизмы, искажение расстояний между географическими пунктами), но Толстой идет на условности вполне сознательно, для ускорения действия, чтобы побыстрей вести героя по кругам ада, в который, по его представлению, ввергла страну опричнина...

Самое трудное для автора в произведении — начало, определяющее тональность всей вещи. Толстому хотелось, чтобы роман был эпическим, однако он очень быстро понял, что замахнулся слишком широко — склад его дарования несколько иной, да и знаний не хватало. Ему не приходило в голову, какие трудности предстоит преодолеть из-за упрямого желания следовать первоначальному замыслу...

Мы не можем проследить работы Алексея Толстого над «Князем Серебряным», поскольку варианты не сохранились, и вынуждены довольствоваться конечным результатом. Остается только отметить особенности романа и очертить круг событий и исторических личностей, к которым Алексей Толстой будет возвращаться потом в своих произведениях с удивительным постоянством.

Неизвестно, когда и как приступил Алексей Толстой к работе над романом «Князь Серебряный». По его словам, он старался забыть, что на свете существует цензура, и дал себе полную волю. Потом он иронизировал — хоть он романист, а не папа римский, но руководствовался заветом: делай как надлежит, и пусть будет что будет. Однако работа над романом затянулась на десятилетие с лишним, несмотря на сразу сложившийся план.

Столь длительная работа объясняется еще двумя обстоятельствами.

Во-первых, роман задуман был как народный и требовал подлинности языка. Толстой окунулся в стихию народной речи. Потребовалось изучить множество старинных источников и еще больше слушать, записывать живую крестьянскую речь самому...

Во-вторых, выявилась определенная наивность сюжетных ходов, связанных с проявлениями характера главно-

го героя романа, в котором отразились как в зеркале все достоинства и недостатки жизненной позиции самого Толстого, его благородство и нежелание понимать многомерности мира. По-видимому, писатель порой не знал, повиноваться ли собственному плану — провести прямодушного молодого боярина князя Никиту Романовича Серебряного через жестокие испытания и оставить его верным себе в беспощадные времена, когда страх либо ломает человека и заставляет его приспосабливаться к жизненным условиям, либо делает его изменником, как Курбского. Однако рыцарю без страха и упрека, каким задуман был Серебряный, не годится ни тот, ни другой путь. Не способен он стать и бунтарем, отвечающим жестокостью на жестокость, льющим кровь как воду, так как в этом случае, по мнению Толстого, ни о каком благородстве не может быть и речи.

А ведь как хотелось бы, чтобы герой сохранил благородство, честность, прямодушие, верность, целомудрие среди крови, грязи, интриг, подлости, извращенности! Именно эта трудная задача и замедлила работу над романом, который впоследствии вызвал самые противоречивые отклики и до наших дней остается одной из самых популярных книг, взывающих к лучшим чувствам широкого, как говорят, читателя и особенно молодого, охочего до остросюжетной приключенческой литературы.

Эпического спокойствия сохранить не удалось. В романе взял верх лирик, порой откровенно, слишком откровенно высказывающий свое отношение к главным персонажам романа. Вот опричник Хомяк со «зверским» лицом и атаман разбойников Перстень, черты лица которого носили «отпечаток необыкновенного ума и сметливости, а взгляд обнаруживал человека, привыкшего повелевать».

Это два весьма характерных типа русских людей. Один готов служить любому злу, лишь бы получить какую-то власть, лишь бы позволили ему свирепствовать, издеваться над кем угодно безнаказанно. Второй мог бы проявить себя превосходно на любом поприще, но тесно ему на земле, скованной властью больших и малых господ, и он становится предводителем лесной вольницы, у которой своя жизнь, свой кодекс чести, свои широко разветвленные взаимоотношения с другими ватагами. Он плоть от плоти своего народа, лихого в драке, тороватого на шутку, самозабвенного в песне... Из таких выходили потом и покорители сибирских просторов. Недаром в эпило-

ге романа Ванька Перстень выступает уже как Иван Кольцо, один из главных соратников Ермака.

Немало страниц в романе посвящено русским песням. Как Толстой любит и знает песню, как прекрасно описывает певцов-ватажников! В лирических своих отступлениях он походя высказывает мысли, которыми независимо от него еще предстоит заняться самым мощным умам российской философии.

«Грустно и весело в тихую летнюю ночь, среди безмолвного леса, слушать размашистую русскую песню. Тут и тоска бесконечная, безнадежная, тут и сила непобедимая, тут и роковая печать судьбы, железное предназначение, одно из основных начал нашей народности, которым можно объяснить многое, что в русской жизни кажется непонятным».

Главная сюжетная линия романа — это любовь князя Серебряного и Елены, вышедшей замуж, пока он был на войне, за старого боярина Морозова, чтобы избежать притязаний опричника князя Вяземского... Из уст Морозова и узнает Серебряный о будто бы внезапном преображении Ивана IV, о гонениях и казнях бояр (история князя Репнина здесь уже близка к истинной), о каком-то страшном потрясении, после которого у царя вылезли все волосы и борода, об отъезде царя в Александровскую слободу, называемую простыми людьми в романе «неволей».

По-разному трактовались загадочные и кровавые события царствования Ивана Грозного, так и оставшиеся невыясненными из-за гибели архива опричнины, но для Толстого это прежде всего несносная тирания, полный произвол, который разлагает всю страну, сея жестокость, равнодушие к жизни человеческой.

Убивал сам царь, и кругом были виселицы и колы...

Царь любил выпускать зверей из клеток, чтобы драли народ. И опричник Басманов с друзьями выпустили медведя на князя Серебряного...

Читая источники, Алексей Толстой не верил, что изощренная жестокость может быть свойственна русским людям. Он забывал, что это качество не врожденное, что его воспитывают, что оно нужно кому-то для конечного ослабления народа. Он и представить себе не мог грядущие в самых разных углах земного шара массовые казни. Толстой был убежден, что такие нравы появились у нас как результат двухвекового ига и еще долго будут переходить «от поколения к поколению».

И он скажет:

«Простим грешной тени царя Иоанна, ибо не он один несет ответственность за свое царствование; не он один создал свой произвол, и пытки, и казни, и наушничество, вошедшее в обязанность и в обычай. Эти возмутительные явления подготовлены предыдущими временами, и земля, упавшая так низко, что смогла смотреть на них без негодования, сама создала и усовершенствовала Иоанна, подобно тому как раболепные римляне времен упадка создавали Тивериев, Неронов и Калигул».

Уже одно это утверждение говорит о пристальном внимании Толстого к природе злоупотребления властью вообще, что раздвигает хронологические рамки романа вплоть до царствования Николая I. Нетрудно было бы усмотреть здесь и древний, явно циничный афоризм: каждый народ имеет такое правительство, которого он заслуживает. Но Алексея Толстого никак не обвинишь в цинизме. Слишком близко он принимает все к сердцу. Слишком серьезно он верит в то, что благородство отдельных личностей способно пробить брешь в круге зла. Они являются «как светлые звезды на безотрадном небе нашей русской ночи», однако они «бессильны разогнать мрак», потому что действуют в одиночку.

Пафос воспевания этого благородного одиночества очень ослаблял позиции Толстого-романиста, толкал в тупики сомнений, рождал неуверенность и неопределенность, которые чувствуются на многих страницах романа.

Приведя князя Серебряного на пир к царю и познакомив читателя с умным и коварным Иваном Грозным, с угрюмым палачом и другом царя Малютой Скуратовым, с приветливым и мудрым, старавшимся быть необходимым царю и не запачкаться в крови Борисом Годуновым, с Вяземским, Басмановыми и другими, Толстой ставит своего героя на грань между смертью и жизнью — спасают лишь правдивость и убедительная верность царю, который по капризу воли решил сыграть в справедливость.

Волей случая князь Серебряный попадает в тюрьму, откуда его выручает ватага Перстня. Увлекая за собой разбойную дружину, князь одерживает победы над татарами в рязанской земле. (Кстати, в том, что татарами командует «ширинский князь Шихмат», легко углядеть намек на «мрачное семилетие» и деятельность министра просвещения князя Ширинского-Шихматова.)

Но машина истребления, запущенная раз, требует все

новых жертв. Гибнет боярин Морозов, гибнут и опричники Вяземский и Басмановы. В деспотическом государстве палачи начинают истреблять друг друга, как пауки в банке. Не может быть и личного счастья — когда Серебряный находит Елену, ушедшую после гибели мужа в монастырь, она говорит ему: «Не личила бы нам одним радость, когда вся земля терпит горе и скорбь великую!»

Показывая сомнения своего героя, которому приходит на память изменник Курбский, Толстой упрямо проводит мысль, что родина и государь не одно и то же. Государи смертны, а родина будет жить вечно, и ее надо беречь и защищать во имя ее грядущего расцвета. Отдает за нее жизнь и князь Серебряный.

«Родина ты моя, родина, — вырывается у Толстого. — Случалось и мне в позднюю осень проезжать по твоим просторам! Ровно ступал конь, отдыхая от слепней и дневного жару; теплый ветер разносил запах цветов и свежего сена, и так было мне сладко, и так было мне грустно, и так думалось о прошедшем, и так мечталось о будущем...»

Цепь приключений Серебряного, обусловленных случайностями, слишком прямолинейно трактует характер героя, в простодушии которого кроется такая примитивность мышления, что Толстому то и дело приходится прибегать к авторским отступлениям, а это, как и излишняя детализация старинного быта и обрядов, нарушает чистоту жанра.

Иные из авторских размышлений носят явно антидемократический характер и, безусловно, выражают классовые позиции Толстого. Хотя бы его рассуждение о сущности тирании — царь молится о том, чтобы ему дано было «окончить дело великого поту, сравнять сильных со слабыми, чтобы не было на Руси одного выше другого, чтобы все были в равенстве, а он стоял один надо всеми, аки дуб в чистом поле!» То есть равенство на уровне всеобщей слабости и бедности представляется Толстому как предварительное условие окончательной победы зла, тирании, которая срезает все мало-мальски выдающееся над уровнем, дабы негде было угнездиться и самой мысли о непокорстве, поскольку люди, обремененные жизненными тяготами, поисками хлеба насущного, не могут будто бы дать отпор порабощению. Но, по мысли Толстого, такое равенство и невозможно: кто-то будет выше другого непременно, будет отстаивать свои привилегии, возбуждая тем самым на борьбу и других. В романе на молитву

царя как бы отвечают звезды: «Ах ты гой еси, царь Иван Васильевич! Ты затеял дело не в добрый час... не расти двум колосьям в уровень, не сравнять крутых гор с пригорками, не бывать на земле безбоярщине!»

Увлечение Толстого эпохой Ивана Грозного было неотступным. Ее жестокость и сильные характеры, обилие событий и загадочность их — все это захватило надолго его, обделенного, как ему казалось, яркой жизнью.

Влияние Гоголя как исторического писателя на Алексея Толстого несомненно. Но он не обладал способностью Гоголя эпически воспарять над действительностью, передавать дух эпохи, правду поступков, не цепляясь за факты, и потому в прозе его возникала иллюстративность. Мысли его глубоки и тревожны, но воплощение их в прозе порой и самому ему казалось нарочитым, неорганичным. Пытаясь остаться поэтом, когда писал прозу, он терпел неудачи, терял чувство тонкой иронии, свойственной его стихам. «Князь Серебряный» был последней, затянувшейся попыткой одолеть жанр, не во всем вязавшийся с призванием Алексея Константиновича Толстого.



Глава четвертая

У КОЛЫБЕЛИ КОЗЬМЫ ПРУТКОВА

К сожалению, осталось мало свидетельств встреч и разговоров Гоголя и Алексея Толстого в сороковые годы. А они были. Этим литераторам, наверно, хватало тем для бесед. И в характерах у них было что-то общее. Ну хотя бы ироничность, склонность к шутке, к озорству наконец... Как-то не вяжется это с тем образом печального Гоголя, который составился у многих, хотя они и улыбались, читая его произведения. Да и Алексей Толстой у нас до сих пор не слишком-то весел...

Но они знали и ценили друг в друге юмористическую жилку. Вот случай, рассказанный Толстым и воспроизведенный биографом Гоголя:

«Когда Жуковский жил во Франкфурте-на-Майне, Гоголь прогостил у него довольно долго. Однажды — это было в присутствии графа А. К. Т(олстого) — Гоголь пришел в кабинет Жуковского и, разговаривая со своим другом, обратил внимание на карманные часы с золотой цепочкой, висевшие на стене.

— Чьи это часы? — спросил он.

— Мои, — отвечал Жуковский.

— Ах, часы Жуковского! Никогда с ними не расстанусь!

С этими словами Гоголь надел цепочку на шею, положил часы в карман, и Жуковский, восхищаясь его проказливостью, должен был отказаться от своей собственности».

Природа всегда выше искусства, человеческая натура богаче и разностороннее того, что о ней писали, пишут и будут писать. Кому дано запечатлеть те выси и глубины, в которые воспаряет и низвергается человек в своей невидимой для постороннего глаза жизни? Можно лишь заглянуть в душу человека, уловить переходы его настроений, найти внешнее оправдание его поступков, иногда угадать их внутреннюю мотивировку... Но всего, всего человека (не материальную его оболочку) взглядом охватить невозможно. А казалось бы, чего проще — наблюдай хотя бы за собой, изображай себя. Но человек, писатель, боится себя, ужасается, как перед разверзшейся бездной, и предпочитает подчас выдумывать всякие конструкции, питая то, что называется наукой. А если и вправду преодолеет он стены, непрерывно воздвигаемые между многочисленными человеческими «я», то его коснется крылом гений. Но даром ничего не дается, редкий ум способен выдержать такую нагрузку, он может дойти до помрачения и отказа разрушать стены, как это случилось с Гоголем, начавшим сжигать написанное — очевидную для него фальшь. Лишь Достоевский пытался не сдаваться, и какой же ценой давалось ему это!

Алексей Константинович Толстой был человеком невероятно сложным, а главное — проявившим себя самобытно во многих областях человеческого духа. В лабиринте его души легко заблудиться, а сломать стену между трагическими его ощущениями и веселостью мышления и поведения пока невозможно. И пусть он возникнет так, в другой своей ипостаси, без сложных объяснений...

Для этого надо попасть в молодую компанию, часто собиравшуюся в большой квартире на Среднем проспекте Васильевского острова, которую сенатор Михаил Николаевич Жемчужников снял для своих старших сыновей Алексея и Николая.

Алексей Жемчужников кончил училище правоведения и служил в Государственной канцелярии. Николай после окончания восточного факультета университета был устроен в таможню. Потом к ним присоединился младший брат Лев Жемчужников, который, кончив Пажеский корпус, твердо решил стать художником. Он-то и оставил нам воспоминания о своих братьях.

Лев писал:

«Брат Алексей в свободное от службы время занимался литературным трудом и много говорил со мной об искусстве во время наших прогулок по отдаленным линиям острова. Братья Александр и Владимир были тогда студентами и жили с отцом. Собирались мы почти ежедневно; и тогда бывали горячие молодые разговоры и веселье — без попоек...»

Вот мы и познакомились уже с пятерыми молодыми Жемчужниковыми. В той же квартире жил их друг и будущий зять, восходящее административное светило Виктор Арцимович. И наконец, там часто бывал Алексей Толстой.

Анна Алексеевна Толстая и Ольга Алексеевна Жемчужникова были родными сестрами. Мать Жемчужниковых умерла рано, но отец дал им прекрасное воспитание и образование. Собственно говоря, процесс этот продолжался в то время, которое описывается сейчас. Сенатор Жемчужников внимательно следил за сыновьями, заботился о них и сумел внушить им глубокое уважение и любовь к себе. В своих письмах к отцу они делились с ним всеми своими заботами и помыслами...

Самый старший из братьев Жемчужниковых, Алексей, был моложе Толстого на четыре года. Уже камер-юнкер, он писал стихи, пытался пристраивать свои пьесы в театр, отличался либеральными взглядами, как, впрочем, и остальные. Будущий художник Лев Жемчужников был радикальнее других, относился к «чиновнизму и капрализму» более нетерпимо.

О кружке молодых людей, собиравшихся в квартире на Васильевском острове, ходили по столице весьма забавные слухи и анекдоты, а поскольку именно в нем позже родился знаменитый Козьма Прутков, то кружок потом так и называли — «прутковским».

О некоторых «проделках невинного, но все-таки вызывающего свойства» поведал историк литературы Н. Котляревский, много анекдотов встречается и в мемуарной литературе.

«Рассказывают, как один из членов кружка ночью в мундире флигель-адъютанта объездил всех главных архитекторов города С.-Петербурга с приказанием явиться утром во дворец ввиду того, что Исаакиевский собор провалился, и как был рассержен император Николай Павлович, когда услыхал столь дерзкое предположение».

Особенно отличался студент Александр Жемчужников, прирожденный актер, с успехом выступавший в домашних спектаклях. «Созданные им типы высоко ценились М. С. Щепкиным, П. М. Садовским и И. Ф. Горбуновым», — вспоминали о нем.

Князь В. П. Мещерский в «Моих воспоминаниях», рассказывая о тогдашнем министре юстиции графе Паниче, пишет:

«Каждый божий день по Невскому проспекту, в пятом часу дня, можно было встретить высокого старика, прямого как шест, в пальто, в цилиндре на большой длинноватой голове, с очками на носу и с палкою всегда под мышкою. Прогулка эта была тем интереснее, что все видели графа Панина, но он никого никогда не видел, глядя прямо перед собой в пространство: весь мир для него не существовал во время этой прогулки, и, когда кто ему кланялся, граф машинально приподнимал шляпу, но, не поворачивая и не двигая головою, продолжал смотреть в даль перед собою. Отсюда стал ходить в те времена анекдот про знаменитого комика Жемчужникова, который однажды осмелился решиться нарушить однообразие прогулки графа Панина: видя его приближение и зная, что граф Панин смотрит прямо перед собою, он нагнулся и притворился, будто что-то ищет на тротуаре, до того момента, пока граф Панин не дошел до него и, не ожидая препятствия, вдруг был остановлен в своем ходе, и, конечно, согнувшись, перекинулся через Жемчужникова, который затем как ни в чем не бывало снял шляпу и, почтительно извиняясь, сказал, что искал на панели уроненную булавку...

Не менее комичен анекдот про Жемчужникова, касающийся ежедневных прогулок министра финансов Вронченко. Он гулял ежедневно по Дворцовой набережной в 9 часов утра. Жемчужникову пришла фантазия тоже прогуливаться в это время, и, проходя мимо Вронченко, которого он лично не знал, он останавливался, снимал шляпу и говорил: «Министр финансов, пружина деятельности» — и затем проходил далее...

Стал он проделывать это каждое утро до тех пор, по-

ка Вронченко не пожаловался обер-полицмейстеру Галахову, и Жемчужникову под страхом высылки вменено было его высокопревосходительство министра финансов не беспокоить».

Эти проделки относили больше насчет Александра Жемчужникова.

Некоторые шутки были грубоваты. Но тогда это было принято. Шутили по любому поводу как бы в пику николаевским строгостям. У молодежи были в ходу «практические шутовства».

Считалось остроумным привязывать к звонкам куски ветчины, чтобы их дергали собаки, поднимая переполох в домах. Приезжих, которые искали квартиру, посылали на Пантелеймоновскую, 9: там, мол, помещения сколько угодно, и они приходили прямехонько к воротам страшного III Отделения. Шутники стучались по ночам к немцу-булочнику («васистдасу») и спрашивали, есть ли у него пеклеванный хлеб, а получив утвердительный ответ, восклицали: «Ну, благодарите бога, а то много людей не имеют и куска насущного хлеба». Немцам доставалось особенно. В немецком танцевальном собрании, «Шустер-клубе», проказники устраивали «музыкальные скандалы». Виновников выводили под руки, позади шел клубный швейцар, заметая след метлой, а оркестр играл модный марш.

«Братья Жемчужниковы с А. Толстым приезжали в немецкий театр с огромными словарями и отыскивали в них, громко шелестя страницами, каждое слово, произносимое со сцены.

Это показалось безобразно бывшему тогда генерал-губернатору Суворову. Он подошел спросить фамилии и обратился к адъютанту:

— Запиши: Жемчужниковы и Толстой...

Жемчужников вежливо встал и осведомился о фамилии генерала, а потом обратился к Толстому:

— Запиши: Суворов!..»

И тут-то возникает сомнение, не сочинялось ли все это задним числом, когда уже возник из небытия Козьма Прутков? Сама логика этого образа потребовала, очевидно, нагородить вокруг его создателей множество анекдотов и приписать им «практические шутовства», которые случались вообще.

Историк литературы Н. Котляревский писал, что Толстой и Жемчужниковы «составляли тогда интимный веселый кружок, несколько напоминавший молодую компа-

нию 20-х годов, в которой куролесили Пушкин и Нащокин, или 30-х годов, когда в этой роли весельчаков и проказников выступали Лермонтов и Столыпин. В чем заключались проделки друзей Козьмы Пруткова, в точности неизвестно, но проделок, которые им приписывались, столь много и так они экстравагантны, что если Толстой и Жемчужниковы во всех этих шалостях и неповинны (а это возможно), то один тот факт, что такие проделки им приписывались, уже показывает, какого о них были мнения».

Любопытно, что обо всем этом в воспоминаниях Льва Жемчужникова нет ни слова, как нет в них упоминания о Козьме Пруткове. Зато из них можно узнать, что Алексей Толстой читал свои стихи у Жемчужниковых, где вообще посвящали много времени поэзии, увлекались чтением Пушкина, Гомера в переводах Гнедича...

Можно догадаться, что там декламировали стихи Бенедиктова и Щербины. Острили, дурачились, сочиняли, подражая известным поэтам, с напыщенным видом произносили банальности, копируя и доводя до абсурда афоризмы. Эти краткие изречения обычно содержат претензии их авторов на открытие непреложных истин. Молодые люди удачно подметили относительность таких «истин», поскольку всегда находился афоризм, утверждавший нечто совершенно обратное...

Летом 1849 года, когда братья Жемчужниковы проводили отпуск в своей курской деревне Павловке и сочинили три шуточные басни, положившие начало «творческому пути» Козьмы Пруткова, Алексей Толстой, по некоторым сведениям, гостил в Калуге у местного губернатора Смирнова, женатого на бывшей фрейлине Александре Осиповне Россет, и встречался у них с Гоголем.

Толстой и в самом деле получил 3 июня четырехмесячный отпуск.

К этому времени Гоголь уже дважды сжигал написанные страницы второго тома «Мертвых душ», издал «Выбранные места из переписки с друзьями», которые считал сперва своей «единственной дельной книгой», и пытался разъяснить «истинный смысл» комедии «Ревизор» (город, в котором развертывается действие, — «наш душевный город», ревизор — «наша проснувшаяся совесть», и «в безобразном нашем городе, который в несколько раз хуже всякого другого города, бесчинствуют наши страсти,

как безобразные чиновники, воруя казну собственной души нашей»).

За исключением Смирновой и еще немногих, Гоголя порицали и публично, и в письмах даже в кругу обожавших его славянофилов; все были оскорблены и раздражены. «Появление книги моей разразилось точно в виде какой-то оплеухи: оплеуха публике, оплеуха друзьям моим и, наконец, еще сильнейшая оплеуха самому себе. После нее я очнулся, точно как будто после какого-то сна, чувствуя, как провинившийся школьник...» — сознавался он в письме Жуковскому 6 марта 1847 года. Чаадаев возлагал вину за «Выбранные места» на его московских поклонников-славянофилов, которые превозносили его «до безумия», чтобы иметь в этом «высшем проявлении самобытного русского ума» писателя, которого можно было бы поставить в один ряд с Гомером, Данте и Шекспиром. «Этих поклонников я знаю коротко, я их люблю и уважаю: они люди умные, хорошие; но им надо во что бы то ни стало возвысить нашу скромную, богомольную Русь над всеми народами в мире, им непременно захотелось себя и всех других уверить, что мы призваны быть какими-то наставниками народов», — писал он тогда же Вяземскому с иронией, коробившей многих русских.

В общем, «восточные, западные, нейтральные — все огорчились», а письмо Белинского потрясло Гоголя, но тем не менее он осуществил обещание, данное в «Переписке», поехал в Палестину поклониться гробу господню, а по приезде больше тяготел к Москве.

Гоголь не мог забыть упрека Белинского в том, что он не знает России, живя в «прекрасном далеке». Теперь он жадно присматривался ко всему, скучал от похвал в славянофильском кружке, был остроумен и тороват на озорство в актерской среде, собирал и записывал народные песни, мечтал о путешествиях по стране, работал над «Мертвыми душами», хандрил в обществе мрачного мистика графа А. П. Толстого, у которого жил, и обрадовался Александре Осиповне Смирновой. Она приехала из Калуги в конце июня 1849 года, и они тотчас встретились у ее брата Л. И. Арнольди, благо идти было недалеко — А. П. Толстой жил у Арбатских ворот, Арнольди — у Никитских.

Они встречались каждый день. Приходил и Юрий Самарин. Он и Гоголь шутили и так представляли в лицах известные им случаи, что остальные смеялись до слез. Уезжая, Александра Осиповна взяла с Гоголя сло-

во приехать погостить к ней в калужскую деревню. Через несколько недель он выехал с Арнольди в тарантасе. По дороге он говорил о литературе, рассказывал анекдоты, собирал растения, читая целые трактаты о каждом цветке, расспрашивал половых в трактирах об окрестных жителях, их привычках, даже о том, какую водку употребляют... Но вот свернули с большой дороги и поехали проселком. Направо показалось белое строение, блеснул между деревьями пруд. Это было село Бегичево, имение Смирновых в Медынском уезде.

Так мы медленно, но верно приближаем друг к другу Гоголя и Толстого, хотя об Алексее Константиновиче пока не имеем никаких свидетельств, кроме нескольких строчек из воспоминаний Ольги Николаевны Смирновой, дочери Александры Осиповны:

«Гр. Алексей Константинович Толстой, проживая в Калуге, читал моей матери свои произведения, охотился с моим отцом в Бегичеве, и Гоголь тут с ним сошелся. Толстой читал Гоголю первые главы «Князя Серебряного», план трилогии, стихи и былины, а Гоголь читал ему «Мертвые души», второй том. Гоголь очень полюбил А. К. Толстого».

Нельзя было не полюбить его, рослого, веселого, неизменно благожелательного и совершенно ненавязчивого, а по отношению к Гоголю таким качеством отличались немногие. Знакомы они были уже давно, чего Ольга Николаевна могла не знать. Ссылаться на нее вообще считается дурным тоном в ученом мире, поскольку ее подозревают в фальсификации записок своей матери, в которых Пушкин и его мысли возникают в весьма непривычном для нас свете... Но все более достоверные воспоминания вертятся вокруг Гоголя; ничем не проявивший еще себя Толстой почти не виден в тени гения.

Предположим все-таки, что Алексей Толстой в Бегичеве с его старинным стриженым садом, что он вместе со всеми хлопочет о том, как лучше принять Гоголя, ходит вместе со всеми за грибами, едет в восьмиместной линейке на полотняную фабрику в имении Гончарова, где бывал Пушкин и до и после своей свадьбы, слушает, как каждый вечер Гоголь читает «Одиссею» в переводе Жуковского, восторгаясь каждой строчкой...

Известный украинский литератор Пантелеймон Кулиш в своих «Записках о жизни Гоголя» писал, что Николай Васильевич часто выходил на сенокос любоваться костюмами бегичевских крестьянок, необыкновенными узорами

на рубашках, которые он заставлял срисовывать гостившего там живописца Алексеева. «Его очень заботило вообще здоровье простого народа и своеобразность его быта. Он вспоминал, как в царствование Алексея Михайловича один путешественник, посетив Россию, написал, что население ее скудно, народ измельчал и обеднел, а другой, приехавший к нам через двадцать пять лет после первого, нашел город и деревни обильно населенными, нашел народ здоровый, рослый, цветущий и богатый».

Потом все общество отправилось в Калугу.

Калужский губернатор Николай Михайлович Смирнов был богатым человеком, владельцем пяти тысяч душ в шести губерниях, и именно это решило выбор Александры Осиповны в свое время, когда ее руки домогались многие. Впрочем, бывший дипломат долго жил в Лондоне и Италии, знавал Байрона, был тонким знатоком искусства и владельцем прекрасной коллекции. Уже одно это могло привлекать к Смирновым и Алексея Толстого, но, кроме того, по словам Арнольди, губернатор имел отличную охоту, поддерживал ее со знанием дела и любовью, и его борзые и в особенности гончие были известны всем знаменитым русским охотникам.

По дороге зашла речь об охоте. Гоголь вмешивался в разговор, самонадеянно, как казалось Арнольди, спорил с опытными охотниками... Но никто не знал, что записные книжки писателя полны заметок об охоте и собаках, вплоть до списка кличек гончих, да и повадки самих губернаторов расписаны подробнейшим образом: какие маски надеваются губернаторами — «благородными и воспитанными», «военными генералами — прямыми людьми», «губернаторами-дельцами»; какая манера у каждого брать взятки, причем «самые нестыдные, неопасные взятки — с откупщиков»...

Он и тут все расспрашивал хозяев, каков быт губернатора, и просил описать все, что того окружает. К вечеру замелькали огоньки загородного губернаторского дома.

— Да это просто великолепие! — воскликнул Гоголь. — Да отсюда бы и не выехал! Ах, да какой здесь воздух!

Его поместили в особый флигель, и утром из окон открылся вид на Оку, на извивающуюся лентой речку Ячейку, на сосновый бор, на далекие деревни и утопаю-

щий в зелени Лаврентьев монастырь. На самой губернаторской даче было много цветов, красивых старых лип и елей...

Гоголь по утрам запирался у себя, писал, стоя у конторки, потом гулял в саду или по городу. Его свозили за Оку в село Ромоданово, и он сказал, что оттуда Калуга напоминает Константинополь, но вообще-то она была похожа на Москву допожарную. Город рассекает глубокий Березуйский овраг, и через него перекинут мост — точь-в-точь древнеримский виадук. На краю оврага стояло здание дворянского собрания, неподалеку был и губернаторский дом.

К обеду по субботам и воскресеньям приглашали местных чиновников, но они, бывало, убегали даже, боясь, что Гоголь «опишет» их. Он являлся на праздничные обеды франтом — в ярко-желтых панталонах и голубом жилете. В городе его все знали, он часто прогуливался к гостиному двору, просматривал журналы и книги в книжных лавках Грудакова и Антипина на Никитской улице. Играл в шашки с купцами. Заносил в книжку наблюдения. «Все должно быть взято из жизни, а не придумано досужей фантазией», — говаривал он.

Многие привычки писателя раздражали хозяев, что ясно видно из «Моего знакомства с Гоголем» Льва Арнольди, который рассказал, как через неделю после приезда Гоголь сперва Александре Осиповне, а потом всем прочел несколько глав из второго тома «Мертвых душ».

«Через несколько дней после этого чтения я и брат мой К. О. Россет, — писал Арнольди, — собрались поздно вечером у графа А. К. Толстого, который был тогда в Калуге. Разговор зашел о Гоголе; каждый из нас делал свои замечания о нем и его характере, о его странностях. Разбирали его как писателя, как человека, и многое казалось нам в нем необъяснимым и загадочным...

При этом мой брат сделал замечание, которое поразило тогда верностию и меня, и графа Толстого. Он нашел большое сходство между Гоголем и Жан-Жаком Руссо».

Алексей Толстой вернулся из отпуска к ноябрю 1849 года, побывав еще и в Красном Роге.

В Петербурге продолжались встречи с Жемчужнико-

выми в квартире на Васильевском острове, где царило веселье и сочинялись шутки, предрекавшие появление Козьмы Пруткова. «Все мы были молоды, — вспоминал Алексей Жемчужников, — и настроение «кружка», при котором возникли творения Пруткова, было веселым, но с примесью сатирически-критического отношения к современным явлениям...»

Квартиру посещали многочисленные друзья — тот же Оболенский, художники, Иван Сергеевич Аксаков читал там свою поэму о беглом крепостном крестьянине «Бродяга»...

А между тем в Калуге назревал конфликт. Сын некоего генерала Ершова пожаловался царю, что его отец по настоянию калужского губернатора Смирнова совершил дарственную запись в пользу своей дочери Софии, которая была замужем за Россетом, братом Александры Осиповны, и тем самым лишил его отцовского наследства. Царь приказал сенатору князю Давыдову произвести следствие, а заодно и ревизию губернии.

— Поезжай, — сказал ему Николай I, — знаю наперед, что хорошего ты там мало найдешь. Суды в беспорядке. Полиция не лучше. Проекты о ней в министерстве внутренних дел не двигаются вперед. Дворянские опеки не охраняют сиротские имения, а разоряют. О них я тщетно стараюсь много лет. Но главное, обрати ты внимание на то, почему в Калужской губернии, где некогда, как мне известно, процветали полотняные заводы, снабжавшие своими изделиями даже Америку, пали. Как объяснить это, и нельзя ли поправить?

Давыдов аккуратно записал все, что велел ему император, и выбрал себе в помощники чиновника Н. М. Колмакова и юриста и археолога А. К. Жизневского. 28 апреля 1850 года среди других к сенатору был прикомандирован Алексей Константинович Толстой.

Жалоба генеральского сына не подтвердилась, и он за клевету был предан суду. Зато во всем, что касалось самого суда, полиции, дворянских опек, царь оказался прав, и ревизия затянулась на многие месяцы.

Так Толстой снова оказался в зеленой Калуге и совершил несколько поездок по губернии, что прослеживается и в его творчестве. По невыясненной причине он считал свое пребывание там «изгнанием». Толстой останавливался в гостинице Кулона. Матери он писал: «Я часто бываю у Смирновых. Оба они учтивы и умны...» Надев вицмундирный фрак с золотыми пуговицами, Толстой на-

нес визиты столпам калужского общества, среди которых были видные чиновники и родственники Смирновых. Письмо матери он отправил 24 июня, в Иванов день, а накануне, следуя народному поверью и своей склонности ко всему таинственному, предложил Клементию Россету отправиться в лес, подстеречь ночью цветенье папоротника и сорвать цветок, открывающий старинные клады. «Но Россетти так напугала какая-то белая тень, перебежавшая нам дорогу, что он не пожелал идти дальше, — вспоминал Толстой в одном из писем девятнадцать лет спустя, и там же содержался намек на еще одно приключение, то ли романтическое, то ли просто смешное: — Это было в те времена, когда его сестра, княгиня Ольга Оболенская, произвела на меня сильное впечатление, сильное настолько, что однажды я чуть не утонул во время купания, когда она вдруг появилась верхом на ослике. Древняя история!..»

Он не описал другой своей встречи, которая состоялась несколькими днями раньше, 16 июня, но рассказал о ней Пантелеймону Кулишу, биографу Гоголя.

Гоголь в мае жил в Москве, занимался «Мертвыми душами», читал их Аксаковым. У Аксаковых же он слушал и сам певал народные песни. Украинские песни пел там О. М. Бодянский, у которого Гоголь, кстати, брал уроки сербского языка, чтобы понимать красоту песен южных славян, собранных Вуком Караджичем.

Жил он уединенно на Никитском бульваре, у Толстых, изредка бывал у Шевырева и Васильчиковых, в патриархальном доме которых встречались изящный Грановский с Хомяковым, ходившим в поношенном коричневом сюртуке, и Константином Аксаковым, носившим русское платье.

На Никитской было удобно, спокойно, но книга не писалась. Когда у Шевырева кто-то из гостей спросил Гоголя, почему за столько месяцев не написано ни строчки, тот ответил:

— Да, как странно устроен человек: дай ему все, чего он хочет для полного удобства жизни и занятий, тут-то он и не станет ничего делать; тут-то и не пойдет работа.

Сделав предложение Виельгорской и получив, видимо, отказ, Гоголь заторопился из Москвы в новое паломничество. Он присоединился к своему земляку М. А. Максимовичу. Путь их лежал через Калугу.

«Путешествие на долгих было для Гоголя уже как бы

началом плана, который он предполагал осуществить впоследствии, — *пишет Кулиш.* — Ему хотелось совершить путешествие по всей России, от монастыря к монастырю, ездя по проселочным дорогам и останавливаясь отдыхать у помещиков. Это ему было нужно, во-первых, для того, чтобы видеть живописнейшие места в государстве, которые большею частью были избираемы старинными русскими людьми для основания монастырей; во-вторых, для того, чтобы изучить проселки русского царства и жизнь крестьян и помещиков во всем ее разнообразии; в-третьих, наконец, для того, чтобы написать географическое сочинение о России самым увлекательным образом. Он хотел написать его так, «чтоб была слышна связь человека с той почвой, на которой он родился». Обо всем этом говорил Гоголь у А. О. Смирновой в присутствии графа А. К. Толстого, который был знаком с ним *издавна, но потом не видал его лет шесть или более...»* (курсив мой. — *Д. Ж.).*

Вот тут-то и возникает сомнение в свидетельствах Л. Арнольди и О. Смирновой о предыдущей встрече Гоголя и Толстого в Калуге, но и для опровержения их нет документальных оснований. По словам Кулиша, Алексей Константинович нашел в Гоголе большую перемену. Если прежде тот был добродушен в беседе с близкими знакомыми и «охотно вдавался во все капризы своего юмора и воображения», то теперь он был скуп на слова и преисполнен сам к себе глубокого почтения. «В тоне его речи отзывалось что-то догматическое, так, как бы он говорил своим собеседникам: «Слушайте, не пророните ни одного слова».

И все же он разговорился с Толстым, увлекся, особенно когда пошла речь об Украине. Он даже спел две колыбельные песни, которыми восторгался «как редкими самородными перлами».

Ой спы, дытя, без сповыття,
Покы маты з поля прыйде...

И еще:

Ой ходыть сон по улоньци,
В билесенький кошилоньци;
Слоняетця, тыняетця...

И, наверно, Толстой читал ему свои баллады или отрывки из «Князя Серебряного», потому что Гоголь «попотчивал графа лакомством другого сорта: он продеклами-

ровал с свойственным ему искусством великорусскую песню, выражая голосом и мимикою патриархальную величавость»:

Пантелей-государь ходит по двору,
Кузьмич гуляет по широкому,
Кунья-то шуба на нем до земли,
Соболья на нем шапка до верху,
Божья на нем милость до веку,
Бояре-то смотрят из города,
Боярыни-то смотрят из терема,
Сужена-то смотрит из-под пологу.
Бояре-то молвят: «Чей-то такой?»
Боярыни-то молвят: «Чей-то господин?»
А сужена молвит: «Мой дорогой».

Такой песня и вошла в роман «Князь Серебряный», который, по словам Колмакова, старшего чиновника при ревизоре, Толстой уже «написал в это время».

В. В. Шенрок, другой биограф Гоголя, касаясь пребывания Гоголя в Калуге, рассказывал о робости его с людьми. Но там, где его любили, он держался просто, рассказывал анекдоты, припоминал случаи из своих странствий, высказывал свои заветные взгляды и убеждения. «Так же держал себя он в обществе поэта графа А. К. Толстого», — пишет Шенрок.

Он сообщает, что положение Гоголя было «ужасным». Состояния Гоголь не имел. Когда появлялись крупные деньги, он раздавал их бедным, а потом сам нуждался. Здоровье оставляло желать лучшего, и он думал, что зима, проведенная в Греции, поможет ему. Однако небольшой пенсион, положенный ему царем на время пребывания за границей, автоматически кончился с возвращением в Россию. Нужен был беспошлинный паспорт и средства для поездки. Алексей Толстой принял в судьбе Гоголя горячее участие и посоветовал написать наследнику престола, обещая свое содействие. Но Гоголь не рискнул это сделать. По словам Шенрока, «с ужасом и доверием выбивающегося из сил, он передает свое душевное состояние Смирновой»:

«Я нахожусь в каком-то нравственном бессилии, пробовал писать к наследнику, но так стало совестно все просить и просить, все забирая вперед, не сделавши ничего, что перо не поднималось».

Гоголь уехал. В Козельске он оставил экипаж и прошелся пешком версты две до Оптиной пустыни. Его поразила приветливость и крестьян в округе, и монахов, и монастырских служек. Чтение и беседы в монастыре надолго

дали ему пищу для размышлений. Да и одному ли ему? 19 июня он ночевал в Долбине у И. В. Киреевского, знаменитого критика и публициста.

Вскоре в калужском Дворянском собрании был устроен бал. Гремела музыка с хоров. Пожилые чиновники теснились у губернаторских кресел. Глядя на вальсирующую молодежь, Александра Осиповна Смирнова вдруг нахмурилась, и ее желтая, как пергамент, кожа собралась складками на лбу.

— «Пошла плясать губерния», — сказала она. — Ну откуда Гоголь берет свои карикатуры? У него в губернии что ни чиновник, то взяточник; и вообще что ни человек, то урод и самого скверного свойства... Жалкий он человек!

Разумеется, она не осмелилась бы сказать что-либо подобное вне круга чиновников, подчиненных ее мужу, и оставалась неизменно любезной и с Гоголем, и с Алексеем Толстым, который переписал для нее особо в тетрадку свои стихи и баллады.

В юности Александра Осиповна была похожа на красивую молодую цыганку. В ней смешались французская, немецкая и грузинская кровь. Была она небольшого роста, лицо смуглое, с правильными тонкими чертами. Худа, жива, остроумна. Многих влекло к ней во фрейлинскую келью на четвертом этаже Зимнего дворца. Вряд ли найдется в истории женщина, которой бы столько первейших поэтов посвятили свои стихотворения и эпиграммы.

Она принимала участие во всех спорах, дерзала высказывать свои мнения в присутствии самых блестящих умов России, и к ней благосклонно прислушивались. Ум ее был нетворческий, но колоссальная память удерживала все самое оригинальное из того, что говорилось вокруг нее, а сообразительности пристойно видоизменять и компилировать мнения ей хватало. О памяти ее говорит хотя бы то, что, когда ей понадобилось выучить греческий, она сделала это шутя, в самое короткое время.

Это было шесть с лишним лет назад, во время ее хандры, от которой ей посоветовал лечиться таким образом Гоголь, часто встречавшийся с ней в Риме и Ницце. Александра Осиповна находилась, по выражению С. М. Соллогуба, «на страшной меже наслаждений, осуществившихся в протекшей молодости, и неизвестных испытаний в преддверии старости». Гоголь предложил ей в утешение религию. В их прогулках тогда участвовали Василий Алек-

сеевич Перовский, лечивший свои раны, его будущий сотрудник Яков Ханыков, Алексей Толстой, Юрий Самарин.

Дети Александры Осиповны питали симпатию к Алексею Толстому. Мало-помалу Алексей Толстой все же разглядел нечто ханжеское в поведении Александры Осиповны. Прискучили приемы в губернаторском доме, где среди чиновников велись разговоры о спектаклях появившейся в Калуге «русской труппы» во главе с неким Фридбергом, о свадьбах, о заготовке капусты, причем шли споры, как лучше рубить ее для засолки — домашними средствами, то есть при помощи дворовых девок, или испрашивая у губернатора арестантов из местного острога... Анна Алексеевна Толстая сообщала в письме, что приобрела под Петербургом имение Пустыньку, а также о болезни Василия Алексеевича Перовского, который пожелал видеть племянника. Воспользовавшись этим предлогом, Толстой вернулся в Петербург.

Но было бы неверно думать, что Толстой лишь развлекался разговорами у губернатора да бродил по Одигитриевской, Проломной, Золотаревской, Никитской и прочим калужским улицам. Конечно, в Калуге было на что посмотреть, вспомнить страницы истории, деяния Ивана Грозного и Бориса Годунова, Смутное время... Зайти хотя бы в дом калужанина Колобова, торговавшего жемчугом, в дом, называвшийся «дворцом Марины Мнишек», с его красивым крыльцом на столбиках, с окнами, обрамленными каменными колоннами... Сюда к Лжедмитрию, к Тушинскому вору, приехала Марина, «московская царица», сюда же прискакал к ней шут и друг самозванца дворянин Кошелев с вестью, что начальник татарской стражи крещеный татарин князь Петр Урусов застрелил Лжедмитрия на охоте и отрубил ему голову. И Марина, на последнем месяце беременности, схватила факел и металась ночью по городу, призывая горожан к мести... Купец Колобов все копался в подвалах своего дома, и поговаривали, что жемчуг он добывает там из старинных складов.

Ревизия требовала от Алексея Толстого служебных поездок по губернии, и самой примечательной для него была поездка в Козельск, городок пребедный, однако издали имеющий вид изрядный, как сказал один путешественник. История у города была славная — семь недель не могли его взять войска Батыя. Потом город рас-

цвел, до сорока церквей стояло на высоком берегу реки Жиздры. Ближе к нашим временам город славился кожевенными заводами и полотняными парусными фабриками, но к приезду Толстого он уже хирел, число жителей уменьшалось, промышленники перебирались в Сухиничи, к новому торговому пути.

Все это узнали Толстой и Жизневский, поселившиеся в сохраненном до наших дней доме владельца парусной фабрики Василия Дмитриевича Брюзгина, который не мог ничего присоветовать чиновникам для отчета — как «поправить» дело. Разве что провести через Козельск железную дорогу?..

От этого дома, построенного в эпоху классицизма, дома с тяжелым цоколем и хрупкой колоннадой, пути-дороги вели Толстого и в знаменитые Брынские леса, и в Оптину пустынь... Он писал потом, что места у Жиздры незабываемы, и трудно даже определить, что здесь интереснее — природа, история или люди.

Уже после появления романа «Князь Серебряный» стали вспоминать о князе Петре Оболенском-Серебряном, казненном Иваном Грозным. Имение князя было неподалеку, в соседнем уезде. В Козельске даже появилось предание о кургане, что возвышается верстах в трех от реки, — будто это могила героя романа князя Микиты Серебряного, который отпросился у царя в сторожевой полк на Жиздру служить, да там и голову сложил в сражении с татарами.

Что делал Алексей Константинович Толстой в Оптиной пустыни, куда несколько раз ходил пешком ракитовой аллеей, описанной позднее Достоевским в «Братьях Карамазовых»? С кем разговаривал? О чем?

Справочники говорят, что, по преданию, пустынь основана в XIV веке Оптой, главарем шайки, много лет разбойничавшей в Козельской засеке. Покаявшись, он стал иноком Макарием. Захудалый был монастырь. В XVIII веке обитель вдруг разбогатела и начала обстраиваться.

Со всех сторон, кроме речной, монастырь прикрыт лесом, и в лесу том, как в соборе, — просторно меж толстенных стволов сосен, дубов, лип. Разросшиеся их кроны на громадной высоте словно пологом отгораживают небо, и редкие прорывающиеся сквозь зелень лучи солнца ослепительно, золотом горят на коре деревьев и плотном ковре увядшей хвои.

Но Алексей Толстой шел не кружным путем, как ходят сейчас, а прямо, через луга, и уже издали видел

оставшуюся ныне лишь на литографиях бело-розовую картину — храмы, гостиницы, трапезную, ограду с семью башнями... Послушник подогнал паром, и вот Толстой уже ступает на низкий берег, поросший наклонившимися к воде ивами. Встречает его игумен монастыря Моисей, пищелюб, которого скупая монастырская братия за щедрость зовет «гонителем денег». Тут и его родной брат Антоний, начальник скита. Все они проходят через монастырь и шагах в четырехстах от его стен попадают в самый скит с его церковью и кельями старцев.

И вот Толстой уже у тех, кто создал благополучие монастырю, кто удалялся в уединение, в «пустыню», а оказывался в самом центре мирских забот. Со всех сторон к старцам стекались страждущие. И они давали советы крестьянке, например, как кормить индюшек, чтобы не дохли, или как пресечь поползновения свекра, а интеллигенту — как справиться с мучительной нравственной проблемой... Их умение ориентироваться в психике пришедшего человека по одному выражению лица, их огромное влияние на всех соприкасавшихся с ними людей трудно объяснимо, хотя Достоевский, описывая своего Зосиму, и пытался это сделать.

«Он так много принял в душу свою откровений, сокрушений, сознаний, что под конец приобрел прозорливость уже столь сильную, что с первого взгляда на лицо незнакомого, приходившего к нему, мог угадать, с чем тот пришел, что тому нужно и даже какого рода мучения терзают его совесть, и удивлял, смущал и почти пугал иногда пришедшего таким знанием тайны его, прежде чем тот молвил слово», — написано в «Братьях Карамазовых» про оптинского старца.

В Оптиной пустыни не раз бывали Жуковский, Гоголь, Шевырев, Погодин, братья Киреевские (они похоронены там), позднее Достоевский, Апухтин, Лев Толстой, Леонтьев... Более всего их привлекали беседы со старцами Макарием (в миру дворянин Михаил Орлов) и Амвросием (в миру сын причетника Александр Гренков).

Читая в Оптиной писания Исаака Сирина, Гоголь вернулся к XI главе первого тома «Мертвых душ» и осудил себя за снисходительное отношение к «прирожденным страстям». «Мне чуялось, когда я печатал эту главу, что я путаюсь; вопрос о значении прирожденных страстей много и долго занимал меня и тормозил продолжение «Мертвых душ». Жалею, что поздно узнал книгу Исаака

Сирина, великого душеведца и прозорливого инока. Здравую психологию и не кривое, а прямое понимание души встречаем лишь у подвижников-отшельников. То, что говорят о душе запутавшиеся в хитросплетенной немецкой диалектике молодые люди, не более как призрачный обман. Человеку, сидящему по уши в житейской тине, не дано понимание души». (Из карандашной заметки Гоголя на полях «Мертвых душ».)

Слушая новые главы «Мертвых душ», Алексей Толстой сочувствовал горячему желанию Гоголя увидеть Русь другими глазами, показать крах зла и торжество добродетели, объяснить хотя бы, что не все у нас такие, как персонажи первого тома, заглянуть в будущее, где усилием разумной воли человека искоренятся прирожденные злые страсти... Но он не принимал близко к сердцу проповеди молчания, кротости и усмирения страстей.

Алексей Толстой видел страсть и в несимметрично поставленных глазах Макария, когда тот, сухонький, весь седой, с костылем в одной руке, а с четками в другой, под общий шепот: «Старец идет!» появлялся на людях и, благословляя всех направо и налево, проходил в «хибарку», садился на диван и начинал отвечать на вопросы. Его сопровождал Амвросий, секретарь-письмоводитель, постриженный лишь восемь лет назад, в камилавке и подряснике, умно посверкивая проницательными глазами. У него были большие способности, его, поэта, богослова, знатока пяти языков, прочили в преемники Макария, что и случилось в 1860 году. Теперь же Амвросий набирался той мудрости, которая будет покорять Достоевского и Льва Толстого.

Напомним, что Алексей Константинович Толстой посетил Оптину в 1850 году. Пустынников тогда волновали политические новости, европейские бури. Со всех концов России приходили вести о стихийных бедствиях — холере, засухе, пожарах. В Орле сгорело недавно 2800 домов!

Старцы читали: «Море мятется, земля иссыхает, небеса не дождят, растения увядают... Бесстыдный же, прияв тогда власть, пошлет бесов во все концы смело проповедовать: «великий царь явился во славе...» Старцам казалось, что наступают страшные времена пришествия антихриста, и слова сочинения Ефрема Сирина, только что переизданного, воспринимались ими с тем же благоговейным ужасом, который в свое время перевернул душу протопопу Аввакуму. «Придет же прескверный как тать, в

таком образе, чтобы прельстить всех: придет скромный, смиренный, кроткий, ненавистник неправды... И скоро утвердится царство его...»

Амвросий потом говаривал Достоевскому и Льву Толстому об оскудении в России благочестия и неминуемом исполнении предсказанного в Апокалипсисе, о приходе антихриста «во времена безначалия и отсутствия предержащей власти», как говорил об этом, наверно, старец Макарий Гоголю и Алексею Константиновичу Толстому.

Но было бы ошибкой думать, что умнейших людей влекли к старцам только эти экскурсы в богословие, эти пугающие предсказания. Глубочайшее знание человеческой природы, всех душевных движений человека — вот на чем основывалась мудрость и оптинских старцев, и их учителей — древних пустынников. Как знал человека хотя бы Фома Кемпийский, читать которого призывал Смирнову Гоголь! Было у старцев и еще одно качество, которое не могло оставить равнодушным всякого, в ком была писательская жилка. Много рассказывают неприятного о фанатичном отце Матвее, который буквально смял Гоголя и, возможно, был причиной страшной его смерти. И от него же Гоголь слышал рассказы о высоких явлениях духа в русском народе. Т. И. Филиппов напечатал у Достоевского в «Гражданине» воспоминание:

«Рассказчик едва ли и сам сознавал, какую роль в этом деле, кроме самого содержания, играло высокое художество самой формы повествования. Дело в том, что, в течение целой четверти века обращаясь среди народа, о. Матвей с помощью жившего в нем исключительного дара успел усвоить себе ту идеальную народную речь, которую так долго искала и доныне ищет, не находя, наша литература, и которую Гоголь неожиданно обрел готовою в устах какого-то в ту пору совершенно безвестного священника. Тот же склад речи лежал и в основе церковной проповеди о. Матвея, хотя сюда по необходимости входили и другие стихии слова (как, например, церковнославянская), которые он успел необыкновенным образом между собой мирить и сливать в единое, цельное и исполненное красоты и силы изложение».

Говорят, даже неверующие вставали к шести утра, к ранней обедне, чтобы послушать отца Матвея. Та же народная речь была на устах и оптинских старцев. Соединенная с мудростью, знанием человека, она не могла оставить равнодушной писателя.

* * *

8 января 1851 года в Александринском театре давалось большое представление. Среди прочего в афише вечера значилась шутка-водевиль «Фантазия», написанная некими «Y» и «Z».

Своим высочайшим присутствием представление почтил сам Николай I. Первые три номера программы прошли благополучно, и, когда занавес поднялся в четвертый раз, зрители увидели на сцене декорации, обозначавшие сад перед дачей богатой старухи Чупурлиной. Посреди сада торчала беседка в виде будочки... И на ней развевался флаг с надписью: «Что наша жизнь?»

И вот что еще увидели зрители на сцене.

Старуха Чупурлина очень любит свою моську Фантазию и совсем не любит свою молоденькую воспитанницу Лизаньку, к которой в надежде на богатое приданое сватаются шесть женихов разом — молодой и резвый немец Либенталь, лукавый Разорваки, торговец мылом князь Батог-Батыев, приличный человек Кутило-Завалдайский, застенчивый господин Беспардонный и нахал Миловидов. Все они ухаживают за Лизанькой, и лишь Либенталь обхаживает старухину моську Фантазию. Но вот моська пропадает. Старуха обещает руку Лизаньки тому из женихов, кто отыщет Фантазию.

Оркестр играет бурю из «Севильского цирюльника». По сцене с лаем бегают собаки — от дога до шавки. Женихи ловят собак, обкарнывают их под моську и являются с ними к старухе...

Но оторвем взгляд от сцены и перенесемся в императорскую ложу. Царь Николай Павлович уже давно хмурит брови. Лай бегающих по сцене собак, невразумительные, абсурдные диалоги — все это подогревает в нем, мягко говоря, недоумение.

Кутило-Завалдайский вытаскивает на сцену упирающегося громадного датского дога и уверяет старуху Чупурлину, что это и есть ее моська. Миловидов притаскивает детскую игрушку — деревянную собачку — и показывает ее издали.

— Подберите фалды! — кричит Миловидов. — Он зол до чрезвычайности!

Именно при этих словах император встал и покинул ложу.

У выхода он сказал директору императорских театров А. М. Гедеонову:

— Много я видел на своем веку глупостей, но такой еще никогда не видел.

Тотчас же зрители начали шикать, кричать, свистеть. Спектакль проваливался. Зрители были озадачены с первых же нелепых реплик.

«Разорваки (смотрит на свои часы). Семь часов.

Кутило-Завалдайский (тоже смотрит на свои часы)... У меня половина третьего. Такой странный корпус у них; никак не могу сладить!»

Фемистокл Мильтиадович Разорваки, по авторской ремарке, «человек отчасти лукавый и вероломный», предлагает себя в женихи таким образом:

«Разорваки. Нет-с, я не шучу. Серьезно прошу руки Лизаветы Платоновны! Я происхождения восточного, человек южный; у меня есть страсти!

Чупурлина. Неужто?.. Но какие же у тебя средства?

Разорваки. Сударыня, Аграфена Панкратьевна! Я человек южный, положительный. У меня нет несбыточных мечтаний. Мои средства ближе к действительности... Я полагаю занять капитал... в триста тысяч рублей серебром... и сделать одно из двух: или пустить в рост, или... основать мозольную лечебницу... на большой ноге!

Чупурлина. Мозольную лечебницу?

Разорваки. На большой ноге!

Чупурлина. Что ж это? На какие ж это деньги?.. Нешто на Лизанькино приданое?

Разорваки. Я сказал: занять капитал в триста тысяч рублей серебром!

Чупурлина. Да у кого же занять, батюшка?

Разорваки. Подумайте: триста тысяч рублей серебром! Это миллион на ассигнации!

Чупурлина. Да кто тебе их даст? Ведь это, выходит, ты говоришь пустяки!

Разорваки. Миллион пятьдесят тысяч на ассигнации!»

На постановку «Фантазии» откликнулись едва ли не все журналы и газеты того времени. Одним из первых выступил с рецензией видный критик и драматург, редактор журнала «Пантеон» Федор Кони:

«Давно ведется поговорка, что у каждого барона своя фантазия. Но, вероятно, со времени существования театра никому еще не приходило в голову фантазии, подобной той, какую гг. Y и Z сочинили для русской сцены».

Свой пересказ комедии он закончил словами:

«Один только немец приносит настоящую Фантазию и получает руку Лизаньки. Однако соперники составляют против него интригу, но чем их замысел должен развязаться, мы сказать не можем, потому что публика, потеряв всякое терпение, не дала актерам окончить эту *комедию* и ошикала ее прежде опущения занавеса. Мартынов, оставшийся один на сцене, попросил у кресел афишку, чтобы узнать, как он говорил: «Кому в голову могла прийти фантазия сочинить такую глупую пьесу?» Слова его были осыпаны единодушными рукоплесканиями...»

Но, обратившись к тексту пьесы, нельзя не заметить, что Федор Кони был не прав. «Фантазия» была сыграна до конца. Женихи никакой интриги не составляли, а, побранившись со старухой Чупурлиной, ушли вместе с ней со сцены.

Остался один Кутило-Завалдайский. Его играл великий русский актер Мартынов. Он подошел к рампе и наклонился над оркестром.

— Господин контрабас! — обратился он к музыканту. — Пст!.. Пст!.. Господин контрабас, одолжите афишку!

Из оркестра ему подали афишку.

— Весьма любопытно видеть: кто автор этой пьесы?

Внимательно рассматривая афишку, Мартынов продолжал:

— Нет!.. Имени не выставлено... Это значит, осторожность! Это значит, совесть нечиста... А должен быть человек самый безнравственный! Я, право, не понимаю даже: как можно было выбрать такую пьесу? Я по крайней мере тем доволен, что, с своей стороны, не позволил себе никакой неприличности, несмотря на все старания автора! Уж чего мне суфлер ни подсказывал?.. То есть если б я хоть раз повторил громко, что он мне говорил, все бы из театра вышли вон!.. Но я назло ему говорил все противное! Он мне шепчет одно, а я говорю другое. И прочие актеры тоже все другое говорили; от этого и пьеса вышла лучше. А то нельзя было бы играть! Такой, право, нехороший сюжет!.. Уж будто нельзя было придумать что-либо получше? Например, что вот там один молодой человек любит одну девицу... Их родители соглашаются на брак; и в то время как молодые идут по коридору, из чулана выходит тень прабабушки и мимоходом их благословляет! Или вот что намедни случилось, после венгерской войны: что один офицер, будучи обручен с одною девицей, отправился с отрядом одного очень хоро-

шего генерала и был ранен пулею в нос. Потом пуля заросла. И когда кончилась война, он возвратился и обвенчался со своею невестой... Только уж ночью, когда они остались вдвоем, он — по известному обычаю — хотел подойти к ручке жены своей... неожиданно чихнул... пуля вылетела у него из носу и убила жену наповал!.. Вот это называется сюжет!.. Оно и нравственно, и назидательно, и есть драматический эффект!..

Уже начал опускаться занавес, а Мартынов не унимался:

— Или там еще: что один золотопромышленник, будучи чрезвычайно строптивого характера, поехал в Новый год с поздравленьем вместо того, чтобы к одному, к другому...

Тут грянул оркестр, а Мартынов, оглянувшись, увидел, что занавес уже опустился. Сконфуженный, он торопливо раскланялся с рукоплескавшей ему публикой и ушел.

Оказывается, все так и было задумано авторами пьесы, скрывшимися за последними литерами латинского алфавита. Но это дошло не до всех петербургских критиков, оживленно обсуждавших «Фантазию».

Журнал «Современник» писал, что «это пример очень замечательный в театральных летописях тем, что одной пьесы не доиграли вследствие резко выраженного недовольства публики. Это случилось с пьесою «Фантазия».

Рецензент «Отечественных записок» был более наблюдателен, хотя и писал о «совершенном и заслуженном падении Фантазии, оригинального водевиля, соч. Y и Z. Благоразумные авторы предвидели это падение и вложили в уста г. Мартынова длинный монолог, состоящий из невероятных рассказов, который несколько рассеял зрителей от часовой скуки этой собачьей комедии, потому что тут все дело вертится на собаках».

И наконец Василько Петров, театральный обозреватель «Санкт-Петербургских Ведомостей», подошел к комедии почти сочувственно: «О «Фантазии», оригинальной шутке гг. Y и Z, мы вовсе не будем говорить, потому что de mortius out bene, out nihil» *.

Он был прав.

На скрижалях истории императорских театров было выбито:

---

* О мертвых либо хорошо (отзываться), либо ничего (не говорить) *(латин.)*.

«ПО ВЫСОЧАЙШЕМУ ПОВЕЛЕНИЮ СЕГО 9 ЯНВАРЯ 1851 Г. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СЕЙ ПИЕСЫ В ТЕАТРАХ ВОСПРЕЩЕНО. Кол. Асс. Семенов».

Но коллежский асессор Семенов обозначил день формального запрещения; словесно оно было объявлено императором 8 января, в тот самый момент, когда он покидал театр.

Верноподданнический булгаринский полуофициоз «Северная Пчела» сочла уход императора из театра за прямое указание начать критический разнос. Писатель Р. Зотов, который вел в ней отдел театральной хроники, разразился обширной рецензией, заканчивавшейся словами:

«Признаемся, *Фантазия* превзошла все наши ожидания. Нам даже совестно говорить о ней, совестно за литературу, театр, актеров и публику. Это уже не натуральная школа, на которую мы, бывало, нападали в беллетристике. Для школы *Фантазии* надобно придумать особенное название. Душевно и глубоко мы благодарны публике за ее единодушное решение, авось это остановит сочинителей подобных фантазий. Приучив нашу публику наводнением пошлых водевилей ко всем выходкам дурного вкуса и бездарности, эти господа воображают, что для нее все хорошо. Ошибаетесь, чувство изящного не так скоро притупляется. По выражению всеобщего негодования, проводившему *Фантазию*, мы видим, что большая часть русских зрителей состоит из людей образованных и благонамеренных».

В квартире Жемчужниковых на Васильевском острове каждое глубокомысленное замечание почтенных рецензентов встречали хохотом. А дело было в том, что совсем недавно Алексей Жемчужников пытался пристроить на сцену Александринского театра свою «натуральную комедию» под названием «Сердечные похождения Дмитриева и Галюше, или Недоросль XIX столетия», в которой разоблачал нравы откупщиков и кабатчиков.

Цензор Гедерштерн усмотрел в комедии Жемчужникова нежелательную литературную тенденцию и начертал:

«Сюжет не заключает в себе ничего подлежащего запрещению, но вообще пиэса обращает на себя внимание тем, что автор, как бы следуя натуральной школе, вывел на сцену быт и слабости людей средних состояний в России, без всякой драматической прикраски, заставляя действующих лиц говорить языком низким».

В то время в Александринском театре первый трагик

Василий Каратыгин ревел, завывал, икал, поражал всех громадным ростом в душераздирающих драмах Кукольника, Полевого, Ободовского, подражавших Виктору Гюго. Большая часть репертуара отводилась водевилю, но уже пробивало себе дорогу стремление показывать жизнь как она есть. Водевилисты отчаянно сопротивлялись. В водевиле Петра Каратыгина «Натуральная школа» распевались куплеты:

Мы натуры прямые поборники,
Гении задних дворов:
Наши герои — бродяги да дворники,
Чернь петербургских углов!

Он метил в некрасовские альманахи «Физиология Петербурга» и «Петербургский сборник». Слово «натуральная» было пущено в оборот Булгариным как бранное, но Белинский его подхватил, переосмыслил и под этим флагом поддерживал литературу, стремившуюся к реалистическому изображению жизни.

Алексей Жемчужников на первом листе рукописи своей комедии написал:

«...Не пропущена, потому что обидна для *откупщиков* и выводит кабак на сцену».

Пьесу цензор запретил 18 ноября 1850 года, но прошел месяц, и к нему же на стол легла «Фантазия» — «Шутка-водевиль в 1 д.; сочинение Жемчужникова и графа Толстого».

И, на свою беду, он не нашел в ней «ничего предосудительного»... Вот история ее появления на свет.

Алексей Жемчужников рассказал о своей неудаче вернувшемуся из Калуги Алексею Толстому. Неизвестно, одобрял ли Толстой опыты своего двоюродного брата, но что он насмешливо относился к тогдашнему театральному репертуару, в том нет сомненья. То ли Толстому, то ли Жемчужникову пришла в голову мысль посмеяться над водевилем, сочинить «драматическую вещь, поражающую своей бессмыслицей и вместе с тем претендующую на внимание публики».

А. А. Кондратьев высказывал предположение, что одной из истинных причин возвращения Толстого в Петербург из Калуги «были приготовления к постановке на Александринскую сцену «Фантазии» Козьмы Пруткова».

Пруткова еще не было и в помине, да и сама «Фантазия» скорее всего писалась после приезда Толстого, судя по тому, что предыдущую комедию Жемчужников на-

писал в октябре, тогда же предложил ее и получил отказ.

Придумана и написана «Фантазия» была, как говорится, в один присест. То ли в квартире Жемчужникова на Васильевском острове, то ли в Пустыньке, имении под Петербургом, которое мать Толстого приобрела, когда он был в Калуге. Толстому полюбилось это место, где была прекрасная охота и где хорошо работалось. Имение сгорело после смерти поэта, в пожаре погибли бумаги Толстого. Этот и другие пожары и бедствия навсегда скрыли от нас многие важные подробности жизни поэта, принуждая довольствоваться малым, восстанавливать ее по крупицам, ворошить груды пепла, чтобы отыскать еще тлеющие обрывки...

По воспоминаниям современников можно представить себе «нечто вроде роскошного замка на берегу Тосны». С проведением Московской железной дороги Пустынька оказалась верстах в четырех от станции Саблино. Там перебывали многие знаменитости. А. В. Никитенко записал в своем «Дневнике»: «Все в этом доме изящно, удобно и просто. Самая местность усадьбы интересная. Едешь к ней по гнусному ингерманландскому болоту и вдруг неожиданно натыкаешься на реку Тосну, окаймленную высокими и живописными берегами. На противоположном берегу ее дом, который таким образом представляет красивое и поэтическое убежище».

От Пустыньки сегодня осталось несколько старых парковых деревьев и два зарастающих пруда; один из них круглый, с островом посередине, где некогда стояла беседка, в которой любил уединяться Алексей Толстой. Дом был над обрывом. Оттуда открывается вид, и в самом деле неожиданный для тех мест. На дне желто-красного каньона шумит, обтекая громадные гранитные валуны, быстрая речка Тосна. Возле недалеко лежащего села она делает громадную петлю, берега ее расступаются, за пойменными лугами виден дальний сизый лес. Если у пруда спуститься по почти отвесной песчаной стене к реке, краски станут еще ярче. Полоса неба сжата зеленой каймой деревьев, а ниже слежавшийся песок самых разных теплых оттенков. В стене темные пятна пещер, в иные можно войти, не сгибаясь, еще и побродить по сухим подземным коридорам. Когда-то, видимо, живал здесь монах-пустынник, оттого и название пошло — Пустынька.

Сохранилась небольшая овальная акварель, относя-

щаяся к первым месяцам пребывания Толстого в Петербурге после Калуги. Зима, снег, круча под усадьбой, внизу замерзшая Тосна... Ухватившись за дерево, Толстой помогает одолеть подъем карабкающемуся следом за ним Алексею Жемчужникову. И. А. Бунин в своих автобиографических заметках, опубликованных в 1927 году, вспоминает, как Жемчужников рассказывал ему: «Мы, я и Алексей Константинович Толстой... жили вместе и каждый день сочиняли по какой-нибудь глупости в стихах, потом решили издать эти глупости, приписав их нашему камердинеру Кузьме Пруткову».

Если читатель решит, что в этих строках открыта тайна появления на свет знаменитого имени Козьмы Пруткова, то он глубоко ошибется...

Мы еще вернемся к этому имени, о котором совсем не думалось, когда друзья сотворили комедию о богатой старухе Чупурлиной, которая очень любит свою моську Фантазию и совсем не любит молоденькую воспитанницу Лизаньку...

Лет через сорок в рассказах Алексея Жемчужникова дело выглядит так.

Молодые, веселые, здоровые и беззаботные молодые люди то и дело подшучивали друг над другом, но беззлобно, без стремления ущемить достоинство каждого, хотя Толстой, несомненно, относился не без иронии к театральным неудачам двоюродного брата. Иногда тот не выдерживал и произносил сакраментальную фразу, ставшую ныне классической:

— Да заткни фонтан, дай ему отдохнуть!

И писали они «Фантазию» будто бы в одной комнате, на разных столах, разделив пьесу на равное число явлений и распределив их между собой. Во время считки оказывалось, что у Толстого все герои уходят, а у Жемчужникова они вдруг оказываются все в одном месте.

Все было не так просто. При внимательном прочтении «Фантазии» становится более чем очевидным, что обе ее части не могли писаться одновременно. Кто-то должен был начать, а другой дописывать, потому что вся вещь сделана в одном ключе, язык и характеры персонажей выдержаны всюду, реплики из завязки и развязки перекликаются — они, как и куплеты, сперва льстивы (женихи сватаются), а в конце ругательны (женихи получают отказ). Писавшему вторую половину надо было хорошо знать первую, чтобы передавать настроение женихов «в обратном смысле». (Любопытно, не впервые ли в «Фан-

тазии» было употреблено это выражение, ставшее в наше время расхожим?)

«Фантазия» была написана в декабре 1850 года, 23-го числа того же месяца ее представили в дирекцию императорских театров, 29-го она была одобрена цензором Гедерштерном и вручена режиссеру Куликову, а 8 января 1851 года состоялся спектакль. И это вовсе не было исключением. Подстегивала система бенефисов.

С постановками гнали как на перекладных. Театр должен был непрерывно обновлять репертуар и требовал все новых и новых пьес. Актеры заучивали роли кое-как и больше надеялись на суфлера. Режиссеры ограничивались одной-двумя репетициями. Николай Иванович Куликов был опытным режиссером и сам пописывал пьески под псевдонимом Н. Крестовского, но ни он, ни дирекция, ни актеры не увидели в «Фантазии» подвоха.

Самих Толстого и Алексея Жемчужникова на спектакле не было — их пригласили на какой-то бал, и приглашение исходило от такого высокого лица, что на балу «быть следовало». Зато присутствовали Анна Алексеевна Толстая и сенатор Михаил Николаевич Жемчужников с сыновьями Львом, Владимиром, Александром... Они-то и рассказали отсутствовавшим авторам о том, что произошло в Александринском театре.

Тридцать три года спустя Алексей Жемчужников вспомнил былое и записал в своем дневнике:

«Воротясь с бала и любопытствуя знать: как прошла наша пьеса, я разбудил брата Льва и спросил его об этом. Он ответил, что пьесу публика ошикала и что Государь в то время, когда собаки бегали по сцене во время грозы, встал со своего места с недовольным выражением в лице и уехал из театра. Услышавши это, я сейчас же написал письмо режиссеру Куликову, что, узнав о неуспехе нашей пьесы, я прошу его снять ее с афиши и что я уверен в согласии с моим мнением графа Толстого, хотя и обращаюсь к нему с моей просьбой без предварительного с гр. Толстым совещания. Это письмо я отдал Кузьме, прося снести его завтра пораньше к Куликову. На другой день я проснулся поздно, и ответ от Куликова был уже получен. Он был короток: «Пьеса ваша и гр. Толстого уже запрещена вчера по Высочайшему повелению».

Пьеса «Фантазия» вошла в сочинения Козьмы Пруткова, само имя которого остается до сих пор тайной его создателей. Но с камердинером Кузьмой связан один из

эпизодов их жизни, содержащий многозначительный намек. Постепенно созревала мысль издать подражания, афоризмы, комедии отдельной книгой, и Толстой с Жемчужниковыми стали подумывать о псевдониме.

Камердинер Алексея Жемчужникова, добрый старик Кузьма Фролов, был всеобщим любимцем. Как-то Владимир Жемчужников в присутствии братьев и Толстого сказал ему:

— Знаешь что, Кузьма, мы написали книжку, а ты нам дай для этой книжки свое имя, как будто ты ее сочинил... А все, что мы выручим от продажи этой книжки, мы отдадим тебе.

Кузьма закивал.

— Что ж, — сказал он, — я, пожалуй, согласен, если вы так очинно желаете... А только дозвольте вас, господа, спросить: книга-то умная аль нет?

Братья прыснули.

— О нет! Книга глупая-преглупая.

Кузьма нахмурился.

— А коли книга глупая, так я не желаю, чтобы мое имя под ей было написано. Не надо мне и денег ваших...

Алексей Толстой долго хохотал, а потом достал и подарил Кузьме пятьдесят рублей.

— На, это тебе за остроумие.

Но всякий, кто возьмется раскапывать историю возникновения псевдонима, опираясь на воспоминания, статьи, разъяснения, опровержения его создателей, вскоре поймет, что ему морочат голову.

Великая путаница — это часть игры в Козьму Пруткова. Разное написание его имени — тоже. Библиографы откопали сборник «Разные стихотворения Козьмы Тимошурина», изданный в Калуге в 1848 году. Открывает его стихотворение «К музе», в котором есть такая строфа:

Не отринь же меня от эфирных объятий!..
О!.. если вниманье твое получу,
Среди многотрудных служебных занятий
Минуты покоя — тебе посвящу...

В «предсмертном» стихотворении Козьмы Пруткова есть нечто похожее на вирши калужского чиновника.

Но музы не отверг объятий
Среди мне вверенных занятий.

Вспомним, что Толстой только что вернулся из Ка-

луги... Для нас важны даже крупицы сведений о характере Алексея Толстого, о его неистощимом юморе, во многом способствовавшем славе и неубывающей популярности придуманного им вместе с Жемчужниковыми оригинального литератора.

«Фантазия» — это первое обнародованное произведение Козьмы Пруткова, хотя само имя появилось на страницах журнала «Современник» три с лишним года спустя. И с самого начала о такого рода творчестве заговорили все. Начиная с императора Николая Павловича, который вскоре, увидев на приеме Алексея Жемчужникова, сказал:

— Ну, знаешь, я не ожидал от тебя, что ты напишешь такую...

Царь запнулся.

— Чепуху? — не удержавшись, сказал Жемчужников.

Наступила историческая минута.

— Я слишком воспитан, чтобы так выражаться! — произнес холодно государь и перенес свое внимание на других.

Это из области анекдотов. Но остались и весьма существенные доказательства всеобщего внимания к постановке «Фантазии».

Эту комедию недаром включают в собрания сочинений и Козьмы Пруткова и Алексея Константиновича Толстого. Она была ядовитой насмешкой над тогдашними водевилями, герои которых под пение куплетов, преодолевая чинимые драматургами препятствия, неуклонно продвигались к собственной свадьбе. Обычно имена персонажей пеклись по готовым рецептам. Если купец, то в водевиле он Лобазин; если вертопрах, то Папильоткин; если страстная вдова, то Влюбчина; если лекарь, то Микстура...

В «Фантазии» все было наоборот.

«Застенчивый человек» зовется Беспардонным, Миловидов оказывается «человеком прямым», неприятным в своей грубой откровенности, а Кутило-Завалдайский, «человек приличный», даже представляясь, говорит: «У меня, сударыня, более нравственный капитал! Вы на это не смотрите, что мое такое имя: Кутило-Завалдайский. Иной подумает и бог знает что; а я совсем не то!.. Я человек целомудренный и стыдливый. Меня даже хотели сделать брандмейстером». И оправдывает целиком собственную характеристику.

В пьесе были доведены до абсурда диалоги, и это на-

водит на мысль, что Козьма Прутков был предтечей театра абсурда, возникшего уже в нашем веке и одно время считавшегося едва ли не вершиной драматического искусства. Когда о нелепице говорят всерьез, то от этого за версту несет разложением.

Химический термин «разложение» ввел в литературоведение Аполлон Григорьев. И едва ли не в тот самый год, когда была поставлена «Фантазия».

Аполлон Александрович жил в то время в Москве и, естественно, на спектакле быть не мог. Но он прочел рецензию Федора Кони и отозвался на «Фантазию» статьей в журнале «Москвитянин».

«Со своей стороны, — *писал он*, — мы видим в фантазии гг. Y и Z злую и меткую, хотя грубую пародию на произведения современной драматургии, которые все основаны на такого же рода нелепостях. Ирония тут явная — в эпитетах, придаваемых действующим лицам, в баснословной нелепости положений. Здесь только доведено до нелепости и представлено в общей картине то, что по частям найдется в каждом из имеющих успех водевилей. Пародия гг. Y и Z не могла иметь успеха потому, что не пришел еще час падения пародируемых ими произведений».



Глава пятая

«СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА, СЛУЧАЙНО...»

В начале 1851 года Алексею Толстому было уже тридцать три года. Он считал, что прожил их плохо, но никто не знал его тягостных мыслей. Ум и воспитание наделили его манерой держаться просто, но в этой аристократической простоте была своя сложность, которая исключала какую бы то ни было откровенность. В остроумие он прятался как в скорлупу — оно было видимой частью его исканий. Толстой знал про себя, что он художник, но ощущение собственной талантливости только усугубляло раскаяние — вместо творчества ему подсунули суету, а он не был настолько сильным, чтобы отринуть ненужное и взяться за главное...

Впрочем, как и все истинные художники, он преувеличивал собственную суетность. Бездельники не замечают потерянного времени. У работников всякий день, не отданный делу, кажется едва ли не катастрофой. Они терзаются, упрекают себя в лени именно в такие дни, забывая о месяцах, промелькнувших оттого, что думать о постороннем недосуг. Да и праздность художни-

ка кажущаяся — это время созревания плодотворной мысли.

Толстой был работником.

Анна Алексеевна Толстая по-прежнему ревниво опекала сына. Она с ужасом думала о его женитьбе, само слово «жена» было вызовом эгоистической самоотверженности Анны Алексеевны и предвещало, как чудилось ей, катастрофические перемены в сыновней привязанности и любви. Она придумывала болезни, которые требовали длительного лечения за границей и непременного присутствия и заботы сына. Она прибегала к помощи своих всесильных братьев, вызывавших Алексея к себе ради неотложных семейных дел или посылавших его в командировки государственной важности. А там... он развеивался, и его забывали. Так было с промелькнувшей в воспоминаниях графиней Клари и другими увлечениями Толстого.

Зимой, в январе, в тот, быть может, самый вечер, когда в Александринке шла «Фантазия», Алексей Толстой по долгу придворной службы сопровождал наследника престола на бал-маскарад, который давался в Большом театре. Будущий император Александр II любил подобные развлечения, он тяготился своей умной и тихой женой и открыто волочился за женщинами, не пренебрегая и случайными знакомствами в публичных местах.

На балу Алексей Толстой встретил незнакомку, у которой было сочное контральто, интригующая манера разговаривать, пышные волосы и прекрасная фигура. Она отказалась снять маску, но взяла его визитную карточку, обещав дать знать о себе.

Возвратясь домой, Алексей Константинович по укоренившейся у него привычке работать ночью пытался сесть за стол и продолжать давно уже начатый роман или править стихи, но никак не мог сосредоточиться, все ходил из угла в угол по кабинету и думал о незнакомке. Устав ходить, он ложился на диван и продолжал грезить. Нет, далеко не юношеское трепетное чувство влекло его к маске.. Ему, избалованному женской лаской, показалось, что с первых же слов они с этой женщиной могут говорить свободно, она поймет все, что бы он ни сказал, и ей это будет интересно не потому, что он, Алексей Толстой, *старается* говорить интересно, а потому, что она умница и всей манерой своей печально смотреть, улыбаться, говорить, слушать делает его не раскованным по-светски, а вдохновенным по-человечески. Это вместе с чувствен-

ностью, которую она не могла не пробудить, волновало его глубоко, обещая не просто удовольствие...

Может быть, той же ночью он нашел для описания своего зарождающегося чувства слова стихотворения, которое отныне будет всегда вдохновлять композиторов и влюбленных.

Средь шумного бала, случайно,
В тревоге мирской суеты,
Тебя я увидел, но тайна
Твои покрывала черты;

Лишь очи печально глядели,
А голос так дивно звучал,
Как звон отдаленной свирели,
Как моря играющий вал.

Мне стан твой понравился тонкий
И весь твой задумчивый вид,
А смех твой, и грустный и звонкий,
С тех пор в моем сердце звучит.

В часы одинокие ночи
Люблю я, усталый, прилечь;
Я вижу печальные очи,
Я слышу веселую речь,

И грустно я так засыпаю,
И в грезах неведомых сплю...
Люблю ли тебя, я не знаю —
Но кажется мне, что люблю!

— На этот раз вы от меня не ускользнете! — сказал Алексей Толстой через несколько дней, входя в гостиную Софьи Андреевны Миллер. Она решила продолжить бальное знакомство и прислала ему приглашение.

Теперь он мог увидеть ее лицо. Софья Андреевна не была хорошенькой и с первого взгляда могла привлечь внимание разве что в маске. Высокая, стройная, с тонкой талией, с густыми пепельными волосами, белозубая, она была очень женственна, но лицо ее портили высокий лоб, широкие скулы, нечеткие очертания носа, волевой подбородок. Однако, приглядевшись, мужчины любовались полными свежими губами и узкими серыми глазами, светившимися умом.

Иван Сергеевич Тургенев рассказывал о ней в семье Льва Толстого и уверял, что был будто с Алексеем Константиновичем на маскараде и что они вместе познакомились с «грациозной и интересной маской, которая с ними умно разговаривала. Они настаивали на том, чтобы она

сняла маску, но она открылась им лишь через несколько дней, пригласив их к себе».

— Что же я тогда увидел? — говорил Тургенев. — Лицо чухонского солдата в юбке.

«Я встречал впоследствии графиню Софью Андреевну, вдову А. К. Толстого, — добавляет слышавший этот рассказ С. Л. Толстой, — она вовсе не была безобразна, и, кроме того, она была, несомненно, умной женщиной».

Рассказ о том, что Тургенев был вместе с Толстым на памятном бале-маскараде, вызывает сомнение. Скорее всего Тургенева с Софьей Андреевной немного позже познакомил сам Алексей Толстой, и этому сопутствовало какое-то весьма неловкое обстоятельство, которое оставило у Ивана Сергеевича неприятный осадок, заставлявший его за глаза злословить, а в письмах к Софье Андреевне оправдываться...

Мнения современников о Софье Андреевне были самыми противоречивыми. Начать с того, что тот же Тургенев всегда посылал ей одной из первых свои новые произведения и с нетерпением ждал ее суда. Шаржированное описание ее внешности много лет спустя могло быть следствием уязвленного самолюбия. Он, как и Алексей Толстой, был под обаянием этой женщины, но отношения их остаются непроясненными.

— На этот раз вы от меня не ускользнете! — повторял Алексей Толстой, вновь услышавший ее необыкновенный вибрирующий голос, о котором говорили, что он запоминается навсегда. И еще говорили о ней как о милой, очень развитой, очень начитанной женщине, отличавшейся некоторым самомнением, которое, однако, имело столько оправданий, что охотно прощалось ей.

Она любила серьезную музыку. «Пела Софья Андреевна действительно как ангел, — вспоминала одна из ее современниц, — и я понимаю, что, прослушав ее несколько вечеров сряду, можно было без ума влюбиться в нее и не только графскую, а царскую корону надеть на бойкую головку».

Нет, женщина, прекрасно разбиравшаяся в литературе, способная взять в руки томик Гоголя и с листа безупречно переводить труднейшие места на французский, знавшая, по одним сведениям, четырнадцать, а по другим — шестнадцать языков, включая санскрит, не могла не произвести глубокого впечатления на графа, знания которого были необыкновенно широки и глубоки.

О чем они говорили в эту свою встречу, остается толь-

ко догадываться, но теперь не проходило и дня, чтобы они не встречались, не писали друг другу писем, касаясь главным образом литературы, искусства, философии, мистики.

Софья Андреевна, урожденная Бахметева, была женой конногвардейца, ротмистра Льва Федоровича Миллера. Этого обладателя роскошных пшеничных усов и заурядной внешности Толстой встречал в музыкальных салонах. Теперь он знал, что Софья Андреевна не живет с мужем, но остерегался спрашивать, что привело их к разрыву. Он принимал эту женщину с веселой речью и грустными глазами такой, какая она была, дорожил каждой минутой близости с ней, а сблизились они очень быстро, потому что того хотела Софья Андреевна. Он был из тех сильных, но неуверенных в себе мужчин, которых умные женщины выбирают сами, оставляя их в неведении об этом выборе, не давая неуверенности и сомнениям одержать верх над первым порывом.

Очень скоро она нанесла ему ответный визит, и уже 15 января Толстой посылает Софье Андреевне стихи:

Пусто в покое моем. Один я сижу у камина,
Свечи давно погасил, но не могу я заснуть,
Бледные тени дрожат на стене, на ковре, на картинах,
Книги лежат на полу, письма я вижу кругом.
Книги и письма! Давно ль вас касалася ручка младая?
Серые очи давно ль вас пробегали, шутя?..

Но к поэтическому признанию в любви он добавляет: «Это только затем, чтобы напомнить Вам греческий стиль, к которому Вы питаете привязанность. Впрочем, то, что я Вам говорю в стихах, я мог бы повторить Вам и в прозе, так как это чистая правда».

Он читал ей у себя «Ямбы» и отрывки из поэмы «Гермес» Анри Шенье, идиллии и элегии, проникнутые духом классики, и теперь посылал Софье Андреевне томик его стихов, редчайшее издание, составленное поэтом Латушем в 1819 году и дорогое тем, что досталось по наследству от Алексея Перовского. Толстого привлекала и сама личность полугрека-полуфранцуза Шенье, который весь был в свободолюбивых идеях XVIII века, но не принял якобинского террора, заявив открыто: «Хорошо, честно, сладостно ради строгих истин подвергаться ненависти бесстыжих деспотов, тиранизирующих свободу во имя самой свободы» и кончив жизнь в тридцать два года под ножом гильотины за два дня до падения Робеспьера. Противоречия французской революции заставляли Толстого упор-

но размышлять о судьбе художников в эпохи политических сдвигов. Ведь у Шенье, как и у Толстого, был «луч света впереди». Неосуществленность собственных намерений беспокоила Толстого всякий раз при воспоминании о том, как Шенье, поднявшись на эшафот, ударил себя по лбу и сказал: «А все-таки у меня там кое-что было!»

От мыслей возвышенных он спускался к изъявлению самой обыкновенной ревности, потому что накануне вечером Софью Андреевну увез с бала кавалер в мундире полицейского ведомства. Но это было последнее письмо, в котором Толстой обращался к возлюбленной на «вы». И уже скоро ему кажется, что «мы родились в одно время и знали всегда друг друга, и потому, совершенно тебя не зная, я сразу же устремился к тебе, потому что я услышал в твоем голосе что-то родное... Вспомни, вероятно, то же почувствовала и ты...»

Отныне каждое его письмо к ней будет исполнено величайшего доверия, каждое из них будет исповедью и признанием в любви.

До нас дошел лишь страстный монолог Алексея Константиновича (письма Софьи Андреевны не сохранились), говорящий об их духовной близости, в которой литература, искусство, философия, мистика играли роль второстепенную, давая возможность изливать свое, давно копившееся, выстраданное и до поры затаенное. Человек талантлив, но без повода, без отклика, без понимания он может так и не высказаться, остаться до конца во власти смутных ощущений, носить в себе обрывки мыслей, неразвившихся и незаконченных.

Себя Толстой считал некрасивым, немузыкальным, неэлегантным... Их много было, всяких «не». Софья Андреевна любила немецкую музыку, а Толстой ее не понимал и огорчался тем, что возлюбленная ускользает от него у дверей Бетховена.

В Толстом все больше росло отвращение к службе. Он старался всеми способами уклониться от дежурств во дворце. Софья Андреевна сочувственно относилась к его стремлению порвать с придворной жизнью и уйти с головой в творчество. И тем не менее могучие родственники продвигали его. В феврале он становится коллежским советником, а в мае его делают «церемониймейстером Двора Его Величества». Наследник престола, будущий император Александр II, считает его незаменимым спутником в поездках на охоту, часто бывает в Пустыньке, в

доме, который был обставлен со всей возможной роскошью — туда свезены булевская мебель, множество произведений искусства, драгоценный фарфор, принадлежавшие Перовским. Все это расставлено со вкусом, радовало глаз, и Толстой с удовольствием проводил время в Пустыньке. Ему хотелось рисовать, лепить, а больше гулять по лесам и полям или ездить верхом.

Он неотступно думает о Софье Андреевне. Она недоговаривает что-то, а порой избегает его. Толстой винит в этом себя. Это он оказался недостаточно чу ким... А может быть, он уже охладел к ней? Женщина способна предугадать то, что мужчина еще не осознает. Сомнения питают музу.

С ружьем за плечами, один, при луне,
Я по полю еду на верном коне.
Я бросил поводья, я мыслю о ней,
Ступай же, мой конь, по траве веселей!..

И с ним насмешливый двойник, будто бы угадывающий истинное состояние Толстого, предсказывающий тривиальный конец его любви:

«Смеюсь я, товарищ, мечтаньям твоим,
Смеюсь, что ты будущность губишь;
Ты мыслишь, что вправду ты ею любим?
Что вправду ты сам ее любишь?
Смешно мне, смешно, что, так пылко любя,
Ее ты не любишь, а любишь себя.
Опомнись, порывы твои уж не те!
Она для тебя уж не тайна,
Случайно сошлись вы в мирской суете,
Вы с ней разойдетесь случайно.
Смеюся я горько, смеюся я зло
Тому, что вздыхаешь ты так тяжело».

Но у Толстого не всегда можно понять, где он убийственно серьезен, а где так же убийственно ироничен. Это прутковская черта...

В немногих сохранившихся отрывках писем Толстого к Софье Андреевне нет уже никакой иронии. Видимо, она писала ему, что его чувство — лишь восторженное возбуждение. Оно пройдет, и Толстой уже не будет любить ее. Он чувствовал в ее словах недосказанность, которая тревожила его. Она намекала на обстоятельства, неведомые ему. Ей было страшно... А он не понимал, чего же она страшится, не понимал ее «забот, предчувствий, опасений», говорил, что цветок исчезает, но остается плод, само растение. Да, он знает, что любовь не вечное чув-

ство. Но стоит ли пугаться этого? Ну, пройдет любовь, но останется благословенная дружба, когда люди уже не могут обойтись друг без друга, когда один становится как бы естественным продолжением другого. Он уже и теперь чувствует, что он — в большей мере она, что Софья Андреевна для него больше, чем второе «я».

«Клянусь тебе, как я поклялся бы перед судилищем господним, что люблю тебя всеми способностями, всеми мыслями, всеми движениями, всеми страданиями и радостями моей души. Прими эту любовь, какая она есть, не ищи ей причины, не ищи ей названия, как врач ищет названия для болезни, не определяй ей места, не анализируй ее. Бери ее, какая она есть, бери не вникая, я не могу дать тебе ничего лучшего, я дал тебе все, что у меня было драгоценного, ничего лучшего у меня нет...»

Как-то она показала ему свой дневник, и его поразила там фраза:

«Для достижения истины надо раз в жизни освободиться от всех усвоенных взглядов и заново построить всю систему своих знаний».

Он и сам так думал всегда, но не мог выразить точно, как это сделала умница Софья Андреевна. «Я — словно какой-нибудь сарай или обширная комната, полная всяких вещей, весьма полезных, порой весьма драгоценных, но наваленных кое-как одна на другую; с тобой я и хотел бы разобраться и навести во всем порядок».

Его посещают мысли, обычные для любой незаурядной, творческой личности. Как же так получилось, что он бесплодно прожил половину жизни? У него столько противоречивых особенностей, которые приходят в столкновение, столько желаний, столько потребностей сердца, которые он силится примирить... Но примирения, гармонии не получается. Всякая попытка проявить себя творчески приводит к такой борьбе противоречий в нем самом, что все существо выходит из этой борьбы растерзанным. Он живет не в своей среде, не следует своему призванию, в душе полный разлад, и получается, что он обыкновенный лентяй, хотя, в сущности, деятелен по природе...

Значит, все надо менять, все в самом себе поставить на свои места, и помочь ему в этом может лишь один человек — Софья Андреевна.

Лето 1851 года было жарким. Вернувшись из лесу, Толстой садился за письма к Софье Андреевне, рассказывал ей, как влекут его лесные запахи. Они напоминают о детстве, проведенном в Красном Роге, столь богатом

лесами. Рыжики, всякий сорт грибов пробуждает в нем множество картин из прожитого. Он любит запах моха, старых деревьев, молодых, только что срубленных сосен... Запах леса в знойный полдень, запах леса после дождя, запахи цветов...

Анна Алексеевна уже проведала о связи сына с Софьей Андреевной, но на отношения с замужней женщиной она смотрела спокойно, потому что считала их несерьезным, кратковременным увлечением, не видела в чувстве сына к Софье Андреевне ничего угрожающего эгоистической материнской любви.

Софья Андреевна уехала к брату в Пензенскую губернию, в родовое имение Бахметевых село Смальково. Толстой тоскует и пишет ей из Пустыньки пространное письмо, в котором снова звучит мотив вечности любви, ее предопределения и фатальности. И, пожалуй, это главное письмо, его кредо, которого он держался всю жизнь неуклонно.

«...Бывают минуты, в которые моя душа при мысли о тебе как будто вспоминает далекие-далекие времена, когда мы знали друг друга еще лучше и были еще ближе, чем сейчас, а потом мне как бы чудится обещание, что мы опять станем так же близки, как были когда-то, и в такие минуты я испытываю счастье столь великое и столь отличное от всего доступного нашим представлениям здесь, что это словно предвкушение или предчувствие будущей жизни. Не бойся лишиться своей индивидуальности, а пусть бы ты даже и лишилась ее, это ничего не значит, поскольку наша индивидуальность есть нечто приобретенное нами, естественное же и изначальное наше состояние есть добро, которое едино, однородно и безраздельно. Ложь, зло имеет тысячи форм и видов, а истина (или добро) может быть только единой... Итак, если несколько личностей возвращаются в свое естественное состояние, они неизбежно сливаются друг с другом, и в этом состоянии нет ничего ни прискорбного, ни огорчительного...»

А поскольку «изначальное наше состояние есть добро», то возникает его глубокое уважение к людям, способным жить естественно, не подчиняя себя условностям света и требованиям «так называемой службы». Толстому кажется, что таковы люди искусства, что у них и мысли другие, и лица добрые. Он рассказывает, какое удовольствие доставляет ему видеть людей, посвятивших себя какому-нибудь искусству, не знающих службы, не зани-

мающихся под предлогом служебной надобности «интригами одна грязнее другой». Он идеалист, наш герой, считающий, что людям искусства несвойственно интриганство. В их мире ему видится возможность «отдохнуть» от вечного пребывания в служебной форме, от соблюдения правил бюрократического общежития, от чиновничьего рабства, которого неспособен избежать ни один из служащих, на какой бы высокой ступени иерархической лестницы он ни находился.

«Не хочется мне теперь о себе говорить, а когда-нибудь я тебе расскажу, как мало я рожден для служебной жизни и как мало я могу принести ей пользы...

Но если ты хочешь, чтобы я тебе сказал, какое мое настоящее призвание, — *быть писателем.*

Я еще ничего не сделал — меня никогда не поддерживали и всегда обескураживали, я очень ленив, это правда, но я чувствую, что мог бы сделать что-нибудь хорошее, лишь бы мне быть уверенным, что я найду артистическое эхо, и теперь я его нашел... это ты.

Если я буду знать, что ты интересуешься моим писанием, я буду прилежнее и лучше работать.

Так знай же, что я не чиновник, а художник».

И вот тут мы приближаемся к тяжкому испытанию любви Алексея Константиновича Толстого к Софье Андреевне Миллер. Это письмо отправлено из Пустыньки в Смальково 14 октября 1851 года, а через несколько дней туда же устремляется сам Толстой, чтобы услышать исповедь любимой женщины...

И уже 21 октября он пишет стихотворение, обращенное к Софье Андреевне, полное любви и намеков на их мучительные объяснения:

Слушая повесть твою, полюбил я тебя, моя радость!
Жизнью твоею я жил и слезами твоими я плакал...
Многое больно мне было, во многом тебя упрекнул я;
Но позабыть не хочу ни ошибок твоих, ни страданий...

Что же случилось за эти семь дней? Почему Толстой, только что написавший длинное послание и не обмолвившийся в нем ни словом об «ошибках и страданиях» Софьи Андреевны, вдруг срывается с места и, вооруженный самой грозной подорожной, понукая ямщиков, загоняя лошадей, мчится в Смальково?

Анна Алексеевна Толстая наконец поняла, что у сына ее не простая любовная интрижка, и стала интересоваться его избранницей. Навела справки, и услужливые сплет-

ники наговорили ей о Софье Андреевне такого, что она пришла в ужас. Графине даже показали в театре на некую особу, приняв ее за Софью Андреевну по созвучию имен. Вульгарная внешность особы крайне шокировала Анну Алексеевну, которая едва ли не в тот же вечер напрямик спросила сына, каковы его отношения с Софьей Андреевной, любит ли он ее...

Не способный кривить душой, Алексей Константинович сказал, что любит, что не знает более чудесной и умной женщины, чем Софья Андреевна Миллер, и если бы той удалось развестись с мужем, он почел бы за счастье ее согласие стать подругой жизни... Анна Алексеевна гневно прервала его и высказала все, что слышала и сама думает о Софье Андреевне.

Твердо уверенный, что Софьи Андреевны нет в Петербурге, он улыбался, когда мать расписывала даму, виденную ею в театре, но стоило в рассказе матери замелькать фамилии Бахметевых и разным знакомым подробностям, которые тесно увязывались с тем, о чем он еще не знал, но мог бы догадаться, если б захотел, как улыбка сползла с его лица. Он был потрясен. Ему захотелось тотчас увидеться с Софьей Андреевной, объясниться с ней, услышать из ее уст, что все это неправда...

Толстому понадобилось срочно навестить дядю Василия Алексеевича Перовского в Оренбурге, а путь туда пролегал через Пензенскую губернию. Промелькнул Саранск, и вот уже Смальково — церковь с высокой колокольней, двухэтажный дом Бахметевых, полускрытый разросшимися вербами, деревенские избы. Входя в дом, он услышал звуки рояля и голос, «от которого он сразу же встрепенулся», дивный голос, навсегда пленивший его...

Софья Андреевна так обрадовалась его приезду, что ему было неловко начинать неприятный разговор. Когда же он стал упрекать ее в скрытности, она разрыдалась, сказала, что любит его и потому не хотела огорчать. Она скажет ему все, и он волен верить или не верить ей...

Об их объяснении мы можем только догадываться. Были упреки Толстого, но было и сострадание, прощение, безграничное великодушие. Вскоре он напишет ей: «Бедное дитя, с тех пор как ты брошена в жизнь, ты знала только бури и грозы. Даже и в самые лучшие минуты, те, когда мы находились вместе, тебя волновали какая-

нибудь неотвязная забота, какое-нибудь предчувствие, какое-нибудь опасение...»

Прошлое Софьи Андреевны было туманным и неблагополучным.

Сохранились лишь немногие письма Толстого к Миллер, в которых случайно уцелели намеки на его страдания и ее прошлое — после его смерти она беспощадно уничтожила собственные письма, а из оставленных писем Алексея Константиновича вырезала даже отдельные строчки...

Но в «Путешествии за границу М. Н. Похвиснева, 1847 года» есть упоминание о тщательно скрывавшейся драме:

«С нами в дилижансе едет граф Толстой, отец московской красавицы Полины (слывущей так в Москве), вышедшей недавно замуж за кн. Вяземского, убившего на дуэли преображенца Бахметева... Граф с гордостью рассказывает нам про своего зятя, наделавшего много шуму своею историею с Бахметевым; дело стало за сестру Бахметева, на которой Вяземский обещал жениться и которую, говорят, он обольстил; брат вступился за сестру и был убит Вяземским. Суд над ним кончился, и приговор ему объявили, вместе с сыном гр. Толстого (бывшего у него секундантом), при дверях Уголовной палаты. Благодаря ходатайству старухи Разумовской, тетки Вяземского, последнему вменено в наказание двухгодичный арест...»

Сколько же их, Толстых и Разумовских, связанных к тому времени родственными узами едва ли не со всеми именитыми дворянскими родами! Даже у мужа Софьи Андреевны, конногвардейца Льва Федоровича Миллера, мать Татьяна Львовна — урожденная Толстая.

Жизнь Софьи Андреевны в родном доме стала невыносимой. Чтобы бежать от косых взглядов (в семье считали ее виновницей гибели брата), она вышла замуж за страстно влюбленного в нее ротмистра Миллера. Но брак оказался неудачным, она питала отвращение к мужу и вскоре ушла от него.

Софья Андреевна исповедовалась Толстому, но была ли ее исповедь полной, было ли ее чувство таким же глубоким и сильным, как его, не узнать никогда. Если нет, то она была несчастлива со своими «заботами, предчувствиями, опасениями». Он же был мучительно счастлив...

Сострадание и великодушие сильного человека отчет-

ливо видны в концовке того стихотворения, в котором он говорил, что не хочет забывать ошибок Софьи Андреевны.

Дороги мне твои слезы и дорого каждое слово!
Бедное вижу в тебе я дитя, без отца, без опоры;
Рано познала ты горе, обман и людское злословье,
Рано под тяжестью бед твои преломилися силы!
Бедное ты деревцо, поникшее долу головкой!
Ты прислонися ко мне, деревцо, к зеленому вязу:
Ты прислонися ко мне, я стою надежно и прочно!

Через десять дней складывается еще одно стихотворение, позднее ладом своим заворожившее композиторов Лядова и Аренского.

Ты не спрашивай, не распытывай,
Умом-разумом не раскидывай:
Как люблю тебя, почему люблю,
И за что люблю, и надолго ли?
Ты не спрашивай, не раскидывай:
Что сестра ль ты мне, молода ль жена
Или детище ты мне малое?
И не знаю я, и не ведаю,
Как назвать тебя, как прикликати.
Много цветиков во чистом поле,
Много звезд горит по поднебесью,
И назвать-то их нет умения,
Распознать-то их нету силушки.
Полюбив тебя, я не спрашивал;
Не разгадывал, не испытывал,
Полюбив тебя, я махнул рукой,
Очертил свою буйну голову!

Из Смалькова Толстой отправился к дяде Василию Алексеевичу Перовскому в Оренбург, и в пути у него было время поразмыслить о Софье Андреевне и ее семье...

Приятной неожиданностью было узнать, что Софья Андреевна, как и он, любит охоту, ездит верхом по-мужски, в казачьем седле, носится во весь опор по полям с нагайкой и с ружьем за плечами, и повадки у нее словно у заправского доезжачего...

Познакомился он и с многочисленными Бахметевыми — главой семейства Петром Андреевичем, его женой, детьми Юрием, Софьей, Ниной, сестрами Софьи Андреевны, еще одним ее братом, Николаем Андреевичем, о котором говорили, что он «душа и нерв» всего местного общества. «Суета он страшная, неугомонен как бес, но зато вносит с собою жизнь всюду, куда входит». Звали его все Коляшей. Софью Андреевну он обожал, считал верхом совершенства. Отношения между всеми Бахметевыми были весьма сложные.

За одним из Бахметевых была замужем Варвара Александровна, Варенька, урожденная Лопухина, в которую был влюблен Лермонтов. Муж Варвары Александровны отравлял ей жизнь — в каждой повести или драме поэта, где выводился муж-глупец, жена которого любит другого, ему чудилась насмешка, издевательство. Софья Андреевна знала все об этих семейных ссорах, потому что одно время, совсем юная, жила у Варвары Александровны, была воспитана ею, обязана ей своим развитием.

В Оренбурге, небольшой крепости, окруженной земляными валами и рвами, Толстого радостно встретили Перовский и Александр Жемчужников.

После неудачного Хивинского похода, как мы помним, Перовский вернулся в Петербург, лечил свои раны за границей, хандрил без дела, поскольку обязанности члена Государственного совета казались ему скучными. Он переживал гибель солдат своего отряда.

В столице плотно окружавшие царя бенкендорфы, нессельроде, клейнмихели делали все, чтобы не дать ему возможности оправдаться в своих действиях. Прождав два месяца аудиенции, он решился на отчаянный поступок. На смотру он вышел из строя и скрестил руки на груди. Император нахмурился, но, услышав, что это Перовский, подошел и обнял его.

Перовский добился того, что все оставшиеся в живых участники неудачного похода были награждены. Но совершить новый поход ему не дали. Он долго болел. Когда он совсем слег, его навестил Николай I.

— Что я могу для тебя сделать? — спросил император.

— Мне хотелось бы, ваше величество, чтобы меня хоронили уральские казаки, — ответил Перовский.

Когда на границе понадобились решительные действия, Перовского снова назначили в Оренбургский край и дали ему огромные полномочия.

Он приехал в Оренбург, захватив с собой племянника Александра Жемчужникова в качестве чиновника своей канцелярии. На валах Оренбурга стояли часовые и по ночам протяжно кричали: «Слуша-ай!», отчего их называли царскими петухами.

Всего двенадцать тысяч жителей, считая и войска, было в городке, который властвовал над краем бесконечно большим. А в самом Оренбурге властвовал генерал Обру-

чев, любитель распекать подчиненных и экономить казенные деньги. Он сберег миллион рублей, отослал их в Петербург, но никакой награды за это не получил. Зато к 1851 году Оренбург так и остался кучкой скверных и ветхих зданий.

Но вот захолустье разбужено. Назначенный оренбургским и самарским генерал-губернатором, Перовский привез с собой огромный штат чиновников особых поручений и адъютантов, завел множество новых учреждений и зажил так пышно, что льстецы стали сравнивать его с Людовиком XIV.

Подвластные ему области простирались от Волги и до отрогов Урала. На него возлагались дипломатические отношения с Хивой и Бухарой, на одни приемы казна отпускала ему полмиллиона рублей в год.

Планы Перовского были громадны, и он впоследствии осуществил их.

При нем в казахской степи было построено много укреплений, положивших начало нынешним городам, исследовано Аральское море, взята штурмом кокандская крепость Ак-Мечеть, переименованная потом в форт Перовский, заключен договор с Хивой, подрывавший основы этого тиранического рабовладельческого государства. Действия Перовского предопределили присоединение к России обширных среднеазиатских территорий.

Современник писал о нем:

«Энергия, быстрота, натиск — вот были главные особенности деятельности Перовского.

Красавец собой, статный, повыше среднего роста, хорошо воспитанный, он в обществе производил чарующее впечатление. Особенно в восторге от него были дамы, которые, кажется, считали для себя священным долгом влюбляться в него и чуть не бегали за ним — куда он, туда и они. Подчас он так умел очаровывать их, что, как говорится, в душу влезет. Но другой раз от одного его сердитого взгляда эти же дамы падали в обморок».

Перовский очень гордился тем, что по своей должности является и атаманом оренбургского казачьего войска, насчитывавшего двенадцать полков. Один из полков располагался в станице, примыкавшей к городу. Казаки жили привольно, торговали на Меновом дворе, громадном рынке, раскинувшемся за рекой Уралом.

Кого только не видел этот рынок! Караваны верблюдов и лошадей стекались сюда из Бухары, Хивы, Коканда, Ташкента, Акмолинска...

Крики, ржанье, топот... На десятках языков люди торговались, спорили, приходили к согласию. Большинство было неграмотно, не умело считать деньги и признавало только меновую торговлю.

Не имевший своей семьи Василий Алексеевич Перовский считал своим долгом опекать сыновей своих сестер Алексея Толстого и братьев Жемчужниковых. Попадая в Оренбург, Толстой оказывался в обществе для него приятном, много охотился, участвовал в веселых проделках Александра Жемчужникова...

Во время своих поездок в Оренбург поэт часто обгонял вереницы колодников, которые брели по степи на восток. Хмурые, с бритыми лбами, гремя цепями, они косились на проезжавший экипаж и пели иногда свои заунывные песни. Под впечатлением таких встреч Толстой написал стихотворение «Колодники», которое было опубликовано много лет спустя и, положенное на музыку А. Т. Гречаниновым, стало одной из популярнейших революционных песен. Ее очень любил В. И. Ленин и часто пели политкаторжане.

Спускается солнце за степи,
Вдали золотится ковыль, —
Колодников звонкие цепи
Взметают дорожную пыль...

Толстой и Жемчужниковы, пользуясь родственными связями, часто вступались за художников и писателей, подвергавшихся репрессиям. Еще в 1850 году они просили Василия Алексеевича Перовского вступиться за Шевченко. В делах III Отделения сохранилось письмо генерала к Дубельту:

«Зная, как у вас мало свободного времени, я не намерен докучать вам личными объяснениями и потому, прилагая при сем записку об одном деле, прошу покорнейше ваше превосходительство прочесть ее в свободную минуту, а потом уведомить меня: можно ли что-либо, по вашему мнению, предпринять в облегчение участи Шевченко?»

В записке было изложение дела украинского художника и поэта, «отправленного на службу рядовым за сочинение на малороссийском языке пасквильных стихов... С тех пор рядовой Шевченко вел себя отлично... В прошлом году... командир отдельного Оренбургского корпуса (Обручев. — *Д. Ж.*), удостоверившись в его отличном поведении и образе мыслей, испрашивал ему дозволения

рисовать, но на это представление последовал отказ... Рядовому Шевченко около сорока лет; он весьма слабого и ненадежного сложения...»

Дубельт ответил: «Вследствие записки вашего превосходительства от 14 февраля, я счел обязанностью доложить г. генерал-адъютанту графу Орлову... Его сиятельство... изволили отозваться, что при всем искреннем желании сделать в настоящем случае угодное вашему высокопревосходительству, полагает рановременным входить со всеподданнейшим докладом...»

А через два месяца Шевченко, который жил в Оренбурге сравнительно вольно и вопреки запрещению рисовал и писал, был вновь арестован.

Ко времени назначения В. А. Перовского начальником Оренбургского края стараниями III Отделения Шевченко уже перевели из города в Орскую крепость, а потом на Мангышлак.

Лев Жемчужников впоследствии писал биографу Шевченко, А. Я. Конисскому:

«Перовский знал о Шевченко от К. П. Брюллова, Вас. Андр. Жуковского и пр. Просил за Шевченко у Перовского, при проезде его через Москву, и граф Андр. Ив. Гудович (брат жены Ильи Ив. Лизогуба); просил за него и в Петербурге и в Оренбурге двоюродный брат мой, известный теперь публике поэт, граф А. К. Толстой. Но Перовский, хотя и был всесильным сатрапом, как выразился Шевченко, ничего не мог сделать для Шевченко: так был зол на поэта император Николай Павлович. Перовский говорил Лизогубам, Толстому и Гудовичу, что лучше теперь молчать, чтобы забыли о Шевченко, так как ходатайство за него может послужить во вред ему. Факт этот есть факт несомненный и серьезный, так как освещает личность В. А. Перовского иначе, чем думал о нем Шевченко. Перовский, суровый на вид, был добр, чрезвычайно благороден и рыцарски честен: он всегда облегчал судьбу сосланных, о чем не раз заявляли эти сосланные поляки и русские, но в пользу Шевченко он сделать что-либо был бессилен. Император Николай считал Шевченко неблагодарным и был обижен и озлоблен за представление его жены в карикатурном виде в стихотворении «Сон»...»

Царь не мог простить поэту таких строк:

Сам по залам выступает
Высокий, сердитый.
Прохаживается важно..
С тощей, тонконогой,

Словно высохший опенок,
Царицей убогой,
А к тому ж она, бедняжка,
Трясет головою.
Это ты и есть богиня?
Горюшко с тобою!

Шевченко тянул солдатскую лямку в Новопетровском укреплении, на пустынном и жарком берегу Каспийского моря. «Но добрые люди, несомненно, продолжали думать и заботиться о Шевченко, и к числу таких принадлежали, как мне хорошо известно, Алексей Толстой, Лизогубы и тот же В. А. Перовский», — писал Лев Жемчужников в своих воспоминаниях.

Став оренбургским генерал-губернатором, Перовский через своих приближенных не раз намекал командирам Шевченко о том, что притеснять поэта не следует, а в письме жены коменданта Новопетровского укрепления Усковой к тому же А. Я. Конисскому говорится прямо, что «когда И. А. (Усков) при отъезде из Оренбурга в форт пошел прощаться к Перовскому, то тот первый заговорил о Шевченко и просил мужа как-нибудь облегчить его положение...».

А. А. Кондратьев уверяет, что Толстой вернулся из Оренбурга в Петербург едва ли не весной 1852 года, заехав по дороге опять в Смальково. Однако этому утверждению противоречит письмо Софье Андреевне, отправленное из Петербурга. В нем Алексей Константинович «жалеет» о пребывании своем в Смалькове, поскольку «в самом разгаре аристократических увлечений» он желал для себя деревенской жизни. Письмо датировано 1851 годом по книге Лиронделя.

И в Петербурге Алексей Константинович жалел, что ему не хватает слов, чтобы передать свое состояние вдали от Смалькова. Вот он вернулся с бала-маскарада, где отбывал служебную повинность — сопровождал наследника престола.

«*Как мне было там грустно!* Не езди никогда на эти противные балы-маскарады! — восклицает он, хотя обязан своим знакомством с Софьей Андреевной именно им. — Мне так бы хотелось освежить твое бедное сердце, так бы хотелось дать отдохнуть тебе от всей твоей жизни!»

Да, Смальково, деревня, любимая женщина... Там, в смальковском доме, было благостно и спокойно. А что тут? «Вся сутолока света, честолюбие, тщеславие и т. д.». Это неестественно, это недобрый туман. Сквозь него и сейчас словно бы слышен ее голос:

— Я навсегда отказываюсь от этого ради любви к тебе!

Им овладевает чувство безраздельного счастья. Слова, сказанные ею в Смалькове, вновь и вновь звучат в душе как уверение, что отныне ничто не причинит зла ни ей, ни ему.

«Это твое сердце поет от счастья, а мое его слушает, а так как все это — в нас самих, то его у нас и нельзя отнять, и даже среди мирской суеты мы можем быть одни и быть счастливыми. Характер у меня с надрывом, но мелочности в нем нет — даю тебе слово».

Русская литература не мыслится без любовной лирики, создававшейся большим чувством Алексея Константиновича Толстого.

... И всюду звук, и всюду свет,
И всем мирам одно начало,
И ничего в природе нет,
Что бы любовью не дышало.

Все было непросто в этой любви.

Непросто было получить согласие на развод у Миллера.

Непросто было с Анной Алексеевной. Есть упоминание о письме Толстого к матери, в котором он еще и еще говорит о своем чувстве, просит простить его, умоляет не верить нехорошим слухам о Софье Андреевне...

Следующие два года Толстой мечется между Пустынькой, своей петербургской квартирой в доме Виельгорского на Михайловской площади и Смальковом.

Известно, что писал Толстой любимой едва ли не каждый день. Вот строки из письма от 23 июня 1852 года, впервые публикующиеся на русском языке:

«Я знаю, что, когда ты будешь читать это письмо, я буду возле тебя. Я не могу не писать тебе — это сильнее меня. И так будет до конца моей жизни, я буду жить только тобой».

Изредка Толстой выезжает за границу и на воды по настоянию матери. Та страдает, шлет ему отчаянные письма, «со всем пылом восстает» против его самостоятельности, а он страдает из-за ее огорчения. «Любовь моя растет из-за твоей печали», — пишет он Анне Алексеевне.

Иногда переписка с матерью носит ожесточенный характер. Потом Толстой кается: «Не помню, что тебе писал, находясь под дурным впечатлением...» Порой обиженная мать вообще перестает отвечать на его письма.

С весны и почти весь 1851 год Иван Сергеевич Тургенев был в Спасском-Лутовинове. Но его часто поминали в письмах.

Софья Андреевна похваливала Тургенева. Толстой воспринимал эти похвалы ревниво.

«...Но теперь поговорим о Тургеневе. Я верю, что он очень благородный и достойный человек, но я ничего не вижу юпитеровского в его лице!..»

Алексей Константинович припоминал русское мужичье лицо, шелковое кашне вокруг шеи по-французски, мягкий голос, так не вязавшийся с большим ростом и богатырским сложением Тургенева, и добавлял:

«Просто хорошее лицо, довольно слабое и даже не очень красивое. Рот в особенности очень слаб. Форма лба хорошая, но череп покрыт жирными телесными слоями. Он весь мягкий».

Что-то между Тургеневым и Софьей Андреевной было в самом начале их знакомства. Но что? Тургенев писал ей потом:

«Мне нечего повторять вам то, о чем я писал вам в первом моем письме, а именно: из числа счастливых случаев, которые я десятками выпускал из своих рук, особенно мне памятен тот, который свел с вами и которым я так дурно воспользовался... Мы так странно сошлись и разошлись, что едва ли имели какое-нибудь понятие друг о друге, но мне кажется, что вы действительно должны быть очень добры, что у вас много вкуса и грации...»

В начале 1852 года Тургенев приехал в Петербург. Он поселился на Малой Морской, принимал многочисленных знакомых. Александринка в бенефис Мартынова поставила его комедию «Безденежье». И тут вскоре пришло известие, что в Москве умер Гоголь.

«Гоголь умер!.. Какую русскую душу не потрясут эти слова?.. — писал Тургенев в статье. — Да, он умер, этот человек, которого мы теперь имеем право, горькое право, данное нам смертью, назвать великим; человек, который своим именем означил эпоху в истории нашей литературы; человек, которым мы гордимся как одной из слав наших!»

Цензура не разрешила напечатать эту статью в «Петербургских Ведомостях».

Москва хоронила Гоголя торжественно, сам генерал-губернатор ее Закревский, надев Андреевскую ленту, проводил писателя... Из Петербурга дали понять Закревскому, что такая торжественность была неуместна.

Умер автор «Переписки с друзьями», которая, казалось бы, должна была примирить с ним власти предержащие. На него обрушился Белинский в своем знаменитом письме, хранить и читать которое считалось государственным преступлением. Кстати, Тургенев провел то лето, когда оно писалось, вместе с Белинским в Зальцбрунне... Но Гоголь был провозглашен Белинским отцом «натуральной школы» и стал знаменем неблагонамеренных.

Пушкина похоронили тихо, чтобы избежать «неприличной картины торжества либералов», как говорилось в отчете о действиях корпуса жандармов.

Те же соображения сопутствовали и смерти Гоголя.

Тургенев отослал свою статью в Москву, где она и появилась стараниями Боткина и Феоктистова в «Московских Ведомостях» под видом «Письма из Петербурга».

Последовал «всеподданнейший доклад» III Отделения о Тургеневе и «его сообщниках», напечатавших статью в обход цензуры.

«...За явное ослушание посадить его на месяц под арест и выслать на жительство на родину под присмотр, а с другими поступить предоставить г. Закревскому распорядиться по мере их вины».

Наложив резолюцию, Николай I спросил о Тургеневе:

— Он чиновник?

— Никак нет, ваше величество, нигде не служит.

— Ну, такого нельзя на гауптвахту, посадить его в полицию.

Так Тургенев оказался в съезжей 2-й Адмиралтейской части.

По воспоминаниям Ольги Николаевны Смирновой, арест Тургенева произошел едва ли не у них дома. «Он обедал у нас с гр. А. К. Толстым (после кончины Гоголя в 1852 г.). В моем дневнике я нашла подробности и даже разговоры по случаю смерти Гоголя, о его пребывании у нас в деревне летом, в подмосковной отца» и т. д. Принимала писателей как-то внезапно постаревшая Александра Осиповна Россет-Смирнова. Ольга Николаевна записала интересный разговор матери с Толстым и Тургеневым, расспрашивавшим ту о Пушкине, Лермонтове и Гоголе.

То ли Тургенев, то ли Толстой спросил, что больше всего понравилось царю в «Борисе Годунове». И она ответила, что сам царь говорил ей о прекрасной сцене, где Борис дает советы сыну. Она приводила слова Пушкина

о необходимости освобождения крестьян, без которого не может правильно развиваться страна. Рассказывала и о том, как Гоголь с благоговением заносил все слышанное от Пушкина в карманную книжку...

После ареста Алексей Толстой тотчас отправился к Тургеневу в полицию и посоветовал написать письмо к наследнику престола. Он не раз и не два говорит с будущим царем.

21 апреля он пишет Софье Андреевне: «Я только что вернулся от великого князя, с которым снова говорил о Тургеневе. Кажется, что имеются другие претензии к нему, кроме дела со статьей о Гоголе. Посещать его запрещено, но мне разрешили переслать ему книги».

Главной среди «других претензий» была книга «Записки охотника».

На Толстого эта книга произвела впечатление неизгладимое. Он писал из Пустыньки к любимой:

«Я прочел моей матери весь второй том «Записок охотника», которые она прослушала с большим удовольствием. В самом деле, очень хорошо — без окончательной формы... оно как-то переходит из одного в другое и принимает всевозможные формы, зависящие от настроения духа, в котором находишься... Мне напоминает это какую-то сонату Бетховена... что-то деревенское и простое...

Когда я встречаю что-нибудь подобное, — я чувствую, что энтузиазм подымается к голове по спинному хребту так же, как когда я читаю прекрасные стихи. Многие из его характеров — драгоценные камни, но не обтесанные.

Мой ум медлен и находится под влиянием моих страстей, но он справедлив.

Думаешь ли ты, что из меня что-нибудь когда-нибудь выйдет?

И что может когда-нибудь из меня выйти?

Если бы дело было только в том, чтобы взять в руки факел и поджечь пороховую мину и себя взорвать вместе с нею, я сумел бы это сделать; но столько людей сумели бы также это сделать... Я чувствую в себе сердце, ум — и большое сердце, но на что оно мне?»

В этих почти юношеских мыслях никак не узнается влиятельный царедворец. Но что есть мерило зрелости? Житейский успех, связи в обществе? Для Толстого это не было жизнью. Художник в нем уже созрел, но Толстой хотел сбросить груз прежних сомнений, поделившись с Софьей Андреевной.

«...Подумай, что до 36 лет мне было некому поверять мои огорчения, некому излить мою душу».

Тургенев, высланный в Спасское-Лутовиново, писал оттуда Софье Андреевне 19 мая 1853 года:

«Вы мне говорите о графе Т(олстом). Это человек сердечный, который возбудил во мне большое чувство уважения и благодарности. Он едва знал меня, когда случился мой неприятный случай, и, несмотря на это, никто мне не выказывал столько сочувствия, как он, и сегодня еще он, может быть, единственный человек в Петербурге, который меня не забыл, единственный, по крайней мере, который это доказывает. Какой-то жалкий субъект вздумал говорить, что благодарность — тяжелая ноша; для меня же — я счастлив, что благодарен Т(олстому), — всю жизнь сохраню к нему это чувство».

Толстой подсказывал Тургеневу, кому что писать, чтобы разрешили вернуться в Петербург. Но все было напрасно. Тогда Алексей Толстой сделал очень рискованный шаг.

Он обратился к шефу жандармов графу Орлову от имени наследника престола. Орлов не мог отказать и 14 ноября 1853 года сделал доклад царю о разрешении Тургеневу жить в столице.

Царь положил резолюцию:

«Согласен, но иметь под строгим здесь присмотром».

Орлов уже написал наследнику, что просьба того исполнена, и передал письмо генералу Дубельту для отправки.

Толстой оказался на краю пропасти. Дело было в том, что наследник за Тургенева не просил. Толстой обманул Орлова.

Сделав вид, что ничего не знает о царской резолюции, Толстой поехал в III Отделение.

Леонтий Васильевич Дубельт был не прочь пофилософствовать о благодетельности существующих порядков, о покорности русского мужика. Он говаривал: «Россию можно сравнить с арлекинским платьем, которого лоскутки сшиты одною ниткою, — и славно и красиво держится. Эта нитка есть самодержавие. Выдерни ее — и платье распадется».

Толстого он принял немедленно, был с ним чрезвычайно любезен. Алексей Константинович, выслушав мысли Дубельта с преувеличенным вниманием, как бы между прочим ввернул, что наследник престола, конечно, расположен к Тургеневу, о чем он, Толстой, и говорил

графу Орлову. Но тот, видно, счел этот разговор прямым ходатайством наследника, и теперь это недоразумение может быть неправильно понято его императорским высочеством...

В своей книге о николаевских жандармах М. Лемке писал:

«Как ни был хитер Дубельт, но он не понял хитрости Толстого и просил Орлова изменить редакцию бумаги к наследнику. Орлов написал: «Если ты думаешь, что бумага моя к цесаревичу может сделать вред гр. Толстому, то можешь ее не посылать, тем более что Тургенев сам просил».

Таким образом, Толстой был спасен.

В Спасское-Лутовиново полетело письмо Толстого с поздравлениями и пожеланием, чтобы Тургенев немедленно выехал в Петербург и не задерживался, проезжая Москву, чтобы в самом Петербурге он тотчас отправился к Толстому, а до этого не встречался ни с кем. Толстому нужно было предупредить Тургенева о том, как сложилось дело и как вести себя в Петербурге. А на случай перлюстрации в письме возносилась хвала наследнику, «много содействовавшему помилованию».

Эту версию и постарались распространить по Петербургу Толстой и его двоюродные братья Жемчужниковы. Григорий Геннади записал в дневнике 28 ноября 1853 года: «Сегодня Ж(емчужников) принес мне новость о прощении Ив. Тургенева. За него хлопотал граф Алексей Толстой у Наследника».

В декабре Тургенев был в Петербурге, а вскоре туда приехала и Софья Андреевна. Художник Лев Жемчужников потом вспоминал:

«Всю зиму 1853 года я провел в Петербурге и нанял себе особую квартиру в деревянном домике, в саду, где жил только хозяин с женой; ход у меня был особый, и этой квартиры никто не знал, кроме А. Толстого, Бейдемана, Кулиша и Тургенева. Я предался сочинению эскизов и чтению... Сюда нередко приходил А. Толстой, бывало состряпает на принесенной им кастрюле рыбу или бифштекс, мы поужинаем с ним и будущей женой его Софьей Андреевной и простимся; он уйдет к себе, а я к отцу, где всегда ночевал... В эту зиму я часто проводил вечера у А. Толстого и Софьи Андреевны, где часто бывал Тургенев и читал нам Пушкина, Шекспира и некоторые свои произведения. Тургенев всегда был интересен, и разговор затягивался, без утомления, иногда до полу-

ночи и более. Софья Андреевна, будущая жена А. Толстого, была хорошая музыкантша, играла пьесы Перголеза, Баха, Глюка, Глинки и др. и вносила разнообразие в наши вечера пением».

Алексей Константинович теперь уже никогда не расстанется с Софьей Андреевной. Им предстоит еще немало испытаний. Толстой умел и прощать и любить. Это свойственно богатырям, людям громадной силы.

Вскоре, весной 1854 года, в «Современнике» появилось несколько стихотворений Алексея Толстого. Наконец он счел возможным опубликовать немногое из того, что написал. И не надо быть особенно понятливым, чтобы уразуметь, чем навеяны стихи:

Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку,
Коль ругнуть, так сгоряча,
Коль рубнуть, так уж сплеча!

Коли спорить, так уж смело,
Коль карать, так уж за дело,
Коль простить, так всей душой.
Коли пир, так пир горой!

В этом стихотворении многие видели лучшие черты русского характера.

«Мрачное семилетие» продолжалось. Некрасов и Панаев делали все, чтобы спасти журнал «Современник». Им удалось это. Они привлекли к сотрудничеству западника Боткина и либерала Дружинина, публиковали произведения Тургенева, Григоровича, Писемского, Тютчева, Фета. В тот период в «Современнике» дебютировали Гончаров, Лев Толстой и Алексей Толстой. 1854 год ознаменовался появлением на страницах журнала лирики Алексея Константиновича и одной из его ипостасей — многогранного творчества Козьмы Пруткова.

Кружок «Современника» (до появления в нем Чернышевского) был дворянским. Исключение составлял Боткин, но этот купеческий сын ни образованием, ни манерами от бар-литераторов не отличался. Кружок собирался в квартире Некрасова на углу Колокольной улицы и Поварского переулка или в помещении редакции на набережной Фонтанки.

В иные дни на этих обедах царила Авдотья Яковлевна Панаева, небольшого роста, стройная, черноволосая, смуг-

лая и румяная. В ушах ее сверкали крупные бриллианты, а голосок был капризный, как у избалованного ребенка. Ласково глядел на гостей ее супруг Иван Иванович Панаев, всегда модно одетый, с надушенными усами, легкомысленный, одинаково превосходно чувствовавший себя и в великосветских гостиных, и на гусарских пирушках.

Невозможно и сосчитать, сколько раз Некрасов рассылал с лакеем по Петербургу записки такого рода:

«Не придете ли завтра (в пятницу) ко мне обедать. Будут Тургенев, Толстой (А. К.) и некоторые другие. Пожалуйста».

Непременно бывал там высокий русоволосый и тощий Дружинин, с глазами маленькими, по словам Некрасова, «как у поросенка», державший себя, впрочем, английским джентльменом. Наделенный большим чувством юмора, он откликнулся превеселой статьей на появление в фельетоне «Нового Поэта» (Панаева) басни «Кондуктор и Тарантул», предвещавшей рождение Козьмы Пруткова.

Большой обед был дан 13 декабря 1853 года по случаю возвращения Тургенева из ссылки, и Некрасов произнес тогда экспромт, в котором было и такое:

...Он был когда-то много хуже,
Но я упреков не терплю,
И в этом боязливом муже
Я все решительно люблю...

И похвалу его большую
Всему, что ты ни напиши,
И эту голову седую
При моложавости души.

Григорович вспоминал, что в редакции собирались едва ли не каждый день. «...Происходило нечто такое, чего мне ни на одной литературной сходке, ни в каком собрании не приходилось видеть; неровности характера и мелкие временные несогласия как бы оставлялись при входе с шубами. К серьезным литературным прениям присоединялись острые замечания, читались юмористические стихотворения и пародии, рассказывались забавные анекдоты; хохот шел неумолкаемый». Любопытно, однако, другое — почти все мемуаристы, не сговариваясь, объясняют это веселье... цензурным гнетом.

Михаил Лонгинов в то время был весьма либерален. Он всех превосходил в своих насмешках над цензурными нелепостями, но это не помешало впоследствии стать ему самым грозным для литераторов начальником управления

по делам печати. Он вспоминал все-таки о «мрачной године», об опасности занятия журналистикой, об унынии пишущих и об отведении души в шутках, поскольку-де все тогда были молоды...

А. Н. Пыпин появился в «Современнике» уже с упрочением в редакции своего родственника Чернышевского и возобладанием серьезной атмосферы, но он еще застал кое-что от прежних лет и писал об этом в своих воспоминаниях о Некрасове:

«Настроение литературного круга, который я видел здесь... (за обедами и ужинами Некрасова. — *Д. Ж.*) было довольно странное; прежде всего это было, конечно, настроение подавленное; трудно было говорить в литературе даже то, что говорилось недавно, в конце сороковых годов. По распоряжениям негласного комитета даже отбирались некоторые книги прежнего времени, напр., «Отечественные записки» сороковых годов; славянофилам просто запрещали писать или представлять в цензуру свои статьи: оставались возможны только темные намеки и молчание. В кругу «Современника» передавались текущие новости разного рода, цензурные анекдоты, иногда сверхъестественные, или шла незатейливая приятельская болтовня, какая издавна господствовала в холостяцкой компании тогдашнего барского сословия, — а эта компания была и холостяцкая и барская. Нередко она нападала на темы совсем скользкие...»

Когда потом Тургенева спрашивали, как могли люди в такое мрачное время развлекаться подобным образом, он напоминал о «Декамероне» Боккаччио, где в разгар чумы кавалеры и дамы развлекают друг друга историями скабрезного содержания.

— А разве, — заключал Тургенев, — николаевский гнет не был для образованного общества своего рода чумой?

Подобные занятия Дружинин называл «чернокнижием». Григорович вспоминал, что, основательно поработав, Дружинин отдыхал в компании приятелей в специально нанятой квартире на Васильевском острове, где они водили хороводы вокруг гипсовой Венеры Медицейской, распевая скоромные песенки.

Но, несмотря на цензурные гонения и порожденное будто бы ими веселье, литература обогащалась весьма энергично, и многое из опубликованного тогда в «Современнике» пережило свой век. Шуточное творчество кружка «друзей Козьмы Пруткова» пришлось по душе всей

компании литераторов и публиковалось почти весь 1854 год в «Ералаше» — специально затеянном отделе журнала. Первой публикации Некрасов даже предпослал шутливое стихотворное напутствие.

Успех творчества Козьмы Пруткова во многом определил талант Алексея Толстого, его тонкий юмор, сразу вырвавший вымышленного поэта из ряда обыкновенных насмешников, придавший всему складывавшемуся образу непередаваемую сложность и многогранность.

Из помет Владимира Жемчужникова на копиях журнальных текстов известно, что перу Толстого принадлежит «Эпиграмма № 1».

«Вы любите ли сыр?» — спросили раз ханжу,
«Люблю, — он отвечал, — я вкус в нем нахожу».

Им же написаны «Письмо из Коринфа», «Древний пластический грек» и знаменитейший «Юнкер Шмидт».

Вянет лист, проходит лето,
    Иней серебрится.
Юнкер Шмидт из пистолета
    Хочет застрелиться.

Погоди, безумный! снова
    Зелень оживится...
Юнкер Шмидт! честно́е слово,
    Лето возвратится.

Но, право же, не стоит выяснять, что написано Толстым самостоятельно, а какие прутковские вещи писались вместе с Жемчужниковым. Во всяком случае, лучшие произведения — «Желание быть испанцем», «Осада Памбы», столь любимые Достоевским и другими русскими классиками, несут на себе печать таланта Алексея Константиновича. Позже он написал и «Мой портрет», давая волю дальнейшим фантазиям в формировании образа Козьмы Петровича Пруткова.

Когда в толпе ты встретишь человека,
    Который наг *;
Чей лоб мрачней туманного Казбека,
    Неровен шаг;
Кого власы подъяты в беспорядке,
    Кто вопия,
Всегда дрожит в нервическом припадке, —
    Знай, — это я!

* *Вариант:* «На коем фрак». ***Примечание К. Пруткова.***

Кого язвят со злостью, вечно новой
  Из рода в род;
С кого толпа венец его лавровый
  Безумно рвет;
Кто ни пред кем спины не клонит гибкой, —
  Знай — это я!
В моих устах спокойная улыбка,
  В груди — змея!..

Образ Козьмы Пруткова неразделим, хотя произведения его — плод коллективного творчества. Трудно выяснить, какие из знаменитых афоризмов Пруткова придуманы Толстым, а какие — Жемчужниковыми.

Козьма Прутков сказал: «Не совсем понимаю, почему многие называют судьбу индейкою, а не какой-либо другою, более похожею на судьбу птицею». Творческую судьбу самого Козьмы Пруткова иначе как счастливою не назовешь. И в наше время, употребляя в шутку и всерьез изречения чиновного мудреца, иные не знают даже, кто породил эти меткие слова, потому что они уже неотторжимы от нашей повседневной речи. Известно авторство изречений: «Никто не обнимет необъятного», «Смотри в корень!», «Щелкни кобылу в нос — она махнет хвостом», «Если хочешь быть счастливым, будь им», «Бди!» и другие. Но кто помнит, что такие расхожие фразы, как: «Что имеем, не храним; потерявши — плачем», «Держись начеку!», «Все говорят, что здоровье дороже всего; но никто этого не соблюдает» — тоже придуманы Козьмой Прутковым. Даже жалуясь, что остался «на сердце осадок», мы повторяем прутковский афоризм.

Еще «при жизни» Козьма Прутков был чрезвычайно популярен. О нем писали Чернышевский, Добролюбов и многие другие критики. Его имя неоднократно с восхищением упоминал в своих произведениях Достоевский. Салтыков-Щедрин любил цитировать Пруткова, создавать афоризмы в его духе. Он непременен в письмах Герцена, Тургенева, Гончарова...

Козьма Прутков не совсем обыкновенный пародист. Он «совмещал» в себе множество поэтов, включая и самых знаменитых, целые литературные направления. Он славился умением довести все до абсурда, а потом одним махом поставить все на свои места, призвав на помощь здравый смысл. Но Прутков не появился на голом месте.

Пушкин был блестящим полемистом. Он любил острое слово. Он учил в споре стилизовать, пародировать слог литературного соперника. Как-то он заметил: «Сей род

шуток требует редкой гибкости слога; хороший пародист обладает всеми слогами».

Еще при Пушкине витийствовал в своей «Библиотеке для чтения» Осип Сенковский. Его Барона Брамбеуса тогдашняя читающая публика была склонна воспринимать как живого, реально существующего литератора. Тогда Надеждин публиковал в «Вестнике Европы» свои фельетоны, надев маску «эксстудента» Никодима Аристарховича Надоумко, критикуя романтизм, на смену которому уже шла «натуральная школа».

О времени, предшествовавшем появлению Козьмы Пруткова, Тургенев вспоминал:

«...Явилась целая фаланга людей, бесспорно даровитых, но на даровитости которых лежал отпечаток риторики, внешности, соответствующей той великой, но чисто внешней силе, которой они служили отголоском. Люди эти явились и в поэзии, и в живописи, и в журналистике, *даже на театральной сцене... Что было шума и грома!»*

Он называет имена этой «ложно величавой школы» — Марлинского, Кукольника, Загоскина, Каратыгина, Бенедиктова...

На хладных людей я вулканом дохну,
Кипящею лавой нахлыну...

*Эти бенедиктовские стихи воспринимаются как водо*раздел между романтизмом Пушкина и нелепостями Козьмы Пруткова.

Читая Козьму Пруткова, часто попадаешь впросак — по форме вроде бы одно, по содержанию другое, а пораскинешь умом, познакомишься поближе со всякими обстоятельствами его эпохи, и окажется там и третье, и четвертое, и пятое... Вот, казалось бы, дошел до дна, ан нет — не одно дно у произведения достопочтеннейшего Козьмы Петровича, а столько, что и со счету собьешься, и уж не знаешь, то ли смеяться, то ли плакать над несовершенством бытия и человеческой натуры, начинаешь думать, что глупость мудра, а мудрость глупа, что банальные истины и в самом деле полны здравого смысла, а литературные изыски при всей их занятости оборачиваются недомыслием. Литературное тщеславие рождает парадоксы и выспренности, за которыми кроется все та же банальность, и даже в любом литературном абсурде и безумии есть своя логика.

Человеку свойственно обманывать себя, и литератору особенно. Но в минуты прозрения он видит ярче других собственные недостатки и горько смеется над ними. Себе-то

правду говорить легко, другим сложнее... Потому что горькой правды в чужих устах никто не любит, и тогда появляется потребность в Козьме Пруткове, в его витиеватой правде, в мудреце, надевшем личину простака...

О том, как воспринимался Прутков читающей публикой, можно судить хотя бы по письму С. В. Энгельгардт (писательницы Ольги Н.) к Дружинину в ноябре 1854 года: «Что же касается «Ералаша», то должна Вам сказать, что я к нему постоянно прибегаю в минуты скуки, а такие минуты, конечно, часто бывают, когда находишься в деревне с сентября месяца. Кузьма Прутков меня положительно веселит, он частенько заставляет бодрствовать до полуночи, и я, как дурочка, хохочу сама с собой. Я сознаюсь в этом, несмотря на мнение москвичей, будто серьезный человек никогда не смеется».

Козьму Пруткова в свое время называли «гениальным по тупости», но в таком определении давно уже стали сомневаться. Знаменитое стихотворение о юнкере Шмидте, хотевшем застрелиться, считали пародией. Но на кого? Потом увидели подкупающую трогательность и незащищенность стихотворения, представили себе уездного фельдшера или почтальона, мечтающего о красивой жизни. Заметили, что написано оно большим поэтом, заметили мастерскую чеканку ритма, превосходную рифму. Советский литературовед В. Сквозников писал о доброй интонации произведения: «Если человеку, утратившему вкус к жизни, находящемуся в состоянии подавленности, скажут: «Юнкер Шмидт, честное слово, лето возвратится!» — это будет шуткой, но ведь ободряющей шуткой!»

Если вспомнить, что стихотворение написано в 1851 году, когда Алексей Толстой страдал от неясности ответного чувства Софьи Андреевны, от упреков матери, когда он писал стихотворения, полные любви и боли, то можно подумать и об иронизировании над собой, о прикосновении в шутке к большому чувству. Не потому ли стихотворение так выделяется во всем творчестве Козьмы Пруткова? Ощущение глубинного, выстраданного остается даже в том, что сам Толстой считал пустячком...

Алексей Жемчужников писал к брату Владимиру: «Отношения Пруткова к «Современнику» возникли от связей твоих и моих. Я помещал в «Современнике» свои стихи и комедии, а ты был знаком с редакцией».

Имя А. К. Толстого уже мелькнуло в пригласительной записке Некрасова. В неопубликованном дневнике Геннади под 1855 годом мы читаем такую запись:

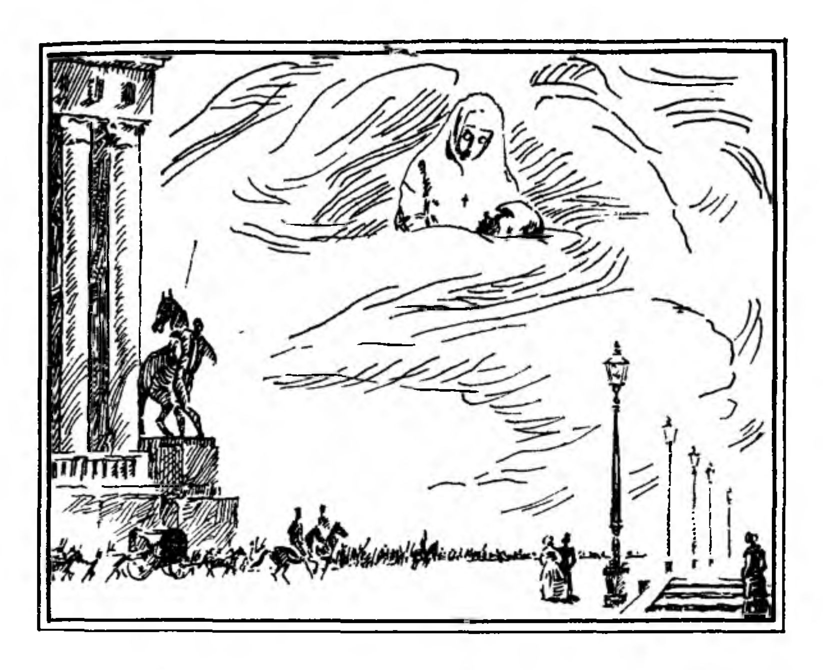
«Вчера, 17 февраля был у Дюссо обед в честь П. В. Анненкова, издателя сочинений Пушкина... Участвовали: Панаев, Некрасов, Дружинин, Авдеев, Михайлов, Арапетов, Майков, Писемский, Жемчужников, граф А. Толстой, Гербель, Боткин, Гаевский, Языков».

Пыпин завершил свои впечатления от обедов у Некрасова и Панаева попыткой объяснить смысл появления на свет Козьмы Пруткова несколько расширенно:

«В это время Дружинин писал в «Современнике» целые шутовские фельетоны под заглавием «Путешествие Ивана Чернокнижникова по петербургским дачам» — для развлечения читателя, да и собственного. В это время создавались творения знаменитого Кузьмы Пруткова, которые также печатались в «Современнике» в особом отделе журнала, и в редакции «Современника» я в первый раз познакомился с одним из главных представителей этого сборного символического псевдонима, Владимиром Жемчужниковым. В то время когда писались творения Кузьмы Пруткова, приятельская компания, которую он собою представлял, отчасти аристократическая, проделывала в Петербурге различные практические шутовства, о которых, если не ошибаюсь, было говорено в литературе по поводу Кузьмы Пруткова. Это не были только простые шалости беззаботных и балованных молодых людей; вместе с тем бывало здесь частью инстинктивное, частью сознательное желание посмеяться в удушливой атмосфере времени. Самые творения Кузьмы Пруткова как бы хотели быть образчиком серьезной, даже глубокомысленной, а также скромной и благонамеренной литературы, которая ничем не нарушала бы строгих требований «негласного комитета».

Так соединяется кружок «друзей Козьмы Пруткова» с большим кругом писателей, группировавшихся вокруг «Современника». Участвовал ли Алексей Толстой в порой нескромных забавах некоторых из них? Вряд ли. Он не ханжа, но в проявлениях своего чувства юмора он никогда не переходил границы, отделяющей иронию от цинизма. Целомудренный по натуре, он даже Мюссе считает безнравственным и грозится, что если найдет экземпляр его произведений на столе Софьи Андреевны, то его «уже не скипидаром обольет, а дегтем».

Не прерывая рассказа о любви Алексея Константиновича, о его литературных связях, напомним, что уже надвинулись грозные события, что мысли нашего героя все больше занимало явление, имя которому — война!



Глава шестая

СТРАДА

Англия и Франция натравливали Турцию на Россию. Лорд Пальмерстон, сперва министр иностранных дел Великобритании, а потом и премьер-министр, не скрывал намерения отнять у России Крым и Кавказ, отдать Финляндию Швеции, а Царство Польское увидеть распространившимся вплоть до Киева. Наполеон III неистово шумел по поводу ущемления прав католической церкви в Палестине. Предлогом к войне и был спор между православным и католическим духовенством из-за обладания «святыми местами». В феврале 1853 года русский чрезвычайный посол в Константинополе А. С. Меншиков ультимативно потребовал особого положения для православных подданных турецкого султана. Турки отвергли ультиматум. В Дарданеллы вошла англо-французская эскадра. Осенью началась война. Адмирал Нахимов в Синопском сражении уничтожил турецкий черноморский флот. Тогда англо-французский флот вошел в Черное море. Официально Россия объявила войну Великобритании и Франции в феврале 1854 года. Войну, в которой рухнули планы

объединения всех славянских стран и освобождения от турок самого Константинополя, вынашивавшиеся русскими государями уже несколько столетий. Союзный флот бомбардировал Одессу...

В российских трактирах читали стихотворение неизвестного автора:

Вот в воинственном азарте
Воевода Пальмерстон
Поражает Русь на карте
Указательным перстом.
Вдохновен его отвагой,
И француз за ним туда ж
Машет дядюшкиной шпагой...

Война сначала не вызвала большой тревоги у большинства образованных людей. Поэты вдохновлялись былыми победами русского оружия. В их стихах — обманчивое ощущение силы и спокойствия.

Алексей Жемчужников напечатал в «Современнике» стихотворение «К Русским»:

...Недаром грозная царила тишина.
Есть мера кротости, конец долготерпенью!
Предавшись буйному, слепому увлеченью,
Они хотят войны?.. Война!..

Федор Глинка вспоминал, «как двадцати народов каски валялися на Бородине», как «мы... белым знаменем прощенья прикрыли трепетный Париж».

Но постепенно громкое «ура!», заглушавшее другие голоса, начинает стихать. И уже московский генерал-губернатор Закревский требует объяснений от Алексея Хомякова, который в стихотворении «России», воззвав: «Вставай, страна моя родная», с болью продолжает:

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна!
О, недостойная избранья,
Ты избрана!..

Летом 1854 года союзный флот маячит у Кронштадта. Ожидается высадка английского десанта на Балтийском побережье. Если враг ступит на русскую землю, то война может стать народной. Надо вооружать людей для будущих партизанских действий. Толстой с графом Алексеем Бобринским, будущим министром путей сообщения,

хотят на собственные средства вооружить каждый по сорок человек и, объединившись с другими добровольцами, создать партизанский отряд.

У союзников нарезное оружие, винтовки, у русских солдат гладкоствольные ружья, да и тех не хватает. У партизан должно быть дальнобойное оружие. Толстой заказывает в Туле сорок карабинов. Он вербует в отряд людей, объезжает побережье Финского залива, знакомясь с местами будущих военных действий. Заехав позавтракать к Тургеневу, живущему на даче между Петергофом и Ораниенбаумом, он встречает Некрасова и Анненкова. Они всматриваются в мерцающую даль залива — где-то там крейсирует англо-французский флот...

Некрасов, тоже снимавший вместе с Панаевым дом неподалеку от Тургенева, рассказал, как хорошо были видны корабли 14 июля, как дребезжали окна от залпов кронштадтских пушек. В тот день Некрасов набросал стихи: «...Исконные, кровавые враги, соединясь, идут против России...»

Алексей Толстой так долго не появлялся при дворе, что цесаревич стал расспрашивать, где он путешествовал.

— На Волге, — уклончиво ответил Толстой.

Планы их с Бобринским изменились. Союзники вроде бы не собираются наступать крупными силами на Петербург. Англичане всякий день высаживают десанты от двадцати до пятидесяти человек на неохраняемых берегах. «Иные действуют отвратительно, подобно диким...» — пишет Толстой, возмущенный грабежами и убийствами. Поэтому решено приобрести быстроходную яхту и под флагом петербургского яхт-клуба, под видом прогулок в финские шхеры вести каперскую войну против английского торгового флота, а также предотвращать мелкие десанты. Потом возникла мысль о более совершенном плавучем средстве — пароходе.

Дни проходят в хлопотах о покупке парохода, в переговорах с оружейниками, в поездках в Гельсингфорс, наборе волонтеров... Бобринский поехал в Тулу торопить выполнение заказа на винтовки, а Толстой в Царском Селе, где тогда был двор, осторожно искал одобрения своим действиям.

Мать поддерживала его планы, считая их естественными, но у ее высокопоставленных братьев предприятие Толстого вызывает опасение. Каперство запрещено международными договорами.

Толстому все рисуется так — держать планы в тайне.

вооруженных людей своих именовать матросами яхт-клуба, выходить в море якобы для невинных прогулок, встречу с английским судном изобразить для властей как случайную, а нападение — как спровоцированное противником...

19 июля, побывав на Бронной горе за Ораниенбаумом вместе с конногвардейцами Шуваловым и Арнольди, он насчитал тридцать одно английское судно. Об этом он сообщил в письме к Софье Андреевне. И вообще его письма того времени похожи на военные реляции. Он хорошо осведомлен о всех сражениях и стычках с противником на Кавказе, на Дунае, на Баренцевом море, на Камчатке, у Соловецких островов...

22 июля он писал: «В Белом море они подошли к *Соловецкому монастырю,* и адмирал послал к *командующему цитаделью* — так они называли монастырь — требовать его шпагу, угрожая в случае отказа разрушить стены монастыря. Архимандрит велел ответить, что шпаги у него нет, но что он не намерен сдать монастырь. Тогда они начали бомбардировать его в течение 10 часов и сожгли деревянные здания. Монахи отвечали 20 пушечными ядрами, которые были им высланы на случай, и по истечении 10 часов англичане ушли».

Действительно, 6 и 7 июля соловецкий кремль был обстрелян двумя английскими фрегатами, на борту которых находилось почти семьдесят орудий. Двухпудовые бомбы и гранаты не причинили никакого ущерба стенам монастыря, сложенным из громадных валунов еще в XVI веке.

От своего предприятия Толстой с Бобринским отказались. Тайна его не была соблюдена. Слишком много в нее посвящено было «военных авторитетов». После «хаоса советов, указаний, предостережений» последовало, очевидно, запрещение проявлять самостоятельность.

Была и другая причина отказа от каперства. 2 сентября союзники высадили мощную армию у Евпатории и двинулись к Севастополю. Главная опасность стала очевидной. В народе утвердилась идея защиты родины от напавшего врага. Лучшие представители петербургского дворянства засыпали правительство прошениями о зачислении в действующую армию.

Толстой тоже решил ехать в Севастополь. Он пришел к своему дяде, министру уделов Льву Алексеевичу Перовскому с предложением создать дружину из «царских» крестьян, то есть тех, кто не был в крепостной зависимости от помещиков.

— Опоздал, — сказал ему Перовский. — Вот рескрипт, повелевающий мне образовать стрелковый полк императорского семейства из удельных крестьян.

Он показал бумагу, которую сочинял в ту самую минуту, когда вошел Толстой. Перовский адресовал ее самому себе... от царского имени. «Образование Стрелкового полка мы возлагаем на вас...»

25 октября Николай I начертал на этом документе, превращенном министерским писарем в произведение каллиграфического искусства: «Быть по сему».

В полк записывали добровольцев из Новгородской, Архангельской и Вологодской губерний. Брали искусных стрелков, охотников, ходивших в одиночку на медведя. Приезжали таежные промысловики из Сибири, молодые владимирские и нижегородские богатыри. Одного к одному, лучших из лучших представителей русского крестьянства сколачивали в воинскую единицу, но никто и подумать не мог, какая нелепая, злая судьба их ожидает...

А тем временем Козьма Прутков продолжает печататься в «Современнике». В октябрьском номере появляется очередная порция «Досугов». В 1854 году в журнале впервые под своим именем опубликовал стихи и Алексей Константинович: «Колокольчики мои...», «Ты знаешь край, где все обильем дышит...», «Ой, стоги, стоги...» В них сквозила мысль об объединении славянства. Все они, как и прутковские произведения, были написаны в прежние, более спокойные годы.

В ноябре Алексей Толстой снова мчится на санях в Смальково. Там он уже совершенно свой человек. Его ждали. «Коляша», Николай Петрович Бахметев, вглядывался в даль с колокольни и, завидев возок, бросился встречать, но зацепил ногой веревки, привязанные к языкам колоколов. Пытаясь освободиться, он задел канат большого колокола. Начался трезвон. Чем старательнее выпутывался «Коляша», тем больше трезвон походил на набат. Народ повысыпал на улицу, думая, что горит церковь. Потом все хохотали, встреча оказалась веселой.

1 января 1855 года Толстой пишет Софье Андреевне уже из Петербурга:

«Я не заметил зимы, ни дурной погоды. Мне казалось, что была весна, я вывез из Смалькова впечатление зелени и счастья... Мой друг, нам, может быть, много лет жить

на этой земле — будем стараться быть лучше и достойнее; ни ты, ни я не рискуем стать менее щедрыми... Завтра, если ничего мне не помешает, я уединюсь, чтобы дать тебе отчет о вечере Тургенева...»

У Тургенева они были с Алексеем и Николаем Жемчужниковыми. Присутствовали также Некрасов, Дружинин и другие. Писемский читал свой роман «Тысяча душ», очень скучный, по мнению Толстого. Зато хозяин дома все восторгался: «Прекрасно! Как верно!», что он делал обычно в присутствии автора.

«Гораздо веселее и поучительнее» было на обеде у Маркевича, где собрались Толстой с Алексеем Жемчужниковым, Некрасов, Тургенев, Арнольди... Все чаще пути Толстого пересекает Болеслав Михайлович Маркевич, служащий государственной канцелярии, лощеный и ловкий поляк, не без литературных способностей и приятности, славившийся как человек услужливый, занимательный рассказчик, прекрасный декламатор, устроитель домашних спектаклей и пикников, а потому принятый как в литературном, так и в аристократическом кругах.

Он дал почитать Толстому «Кто виноват?». Тот нашел герценовскую вещь прелестной, написанной «одним сердцем», и тут же запальчиво противопоставил ее Писемскому, Достоевскому: «Все эти писатели натуральной школы скучны и утомительны сравнительно с этой книгой!» Он уже и Тургенева ставит ниже Герцена. Натуральная школа с ее жизненными подробностями, реализм кажется ему «дурным хламом, инвентарием мебели и пустыми разговорами». Но это часть его эстетических исканий, неприятие утилитарности искусства, что, в сущности, не больше, чем заблуждение, поскольку он часто изменял романтизму. «Хорошо в поэзии не договаривать мысль, допуская всякому ее пополнить по-своему», — писал он совсем недавно Софье Андреевне, но сам нередко весьма отчетливо выражал свои мысли в стихах.

«Некрасов просил у меня стихотворений, но не знаю — дам ли я ему...»

Эта фраза из письма говорит об уже состоявшемся споре о смысле и цели литературы. Однако Толстой не до конца отвергает реализм, обещая Софье Андреевне «угостить» ее Писемским, с которым, видимо, сходится поближе...

Но все это так, между прочим... «А сердце мое обливается кровью...» Его тревожат вести из осажденного Севастополя, и все чаще в письмах он пишет о жертвах

тифа... Грязь, болезни наносят больше урона русской армии, чем пули союзников.

Церемониймейстер Алексей Толстой черпал сведения о скверном положении на фронте из секретных донесений, поступавших во дворец. Там царило уныние. Император Николай I, которому было всего пятьдесят восемь лет, который всегда хвастался своей бодростью и неутомимостью, вдруг сдал. После того как в феврале 1855 года пришла весть о поражении под Евпаторией, он слег. Всю жизнь император был непоколебимо уверен в своей непогрешимости, в мощи России и ее армии, в том, что все «крепко основано и свято утверждено». А оказалось, он не дал России ни покоя, ни безопасности...

И вскоре Александр Герцен уже мог написать, что «Николай Павлович... держал тридцать лет кого-то за горло, чтоб тот не сказал чего-то», и раздавать лондонским мальчишкам-газетчикам мелочь, чтобы они побыстрее разнесли весть о смерти императора от «Евпатории в легких».

Утром 18 февраля Алексей Толстой поднялся на «верх» посмотреть на умиравшего в душной спальне императора.

И в тот же день Толстой сообщил Софье Андреевне, что присутствовал на панихиде. Бюллетени же о ходе болезни императора публиковались еще несколько дней подряд. Лишь 21-го появился манифест нового царя.

Император Александр II считал Алексея Толстого «другом детства», и ожидалось, что на церемониймейстера изольется поток милостей. Но Толстой просил лишь об одном — зачислить его в «Стрелковый полк императорской фамилии», который уже кончал формировать Лев Алексеевич Перовский. Толстому был дан чин майора, его хотели назначить ротным командиром, но он не счел себя вправе командовать людьми, не пройдя сам военной подготовки.

Сборный пункт Первого батальона был в большом новгородском селе Медведь. На плацу занимаются стрелки и с ними добровольцы из дворянских фамилий, среди которых вскоре оказался и Владимир Жемчужников, двоюродный брат Алексея Толстого, произведенный из коллежских регистраторов в прапорщики.

И рядовые и офицеры одеты в необычную форму, подчеркнуто русскую — на них красные рубашки, полукафтаны, широкие штаны, меховые шапки... Такая форма в

русской армии появилась впервые, и создана она «со смыслом» по наброскам Алексея Толстого и Владимира Жемчужникова.

Вооружены стрелки не кремневыми ружьями, а штуцерами и в отличие от солдат других полков получают три рубля серебром в месяц.

Толстой гордится тем, что у него хорошие отношения и с рядовыми стрелками, и с офицерами. «Я уверяю тебя, что меня уже любят, — пишет он приехавшей в Петербург Софье Андреевне, — все очень откровенны и доверчивы со мной — я еще не имел случая заставить себя полюбить солдат, так как я ничем не командую... но я очень прилежно отношусь к службе...» Ему нравятся офицеры, которые «все живут в дружбе и все имеют отвращение к телесному наказанию».

Он подчеркивает это, потому что видит, как в соседних частях господствует палочная дисциплина.

В свободное от службы время стрелки играют в городки, офицеры слушают, как Толстой читает свои стихи. Слуги Денис и Захар достойно обставляют вечера, которые Толстой устраивает для офицеров. Часто обедает там командир батальона полковник Жуков.

Всякому новоприбывшему офицеру подносили большой серебряный кубок с вином, пели народную «Чарочку». В ходу были старые залихватские песни: «Бурцов, ера, забияка, собутыльник дорогой...», «Где друзья минувших лет, где гусары коренные...» и «Станем, братцы, вкруговую, грянем песню удалую...» Пели и военные песни, сочиненные Алексеем Толстым...

Наконец стотысячная армия прошла маршем всю Москву и двинулась через Серпуховские ворота дальше, на юг, походным порядком, так как железных дорог в России стараниями Канкрина и воспитанных им преемников не строили.

Толстой из Москвы вернулся в Петербург. У него болела поврежденная нога.

Он пытался продолжить работу над «Князем Серебряным», занимался переводами из Шенье...

Едва став на ноги, Толстой выехал в полк. Севастополь был сдан, и полк направили защищать побережье у Одессы. Проезжая Москву, Толстой услышал рассказ, вдохновивший его на известное стихотворение:

В колокол, мирно дремавший, с налета тяжелая бомба
Грянула; с треском кругом от нее разлетелись осколки;

Он же вздрогнул, и к народу могучие медные
звуки
Вдаль потекли, негодуя, гудя и на бой созывая.

В декабре Толстой присоединился к полку, пришедшему в Одессу. Штаб полка был в Севериновке, а Первый батальон разместился в болгарском селе Катаржи, верстах в семидесяти от Одессы. Жители села понравились Толстому. Когда-то они бежали сюда от ненавистных турок. Многие из болгар были красивы, а женщины вдобавок «и *честные* — что не нравится офицерам», как сообщил он Софье Андреевне.

В той местности свирепствовала эпидемия тифа. В штабе Южной армии знали это, но сказалось штабное головотяпство. Вскоре полк уже насчитывал шестьсот больных тифом и дизентерией. Больные стали умирать десятками. Свалился в тифу командир батальона Жуков, и Толстой принял на себя командование.

«У нас нет госпиталя, — пишет Толстой к Софье Адреевне, — больные размещены по избам — один на другом, умирают лицом к лицу».

Офицеры, не щадя себя, ухаживали за больными. Не было врачей, медсестер, даже солому на подстилки больным привозили из Одессы. Через месяц из трех тысяч двухсот стрелков в строю осталась едва половина. Заболели почти все офицеры, юнкера командовали ротами. Слегли Владимир Жемчужников и Алексей Бобринский.

В январе остатки полка перевели в Одессу, и Толстого назначили командиром учебной роты, готовившей стрелковых начальников для всех полков и находившейся в одном из окрестных сел. Беспокоясь о судьбе больных товарищей, он задержался в Одессе.

Алексей Бобринский бредил. Очнувшись, он послал за священником, чтобы исповедаться. Толстой спросил врача, выживет ли больной.

— Надежда не потеряна, — ответил тот.

Толстой пошел к морю. Стоял такой туман, что ничего не видно было и в десяти шагах. Вдруг тучи раздвинулись, и солнце осветило все вокруг. Волны с грохотом обрушивались на берег, обдавая Толстого брызгами. Уходившая волна подсекала другую, на миг все стихало, подбегали тогда маленькие волны. «Точно Андрейка, — мелькнуло в голове, — мелкими шажками». Он думал о Софье Андреевне и ее маленьком племяннике, к которому успел привязаться. У Николая Андрее-

вича Бахметева умерла жена. Толстой дал себе слово вырастить *маленького сироту* Андрейку, *если сам... останется жив.*

Носились слухи о постыдном мире. «Все возмущены этими слухами, — писал любимой Толстой. — Мир теперь был бы большим несчастьем для всех... всякий бы готов пожертвовать *всем,* чтобы только продолжить войну». Полк потерял уже тысячу человек, так и не побывав в деле. «Администрация отвратительна, возмутительный беспорядок». Все это было унизительно. «...Мысль о смерти представляется мне как долго ожидаемое и желаемое разрешение долгого диссонанса...»

Толстой был ближе к смерти, чем думал.

2 марта министр Лев Алексеевич Перовский получил из Одессы послание от графа Строганова, написанное по-французски и помеченное 25 февраля:

«Я адресую Вам эти строки, г-н граф, чтобы сообщить Вам новости о Вашем племяннике Алексее Толстом — сегодня ему несколько лучше, хотя еще он не вполне вне опасности. Врач, который его лечит... — это человек с талантом и опытом, в этом отношении Вы можете быть спокойны. Ваш племянник заболел тифом... Многие его товарищи также больны... Я думаю, что Вы не должны сообщать о моем письме г-же Вашей сестре — возможно, она не знает о его болезни, зачем тогда ей говорить об этом...»

Хранящееся в архиве письмо это приложено к документу, который встревоженный Перовский, желая регулярно получать сведения о состоянии здоровья племянника, заготовил заранее и показал царю:

«Согласно приказанию Вашего Величества я поручил Полковнику Арбузову ежедневно Вам доносить о состоянии здоровья Майора Гр. Толстого...»

Сверху бисерным почерком Александра II написано:

«Буду с нетерпением ожидать известий по телеграфу, дай Бог, чтобы они были удовлетворительными».

Расчет Перовского был верным.

«Депеша.

Подано в Одессе... 3 марта 1856 г. 12 ч. 45 м. пополудни.
Получено в Петербурге 3 марта 1856 г. 1 ч. 46 м. пополудни.

Его Императорскому Величеству

От флигель-адъютанта Арбузова.

Болезнь графа Толстого началась припадками тифоидальной горячки, которые наконец достигли самой высокой степени. Но со вчерашнего дня болезнь значительно изменилась к лучшему; прошедшая ночь была покойнее всех предшествовавших, и больной подает надежду на выздоровление».

Что же предшествовало депеше?

Арбузов уже перенес тиф и был на ногах. Бобринский и Жемчужников пережили кризисное состояние. Толстой поил их малиновым отваром, не отходил от них, спал в той же комнате. Болело двадцать восемь офицеров, многие скончались. Толстой с полковым доктором подыскали здание, где собирались устроить больницу на четыреста человек.

Сам доктор не заразился тифом потому, может быть, что был единственным врачом на весь полк, и болеть ему было никак нельзя. Он считал себя френологом и, еще когда офицеры были здоровы, щупал у них головы, отыскивал какие-то шишки и под общий смех старался угадать склонности каждого. Толстому он сказал, что тому свойственны чувство красоты и способность любить.

— У вас сильно развита привязанность, так что кого полюбите — не разлюбите...

Теперь было не до смеха. Но что он мог поделать, если вода была заражена, если кругом следы испражнений и рвоты больных и даже трупы, которые не успевали убирать... Толстой уже несколько недель носил в себе созревавшую болезнь, но был крепок, переносил на ногах головную боль, познабливание. Доктор уговаривал его лечь, по опыту зная, что у таких, как Толстой, сразу и сильнее проявится помрачение сознания. Сколько их в бреду вскакивало с постели, выбрасывалось в окна!..

Удушливая тьма надвинулась внезапно. В короткие минуты просветлений он горячо молился. Не за себя... за Софью Андреевну, за Софи, как он уже давно ее называл, за мать, за всех, кого знал и любил. Он не боялся смерти, веря в предопределение. На роду было Юрию, брату Софи, погибнуть на той злосчастной дуэли с Вяземским. Вместе с ней они побывали на его могиле весной в последний раз и привезли оттуда цветы... Это сблизило их еще больше, хотя столько ненужных воспоминаний омрачало их отношения. Нет, он не был вполне счастлив, но сознание твердости своих нравственных устоев, добра, которое он может делать, приносило ему удовле-

творение. Он даже любил это свое счастье, полное страдания и печали. Господи, отчего же случилось ему плакать без причин с самого детства? Отчего с тринадцатилетнего возраста он прятался, чтобы выплакаться на свободе, хотя казался всем невозмутимо веселым? И все-таки не одно предопределение правит жизнью, существует еще и свобода воли. Ее отрицать нельзя, она очевидна. Когда горит твой дом, ты не остаешься там сложа руки, веря в предопределение. Ты выходишь и спасаешься. Если все предопределено, тогда молитва — ничто! А если просить отстранить несчастье от любимого человека? Разве это бесплодное дело, лишь способ поклонения богу? Нет, он верит в прямое и сильное воздействие молитвы на душу человека, о котором молишься, и своя душа становится менее стеснена пространством и материей. Если два человека одновременно с одинаковой верой думают друг о друге, то они сообщаются между собой вопреки отдалению, вопреки материальным законам. Он уже думал об этом не раз и писал Софи о своих заветных мыслях. Душа ее родственна его душе. Не думал ли он об этом и прежде, не писал ли он Софи: «Мне кажется, что в детстве мы были неразлучны. Куда ты делась потом? Что с тобою сталось? Я хочу излить тебе свою душу. Я хочу, чтобы ты вспомнила о наших детских играх. Почему тебя оторвали от меня?» Он знает, он чувствует, что сейчас она страдает, что она думает о нем и молится... Как можем мы знать, до какой степени предопределены заранее события в жизни любимого человека? Горячее желание, мольбы — это вмешательство, которое может отстранить несчастье другого. А что это было — предопределением или свободой его воли, когда он мог изменять судьбы людей, стоя близко ко всесильным смертным и стараясь принести немного добра, высказывая правду о том, что представляется в фальшивом свете. Может быть, это косвенное действие того же божественного предопределения?..

Мысли Толстого путались. Они были продолжением его сомнений, о которых он часто говорил и писал Софье Андреевне. Он любил читать книги о магнетизме, о таинственных и странных проявлениях силы людей, которых то превозносили, то называли шарлатанами, и предлагал Софье Андреевне задуматься над всем этим. Он не принимал примитивно-сказочной догматики, называя ее «поповским арго», но верил в бога как в высший разум. «У меня невысокое мнение о разуме человеческом, я не

верю тому, что он называет возможным и невозможным — верю больше тому, что *я чувствую,* чем тому, что *я понимаю,* так как бог нам дал чувство, чтоб идти дальше, чем разум. Чувство — лучший вожак, чем разум, так же как музыка совершеннее слова». И мысли свои он считал лишь бледным отражением своего чувства, он верил, что многое в душе может быть понято другой, родственной, душой — словесное объяснение лишь затмило бы смысл. И он молился теперь о Софи непрерывно, веря и в ее молитву...

...Теряя сознание, он проваливался в кроваво-красные бездны, видел свое тело со стороны, видел товарищей, летел меж каких-то стен...

Однажды все это кончилось, наступил покой. Толстому подумалось, что он уже умер, и в то же время ему хотелось открыть глаза. Едва разомкнув веки, он увидел над собой лицо Софьи Андреевны, и губы его попытались выговорить: «Софи!» Но голоса своего он не услышал. Горячие капли, падавшие на его лицо, вдруг заставили его ощутить себя живым. Он раскрыл глаза широко и понял, что это действительно была Софья Андреевна. По лицу ее текли слезы...

Тогда-то и отправил Арбузов свою депешу, а на следующий день другую:

«Улучшение состояния болезни стрелкового полка Императорской фамилии майора графа Толстого продолжается; он в полном сознании. Ночью показался благодетельный пот, после чего больной спал спокойно. Вообще степень болезни заметно уменьшилась. У больного появляется даже аппетит».

Толстой был слаб, но счастлив. Софья Андреевна не отходила ни на шаг от его постели.

В марте 1856 года был заключен Парижский мирный договор. В Одессу прикатил и Лев Жемчужников, чтобы по мере сил помочь братьям.

«Я застал брата Владимира уже выздоровевшим, обритым; Бобринского тоже выздоровевшим и обритым; Алексея Толстого еще лежащим в тифе и около него любимую им Софью Андреевну Миллер, жену полковника, на которой он впоследствии женился. В другой комнате лежал в тифе офицер того же полка Ермолов, бывший мой товарищ по корпусу... Болезнь шла обычным ходом, и полк таял».

Как-то Лев подъехал к двухэтажному дому, в котором жили братья, усадил Алексея Толстого в коляску и повез покататься к морю. Толстой радовался, вдыхал полной грудью воздух, но на первый раз быстро утомился. Прогулки продолжались. В самой Одессе ветер носил по улицам тучи известковой пыли, от которой воспалялись глаза и все время першило в горле.

Софья Андреевна была рядом, но Толстой ни на минуту теперь не забывает о матери. Он сообщает ей в письмах о прогулке в коляске и попытках ходить пешком («шагов сто каждый день»), о том, что очень похудел и вырос («стал выше Жемчужникова, а раньше было наоборот»). Письма полны нежности, заботы о здоровье Анны Алексеевны.

Вскоре Толстой уже настолько окреп, что предложил Льву поехать в каменоломни, где, по слухам, прятались грабители. Любители острых впечатлений вооружились револьверами, но Толстой сказал, что больше надеется на нож, который никогда ему не изменял. Одно его смущало — он не чувствовал в себе прежней силы. Впрочем, и Лев был детина хоть куда. Они облазили все пещеры, но, к досаде своей, никаких грабителей не встретили.

Вскоре Льву предоставилась было другая возможность подраться...

Художник побывал в Крыму в самый разгар боевых действий и теперь часто рассказывал братьям о своих впечатлениях. Он рисовал «грустные картины» застрявших в грязи обозов с боеприпасами и узнал о секретном распоряжении, чтобы на пятьдесят выстрелов неприятеля отвечали пятью. Он встречал транспорты, переполненные ранеными; их головы бились о телеги, солнце пекло, они глотали пыль, шинели были сплошь покрыты кровью... Жалость и досада все больше овладевали Жемчужниковым. Исчезло вдохновенное желание увидеть и запечатлеть Севастопольскую оборону, возникло отвращение от войны.

Недалекий в своем озлоблении, так и не понявший духа Севастополя, Лев Жемчужников вел лишь разговоры «о безобразии нашего строя». В родственном круге Толстого отражались все противоречивые чувства, которые были вызваны этой войной в русском обществе. Да, они видели все безобразия, всю бездарность системы, но любовь к родине и чувство долга брали верх. Зло-

радства не могло быть у этих сынов России. Горечь, откровенная горечь сквозила в их речах.

Лев Жемчужников рассказывал, что в Севастополе не хватало питьевой воды, солдаты «против штуцеров отстреливались дрянными ружьями», интенданты воровали, поставщики, все те же гинцбурги и горфункели, наживали сказочные состояния. Они, по словам Льва Жемчужникова, «не доставляли мяса, полушубков, разбавляли водку...». Генералы-штабисты оказались неспособными вести планирование боевых операций. «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить...» — распевали в Севастополе на мотив «Я цыганка молодая» песню Льва Толстого, присочиняя к ней все новые и новые куплеты. Про князя Горчакова, нового командующего, Жемчужников услышал такое добавление: «Много войск ему не надо, будет пусть ему отрада — красные штаны...»

Одно из первых решений Александра II было изменить форму обмундирования. В Севастополе недоумевали: «Такое ли теперь время, чтобы заботиться о форме мундиров», и по примеру прозвищ прежних царей — Александр Благословенный, Николай Незабвенный — придумали еще одно: Александр портной военный...

Вот тут-то и взвился Алексей Бобринский, предводитель тульского дворянства, согласный выслушивать любую правду, но не оскорбительные разговоры о действиях обожаемого им царя. Они с Жемчужниковым наговорили друг другу колкостей. Ссора кончилась тем, что Бобринский вызвал Льва на дуэль. Она не состоялась лишь из-за вмешательства Алексея Толстого и Владимира Жемчужникова, уговоривших забияк пойти на мировую.

После войны болезни в Одессе пошли на убыль и стало повеселее. Ко многим офицерам приехали жены. Все непременно прогуливались по Бульвару, Дерибасовской, заходили в Пале-Рояль, где была знаменитая кондитерская Замбринп. Дворянская молодежь, вступившая в ополчение, — Строгановы, Ростопчины, Толстые, Аксаковы, — собиралась, говорила целыми днями об осаде Севастополя, бестолковости начальства, подвигах матроса Кошки, вылазках Бирилева...

В воспоминаниях С. М. Загоскина перечислены многие из блестящих и самых талантливых людей того времени, пребывавших в Одессе.

«Но умнейшим и интереснейшим из всех офицеров был бесспорно граф Алексей Константинович Толстой,

впоследствии известный писатель, автор «Князя Серебряного». Несмотря на свое видное уже в то время общественное положение вследствие особого благосклонного к нему расположения императора Александра Николаевича, Алексей Константинович был тогда, как и всю свою остальную жизнь, скромным и приветливым человеком. Чрезвычайно мягкого характера и редкого остроумия, он был искренне любим своими товарищами, а появление его в обществе среди не только молодежи, но и людей пожилых доставляло всем не одно простое удовольствие, а какое-то отрадное чувство, превращавшееся скоро в поклонение его уму и сердцу».

Если говорить о слове «страда» во всех его значениях, а не только о тяжелой, ломовой работе, натужных трудах и всякого рода лишениях, о летних работах земледельца, то надо бы сказать и о нравственных страданиях, тоске и даже агонии, предсмертном борении.

Трудная пора, но какой же плодотворной оказалась она для Толстого. Рука тянулась к перу, захлестывали впечатления, чувства, возникали стихи, зачеркивались, что-то получалось, потом подвергалось сомнению и вновь приносило удовлетворение. Словно бы человек, прикоснувшийся к небытию, осознал краткость пребывания в бренной плоти и вдруг заспешил заполнить это мгновение, запечатлеть озарения, которыми исполнена жизнь людей, относящихся обычно к ним неряшливо, лениво и потому забывающих очень скоро то, что, как им кажется, человеческая память должна сохранять надежно. Да, он спешит, в его сочинениях более всего стихотворений, помеченных 1856 годом, но это не значит, что возникают они как по волшебству. Лишь заглянув в записную книжку поэта, можно увидеть двадцать вариантов шестой строки короткого стихотворения, в котором утвердился двадцать первый.

Не верь мне, друг, когда в избытке горя
Я говорю, что разлюбил тебя,
В отлива час не верь измене моря,
Оно к земле воротится, любя.

Уж я тоскую, прежней страсти полный,
Мою свободу вновь тебе отдам,
И уж бегут с обратным шумом волны
Издалека к любимым берегам!

Идиллии не получалось. Вернулись сомнения, хотя

в приезде Софьи Андреевны, в ее бдениях у его постели следовало бы видеть залог гармонии в их отношениях. Однако «приливы и отливы» настроений то и дело вызывали запальчивость, страх потери, раскаяние, примирение...

Толстой с Софьей Андреевной, Владимир Жемчужников, Алексей Бобринский решили попутешествовать и отдохнуть в Крыму, хотя и Одесса к лету становилась хороша с ее голубым морем, пестротой костюмов, «наречий и людских пород», бульваром и лестницей, кишащими людьми... В мае они уже миновали правильно и однообразно построенный Николаев, заброшенный нищий Херсон, крымскую степь с разоренными селениями, Симферополь, полуразрушенный Севастополь и развалины древней Корсуни. В Байдарской долине у Льва Перовского были земли, а на самом берегу моря, неподалеку, имение «Мелас». Дом с четырьмя башнями, плоской крышей, какими-то «мавританскими» террасами, увитыми плющом, шиповником и диким виноградом, сохранился и поныне, как и надпись в полу, выложенная из полированного камня, — MELLAS.

Две недели они отдыхали в разграбленном «союзниками» и приведенном кое-как в порядок доме. Прекрасный парк вокруг дома был вырублен, мебель изломана, картины прострелены, стены залиты вином и исписаны непотребными и хвастливыми надписями врагов. Некоторые из надписей Толстой скопировал и отправил Льву Перовскому. В записной книжке у него сохранилась строка: «Так вот что представлял мне часто сон упорный». Как будто он уже видел и раньше эту картину разорения. «Ни стола, ни стула», — писал он матери.

Восстанавливать события по стихам — неблагодарное дело. Заглянув в лабораторию поэта, в его записную книжку, видишь, как в вариантах исчезают упоминания о спорах, ропоте, гневе, досаде... Некогда А. А. Кондратьев прибегал к историко-литературным сопоставлениям. В одну схему вписывались Данте и Беатриче, Петрарка и Лаура, Алексей Константинович и Софья Андреевна. Но не прекраснее ли живая женщина со всеми ее недостатками и достоинствами бесплотного поэтического идеала? Не пленительней ли сладость примирений поклонения издалека? Однако поэзия преображает земные отношения, набрасывая на них романтическую вуаль, сквозь которую не видны подробности, а угадываются лишь прелестные черты.

И вот как видится поэту приезд их с Софьей Андреевной в Мелас:

Обычной полная печали,
Ты входишь в этот бедный дом,
Который ядра осыпали
Недавно пламенным дождем;

Но юный плющ, виясь вкруг зданья,
Покрыл следы вражды и зла —
Ужель еще твои страданья
Моя любовь не обвила?

Но все-таки «Крымские очерки» и другие стихотворения, которые Алексей Толстой счел достойными опубликования в том же году, исполнены не одной лишь романтической символики. В них множество примет времени, а главное — величественных картин прекрасной крымской природы, овеянной духом древних культур и памятью о бурных исторических событиях. Пренебрежем хронологией, порядком написания вещей, прислушаемся к гимну извечной и знакомой нам красоте Южного берега:

Над неприступной крутизною
Повис туманный небосклон;
Там гор зубчатою стеною
От юга север отдален.
Там ночь и снег; там, враг веселья,
Седой зимы сердитый бог
Играет вьюгой и метелью,
Ярясь, уста примкнул к ущелью
И воет в их гранитный рог.
Но здесь благоухают розы,
Бессильно вихрем снеговым
Сюда он шлет свои угрозы,
Цветущий берег невредим.
Над ним весна младая веет,
И лавр, Дианою храним,
В лучах полудня зеленеет
Над морем вечно голубым.

С верхнего шоссе Мелас кажется крохотным зеленым оазисом среди нагромождения скал, словно бы растущих из моря. А над шоссе возвышается на сотни метров отвесная стена, венчаемая горой, напоминающей дракона с гребнем выступов вдоль всей спины. Спустимся вниз, войдем в парк Меласа, где, как и сто с лишним лет назад, заливаются майские соловьи. И уцелел пятисотлетний дуб, стоящий в обнимку с кипарисом. Тихо, чисто и сонно кругом.

Но мы напомним об Алексее Константиновиче Толстом, воспевшем некогда опустошенное имение и синее море. Напомним, как он возмущался, увидев надписи врагов, «рисунки грубые и шутки площадные, где с наглым торжеством поносится Россия». Напомним, как в сумерки, когда в аллеях сгустилась тьма, когда стал сильнее запах цветов и трав, он сидел на сломанном крыльце и думал в тишине, которая нисколько не нарушалась шумом прибоя...

Все чаще он уединялся, чтобы осмыслить пережитое. Софья Андреевна вдруг принимала эти уединения за охлаждение, мучилась ревностью, а он торопливо черкал в записной книжке: «О, не страшись несбыточной измены и не кляни грядущего, мой друг, любовь души не знает перемены; моя душа любить не будет двух...»

Порой ревновал и он. Но к кому? К Миллеру? Вяземскому? «Ты клонишь лик, о нем воспоминая, и до чела твоя восходит кровь; не верь себе. Сама того не зная, ты любишь в нем лишь первую любовь...»

...И были поездки по каменистой дороге средь душистых акаций, когда Софья Андреевна, красиво изгибаясь и держась одной рукой за луку седла, другой рвала алые цветы шиповника и убирала ими косматую гриву своей буланой лошадки. Были опасные подъемы на мрачный, похожий на сундук Чатырдаг. И было путешествие по Яйле в Бахчисарай с ночлегами у костров в живописных лесистых ущельях...

Вернувшись к двадцатому июня в Одессу, Толстой прочел ожидавшее его письмо от матери. Она звала его в Красный Рог, она тревожилась... Он понимал ее тревогу и боялся новых объяснений.

«Боже мой, maman, как я люблю тебя и как я хотел бы сказать тебе это, бросившись тебе на шею и проливая слезы у тебя на плече; но я не осмеливаюсь и не могу сделать этого, так как ты могла бы превратно это истолковать. Я очень несчастлив, потому что постоянно должен изливать в самом себе мои лучшие чувства», — набрасывает он письмо, по-видимому, так и не отправленное.

Будущее не сулило ничего приятного. Сердце его разрывается между двумя самыми близкими ему людьми. Мать никогда не примирится с Софи. А та пока не добилась развода от мужа, который все еще надеется на ее

возвращение. Толстой пишет стихи. О Софи? Об Анне Алексеевне? А может, о себе самом?

Острою секирой ранена береза,
По коре сребристой покатились слезы;
Ты не плачь, береза, бедная, не сетуй!
Рана не смертельна, вылечится к лету,
Будешь красоваться, листьями убрана...
Лишь больное сердце не залечит раны!

Льва Жемчужникова в Одессе Толстой не застал. Тот уехал в Линовицы, гостил у владельцев этого имения помещиков де Бальменов и тайно встречался со своей возлюбленной Ольгой, их крепостной крестьянкой. Де Бальмены прочили за Льва свою дочь Маню, но он, вежливо выслушивая разговоры о приданом — столовом серебре и деньгах, твердо решил жениться на крепостной. Вскоре он получил письмо от Алексея Толстого, который по дороге в Красный Рог остановился с Софьей Андреевной в Киеве.

Жемчужников приехал в Киев. С Толстым и Софьей Андреевной они часто сиживали в городском саду на высоком берегу Днепра. Сад был пустынный, им никто не мешал. Художник рассказал Толстому и Софье Андреевне, что собирается увезти Ольгу и жениться на ней. Они грустно кивали и обещали устроить судьбу влюбленных.

Толстой расстался с Софьей Андреевной и поехал к матери в Красный Рог. Следом прикатил Лев Жемчужников. Он был впервые в Красном Роге и внимательно рассматривал липовые аллеи гетманских времен, дом с бельведером, откуда открывался прекрасный вид, столовую с куполом и верхним светом...

Тетушка Анна Алексеевна тайком от сына расспрашивала Льва о Софье Андреевне. Она была возмущена связью сына, плакала, не веря в искренность женщины, которую полюбил ее Алеша.

Лев старался разубедить мать Алексея Толстого. Но, видно, не преуспел в этом. «Чуткое материнское сердце...» — писал он потом. Наверно, он вспомнил свою встречу на Украине с Иваном Сергеевичем Аксаковым. Тот собирался тогда жениться на Екатерине Федоровне Миллер, сестре мужа Софьи Андреевны, и порассказал многое из того, что слышал в семье Миллеров. Быть может, это были только сплетни, но они скорее всего передавались Анне Алексеевне и тяжело ранили ее...

Алексей Толстой увлекал Льва в березняк и там, сидя на траве, говорил со слезами на глазах всё о том

же — о своей любви и к Софье Андреевне, и к матери, которая обвиняла милую, талантливую, несчастную Софью Андреевну в лживости и расчете. «Такое обвинение, конечно, должно было перевернуть все существо доброго, честного и рыцарски благородного А. Толстого», — писал Лев Жемчужников.

Каково было Толстому, если мать утверждала, что даже сама его встреча с Софьей Андреевной на маскараде в Большом театре состоялась далеко не случайно!..

Анна Алексеевна дала Льву тысячу рублей, и он уехал в Линовицы. Он потерял всякую охоту к рисованию, мечтал поселиться с милой Ольгой в глухом местечке, жить патриархальной жизнью, обзавестись детишками...

«Образованный и свободомыслящий» граф де Бальмен охотно принимал у себя Льва и дарил его своей дружбой, но, когда тот попросил отпустить Ольгу на волю, граф изменился в лице. Тогда Лев предложил выкупить Ольгу за любую цену, которую назначат де Бальмены. И тут началось нечто совершенное мерзкое — отца Ольги обвинили в краже копен с поля и наказали розгами. Придравшись к чему-то, высекли и Ольгу. Со Львом хозяева вели себя холодно, слуги перестали менять ему белье, подавали прокисшие сливки и черствый хлеб. Но он не уезжал, надеясь, что благоприятный случай позволит ему увезти девушку.

Когда хозяева отлучились, Лев сделал вид, что уезжает тоже. Наняв фургон, он вместе со знакомым англичанином, служившим управляющим в соседнем имении, ночью отправился за Ольгой и увез ее.

На первой же станции их задержали.

— Видите ли, ваше благородие, дано нам знать, что может проехать с барином девушка, бежавшая от помещика, так велено, чтобы ее задержать. А эта девушка, что с вами, подозрительна: пани не пани, девушка не девушка...

Выручил англичанин, который показал свою подорожную, выписанную на иностранного подданного. Иначе Льву грозил суд и тюремное заключение — с крепостным правом шутки были плохи.

Не зря Лев договаривался с Софьей Андреевной. Беглецов приняли и укрыли в Смалькове. Оставив Ольгу на Бахметевых, Лев уехал в Петербург. Его отец был недоволен выбором сына, но вслух своего недовольства не высказывал. Алексей Жемчужников отнесся к любви

брата сочувственно, а Софья Андреевна Миллер пошла на преступление по тогдашним законам и выдала Ольге паспорт как своей крепостной.

Вскоре Ольга, ожидавшая ребенка, поселилась в Петербурге, в квартире, приготовленной к ее приезду Львом Жемчужниковым...

В августе 1856 года в Москве готовились к коронационным торжествам. Стрелки уже пришли походным порядком в старую столицу и расположились лагерем на Ходынском поле. Девять старших офицеров полка были назначены «для принятия балдахинов в день коронования», и в их числе майор Алексей Толстой.

С утра 26 августа по всей Москве зазвонили колокола. Царское шествие к Успенскому собору открыли кавалергарды, соблюдался церемониал, утвержденный еще Петром I. Алексей Толстой был в Успенском соборе, где московский митрополит Филарет венчал и миропомазал Александра II.

Мысли Алексея Толстого были несозвучны торжеству. Они известны из письма, отправленного в тот же день Софье Андреевне.

Он знал, что сегодня его произведут в подполковники и назначат царским флигель-адъютантом. Толстой заранее писал дяде и просил сделать так, чтобы назначение не состоялось. Лев Алексеевич Перовский показал письмо царю, но тот непременно хотел видеть Толстого возле себя.

Перед ним открывался путь к высшим государственным должностям. Но не он ли когда-то говорил:

— Я никогда не мог бы быть ни министром, ни директором департамента, ни губернатором. Я делаю исключение только для службы в министерстве народного просвещения, которая, может быть, могла бы мне подойти...

Но его все-таки «облагодетельствовали». Будущность при дворе представлялась ему «тьмой», в которой все должны ходить с закрытыми глазами и заткнутыми ушами. И он ничего не может поделать. Это же грешно — продолжать жизнь в направлении, противном его природе. Нет, он будет добиваться своего, хотя бы в сорок лет начнет с того, с чего надо было начинать в двадцать — жить только творчеством и для творчества.

Одна лишь мысль тешит его — вдруг здесь, в этих высоких сферах, представится случай вывести на свет

божий какую-нибудь правду, «идя напролом... пан или пропал». Разумеется, ради пользы надо лавировать и выжидать, но для этого нужна ловкость, особое «дарование», а где ж ему с его прямотой... У него иное дарование, но как решиться «идти прямо к цели». Чем скорее он поймет, как ему быть, тем будет лучше.

«Что я грустен, более чем когда-либо, нечего тебе и говорить!..»

Вот так он жалуется, а тем временем успевает и работать и пожинать плоды некоторых трудов своих последних лет. Московские славянофилы, прочитав в февральской книжке «Современника» стихотворения «В колокол, мирно дремавший...» и «Ходит Спесь, надуваючись...», ликовали. Они увидели в Толстом своего единомышленника, искали с ним встреч.

«Мрачное семилетие» кончилось со смертью Николая I, и только за последующие пять лет возникло 150 новых журналов и газет. Славянофилам принадлежали «Молва» и «Парус».

В № 36 «Молвы» в статье Константина Аксакова «Публика — народ» можно было прочесть:

«Публика выписывает из-за моря мысли и чувства, мазурки и польки; народ черпает жизнь из родного источника. Публика говорит по-французски, народ по-русски. Публика ходит в немецком платье, народ в русском. У публики — парижские моды. У народа свои русские обычаи... Публика спит, народ давно уже встал и работает...»

Газету запретили.

«Парус» закрыли на втором номере, в котором Иван Аксаков защищал свободу слова.

Раньше газет начал выходить и позже них закрылся журнал «Русская беседа». Алексей Хомяков в 1856 году ездил в Петербург хлопотать о разрешении журнала. Он появлялся на приемах у министров в армяке, красной косоворотке и с шапкой-мурмолкой под мышкой.

Издатель журнала Кошелев стремился привлечь к «Русской беседе» Льва Толстого, Тургенева и Алексея Толстого. «Мы все, — писал он А. Н. Попову, — в восторге от стихов графа Толстого. Скажите, как его зовут?.. Стихи его, помещенные в «Современнике», просто чудо. Хомяков, Аксаков их все наизусть знают. Хомяков, прочитавши их, ходуном заходил и говорит: «После Пушкина мы таких стихов не читали...» Нельзя ли его как-нибудь к «Беседе».

Славянофилы считали, что основная черта западной цивилизации — формализм и рассудочность, и видели мессианское назначение православия в обновлении разлагающегося Запада. Славянофилы говорили о гармонии и самобытности в отношениях между царской властью и народом в Московской Руси. И это якобы было нарушено Петром I, который навязал стране язвы абсолютизма и породил бюрократию, ставшую «средостением» между царем и народом. Они хотели освободить народный дух из-под бюрократическо-канцелярского владычества и тем самым сблизить царя с земством. В славянофилах жил страх перед стихийным взрывом, что нашло свое яркое отражение в стихах Константина Аксакова:

Зачем огражденья всегда
Власть ищет лишь в рабстве народа?
Где рабство — там бунт и беда,
Защита от бунта — свобода.
Раб в бунте — ужасней зверей;
На нож он меняет оковы.
Оружье свободных людей —
Свободное слово.

Объективно славянофилы стали в строй либералов, подтачивавших скалу, на которой стояло здание царизма, потому что теории их широкого распространения не получали, а осуществление политических требований вело к усилению пропаганды революционной демократии, пользовавшейся у молодого поколения куда большим успехом.

Толстой сошелся с Хомяковым и Константином Аксаковым.

Его привлекала разнородная ученость Алексея Степановича Хомякова, его сильный ум, но несколько раздражала манера спорить по любому поводу. По словам Герцена, это был «действительно опасный противник: закалившийся бреттер диалектики, он пользовался малейшим рассеянием, малейшей уступкой. Необыкновенно даровитый человек, обладавший страшной эрудицией, он, как средневековые рыцари, караулившие богородицу, спал вооруженный». Константин Аксаков был романтик, чистый душой и задорный. Он верил в будущность сельской общины, мира, артели.

Когда Алексей Толстой встретился с ними после войны в доме у Хомякова, порывистый Константин Аксаков бросился ему на шею. Алексей Константинович писал тогда Софье Андреевне, что полюбил Аксакова всем

сердцем. А сам хозяин дома, то и дело откидывая падавшие на лоб пряди длинных волос, говорил:

— Ваши стихи такие самородные, в них такое отсутствие всякого подражания, такая сила и правда!..

Аксаков тогда же написал в своем «Обозрении современной литературы», напечатанном в первом номере «Русской беседы» за 1857 год:

«Еще и прежде в прекрасных стихах его (А. К. Толстого. — *Д. Ж.)* слышна была русская струна и русское сочувствие; но в прошлом году было напечатано несколько его стихотворений, чрезвычайно замечательных. Всего замечательнее по своему, особому какому-то, строю стиха баллада «Волки», а также «Ой, кабы Волга-матушка да вспять побежала» и «Колокол». Хороши и стихи «Дождя отшумевшего капли», в них слышно раздумье о прошлых годах и какою-то искренностью звучат слова:

Не знаю, была ли в то время
Душа непорочна моя, —
Но многому б я не поверил,
Не сделал бы многого я.

Все это прекрасные стихотворения, полные мысли, мысли, которая рвется за пределы стиха, а в наше переходное время только такие стихотворения и могут иметь настоящее живое достоинство. Но особенно хорошо стихотворение, или, лучше, русская песня «Спесь». Она так хороша, что уже кажется не подражанием песне народной, но самою этою народною песнею. Чувствуешь, что вдохновение поэта само облеклось в эту народную форму, которая одела его, как собственная одежда, а не как заемный костюм. Одна эта возможность, чуть ли не впервые явившаяся, есть уже чрезвычайная заслуга; в этой песне уже не слышен автор: ее как будто народ спел. Хотя слишком дерзко отдельному лицу решать дело за народ, но осмеливаемся сказать, что, кажется, сам народ принял бы песню «Спесь» за свою».

Константин Аксаков приводит балладу полностью.

Ходит Спесь, надуваючись,
С боку на бок переваливаясь.
Ростом-то Спесь аршин с четвертью,
Шапка-то на нем во целу сажень,
Пузо-то его все в жемчуге,
Сзади-то у него раззолочено.
А и зашел бы Спесь к отцу, к матери,
Да ворота некрашены!
А и помолился бы Спесь во церкви божией,

Да пол не метен!
Идет Спесь, видит: на небе радуга;
Повернул Спесь во другую сторону:
Не пригоже-де мне нагибатися!

Хомяков во время коронационных торжеств трижды приезжал к Толстому, уверял, что у того «не только русская форма, но и русский ход мысли», и просил стихов для «Русской беседы».

Слова Хомякова, а потом и письма его согревали Толстого в дни обрушившихся вскоре утрат... Он кое в чем соглашался с Хомяковым. Современный Запад с его буржуазной демократией, по его мнению, не мог быть примером для России. Вместе они видели в историческом Западе «страну святых чудес». Но Толстой работал уже давно над «Князем Серебряным» и никак не мог примириться с восторженным восхвалением допетровской Руси.

Уже в первых стихах, опубликованных в «Русской беседе», сатира строилась на неприглядной картинке из излюбленной Хомяковым и Аксаковым эпохи:

У приказных ворот собирался народ
　Густо;
Говорит в простоте, что в его животе
　Пусто!
«Дурачье! — сказал дьяк, — из вас должен быть всяк
　В теле;
Еще в Думе вчера мы с трудом осетра
　Съели!»

«Русской беседой» негласно руководил Иван Аксаков, брат Константина и давний знакомец Толстого, читавший некогда свою поэму «Бродяга» прутковскому кружку еще на Васильевском острове.

Толстого уже спрашивали в обществе: «Не вы ли тот, который написал...» Это льстило его самолюбию и заставляло еще упорнее добиваться отставки.

«Помоги мне жить вне мундиров и парадов», — умоляет он Софью Андреевну.

А через несколько дней набрасывает:

Исполнен вечным идеалом,
Я не служить рожден, а петь!
Не дай мне, Феб, быть генералом,
Не дай безвинно поглупеть!

О Феб всесильный! на параде
Услышь мой голос свысока:

Не дай постичь мне, бога ради,
Святой поэзии носка!

Он уговаривает дядю Льва Перовского вычеркнуть его из списков регулярного батальона, в который превратился полк стрелков-добровольцев. Никто из крестьян-охотников, переживших одесское несчастье, не остался служить в мирное время. Царь заметил, что имени Толстого нет в списке офицеров, и велел внести...

У светлого Феба, бога лиры, была другая ипостась, которую звали Аполлоном-губителем. Древние греки изображали его грозным стрелком из лука, но одеть в мундир не догадались.

Толстой просто бредит искусством.

«Неужто я себя чувствую больше поэтом и художником с тех пор, как ношу платье антихудожественное и антипоэтическое?»

Толстой вернулся в Петербург железной дорогой. Запах дыма, стук, покачивание вагонов не мешали ему заниматься переводами из Байрона и думать. Софья Андреевна в письмах из Смалькова убеждает его не унывать, а ему хочется к ней, «как на родину». Он верит, что его чувство не позволит ему заразиться общим духом... Разумеется, его не так-то просто заразить, но возле нее он отдыхает душой. Потребность едва ли не каждый день делиться с ней своими мыслями стала привычкой, как и посылать ей на суд каждое стихотворение. «А про стихи все ты ни одного слова не говоришь, — стало быть, они тебе не нравятся?»

Замечания Софьи Андреевны он принимает безропотно и даже гордится, если ему удается предугадать и еще до ее ответа исправить то, что ей не нравится. А посылать есть что. У него неодолимое желание писать. Порой он начинает в день четыре-пять вещей и чем больше пишет, тем больше пишется. Это хорошо, приятно, но пугает легкость, с которой дается ему стихотворство. Одна и та же мысль или картина порождают одновременно три или четыре редакции, и чем больше ему нравится то, что он пишет, тем больше он испытывает желания переделать, переписать по-иному готовое и уже сам «теряет чутье суждения». Вот для чего нужно ему ее «свежее ухо».

Он отделывает стихотворения, написанные в Крыму.

Исписав лист бумаги и весь исчеркав его, он берется за новый, переписывает уцелевшие варианты, но, глядишь, и этот так же перемаран, как и первый...

У него такое ощущение, что стихи «витают в воздухе», что некогда они уже существовали в «первобытном мире», как и музыка, скульптура, живопись, а художник лишь ловит в воздухе обрывки извечно существовавших произведений, но неловко, так, что в руках остается лишь изуродованное подобие первобытных вещей, которое надо привести в порядок, дополнить самому, «из своего воображения», но недостаток этого воображения, нерешительность либо неумелость художника приводят к результатам, возмущающим артистический вкус...

«Чтобы не портить и не губить то, что мы хотим внести в наш мир, нужны либо очень зоркий взгляд, либо совершенно полная отрешенность от внешних влияний, великая тишина вокруг нас самих и сосредоточенное внимание, или же любовь, подобная моей, но свободная от скорби и тревог», — пишет он Софье Андреевне и даже пытается изложить свою теорию в стихах, причем непременно гекзаметром:

Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!
Вечно носились они над землею, незримые оку...

Но, призывая художника «быть одиноким и слепым, как Гомер, и глухим, как Бетховен», чтобы постичь тайны искусства, он в конце концов осознает, что без «скорби и тревог» сам он не создал бы ничего. И если теперь он «переполнен поэзией назло мундиру», то лишь потому, что сама жизнь во всех ее проявлениях, любовь, ненависть, возмущение, забота движут его пером. И очень скоро сознание этого прозвучит в стихотворении, посвященном Болеславу Маркевичу.

Ты прав; мой своенравный гений
Слетал лишь изредка ко мне;
Таясь в душевной глубине,
Дремала буря песнопений;
Меня ласкали сон и лень,
Но, цепь житейскую почуя,
Воспрянул я; и, негодуя,
Стихи текут. Так в бурный день,
Прорезав тучи, луч заката
Сугубит блеск своих огней,
И так река, скалами сжата,
Бежит сердитей и звучней!

«Крымские очерки» Толстой отдал Панаеву, и они по-

явились в «Современнике» в следующем же месяце. Казалось бы, пиши и пиши, однако засиживаться за письменным столом Толстому не давали. Это видно из его писем из Гатчины и Царского Села. Куда едет двор, там положено быть и ему. Толстой симпатизирует императрице, и она тоже интересуется его стихами, старается «смотреть и увидеть насколько можно дальше через стену, которая ее окружает», заступается по его просьбе за тех, кому нужна помощь. А о «Колокольчиках» даже изволила выразиться:

— Я не хочу, чтобы цензура искромсала стихотворение!

Толстой делает все, чтобы его считали лишь поэтом, человеком, по его выражению, «антипрактичным», не от мира сего... Но во дворце из него упорно хотят сделать государственного деятеля, перебирают посты, на которые его можно было бы назначить. И даже близкая ему по духу фрейлина Анна Федоровна Тютчева, дочь поэта, поговаривает об этом. Она находит, что у Толстого много общего с ее женихом Иваном Аксаковым, которому, впрочем, из-за его славянофильских воззрений при дворе не доверяют.

Чувствуя неотвратимость назначения на пост, флигель-адъютант Толстой рад был бы попасть в какую-нибудь комиссию по расследованию служебных злоупотреблений, и тут уж он бы не допустил никаких снисхождений даже к высокопоставленным лицам. Он сказал это влиятельной Тютчевой, но случилось то, чего он и представить себе не мог. 25 октября он написал Софье Андреевне:

«Мой друг, пойми все, что заключено в этих словах: настал день, когда я нуждаюсь в тебе, чтобы просто иметь возможность жить. Ты знаешь, сколько уже раз моя жизнь шла не в ту сторону, сейчас ее еще раз повернули самым жестоким, самым мучительным для меня образом...»

Не посоветовавшись с Толстым, не спросив о его желании, Александр II объявил ему, что назначает его делопроизводителем «Секретного комитета о раскольниках».

— Ну какой из меня чиновник, ваше величество! — возразил Толстой. — Я же поэт...

Император смотрел на него с доброй улыбкой и молчал.

— Ваше величество — продолжал Толстой, — я же

человек рассеянный, непрактичный. Я ничего не слышу, кроме стихов. Они гремят у меня в ушах, да и проза меня держит как щупальцами... Ну скажите, могу ли я извлечь гармоничные звуки из того барабана, который вы мне вручаете?

Император снисходительно похлопал его по плечу.

— Послужи, Толстой, послужи, — только и сказал он.

Толстой понимал, что здесь его занятия поэзией не принимают всерьез. Фрейлина Блудова сказала ему по-женски обезоруживающе:

— Я прочла что-то ваше отвратительное в «Современнике». Кажется, «Колокольчики»...

А это была одна из самых удачных его вещей. И он задумывается над причинами своего неуспеха у людей, знающих его лучше других. Да, именно это — люди не могут простить человеку, которого давно знают, что он — поэт. Такое открытие всегда производит впечатление «нахальства, которое требует наказания». И вообще стихи... Эти люди даже думают, что сконфузят его, упоминая о таком малопочтенном занятии. Может быть, потому в Москве у него больше успеха, что там у него меньше лично знакомых...

Он начинает постигать секрет успеха у современников. Публика восхищается тем, на что ей указывает журнальная критика. Либо надо, «чтобы автор был выслан или разжалован...».

Зато со служебным назначением его поздравляли. А он не спал ночей, потерял аппетит, его лихорадило, и руки леденели от одной мысли о предстоящих обязанностях. Он твердо решил для себя — если не сможет остаться честным человеком на этом месте, то уйдет во что бы то ни стало.

Чем больше он вникал в дела «Секретного комитета о раскольниках», тем сильнее чувствовал, что они противны его совести. В чем же дело?

Старообрядцами интересовались многие русские писатели. Сохранилось письмо к Ивану Аксакову, в котором Алексей Толстой спрашивал о раскольниках и Нижегородской ярмарке. Тот как раз этим занимался. И письмо к Мельникову-Печерскому с просьбой встретиться и получить нужные сведения. А известно, что Мельников по долгу службы незадолго до этого написал «Отчет о современном состоянии раскола в Нижегородской губернии», в котором будущий автор монументальных романов

из жизни старообрядцев выказывал неприязнь к «раскольникам», но в то же время раскрывал злоупотребления царских чиновников, пользовавшихся стремлением правительства «искоренить раскол», поставленный вне закона, и не стеснявшихся собиранием обильной дани... Короче говоря, Толстой попал в гнездо взяточников, попустительствовавших «расколу». Если бы он принялся пресекать взяточничество, то тем самым усилил бы гонения на старообрядцев, а это никак не вязалось с его представлениями о свободе вероисповедания и вообще о человеческой свободе. Он преисполнен сочувствия к гонимым старообрядцам — пострадали бы самые бедные, богатеи все равно откупились бы. А это сочувствие никак не вязалось с обязанностями делопроизводителя репрессивного комитета. Он был не против репрессий, но каких... Он готов применить их против высокопоставленных лиц, замешанных в злоупотреблениях...

И уже 1 декабря он пишет Софье Андреевне:

«Если бы, например, меня употребили на дело освобождения крестьян, я бы шел своей дорогой, с чистой и ясной совестью, даже если бы пришлось идти против всех».

Новый министр внутренних дел Ланской не сочувствовал прежней системе гонений на старообрядцев, что облегчало положение Алексея Толстого, испытывавшего давление со стороны митрополита православной церкви Григория. Толстой числился на своем посту до конца апреля 1858 года и во многом способствовал утверждению веротерпимости.

Случай сделать доброе дело представился очень скоро.

По восшествии на престол императору Александру положили на стол список политических заключенных, разжалованных, сосланных, которым должно было объявить амнистию. Увидев там имя Шевченко, царь вычеркнул его и сказал:

— Этого я не могу простить, потому что он оскорбил мою мать.

О Шевченко ходатайствовал дядя Алексея Константиновича, вице-президент Академии художеств Федор Петрович Толстой. Он поехал к министру двора Адлербергу, но тот наотрез отказал. Тогда Федор Петрович обратился к президенту Академии великой княгине Марии Ни-

колаевне. Но и она не рискнула просить за человека, вычеркнутого из списка помилованных самим царем.

— Ну так я сам, от своего имени подам прошение! — сказал раздосадованный скульптор.

— Что с вами? — спросила великая княгиня. — Я, сестра его величества, *не смею* этого сделать, а вы...

— А я подам.

— Да вы с ума сошли!

Федор Петрович подал прошение во время коронации. Но ответа так и не получил. Жена, дочери называли поступок Федора Петровича «выходкой» и ожидали «самых ужасных последствий». Последствий не было. Скорее всего Федор Петрович обратился за помощью к племяннику...

Несмотря на неудачное ходатайство, к лету 1857 года рядовой Тарас Шевченко был уволен со службы, а еще через полгода появился в Петербурге.

Кто же ему помог?

Ответ на этот вопрос дал Лев Жемчужников в своих «Письмах о Шевченко»:

«По смерти императора Николая граф А. К. Толстой, высоко ценивший талант Шевченко, был неизвестным, но не бессильным участником прощения Тараса Григорьевича. Любимец императора Александра II и императрицы, с которыми видался ежедневно, он пользовался случаем и действовал в пользу Шевченко; так он действовал некогда и в пользу И. С. Тургенева, когда тот был арестован».

В Петербурге 17 апреля 1858 года в дневнике Шевченко появилась запись: «Белозерский познакомил меня с тремя братьями Жемчужниковыми. Очаровательные братья».

Это были Алексей, Александр и Владимир Михайловичи. Лев Жемчужников со своей Ольгой надолго уехал за границу.

Но вернемся в год 1856-й, год трудный и плодотворный для Алексея Константиновича Толстого. 10 ноября скончался Лев Алексеевич Перовский, и эта смерть была предвозвестьем близкой кончины самых родных людей...

Перовский умирал тяжко. Последние дни у него пропал голос, он говорил шепотом и все спрашивал не отхо-

дившего от его постели Толстого, вознаграждены ли врачи и слуги, которые за ним ухаживают, удовлетворены ли они. Присутствие духа не покидало его до конца. Он продолжал интересоваться государственными делами, новостями искусства, вспоминал прожитую жизнь. Что ж, за шестьдесят четыре года он повидал немало — воевал и был ранен во время Отечественной, дружил с будущими декабристами, но отошел от них в двадцать первом, был дипломатом, министром внутренних дел и негласным главой «русской партии» при дворе, создал свою тайную полицию, противопоставив ее III Отделению и другим органам «немецкой партии». Еще десять лет назад он составил записку «Об уничтожении крепостного сословия в России», настаивая на освобождении крестьян с землей и уравнении их в правах с государственными крестьянами, но и помещиков советовал «не обеднять». Он заведовал Комиссией для исследования древностей, лично участвовал в археологических раскопках под Новгородом, в Суздале, в Крыму, собрал большие коллекции греческих древностей, старинного русского серебра, монет, которые завещал теперь Эрмитажу. Его занятия минералогией навсегда оставят след в науке. Побочный сын графа Разумовского, он и сам в прошлом году добился графского достоинства и умирает министром уделов... Девизом своим он избрал слова: «Не слыть, а быть».

Многогранная деятельность дяди, казалось, должна была увлечь Толстого, который разделял его взгляды, кроме необходимости служить государству. Его не могли убедить слова Льва Перовского о том, что если хорошие, честные русские люди будут отказываться занимать высшие посты, то на эти места непременно усядутся иностранцы или мошенники и карьеристы, а тем и другим одинаково чужды интересы России. Настойчивость дяди казалась ему посягательством на его личную свободу как художника. Ему чудилось в деловитости презрение к искусству, отношение к художникам как к людям бесполезным. Чиновники в его представлении были «массой», от которой смешно было бы требовать, чтобы тот или иной из них писал трагедии или картины, и так же бессмысленно было бы требовать от него, Толстого, чтобы он стал чиновником или бюрократом, «но никто не смеется над этим потому, что масса состоит из бюрократов и что у них нет довольно ума, чтобы понять, что не всякий создан по их подобию».

Толстой преувеличивал значение художников в жизни, считая их «авангардом, пионерами». Ни судьбы народов и ни самая повседневная жизнь их никогда не решались за письменными столами поэтов и беллетристов. Но страстность, с которой отстаивал Толстой свой тезис о том, что полезность искусства в «сто раз выше службы», достойна всяческого уважения — без такой веры в свое дело никакое настоящее искусство существовать не может.

В письмах поэта к Софье Андреевне как бы отражались споры его с могущественными родственниками, которых он никогда не переставал любить и почитать.

Хлопоты, связанные с похоронами дяди, переживания в связи с этой утратой, служба... И все-таки он работает лихорадочно, много думает и успевает делать. Толстой вставал в шесть утра, купался в Неве (зимой в проруби), завтракал с матерью и ехал на службу. Писал с вечера до двух-трех ночи, а будить камердинеру Захару приказывал в шесть...

По-прежнему звуки стихов «витают» перед ним в воздухе. Он старается уловить их, задержать. «Я не знаю, как другие пишут, но у меня всего чаще при приближении этих звуков волосы подымаются и слезы брызгают из глаз; никогда не бывает у меня механической работы, никогда — даже при переводах». Оглядев то, что уже отделано окончательно, он теперь с удовлетворением взвешивает на ладони стопу исписанной бумаги, которая составила бы целый томик стихотворений, решись он издать его.

Подвигается работа и над «Князем Серебряным», хотя и медленно. Исторический антураж у него получается, но он лучше других осознает бледность характера главного героя романа. Храбр и... глуп. Ну прямо-таки похож на глупого богатыря Митьку, который вышел у Толстого весьма живописным. Толстой пробует как-то углубить характер Серебряного, сделать его человеком очень благородным, не понимающим зла и тщетно пытающимся разобраться в ходе событий... Характер получается привлекательный, оттеняющий искушенность, злобу, интриганство других персонажей, но художественно малоубедительный, и потому Толстой не торопится с опубликованием хотя бы глав из романа, которые у него просит в свою «Библиотеку для чтения» Дружинин, поскольку Алексей Константинович намеревается впоследствии напечатать роман в «Современнике». А вот вещи

«специально национальные» он приберегает для «Русской беседы». В первых же номерах «Русского вестника» и «Современника» за 1857 год появятся его новые стихотворения.

Алексей Толстой предвкушает большое удовольствие от чтения «Юности» Льва Толстого, которая должна печататься одновременно с его стихотворениями в «Современнике». После «Севастопольских рассказов» Алексей Константинович разделял всеобщее восхищение талантом Льва Николаевича, завтракал с ним у себя 12 декабря, потом заехал к нему, не застал дома и оставил записку, опять пригласив молодого офицера к себе. 16 декабря, в воскресенье, они встретились в квартире на Михайловской площади и еще не раз виделись в январе 1857 года.

Лев Николаевич произвел на него впечатление «очень хорошего человека», и Алексей Константинович пишет Софье Андреевне в Париж, что хотел бы их познакомить. Это «познакомить» или «не познакомить» в письмах служит верным признаком той или иной оценки людей или событий. Так, он не хочет, чтобы Софья Андреевна познакомилась с Некрасовым, который в то время тоже был в Париже. Этому предшествовали события, известные в истории литературы.

Журнал «Современник» по-прежнему оставался в центре внимания. С одной стороны, к нему примыкали либерально настроенные писатели, были опубликованы произведения, ставшие классическими (Тургенева, Льва Толстого, Тютчева, Островского, Григоровича и др.). С другой, как считают историки литературы, «Современник» терял свою остроту и опускался на позиции «чистого искусства». Под это весьма неопределенное понятие попадало многое из того, что благополучно пережило свой век.

Однако новые времена, новые идеи и люди взывали к переменам. Еще в 1854 году в «Современник» пришел Чернышевский, убежденный революционный демократ, с юности решивший сделать все, что в его силах, «для торжества свободы, равенства, братства и довольства», как он писал в своем дневнике 8 сентября 1848 года.

Страстный и талантливый публицист, он поражал своей работоспособностью и начал с потока рецензий. Среди них был и разбор сочинений Антония Погорель-

ского, что не могло не привлечь внимания Алексея Толстого. С интересом читал он и критику Чернышевского пьесы Островского «Бедность не порок», разгром «апофеоза древнего быта» и славянофильских идей Аполлона Григорьева, провозгласившего Островского «глашатаем правды новой». Все это никак не расходилось с мнениями «прутковского кружка», когда-то разразившегося пародией «Безвыходное положение», имевшей подзаголовок «Письмо к моему приятелю Апполинию в Москву». Можно припомнить и еще одну пародию Козьмы Пруткова — «Опрометчивый турка», «естественно-разговорное представление», метящее не столько в Островского, сколько в Григорьева, что ясно хотя бы из пролога к пьесе: «Пора нам, русским, ознаменовать перевалившийся за другую половину девятнадцатый век *новым словом* в нашей литературе!» Пародии были порождены комической тяжбой Жемчужниковых с журналом «Москвитянин», но они отражали и мнение Алексея Толстого, которому претили «естественные разговоры» в пьесах Островского, и впоследствии, став сам известным драматургом, он напишет (7 октября 1869 года) издателю «Вестника Европы» М. М. Стасюлевичу: «Могу сказать, положа руку на сердце, что я свято следовал правилу, запрещающему в драме выводить людей, говорящих о погоде и осетрине, как у Островского, безо всякой необходимости для движения драмы». Но это уже спор о художественных принципах, одинаково имеющих право на существование...

Сейчас, уйдя на век с лишним от страстей и разногласий, мы можем с благодарностью оценить мощь и ветвистость литературного древа в пору его плодоносности, отдавая должное и художественности, и идейной направленности литературных течений. Но если и теперь не утихают споры о понимании давно написанного, то это говорит лишь о его нетленности.

В статье «Об искренности в критике» Чернышевский требовал ясности, определенности, прямоты и отсутствия страха перед любыми литературными авторитетами. В его книге-диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» основной задачей искусства провозглашалось *служение потребностям общества*. Дворянский круг «Современника» увидел в этом призыв к утилитарности искусства и литературы, принижение роли прекрасного, художественности. Тургенев, встречавшийся тогда часто с Алексеем Толстым, называл книгу Чернышевско-

го «поганой мертвечиной». Из журнала был вытеснен Дружинин, перешедший в «Библиотеку для чтения». Боткин, прежде симпатизировавший Чернышевскому, теперь убеждал Некрасова заменить его Аполлоном Григорьевым, который «во всем несравненно нам ближе». Особенный гнев был вызван «Очерками гоголевского периода», в которых Чернышевский, опираясь на Белинского и Гоголя, громил «чистое искусство». Он писал: «...Не гораздо ли более жизни в этих покойниках, нежели во многих людях, называющихся живыми?» Живые воспринимали это как оскорбление, и Лев Николаевич Толстой писал тогда Некрасову: «Нет, вы сделали великую ошибку, что упустили Дружинина из нашего союза. Тогда можно было надеяться на критику в «Современнике», а теперь срам... Так и слышишь тоненький неприятный голосок, говорящий тупые неприятности...»

Видя, что теряет друзей и великих писателей, Некрасов предпринимал отчаянные попытки примирить их с тем, в ком прозорливо угадывал вождя молодого поколения. Он предложил Тургеневу, Льву Толстому, Островскому и Григоровичу заключить договор об «исключительном сотрудничестве», по которому они обязывались с 1 января 1857 года в течение четырех лет печатать свои произведения только в «Современнике» и получать, кроме гонораров, две трети прибыли от общих доходов журнала. Но дело не заладилось. Один за другим писатели отходили от «Современника», отдавая свои произведения другим журналам. Частое общение Алексея Толстого с Тургеневым, встречи с Львом Толстым не могли быть не исполнены разговоров о новой позиции «Современника», и вот тогда-то и последовало нежелание поэта сотрудничать в журнале, что было сделано скорее из солидарности с другими писателями. Алексей Константинович никогда не терял уважения к Некрасову и десять лет спустя, по выходе в свет первого сборника своих стихотворений, послал ему книгу. Неизвестны какие-либо отрицательные высказывания Чернышевского и Алексея Толстого друг о друге.

В 1857 году в редакции «Современника» к Чернышевскому присоединился Добролюбов. Постепенно журнал из литературного превращался в общественно-политический.

Некрасов не пожертвовал новыми сотрудниками ради старых друзей. Чернышевский и Добролюбов знали одно направление, сформулированное Некрасовым как «обличение и протест», что было знамением времени.

После Крымской войны произведения Козьмы Пруткова опять стали появляться на страницах «Современника», тесные связи с демократической редакцией которого поддерживал Владимир Жемчужников. Судя по материалам жандармских наблюдений, он нередко бывал у Чернышевского. Тот вместе с Добролюбовым снова и снова выступал против «чистого искусства». Они требовали от художника злобы дня, «живого отношения к современности», а «художественность» оставляли на долю «чувствительных провинциальных барышень».

Алексей Толстой стал отдавать свои стихотворения «Библиотеке для чтения» и другим журналам. В январе 1857 года Дружинин, еще надеявшийся на примирение с «Современником», писал Тургеневу: «У меня подписка идет отлично, у Современника тоже. Сближение между двумя журналами принесет нам много выгод... Круг наш сходится чаще, чем когда-либо, т. е. почти всякий день. Центральные персоны — Боткин, Толстой, Анненков, сверх того... Гончаров, Жемчужников, Алексей Толстой. Он действительно флигель-адъютант, но красен и прекрасен, как прежде, очень стыдлив и, сочинивши стихотворение в восемь строк, непременно сам держит корректуру».

Когда слишком много говорят о мире, жди войны.

Письмо, в котором Алексей Толстой выразил нежелание, чтобы Софья Андреевна знакомилась с редактором «Современника», было отправлено 18 июня 1857 года. Она уже несколько месяцев находилась в заграничной поездке и, видимо, сообщала, что в Париже пребывают Тургенев, Иван Аксаков и Некрасов.

Кстати, только что процитированное письмо Дружинина было ответом на послание Тургенева из Парижа, в котором, кроме прочего, говорилось: «Алексей Толстой прекраснейший и благороднейший малый, денег у него нет лишних, но он может быть полезен своими связями. Правда ли, что он произведен во флигель-адъютанты?..»

С Тургеневым по-прежнему сохранялись сердечные отношения, и Толстой даже предложил приобрести право на издание его произведений за целых пять тысяч рублей, но тот считал себя и так кругом в долгу перед Алексеем Константиновичем и не воспользовался этим предложением.

В квартире Софьи Андреевны поселилась семья ее брата Петра Андреевича. Едва ли не каждый день Толстой посещал их, дети его очень полюбили и при появлении с криком бросались ему на шею. Каждый старался завладеть вниманием Толстого, но более других это удавалось его любимцу, маленькому Андрейке, который рассказывал фантастические истории про зверей и свои сны, да так, что Толстой не ленился пересказывать все в пространных письмах, отправляемых почти каждый день в Париж к Софье Андреевне. Летом он снял для детей дачу на Крестовском острове.

Сам Толстой к этому времени жил с матерью уже в собственном доме на Большой Морской. К сожалению, подробности горестного события, обрушившегося вскоре на Алексея Константиновича, можно передать лишь со слов его камердинера Захара, в свое время запечатленных в сообщении Н. Федорова «Слуга знаменитости».

Высокий и красивый Захар начал служить у Толстого перед уходом того в армию, был с ним в Одессе, Крыму, находился при нем почти неотлучно двадцать лет, до самой смерти Алексея Константиновича.

По его словам, Анна Алексеевна Толстая властная была дама — что хотела, то и делала.

«Зато крепостным графским было такое житье, что и теперь нигде не встретишь. Никто не смел и пальцем тронуть. Не только свои крестьяне никогда не убегали, а даже многие перебегали от других господ».

Рассказывал он, что, когда Алексею Константиновичу докладывали о просьбах беглых крестьян приютить в имении, тот говорил:

— Ну что же. Пускай их кормят и не притесняют, пока сами не поймаются, а задерживать их я не имею права.

Упоминал Захар и покинутого Анной Алексеевной супруга графа Константина Петровича Толстого, который к старости стал тихим, задумчивым, посещал ежедневно церковные службы и молился у себя дома, в крохотной квартирке на Гороховой. Два небольших своих именьица он отдал сестрам, а деньги, которые посылали ему они и тайком от матери сын, раздавал нуждающимся родственникам и нищим.

«Воспоминаниям» Захара далеко не во всем можно доверять, но они, пожалуй, ближе к истине, чем рассказ Е. Ф. Юнге, дочери художника Федора Толстого, у которого по средам за длинными столами, покрытыми зеле-

ным сукном, собирались писатели, музыканты, художники, рисовали, пели, играли. Вяземский, Одоевский, Тургенев, Писемский, Лев Толстой, Майков, Щербина читали свои новые произведения. «Одного только симпатичного поэта, моего двоюродного брата, Алексея Константиновича Толстого, не видала я в нашем доме во время моего детства и познакомилась с ним позднее. Он был в ссоре со своим отцом, Константином Петровичем, и не хотел встречаться с ним, а наш милый «дядя Котя» бывал у нас ежедневно. Они помирились уже перед самой смертью последнего».

Нет, тут играла роль лишь сильная воля Анны Алексеевны и нежелание Алексея Константиновича расстраивать свою мать. Он, по-видимому, скрывал свои, пусть нечастые, встречи с отцом, как не распространялся о своих отношениях с Софьей Андреевной, которых из-за матери не мог узаконить.

Анна Алексеевна болела. Толстой сносил любые ее капризы, никогда не перечил.

В ночь на 2 июня 1857 года Анна Алексеевна скончалась. Накануне вместе с сыном они были в гостях. По возвращении она ушла в свою комнату спать в девять вечера. Утром Анна Алексеевна не вышла к завтраку. Встревоженный Алексей Константинович прождал ее до одиннадцати, а потом постучался в дверь спальни. Но дверь оказалась запертой. Когда дверь взломали, Толстой увидел мать, лежавшую навзничь, с протянутой рукой. Вызванный из Зимнего дворца врач пустил ей кровь, но оживить Анну Алексеевну не удалось...

Дали знать Константину Петровичу Толстому.

Всю следующую ночь они провели у гроба. Мерцали оплывшие свечи, углы комнаты тонули во мраке, была тишина, прерывавшаяся шорохом, когда отец и сын отирали слезы. Утром они разговаривали, расстались тепло, условившись встретиться на похоронах.

Похоронили Анну Алексеевну в Троице-Сергиевой пустыни, в восемнадцати верстах от Петербурга, на южном берегу Финского залива. Вернувшись с похорон, Толстой написал Софье Андреевне: «Все кончилось, моя мать в могиле, все разъехались, я остаюсь один с ней». Потом приехал Алексей Бобринский, и они, еще с Алексеем Жемчужниковым, отправились на Крестовый — отвезти детям апельсины, отвлечься. Но когда подошел час, в который Толстой обычно виделся с матерью, ему сделалось больно, и он уехал. Дни и ночи проходят как

в тумане. По вечерам он не может оставаться в пустом доме и просит приюта у Бобринского. А Софье Андреевне пишет: «Ты теперь мой единственный друг в этом мире, где я чужой...»

На девятый день Толстой опять в Сергиевской. У него все время ощущение, что это сон, что он сейчас проснется и снова увидит мать, будет говорить с ней, делиться радостями и горестями... На время Толстой оставил свою громадную квартиру и нанял другую, за сто рублей, в доме Фоминой в Ковенском переулке.

В августе вернулась из-за границы Софья Андреевна, и душевное равновесие Толстого было восстановлено. Они уехали в Пустыньку. Туда же перевезли семью Петра Андреевича Бахметева. При детях его были пять гувернанток и учителей. В имении строился большой дом, в парке сажали аллеи из высоких лип. Начались материальные заботы. Софья Андреевна очень мало тратила на туалеты, но деньги нужны были на воспитание ее племянников и племянниц. Она редко выезжала. У себя Толстые принимали самых избранных, которых, как и хозяев, волновала тема освобождения крестьян.

Алексей Толстой терпеть не мог помещичьих разговоров, подобных тем, о которых III Отделение доносило — крестьяне-де на полной свободе лютее зверя; волнения и грабежи неизбежны, того и жди пугачевщины. Бывало, Толстой даже выгонял из своего дома заядлых крепостников.

В ноябре Софья Андреевна писала своей матери: «Все время говорят об освобождении, этот вопрос волнует все умы и является благом. Помогает жить надежда на новый порядок вещей, который будет хорошим, если господь его допустит».

В письме явно чувствуется влияние Толстого, который верит, что его сверстник сдержит свое слово и проведет реформу. О самом Алексее Константиновиче его возлюбленная сообщает в том же письме:

«Он вернется, вероятно, на праздники. Он уехал восемь дней назад. Невозможно, мама, рассказать Вам, какой это друг для меня, и за шесть лет, которые я его знаю, мне кажется, что его привязанность делается все сильней».

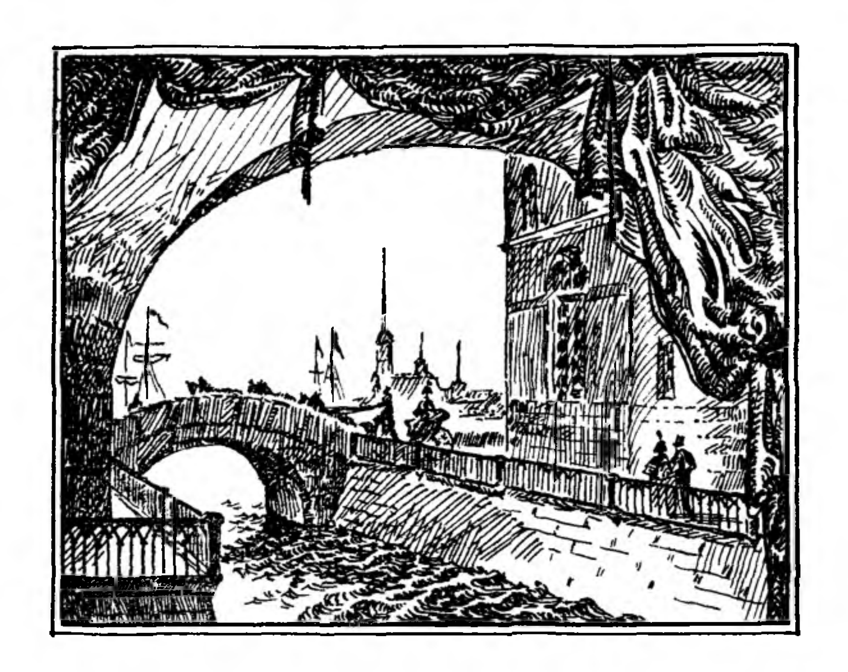
Толстой в это время был в пути. Из Алупки пришло известие о смертельной болезни дяди Василия Алексеевича Перовского, и Толстой взял отпуск на шесть недель. По раскисшей дороге, почти все время под пролив-

ным дождем он спешит на юг, но то и дело ломаются колеса. В пути он сочиняет стихотворения, а на станциях записывает их. По-прежнему в нем «не потухает священный огонь» вдохновения. Он убежден, что именно Софья Андреевна, только она поддерживает этот огонь. Из Курска он пишет ей: «Я все отношу к тебе: славу, счастье, существование; без тебя ничего мне не останется, и я себе сделаюсь отвратительным».

Неподалеку от Перекопа Алексей Константинович встретил крымского губернатора графа Строганова, который сообщил, что Перовскому совсем плохо. Как ни торопился Толстой, в живых дядю он уже не застал. Василий Алексеевич очень ждал его, завещал ему и своему брату Борису Перовскому, уже делавшему большую карьеру, быть его душеприказчиками.

Похоронили Перовского в монастыре святого Георгия. Был декабрь, но в Крыму зеленели лавровые кусты, плющ... У обочины дороги, по которой Толстой вместе с другими нес гроб, выстроились кипарисы, словно солдаты в почетном карауле, отдающие последний долг генералу, оставившему заметный след в истории своего отечества...

Обратный путь тоже был тяжек — ветры, метели — и плодотворен. «Ты не знаешь, какой гром рифм грохочет во мне, какие волны поэзии бушуют во мне и просятся на волю...» — сообщал Толстой с дороги Софье Андреевне.



Глава седьмая

ИСКУССТВО ИЛИ СЛУЖБА?

Равнодушный к деньгам, Толстой стал наследником трех громадных состояний, владельцем примерно сорока тысяч десятин земли. Властные родственники уже не сковывали его воли, но в своем горе он как-то не сразу это осознал.

Теперь он уже не разлучался с Софьей Андреевной, дело которой о расторжении брака с Миллером велось медленно, а Толстой не прибегал к ускорению его через своих влиятельных знакомых во избежание ненужных разговоров...

Если не считать редких дежурств во дворце, все свое время он старался проводить за письменным столом и в обществе Софьи Андреевны. Уже появилась в «Русской беседе» его первая (из напечатанных) поэма «Грешница», пользовавшаяся впоследствии большой популярностью у декламаторов-любителей благодаря звучности стихов и назидательности сюжета.

В апреле 1858 года его наградили орденом св. Станислава 2-й степени. Орден этот был предметом особой гор-

дости Козьмы Пруткова и так часто упоминался в сатирических стихах самого Толстого. Одновременно удалось получить длительный отпуск «для излечения болезни, во внутренние области России».

Летом Толстой еще раз побывал в Петербурге и присутствовал во дворце на опытах английского медиума Дэниэла Дугласа Юма, поразивших его воображение. Фрейлина А. Ф. Тютчева записала в своем дневнике 10 июля 1858 года: «Приезд Юма-столовращателя. Сеанс в большом дворце в присутствии двенадцати лиц: императора, императрицы, великого князя Константина, наследного принца Вюртембергского, графа Шувалова, графа Адлерберга, Алексея Толстого, Алексея Бобринского, Александры Долгорукой и меня. Всех нас рассадили вокруг круглого стола, с руками на столе; колдун сидел между императрицей и великим князем Константином. Вскоре в различных углах комнаты раздались стуки, производимые духами. Начались вопросы, которым отвечали стуки, соответствующие буквам алфавита...»

Можно было бы пренебречь этим упоминанием, если бы «столоверчение» не занимало так упорно умы образованной части общества в XIX веке и не нашло такого широкого отражения в литературе — от Козьмы Пруткова до более серьезных классиков.

Сейчас даже трудно представить себе масштабы той эпидемии «столоверчения», которая охватила весь мир с середины прошлого века. Началась она с того дня, когда в марте 1848 года в доме американского семейства Фоксов невидимые «духи» стали стучать в ответ всякий раз, когда стучали люди. От английского звучания слова «дух» («спирит») это явление называли спиритизмом. «Духи» отстукивали порядковый номер любой буквы в азбуке и отвечали на вопросы. В присутствии некоторых они это делали охотнее, и таких людей стали называть медиумами. И вот уже по всей Америке «духи» застучали, задвигали мебель, стали играть на музыкальных инструментах, поднимать в воздух предметы и даже людей. Уже в 1852 году в Соединенных Штатах было 30 тысяч медиумов и много миллионов убежденных спиритов.

Увлечение перекинулось в Европу. Спиритизмом занимались такие ученые, как Фарадей и Фламмарион, писатель Теккерей и другие знаменитости. В России спиритизмом заразились очень многие — от математика академика А. В. Остроградского до писателя и составителя «Толкового словаря» В. И. Даля. Эпидемия пошла на

убыль лишь после того, как комиссия, созданная Менделеевым, доказала, что спиритические явления вызываются непроизвольными движениями участников сеансов и сознательным обманом медиумов, а сам спиритизм назвала суеверием.

Еще до знакомства своего с Юмом у Толстого возник интерес к этому поветрию, он читал книги, появившиеся во множестве, и одну из них — «Пневматологию» (учение о духах) Мирвилля — рекомендовал Софье Андреевне, которая отнеслась ко всему с доброй долей скепсиса и даже посчитала книгу «дурной». Это собрание всяких свидетельств о существовании магнетизма, описание сверхъестественных явлений и способностей людей, которые и по сию пору волнуют воображение многих и получили название «экстрасенсов», вызывало сомнения и самого Алексея Константиновича, хотя он не мог согласиться и с теми, кто считал все это «спекуляцией», как тот книгопродавец, у которого он приобрел «Пневматологию».

Тогда, 10 июля, во дворце тоже происходили сверхъестественные вещи. Поэт Тютчев и его дочь Анна оставили подробные описания сеанса Юма, не лишенные иронии. 13 июля в письме Тютчев ссылался на дочь и говорил, что ей все лучше известно, «если только она не сердится на стол или, вернее, на духов, которые потребовали, чтобы ее удалили из комнаты, так же как Алексея Толстого и графа Бобринского, как три существа, им антипатичные».

Как бы там ни было, сеансы, повторенные в других местах, произвели большое впечатление. Юма в Петербурге принимали весьма радушно, и он даже породнился с графом Кушелевым, женившись на его свояченице. Венчание производилось в католическом храме. По словам Григоровича, шаферами на свадьбе «престижидатора» были присланные императором Александром II два флигель-адъютанта: А. Бобринский и А. Толстой.

Ф. И. Тютчев описывал это венчание, состоявшееся в 8 вечера. Присутствовал там и путешествовавший по России на деньги графа Кушелева знаменитый Александр Дюма, которого всюду водил «как редкого зверя корнаквожак Григорович», собирая вокруг толпу. Тютчев, как и дочь, считал Юма ничтожеством, не способным на обман. Но он не преминул сообщить об одном своем разговоре на свадьбе. «Подробности, которые я слышал от Алексея Толстого, четыре раза видевшего Юма за рабо-

той, превосходят всякое вероятие: руки, которые видимы, столы, повисшие в воздухе и произвольно двигающиеся как корабли в море и т. д., словом, *вещественные и осязательные доказательства, что сверхъестественное существует»* (подчеркнуто Тютчевым. — *Д. Ж.*).

Пораженный, как и другие очень неглупые люди, увиденным, Алексей Константинович оставил на потом более тесное знакомство с Юмом, и, хотя тот еще долго удивлял Петербург своими сеансами, имя Толстого в перечнях участвовавших в них лиц не встречается.

Известно, что Толстой снова побывал в Крыму, в доставшемся ему по наследству имении Мелас. Но там ему не работалось, и он решил уехать на Черниговщину, в Погорельцы. И снова он посетил по дороге легендарный Бахчисарай, а оттуда проехал в Чуфут-Кале, где в 1856 году, когда они путешествовали с Софьей Андреевной, познакомился с караимским священнослужителем-газзаном Соломоном Беймом. Это о нем Толстой писал тогда:

Войдем сюда; здесь меж руин
Живет знакомый мне раввин;
Во дни прошедшие, бывало,
Видал я часто старика;
Для поздних лет он бодр немало,
И перелистывать рука
Старинных хартий не устала.
Когда вдали ревут валы
И дикий кот, мяуча, бродит,
Талмуда враг и Каббалы,
Всю ночь в молитве он проводит...

Иосафатова долина, начинающаяся в полуверсте от Бахчисарая, получила свое библейское название из-за того, что местный пейзаж так похож на палестинский. Справа и слева по сторонам долины тянутся две столовые горы с совершенно отвесными склонами. В правом, скальном, склоне высечены площадки и пещеры, в которых расположены храмы и другие помещения Успенского скита, существовавшего едва ли не с XV века. Слева, наискосок, тоже скальный обрыв. Выбитая в нем пешеходная тропа приводит к воротам мертвого города Чуфут-Кале. Но скорее всего Толстой ехал по колесной пологой дороге, в объезд, мимо старинного караимского кладбища, чтобы попасть на вершину скалы, где за остатками крепостной

стены с железными воротами петляет меж развалин древних домов улица с двумя колеями, углубленными в скалу на полметра, столько колес за века выдолбили их.

В мертвом городе можно увидеть и гробницу дочери хана Тохтамыша, и пещеры-темницы, в которых томились сотни лет назад боярин Шереметев и польский гетман Потоцкий.

Алексей Константинович во время своего нового посещения Чуфут-Кале опять с интересом оглядывал с плоской вершины горы дорогу Атд-Йолу, по которой они ехали в прошлый раз вместе с Софьей Андреевной верхом из Бахчисарая после осмотра запущенного и пустого ханского дворца и плутания по узким, извилистым и вонючим улицам. Хорошо был виден Успенский скит и гостиница у подножия скалы напротив. Тогда там был устроен госпиталь, и Толстой встретил несколько знакомых офицеров, оправлявшихся от ран, полученных в сражениях под Севастополем. Барон Вревский и многие другие так и остались здесь навечно на монастырском кладбище. Слева виднелись высокие дубы, заросли барбариса. Это тоже кладбище, но уже караимское, с древними надгробьями из камней с высеченными на них надписями.

Соломон Бейм и несколько еще оставшихся в Чуфут-Кале семей караимов приветливо встретили Алексея Константиновича.

Бейм показывал ему свою книгу об истории караимов. написанную на русском языке, которым газзан владел в совершенстве.

Во всяком случае, по прибытии в Погорельцы Толстой отправил письмо Николаю Михайловичу Жемчужникову, который был начальником типографии Московского университета:

«Любезный друг, во-первых, постарайся приехать; от Москвы всего много-много 500 верст, да и того не будет. Я зову всех твоих братьев (моих двоюродных). Чего доброго, приедет и Владимир. Во-вторых, будучи в Чуфут-Кале, я возобновил знакомство с одним из образованнейших и приятнейших людей, а именно с караимским раввином Беймом. Он написал историю караимов и хотел печатать оную в Симферополе. История эта чрезвычайно любопытна и беспристрастна и служит лучшим ответом на другую историю, недавно явившуюся и раскритикованную в «Атенее». Я ему советовал послать свой труд прямо к тебе и печатать его в университетской типографии, для чего и дал ему твой адрес. Итак, когда получишь

рукопись, тисни ее без пощады. Если бы недоставало у него финансов, я рад буду подвинуть... сотни две рублей, разумеется, чем меньше, тем лучше».

Николай Жемчужников в отличие от своих братьев не обладал литературными способностями, но, по-видимому, это не мешало ему ближе всех Жемчужниковых сойтись с Толстым. Их общий приятель А. С. Уваров, товарищ попечителя Московского учебного округа, назначил Жемчужникова по его просьбе в июне 1858 года начальником типографии Московского университета, в которой работали крепостные печатники. Они жили в казарме за Бутырской заставой и каждый день ходили пешком в типографию на Страстной бульвар. За малейшую провинность их отсылали в полицию для наказания розгами. Николай Михайлович возмутился такими порядками и тотчас подал в правление университета записку «Об уничтожении дарового труда и об учреждении задельной платы для рабочих и училища для подготовления наборщиков». Жемчужникова поддержали только Уваров и историк С. М. Соловьев. Тогда он обратился к приехавшему в Москву министру народного просвещения Е. П. Ковалевскому и добился освобождения печатников от крепостной зависимости и от наказания розгами. Этим он обрел много врагов в университете и вынужден был в начале 1859 года подать в отставку. Благодарные печатники, сложившись, поднесли ему торт «Венский пирог», и, чтобы не обидеть их, он принял подарок.

По этому случаю Алексей Константинович писал ему шутливо:

«...Твой собачий взор был животворящ для университетской типографии. При случае скажу тебе, что не помню, писал ли я тебе или нет, как мы все радовались тому, что ты сделал? Если не писал, то теперь пишу. Ты, может быть, радовался венскому пирогу, который ты, я знаю, очень любишь, а мы радовались и твоему дельному преобразованию и той любви, которую ты приобрел. Это лучше всякого пирога, поверь мне».

В том же письме Алексея Константиновича приводится несколько сказочек, которые придумывает бесконечно любимый им племянник Андрейка Бахметев. В Погорельцы вместе с Толстым приехала Софья Андреевна и ее братья с детьми, установившими в имении ласковую тиранию. Толстой вспоминал свое раннее детство, своего воспитателя Алексея Перовского, вглядываясь в дом, ста-

рый, полуразрушенный, но теплый, и сад с огромными деревьями. Пока они жили во флигеле и приводили дом в порядок, но постепенно все стали переселяться в готовый к зиме дом, а библиотека, оставшаяся от Перовского (несколько тысяч томов, и в том числе редкое издание о Египте, затеянное еще по распоряжению Наполеона, книги по магии, древние рукописи), постепенно перекочевывала в спальню Софьи Андреевны, где уже не оставалось места. Толстой отказался от мысли перевезти в Погорельцы такую же большую библиотеку из другого имения — Красного Рога.

Алексей Константинович был доволен своим пребыванием в Погорельцах. Приглашая туда братьев Жемчужниковых, он расписывал имение как «одно из самых диких, тенистых и оригинальных мест, с сосновым бором, огромным озером, заросшим камышом, где весной миллионы уток и всякой болотной дичи, которую стреляют на лодках». А охота — козья, медвежья, лосиная, кабанья, «не считая лисиц, волков, тетеревей, куропаток и огромного количества рябчиков». Была заведена большая псарня и выписан опытный ловчий, поляк.

«Мы ведем жизнь спокойную и полезную. Присутствие мое здесь необходимо: крестьяне по большей части разорены, и много потребуется труда, чтобы восстановить их благополучие».

Неужто он и в самом деле вообразил себя рачительным сельским хозяином, призванным облагодетельствовать своих крестьян? Нет, он просто надеялся своим присутствием укоротить аппетиты управляющих, которые долгие годы выколачивали из крестьян столько, что хватало не только петербургским хозяевам, но и им самим принесло целые состояния. Ему казалось, что, облегчив повинности, он даст крестьянам возможность стать на ноги и лучше подготовиться к предстоящей отмене крепостного права, которую соседи-помещики ожидали с ужасом.

«Скажу тебе, Николаюшка, приезжай, жалеть не будешь. Есть здесь отвратительная соседка, которая, кажется, ездить больше к нам не будет, ибо не встретила в нас сочувствия своему образу мыслей, который состоит в том, что она со слезами на глазах соболезнует о том, что разрушается союз любви и смирения и страха между помещиками и мужиками через уничтожение крепостного состояния. У нее есть кошка, вся избитая ее крепостными людьми, за то, говорит она, что они знают ее к ней при-

вязанность. У нее также есть сын, отличный, говорящий в присутствии матери в пользу освобождения; причем он сильно кричит, а она затыкает уши, говоря: «Ах, ах, страшно слышать!» Я звал его к нам почаще, но, кажется, его не пускает мать. Если приедет Алексей, я ожидаю большого наслаждения от визита, который уговорю его сделать со мною этой соседке».

Так он звал Николая и Алексея Жемчужниковых, а в придачу еще и Болеслава Маркевича, который предлагал присмотреть за печатанием собрания стихотворений Толстого. Однако он все откладывал подготовку сборника — «внушала непреодолимое отвращение необходимость переписывать стихи или хотя бы просматривать изувеченные копии». Он откладывал это дело из года в год, и первый, и единственный, прижизненный сборник стихотворений Толстого увидел свет лишь восемь лет спустя, что говорит и о взыскательности его к своему труду.

Но пока они с Софьей Андреевной, всерьез занявшейся изучением еще одного языка — польского, читают вслух гнедичевский перевод Гомера, совершают большой компанией прогулки по местным великолепным лесам. Свои впечатления Толстой описывает в письмах ради экономии времени той прозой, которую можно окрестить «назывной».

«...Здесь есть мебели из карельской березы, семеро детей мал мала меньше, красивая гувернантка, гувернер малого размера, беззаботный отец семейства (Петр Андреевич Бахметев. — *Д. Ж.*), бранящий всех и все наподобие тебя, брат его (Николай Андреевич Бахметев. — *Д. Ж.*) с поваром, готовящие всякий день какие-нибудь новые кушанья, дьякон бонвиван, краснеющий поп, конторщики с усами разных цветов, добрый управитель и злая управительница, скрывающаяся постоянно в своем терему, снегири, подорожники, сороки, волки, похищающие свиней среди бела дня в самом селе, весьма красивые крестьянки, более или менее плутоватые приказчики, рябые и с чистыми лицами, колокол в два пуда, обои, представляющие Венеру на синем фоне со звездами, баня, павлины, индейки, знахари, старухи, слывущие ведьмами, кладбище в сосновом лесу с ледяными сосульками, утром солнце, печи, с треском освещающие комнату, старый истопник Павел, бывший прежде молодым человеком, кобзари, слепые...»

Надо бы прервать Алексея Константиновича и дать слово его камердинеру Захару, который рассказывал об

увлечении Толстого гуслярами и кобзарями. Ему нужны были песни старых московских времен, и где бы он ни был, разъезжая по России, всюду слушал народных певцов, записывал их речь. Однажды в Погорельцах во двор пришли сразу три кобзаря, старых-престарых, грязных-прегрязных. Два совсем слепые, а третий — поводырь — подслеповатый. Они стали как раз под окном кабинета Толстого и грянули:

Хома любил репу, а Ерема лук...

Алексей Константинович высунулся в окно:

— Что вы дрянь всякую поете, а хорошего ничего не знаете!

— А что же спеть потребуется? Мы все можем.

— Ну уж и все, — усомнился Толстой. — Вот если бы вы спели вместо глупого Хомы что-нибудь из старинных русских песен, тогда другое дело...

— Можем и это.

«Да как пошли, — вспоминал Захар, — да как пошли, так и я, на что человек, не понимающий в этом, а и то заслушался».

Алексей Константинович встрепенулся и крикнул:

— Захар! Наконец-то нашли мы кобзарей. Вели скорей баню истопить да вымыть их. Скажи только, чтоб дали им одежду чистую да белье, а если белья подходящего не найдется, так чтобы мое дали.

— Слушаю, вашсиясь! — только и ответил удивленный камердинер. Кобзари жили в Погорельцах недели две, и Алексей Константинович всякий день записывал в книжку былины, старинные песни, поговорки, рифмованные побасенки... Насилу расстался с кобзарями.

Не такие ли встречи рождали стихотворения «Ой, честь ли молодцу лен прясти?..», «Ты, неведомое, незнамое...», «Ты почто, злая кручинушка...», «Кабы знала я, кабы ведала...», язык новых глав «Князя Серебряного», зарождающихся, судя по письмам, исторических трагедий и новых баллад? Тогда же он и еще и еще читал «Песни русского народа» И. Сахарова.

Толстой доволен такой жизнью и вовсе не думает возвращаться в Петербург и следующей весной. Работается ему как никогда хорошо, Софья Андреевна рядом, племянники ее приносят много радостей. Толстой упивается красотами природы, ощущением покоя. Он мог бы повторить свое:

Осень. Обсыпается наш бедный сад,
Листья пожелтелые по ветру летят;
Лишь вдали красуются, там на дне долин,
Кисти ярко-красные вянущих рябин.
Весело и горестно сердцу моему,
Молча твои рученьки грею я и жму.
В очи тебе глядючи, молча слезы лью,
Не умею высказать, как тебя люблю.

Нехитрые слова, подлинные простые чувства, вдохновлявшие Чайковского, Кюи и других музыкантов. Это стихотворение, написанное в Пустыньке в прошлом году, как и десятки других, уже увидело свет в «Русском вестнике»...

Среди них была и любовная песнь, созданная в первый год знакомства с Софьей Андреевной, в те минуты, когда счастье захлестывало все существо Алексея Константиновича.

Не ветер, вея с высоты,
Листов коснулся ночью лунной;
Моей души коснулась ты —
Она тревожна, как листы,
Она, как гусли, многострунна...

Шли годы, а чувство не меркло. Оно одухотворяло картины природы, гармония и красота которой были неотделимы от любви.

Смеркалось, жаркий день бледнел неуловимо,
Над озером туман тянулся полосой,
И кроткий образ твой, знакомый и любимый,
В вечерний тихий час носился предо мной...

Вечерние часы — любимое время дня Алексея Константиновича. Но он боится заката, он хочет продлить ощущение счастья. Ночь, сон — расставанье. Это же и отдохновенье от земных тревог.

Усни, печальный друг, уже с грядущей тьмой
Вечерний свет сливается все боле;
Блеящие стада вернулися домой,
И улеглася пыль на опустевшем поле...

Любовь и грусть неразлучны. Вся лирика Толстого пронизана этой мыслью.

Запад гаснет в дали бледно-розовой,
Звезды небо усеяли чистое,
Соловей свищет в роще березовой,
И травою запахло душистою...

Твое сердце болит безотрадное,
В нем не светит звезда ни единая —
Плачь свободно, моя ненаглядная,
Пока песня звучит соловьиная...

Но страсть не вечна. Трепетное чувство уступает место глубокой привязанности. После великой страсти в благородной душе нет места для страстишек. Остается счастье благодарности и родства душ.

Минула страсть, и пыл ее тревожный
Уже не мучит сердца моего,
Но разлюбить тебя мне невозможно,
Все, что не ты, — так суетно и ложно,
Все, что не ты, — бесцветно и мертво...

И все же мечта о новой великой страсти остается. Без нее нет поэзии. Волнует взгляд, брошенный на поэта прекрасной незнакомкой. Исполнена томлением душа среди красот земли. Любовь «раздроблена». Поэт ловит «отблеск вечной красоты». Но как соединить несоединимое? И надо ли ревновать к тоске поэта по любви, объемлющей «все красы вселенной»?

Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре,
О, не грусти, ты все мне дорога,
Но я любить могу лишь на просторе,
Мою любовь, широкую как море,
Вместить не могут жизни берега...

В этих и других стихотворениях, написанных в разное время и опубликованных в «Русском вестнике», запечатлены чувства, возникающие на различных, если можно так выразиться, стадиях любви. О Толстом заговорили как об одном из лучших русских лириков. А на письменном столе его снова росла стопка исписанных листков.

О плодотворности его труда говорит письмо, направленное им редактору «Русского вестника» М. Н. Каткову 28 мая 1858 года:

«Многоуважаемый Михаил Никифорович... Двоюродный брат мой Жемчужников вручил Вам 28 моих стихотворений, которые покорнейше прошу Вас, буде признаете достойными, поместить в Р. Вестнике на прежних условиях, с тем чтобы вырученные за них деньги употреблены были в пользу людей нуждающихся, из которых без сомненья многие Вам известны. Позвольте надеяться, что Вы не сочтете последнюю просьбу нескромною.

И. С. Аксаков, которому я также послал несколько стихотворений, согласился взять на себя тот же труд...»

В «Русской беседе» у Ивана Аксакова печатались стихи иной направленности. Пронизанные любовью к родине, они были навеяны народной поэзией. В них лад русской песни.

Даже собственное ощущение нерастраченности сил и чувство досады на помехи в работе Алексей Толстой передает в былинной манере, используя сложившиеся в народе образы, понятия, речения, что устраняет личное и делает произведение близким и понятным любому русскому человеку.

Ты неведомое, незнамое,
Без виду, без образа,
Без имени, без прозвища!
Полно гнуть меня ко сырой земле,
Донимать меня, добра молодца!
Как с утра-то встану здоровешенек.
Здоровешенек, кажись, гору сдвинул бы,
А к полудню уже руки опущаются,
Ноги словно ко земле приросли.
А подходит оно без оклика,
Меж хотенья и дела втирается,
Говорит: «Не спеши, добрый молодец,
Еще много впереди времени!»
И субботу называет пятницей,
Фомину неделю светлым праздником.
Я пущуся ли в путь-дороженьку,
Ан оно повело проселками,
На полпути корчмой выросло;
Я за дело примусь, ан оно мухою
Перед носом снует, извивается;
А потом тебе же насмехается;
«Ой, удал, силен, добрый молодец!
Еще много ли на боку полёжано?
Силы-удали понакоплено?
Отговорок-то понахожено?
А и много ли богатырских дел,
На печи сидючи, понадумано?
Вахлаками других поругано?
Себе спину почесано?»

Как же верно подмечена одна из существенных черт большинства людей, не решающихся идти большаком, а все норовящих петлять по проселкам, растрачивающих бесценное время на пустяки. Но сознавать это — значит пытаться покончить с неуверенностью, ощутить собственную силу и способность к большим делам. Именно в этой тональности звучит знаменитое стихотворение Толстого:

Звонче жаворонка пенье,
Ярче вешние цветы,
Сердце полно вдохновенья,
Небо полно красоты.

Разорвав тоски оковы,
Цепи пошлые разбив,
Набегает жизни новой
Торжествующий прилив,

И звучит свежо и юно
Новых сил могучий строй,
Как натянутые струны
Между небом и землей.

Но если б все было так просто! Если б можно было отдаться целиком любимому делу! И вновь появляется грустная нота в лирике Алексея Толстого.

Есть много звуков в сердца глубине,
Неясных дум, непетых песней много;
Но заглушает вечно их во мне
Забот немолчных скучная тревога...

В творчестве Толстого того времени немало строк, которые говорят о недовольстве собой, о желании работать крупнее, масштабней... Одно из них звучит немного выспренне, пародийно, в духе Бенедиктова, и потому Толстой не опубликовал его тогда, хотя теперь оно входит во все собрания его сочинений.

Мой строгий друг, имей терпенье
И не брани меня так зло;
Не вдруг приходит вдохновенье,
Земное бремя тяжело;
Простора нет орлиным взмахам;
Как Этны темное жерло,
Моя душа покрыта прахом.
Но в глубине уж смутный шум,
И кратер делается тесен
Для раскалившихся в нем дум,
Для разгорающихся песен.
Пожди еще, и грянет гром,
И заклубится дым кудрявый,
И пламя, вырвавшись снопом,
Польется вниз кипящей лавой.

И такой работой стала для него поэма «Иоанн Дамаскин».

«Четьи-Минеи» дали Толстому представление о судьбе этого первого министра дамасского халифа Абдалме-

леха, жившего в VII веке. В Константинополе тогда правил базилевс Лев Исавриянин, стоявший на стороне иконоборцев — сектантов, которые отвергали почитание икон, уничтожали произведения искусства. Иоанн отправил базилевсу три письма в защиту икон, и византийцы решили погубить его «методом дезинформации». Почерком Иоанна было написано письмо с обещанием предать Византии Дамаск и отослано халифу. Тот сначала поверил в предательство своего министра-христианина, но очень скоро почувствовал, что не может обойтись без невероятно способного, умного помощника, и предложил ему принять прежнюю должность. Однако Иоанн отказался от нее, отпустил на волю всех своих рабов и попросился простым послушником в небогатый монастырь Саввы Освященного.

Именно с этого события и начинается поэма Толстого. К тому времени Иоанн уже был известным поэтом, богословом. Ни один из иноков, людей необразованных, ограниченных, не соглашался стать наставником ученого. Нашелся лишь один старец, который в своем фанатизме додумался до того, что запретил Иоанну писать вовсе, и тот принял это условие, долго подавляя в себе искушение записывать рвавшиеся из души мысли и песни. Но однажды по случаю смерти одного из иноков его попросили написать погребальный гимн. Он не утерпел и выразил свое простое и сердечное чувство в стихах «Какая сладость в жизни сей...», что и поныне поются в православной церкви при погребении усопших. Рассерженный наставник заставил Иоанна очистить все отхожие места обители. Но после исполнения епитимьи Иоанн получил разрешение писать. И хотя ему не раз потом приходилось сидеть в тюрьме за свои убеждения, он дожил до глубокой старости, оставил много трудов. Но главное — полное и самое широкое признание получил его поэтический дар. Он написал шестьдесят четыре канона, реставрировав в литургической лирике античную просодию. Гимны его исполнялись на пасху, рождество, богоявление, вознесение, а осьмигласник («Октоих» — воскресные службы, разделенные на восемь гласов) распространился далеко и был принят в Восточной и в Западной церквах. Гимнам Иоанна суждено было дожить и до наших дней, а за свой поэтический дар он получил прозвище Златоструйный.

Такова история, но далеко не полная.

VII век — это век зарождения и победоносного ше-

ствия ислама. Сравнительно недавно воины-арабы покорили Дамаск и пронеслись дальше, силой навязывая Коран народам, вдохновляясь мечтой о всемирном магометанском владычестве. Алексея Толстого интересовала коллизия — человек отказывается от богатства и власти ради свободы, ради творчества, но и к этой цели он пробивается сквозь тернии обыденщины и невежества. В судьбе Иоанна Дамаскина Толстой выбирает лишь то, что хоть отдаленно отражает собственные чувства и чаяния, и в конце концов создает гимн искусству и самоотречению ради творчества. Это мечта, в которой есть и осуждение собственной слабости, и преклонение перед прекрасным. Воображение подсказывало Толстому торжественные стихи:

Любим калифом Иоанн;
Ему, что день, почет и ласка,
К делам правления призван
Лишь он один из христиан
Порабощенного Дамаска.
Его поставил властелин
И суд рядить, и править градом,
Он с ним беседует один,
Он с ним сидит в совете рядом;
Окружены его дворцы
Благоуханными садами,
Лазурью блещут изразцы,
Убраны стены янтарями...

Не так ли и он, Толстой, вынужден проводить иные из дней своих в царских дворцах. Он мог занять высшую ступень у трона...

Но от него бежит покой,
Он бродит сумрачен; не той
Он прежде мнил идти дорогой,
Он счастлив был бы и убогий,
Когда б он мог в тиши лесной,
В глухой степи, в уединенье,
Двора волнение забыть.
И жизнь смиренно посвятить
Труду, молитве, песнопенью.

Его герой в отличие от него самого добивается свободы, возможности «дышать и петь на воле». Да и калиф у него, человек добрый и понимающий, изрекает: «В твоей груди не властен я сдержать желанье, певец, свободен ты, иди, куда тебя влечет призванье!»

И вот она, воля, и вот благодарность за нее. Дамаскин

поет гимн природе и воле — один из шедевров мировой поэзии:

Благословляю вас, леса,
Долины, нивы, горы, воды!
Благословляю я свободу
И голубые небеса!
И посох мой благословляю,
И эту бедную суму,
И степь от краю и до краю,
И солнца свет, и ночи тьму,
И одинокую тропинку,
По коей, нищий, я иду,
И в поле каждую былинку,
И в небе каждую звезду!
О, если б мог всю жизнь смешать я,
Всю душу вместе с вами слить!
О, если б мог в свои объятья
Я вас, враги, друзья и братья,
И всю природу заключить!..

Кого не охватывало наедине с природой это высокое благоговейное чувство! Если даже ненадолго ты отрешился от суеты, если ты здоров и полон сил, если надежда помогает одолевать жизненный путь... Но почему такие непременные условия? И в жизни, полной стеснений, тревог, недугов, бывают минуты забвения, минуты слияния с природой, минуты необъяснимого счастья, когда любовь, доброта переполняют тебя и ты не чувствуешь тяжести своего тела, готов взмыть в небеса... Но земное тяготенье остается, и, хотя остается также вся красота мира, ее не замечаешь, потому что счастье бренно, а тревога вечна.

Но вот и монастырь. Толстой не был на Ближнем Востоке, но в его памяти возник Успенский скит, Иосафатова долина и Чуфут-Кале.

...И видны странника очам
В утесах рытые пещеры.
Сюда со всех концов земли,
Бежав мирского треволненья,
Отцы святые притекли
Искать покоя и спасенья.
С краев до высохшего дна,
Где спуск крутой ведет в долину,
Руками их возведена
Из камней крепкая стена,
Отпор степному сарацину.
В стене ворота. Тесный вход
Над ними башня стережет.
Тропинка вьется над оврагом...

И далее все так, как гласит древняя история — запрет наставника брать в руки перо, страдания «онемевшего певца», просьба одного из чернориэцев сочинить погребальную песню и бунт поэта.

Над вольной мыслью богу неугодны
Насилие и гнет:
Она, в душе рожденная свободно,
В оковах не умрет!

Рождается тропарь, следует наказание (несколько смягченное в торжественном сочинении Толстого) — Иоанн выметает «грязь и сор». Наставнику является видение: сама дева пресвятая корит его:

...Почто ж певца живую речь
Сковал ты заповедью трудной?
Оставь глаголу его течь
Рекой певучей неоскудно!

Торжество искусства над гонениями, невежеством, изуверством звучит в финале поэмы. Родился новый гимн свободе и творчеству.

Воспой же, страдалец, воскресную песнь!
Возрадуйся жизнию новой!
Исчезла коснения долгая плесень,
Воскресло свободное слово!

Воскресло ли? Нет, он почувствовал это вскоре после того, как из Погорелец отослал «Иоанна Дамаскина» Ивану Аксакову, редактору журнала «Русская беседа», и еще один список — императрице, которой ранее читал зарождавшиеся главы поэмы. На всякий случай он просит Ивана Сергеевича предупредить об этом цензора Крузе, чтобы укрепить его гражданскую доблесть высочайшим одобрением. И еще требовал, чтобы Аксаков прислал ему первый номер славянофильского еженедельника «Парус».

Он не знал еще, что в Петербурге «коснения плесень» стала разрастаться с новой силой. Вскоре либеральный цензор Крузе был уволен за «послабления печати». Толстой надеялся, что «обскурантизм будет не вечный», и добавлял: «А все-таки грустно». Узнав, что литераторы собирают по подписке деньги для Крузе, а III Отделение этому препятствует, он назло просил брата Николая Михайловича Жемчужникова внести его имя в подписной лист и послал сто рублей.

Ох уж это III Отделение Собственной Его Величества Канцелярии! Во времена Бенкендорфа и Орлова всеми делами ворочал Дубельт. Он и метил на место шефа жандармов, но его, знавшего подноготную всех, боялись и при новом царе лишь вознаградили материально, а во главе сыска поставили князя В. А. Долгорукова, дав ему в помощники А. Е. Тимашева, назначенного начальником штаба корпуса жандармов и управляющим III Отделением.

Василий Андреевич Долгоруков был одновременно и туп и хитер. Приспосабливаясь к «новым веяниям», он как-то сказал:

— Надо признаться, что мы быстро идем вперед; прогресс у нас сильно развивается; администрация делается совершенно элегантною. Вчера, например, на придворном бале в числе самых ловких танцоров можно было любоваться начальником тайной полиции Тимашевым и оберполицмейстером Шуваловым. Я радовался, видя, что полиция сделалась элегантною.

Он панически боялся освобождения крестьян и в докладах старался запугать императора. Литературу и журналистику ненавидел. Тимашев тоже запугивал царя революцией и жалел, что Россия больше не будет управляться «по прекрасной николаевской системе», как он выразился однажды.

К новому, 1859 году Алексей Толстой получил первый номер «Паруса» и прочел во вступительной статье Аксакова: «Неужели еще не пришла пора быть искренним и правдивым? Неужели мы не избавились от печальной необходимости лгать и безмолвствовать?.. Разве не выгоднее для Правительства знать искреннее слово каждого и его отношение к себе? Гласность лучше всякой полиции, составляющей обыкновенно ошибочные и бестолковые донесения, объяснит Правительству и настоящее положение дел, и его отношения к обществу, и в чем заключаются недостатки его распоряжений, и что предстоит ему *совершить* или исправить...»

Толстой знал, чем это может кончиться, и боялся, как бы первый номер «Паруса» не стал последним. Он оказался почти прав — издание дожило до второго номера.

Аксакова вызвали в III Отделение и едва не выслали в Вятку.

В тот же день Тимашев рассказывал:

— Знаете ли вы, какую штуку мне Аксаков отпустил

сегодня утром? Я ему говорю: вы, Иван Сергеевич, может быть, возненавидите меня хуже Дубельта, а он мне в ответ: да, вы, Александр Егорович, во сто раз хуже Дубельта; его можно было купить, а вас не купишь!

И довольно ухмылялся: рад был, что хоть вором не считают.

Шпионы Тимашева донесли, что и в первом номере славянофильской «Русской беседы» появится предосудительное сочинение графа Толстого «Иоанн Дамаскин», не прошедшее духовной цензуры. Доложено было Долгорукову, и номер остановили. Редактор журнала Иван Аксаков тотчас послал корректурные листы министру народного просвещения Евграфу Петровичу Ковалевскому. Тот был человек ловкий, всем старался угодить, да и знал, что императрица уже познакомилась с «Иоанном Дамаскиным». Это укрепило в нем «гражданское мужество», и он приказал цензуре немедленно разрешить публикацию. Долгоруков рассвирепел и при встрече сказал Ковалевскому:

— Как же вы разрешили выпуск, не предуведомив меня?

— А разве вы первый министр, чтобы я обязан был просить вашего дозволения? — спросил, в свою очередь, Ковалевский.

Такие слухи ходили в обществе. Но в деле, заведенном на «Иоанна Дамаскина» в III Отделении, можно прочесть иное. Оказывается, оно было доложено царю, и тот лично поручил обратить со стороны цензуры особое внимание на поэму. Ковалевский почти немедленно рапортовал царю, что «противного правилам цензуры» в ней ничего нет. «Если в нем («Иоанне Дамаскине». — *Д. Ж.)* и можно заметить несколько стихов, которые, будучи вырваны отдельно, могли бы возбудить некоторое сомнение, то общий смысл, направление и самое исполнение этого поэтического сочинения, проникнутого духом христианства первобытного времени, уничтожают всякое сомнение».

Это было начало цензурных мытарств Алексея Толстого. Но он еще отомстит жандармам, «увековечив» их имена в своих сатирах. В нем росло раздражение против двора. И с царем при внешнем расположении друг к другу отношения не складывались. Государь не имеет твердых убеждений. Всего пугается, никому не верит.

В 1857 году он говорил Толстому об освобождении крестьян:

— В шесть месяцев все будет кончено и пойдет прекрасно!

Но дело двигалось медленно. Александр хотел, чтобы печать прославляла его как либерального правителя, и... боялся гласности. Хотел быть Петром Первым, великим реформатором, а людей подбирать не умел. С умными людьми ему было неловко.

Толстой вспоминал о дежурствах во дворце. Царь обычно вставал в восемь, одевался и совершал прогулку вокруг Зимнего, а если двор был в Царском Селе, у пруда. После чая император обычно подписывал бумаги. Подмахивал, не читая их никогда, и подсунуть ему можно было что угодно. По четвергам ездил на заседания совета министров, а в прочие дни любил посещать разводы караулов... Что еще? Визиты. Снова подписывание бумаг. В половине пятого обед с императрицей и спать до семи вечера. Вечером карты. Либо рисует формы мундиров и киверов. Иногда театр. Императрица ложится почивать в одиннадцать, а у царя свечи горят до двух. Но он не у себя... Свидания, наверно. В час возвращается, подпишет еще кучу бумаг и спать...

Алексей Константинович решил твердо — он попросит увольнения. Он задыхается при дворе.

В дневнике И. А. Шляпкина есть запись, сделанная в год смерти Толстого: «21 октября 1875 я был у Н. С. (Лескова. — *Д. Ж.*). Рассказывал о гр. А. К. Толстом. Веселый был человек... В «Иоанне Дамаскине» поэт изобразил себя... Н. С. читал «Сон Попова», автограф которого сохраняется у Маркевича».

Запись эта имеет прямое отношение к нашему рассказу. Толстой сочинил прошение о бессрочном отпуске и отправил своему «халифу».

Царь был недоволен просьбой Толстого, но удовлетворил ее. И вскоре в Погорельцах было получено извещение:

«Командующий Императорскою Главною Квартирою в С.-Петербурге 5 марта 1859 года № 226	Флигель-Адъютанту Его Императорского Величества Господину Подполковнику Графу Толстому

Государь Император Высочайше повелеть соизволил:

уволить Ваше Сиятельство, согласно просьбе Вашей, в бессрочный отпуск во внутренние губернии России с правом отлучаться за границу, когда Вы в том будете иметь надобность, без испрошения на то особого дозволения, но с тем, чтобы Вы о всякой таковой отлучке доносили мне. При сем Вашему Сиятельству Высочайше дозволено проживать в С.-Петербурге и в таком случае вступать в исправление служебных обязанностей по званию флигель-адъютанта...»

Алексей Бобринский, упорно продвигавшийся вверх по служебной лестнице, послал своему другу письмо, резко осуждавшее его решение. А императрица Мария Александровна сказала со вздохом:

— Толстой покидает государя в то время, когда честные люди ему нужны.

Она просила передать поэту, что будет рада видеть его в Петербурге как можно чаще. Но это означало «вступать в исправление служебных обязанностей», и он решил бывать в столице как можно реже.

В Погорельцах тем временем продолжалась напряженная работа над новыми стихами, над начатым давно «Князем Серебряным». К Ивану Аксакову в «Русскую беседу» посылаются пакеты со стихотворениями, и Толстой с нетерпением ждет ответных писем с мнениями редактора и последними московскими известиями. А письма эти приходят порой с большими опозданиями. Вот, например, под новый, 1859 год Толстой писал об очередном письме Аксакова: «Оно шло 16 дней из Москвы, всего 600 верст. Уж не заезжало ли оно в Петербург? Нельзя расчесть, куда может занести письмо *противный ветер»*. Толстой намекал на возможность перлюстрации их переписки III Отделением, поскольку хорошо поставленная издревле русская почтовая служба славилась быстротой доставки корреспонденции.

Толстого больно затронуло суждение Аксакова о «Грешнице» и «Иоанне Дамаскине». Иван Сергеевич отметил академичность этих произведений, по гладкости своей напоминавших ему манеру итальянского живописца Карло Дольчи.

Как! Неужели он, Толстой, похож на этого ненавистного ему лизуна? Когда он писал, ему думалось о Паоло Веронезе, о смелых мазках художников венецианской

школы. Недаром вот Тургенев обвиняет его в неточных, «хромых» рифмах. Но Тургенев принадлежит к любителям французской школы, которая предпочитает полное совпадение окончаний при написании, не проверяя рифмы на слух. Это так взволновало Толстого, что он составил целый список своих «неточных» рифм вроде «неугодны» и «свободно», причем самой «рискованной» оказалась рифма «свыше» и «услышал». По тем временам это было ново и смело.

Он вполне сознает, что эпика ему не дается, что его тянет в лирику. Не чужда ему и драма. Он уже задумывается над драматическими построениями и скоропалительно решает, что «герои Расина позируют, а герои Шекспира кривляются». У первого его смущает риторика, а у второго — нарочитый трагизм. Ему кажется неестественной сцена из «Ричарда III», внезапные перемены в настроении вдовы принца Уэлльского у гроба своего мужа — от ненависти к любви — вслед за извивами красноречия Ричарда. Он еще не знает, «имеет ли драматический писатель право для проведения психологической идеи попирать ногами всякую правдоподобность»? Он зорко углядел влияние «Опытов» Монтеня на некоторые шекспировские монологи, но пружины сценического действия усвоить ему еще только предстоит...

Впрочем, он уже года полтора пишет драматическую поэму «Дон-Жуан», взяв сюжет старинной легенды и пытаясь разобраться в силе и мере добра и зла, которыми наделяет человека свобода воли. Это было смелое предприятие после стольких великих интерпретаций старинной легенды. Мольеровский Дон-Жуан — холодный циник, пушкинский Дон-Гуан — человек увлекающийся, он влюбляется всякий раз, совершая зло безотчетно, и гибнет на пороге счастья, караемый беспутным прошлым. Оттенков характера Дон-Жуана в мировой литературе не счесть. Толстой же хотел посвятить своего Дон-Жуана памяти Моцарта и Гофмана, «который первым увидел в Дон-Жуане искателя идеала, а не простого гуляку». По-видимому, Толстой прочел все, что было написано до него о Дон-Жуане, включая сюжет из «Испанских легенд» Вашингтона Ирвинга, но принимает лишь мысль, выраженную Гофманом в его рассказе, — Дон-Жуан сперва верит, потом озлобляется и становится скептиком: «обманываясь столько раз, он больше не верит даже в очевидность». Пушкинский Дон-Гуан погибает в Мадриде. Толстой воспользовался одним из вариантов легенды, глася-

щим, что Дон-Жуан умер, исполненный благочестия, и похоронен в одном из монастырей Севильи.

Толстого поразили слова Гофмана: «Но таково несчастное последствие грехопадения, что враг получил силу подстерегать человека и ставить ему злые ловушки даже в его стремлении к высшему, в котором сказывается его божественная природа. Это столкновение божественных и демонических сил обусловливает понятие земной жизни точно так же, как одержанная победа — понятие жизни неземной». Эти слова и были взяты эпиграфом к «Дон-Жуану».

Сегодня толстовский «Дон-Жуан» обычно вспоминается мельком, как пример романтического видения мира. Для Толстого-де искусство — это «мост» между земным миром и «мирами иными». Он противопоставляет искусство науке, которая изучает отдельные явления природы, пренебрегая будто бы целостным его восприятием. Дон-Жуан видится как романтик, ищущий в любви то чувство, которое помогает проникнуть в «чудесный строй законов бытия, явлений всех сокрытое начало». В лучшем случае упоминаются утопические идеалы Толстого, его религиозность, уживающаяся со свободомыслием и антиклерикализмом, и цитируются слова Дон-Жуана, которые приводили в неистовство инквизиторов:

«Святые братья глупы. Человек молиться волен как ему угодно. Не влезешь силой в совесть никому и никого не вгонишь в рай дубиной» *.

На хитроумные соображения друзей и недругов по поводу «Дон-Жуана» Толстой отвечал по-человечески просто и выразительно, избегая заумных объяснений. Вот пролог поэмы, в котором сатана и ангелы выполняют роль хора, произносящего «живое слово» о человеке вообще, о его суровом предназначении извечно стремиться мыслью в небо, но оставаться согбенным над плугом и бесконечно страдать. Добро и зло, свет и тьма, радость и печаль, грусть и любовь, красота и безобразие — все это вечно теснится в сердце человека, борется, и одно без другого существовать не может. Более того, Толстой совершенно диалектичен, когда, поясняя свой пролог, говорит о «необходимости зла»:

* Алексей Толстой, подобно Грибоедову, обладал счастливой способностью делать стихи афористичными и легко запоминаемыми, органично вписывающимися в родную речь и остающимися в ней как народные поговорки... Это особенно ярко проявилось в толстовской части Козьмы Пруткова.

«Чем тени сумрачней ночные, тем звезды ярче и ясней».

У Толстого сам сатана — карикатурное, но умное воплощение зла — осознает невозможность полной победы подвластных ему сил. Он никогда не достигнет своих мрачных целей. Пройдя сам через сомнение и бунт, он хорошо знает мятущуюся натуру человека. Любовь — это порождение мечтательности человека, стремящегося к идеалу. Влюбленный видит в женщине совершенство, но в объятиях любви женщина является пред ним «как есть» и ничего не дарит, кроме разочарования, заставляя пускаться в поиски нового идеала... Вот так запрограммирован сатаной Дон-Жуан, в его замысле зависть и злоба.

«Мое влиянье благотворно, — уверяет сатана, — без дела праведник, пожалуй бы, заснул... И если б черта не было на свете, то не было бы и святых!»

Но так ли это?

При всем здравомыслии сатанинские изречения примитивны. Они очень удобны для тех, кто не хочет заставлять себя думать и ограничивается несколькими весьма правдоподобными философскими выводами, которые на потребу толпе могут быть уложены в тоненький цитатник. И тогда не надо было бы Толстому идти дальше пролога... Если любовь лишь чувственность одна, ложь, которой без устали обманывает себя человек, то и все остальное тоже ложь. Тогда что же такое состраданье, совесть?

Получив письмо от донны Анны, в котором она, зная о его непостоянстве, все же признается в любви и сохраняет веру в доброту, Дон-Жуан старается понять себя: «Когда любовь есть ложь, то все понятия и чувства, которые она в себе вмещает: честь, совесть, сostраданье, дружба, верность, религия, законов уваженье, привязанность к отечеству — все ложь!»

Религия? Казалось бы, в основании ее лежит любовь. Но почему же столько жестокостей и преступлений совершается во имя ее?

Предположим, все действительно ложь и пустые слова. Что остается в жизни? Слава? Власть? Счастлив ли был бы он, если б «все грядущие народы и всех грядущих поколений тьмы, все пали ниц» перед ним? Нет, и тогда жажда не была бы утолена...

Что ж, остается лишь актерствовать, разрывая «условий пошлых мелкие сплетенья». Но почему же тогда Дон-Жуан вступается за обреченного на смерть мавра, почему

бросает перчатку «обществу, и церкви, и закону»? Что это, борьба как самоцель?

Но и актерствуя, человек остается человеком. Он склонен увлекаться магией слов и уже сам не отличает лжи от правды. (Уроки Шекспира усваиваются исподволь.) Объяснение Дон-Жуана и донны Анны прекрасно. Оно полно искренности, будто бы и не было зловещего обещания Дон-Жуана платить насмешкой за всесветский обман. Он даже ревнует донну Анну к «запоздалому отголоску другой, отжившей, конченой любви», он требует безраздельного владения ее сердцем. Трудно удержаться, чтобы не припомнить личных мотивов, уже прозвучавших в любовной лирике Толстого.

Но как же быть с сомнениями, с попиранием всего, что свято для других? Свято ли?

Монолог Дон-Жуана звучит убедительно:

...Да, я враг
Всего, что люди чтут и уважают.
Но ты пойми меня; взгляни вокруг:
Достойны ль их кумиры поклоненья?
Как отвечает их поддельный мир
Той жажде правды, чувству красоты,
Которые живут в нас от рожденья?
Везде условья, ханжество, привычка,
Общественная ложь и раболепство!
Весь этот мир нечистый я отверг.
Но я другой хотел соорудить,
Светлей и краше видимого мира,
Им внешность я хотел облагородить;
Мне говорило внутреннее чувство,
Что в женском сердце я его найду, —
И я искал...

Вот она, его мечтательность, его, Толстого, убегающего от жизни в свой поэтический мир, в мир слов, которые при всей их видимой убедительности тоже суть ложь, как всякая полуправда. И уход в любовь — тоже ложь, в которой он не сознается никому, даже себе.

Но легенда о Дон-Жуане требовала канонического развития действия: после горячих объяснений в любви к донне Анне — серенады под балконом доступной женщины:

Гаснут дальней Альпухарры
Золотистые края,
Под призывный звон гитары
Выйди, милая моя!..

Толстому хотелось, чтобы серенаду пели под музыку

Моцарта, но обессмертил стихи мотив, созданный Чайковским.

И потом была схватка и смерть командора, отца донны Анны (а у Пушкина — мужа). Было осознание Дон-Жуаном своей любви к дочери убитого. Но хода событий уже не повернешь. Двуличие наказуемо. «Нет, не меня ты обманул, Жуан, — восклицает донна Анна, — ты обманул и бога и природу!» Было и озлобление Дон-Жуана из-за неисполнившейся мечты: «Любовь ли здесь так к ненависти близко иль ненависть похожа на любовь?»

И уже торжествует сатана победу мглы над светом — Дон-Жуан все-таки не понял значения любви, а в ней было его спасенье. Дон-Жуан поверил, что все ложь, а ведь она лишь прилипла к правде. Но, пытаясь оторвать ее с маху, рискуешь уничтожить и саму истину. Самое страшное — безверье. Полное отрицание — беда, с которой уже не справиться человеку. Он губит и себя, и все, к чему ни прикоснется. Дон-Жуан обречен, хотя с любовью к нему пришла вера. Слишком велик груз его преступлений, и последняя реплика статуи командора: «Погибни ж, червь» — логически завершает драму, но не убеждает читателя в торжестве добра...

Забегая вперед, надо бы сказать, что Болеслав Маркевич мастерски читал драму у Вяземского в присутствии Тютчева, Плетнева и Грота, как и в императорском дворце, где во время слушания играли в карты. Когда партия уже кончилась, а поэма нет, то Толстому была оказана «честь» — против обыкновения царь сел за вторую партию. Маркевич уверял, что обычно безжизненные лица фрейлин сияли восторгом, а пожилые вельможи слушали огорченно-удивленно. И хотя императрица смеялась «шалостям Алеши», как она сказала, Маркевич не преминул в своем подобострастии упрекнуть поэта за то, что в первом варианте «Дон-Жуана» сатана появился в вицмундире. «Я, со своей стороны, нахожу эту мысль недостойной поэта Толстого: она не только несвоевременна, но и неверна... — глубокомысленно замечает Маркевич, — что общего у великого непокорного духа с русским министром, особенно народного просвещения!» Многословно и плоско верноподданный Маркевич, не понявший проблеска «прутковщины», поучал Толстого, как тому надо было написать ту или иную сцену, как относиться к Дон-Жуану, занесшему в свой «смертоносный» список 3000 женских имен. Нахваливал «романс под балконом».

Тютчев немедленно выучил эту серенаду наизусть.

Именно он сказал: «В этой вещи есть пылкость, рыцарство, изящество, вполне подходящее к характеру лица и его родины». Маркевич увлекся до того, что сочинил совершенно новую концовку, в которой Дон-Жуан присутствует на собственных похоронах, а потом в образе монаха творит всякие милосердные дела. Всю эту чушь Маркевич подсластил откровенной лестью: «Вы, может быть, единственный ныне литературный человек в России, который себя поставил вне современного движения... Дабы иметь нравственное право удалиться в свой шатер, необходимо выйти когда-нибудь оттуда, как Ахилл, чтобы влачить Гектора, привязанного к Вашей триумфальной колеснице; надо создать прекрасное произведение, которое найдет в своей красоте оправдание недостатку злободневности».

Так вот кто увлекал Толстого на путь «искусства для искусства». За вежливостью, с которой Алексей Константинович отвечал на письмо Маркевича, скрывалось раздражение. Тот предлагал коренным образом переделать драму, даже написать совсем другую. А между тем впечатления его поверхностны. Дон-Жуан вовсе не придворный щеголь, сердцеед. Это было в ранний период его жизни, находящийся за пределами драмы. «Я изображаю его во второй период, — пишет Толстой. — Привыкнув отрицать добро и совершенство, он не верит в них и тогда, когда встречает их в образе донны Анны. Свое чувство он принимает за похотливое желание, а между тем это любовь. Вы сами никогда не бывали в таком положении? Его любовь к донне Анне — любовь, зародившаяся тайно, открывшаяся ему в смертный час, а не взрыв или утонченная прихоть, как говорите Вы. Дон-Жуан больше не верит в любовь, но наделен воображением столь пылким, что эта вера возвращается к нему всякий раз, как *он отдается своему чувству,* и в сцене с донной Анной он ему отдается, несмотря на то, что раньше намеревался ее соблазнить».

Не один Маркевич его не понимает. Прислали письма Вяземский и Борис Перовский, озадаченные образом сатаны. Ну ладно уж, он пожертвует министром народного просвещения, чей облик принял сатана, а ведь это понадобилось Толстому, «чтобы показать два крайних проявления одного и того же образа, одно — величественное, другое — смехотворное».

Толстой читал «Дон-Жуана» Каткову и Аксакову.

— Ваш Дон-Жуан — тройная перегонка подлеца, —

ругался побагровевший от негодования Иван Аксаков. — Он недостоин покровительства ангелов. Человек, который перебегает от женщины к женщине, — негодяй, а искание идеала — лишь предлог для таких негодяев!

Катков больше говорил о вялости некоторых сцен и необъяснимой внезапности смены настроений героя. На другой день, однако, Аксаков уже уверял Толстого, что произведение по своим художественным достоинствам из ряду вон выходящее, несмотря на его недостатки, и советовал взять с Каткова за опубликование поэмы в «Русском вестнике» не менее пятисот рублей.

Что говорить, Толстому нравилось играть роль жреца «чистого искусства», и даже в негодовании Аксакова он видел стремление большинства писателей быть тенденциозными, *проводить мысль*, стремясь более к дидактичности, нежели к художественности. Разумеется, он любит и уважает Ивана Аксакова всем сердцем, но тот скорее *суровый гражданин,* чем художник.

Толстому же, как и Тютчеву, ближе слова гётевского певца, которые перевел Константин Аксаков.

Пою, как птица волен, я,
Что по ветвям летает,
И песнь свободная моя
Богато награждает.

Для обнародования своих мыслей Толстому понадобилось прибегнуть к излюбленному поэтами средству — составить манифест, каковым и явилось «Письмо к издателю», опубликованное в «Русском вестнике» через три месяца после появления там «Дон-Жуана». Именно оно, написанное с позиций «чистого искусства», и послужило вызовом общественному мнению. Формулировки Толстого очень четки и недвусмысленны. Они объясняют многое в его настроениях и характере его творчества, а потому стоит привести конспект их, полный раскавыченных цитат.

Россия кипит, завязываются и разрешаются общественные вопросы, публика охладела к искусству, появилось много приверженцев мнения, что искусство без применения его к какой-нибудь гражданской цели бесполезно и даже вредно. «Искусство уступило место административной полемике, — пишет Толстой, — и художник, не желающий подвергнуться порицанию, должен нарядиться публицистом, подобно тому как в эпохи политических переворотов люди, выходящие из домов своих, наде-

вают кокарду торжествующей партии, чтобы пройти по улице безопасно».

Нет, не то чтобы он, Толстой, выступал против общественных преобразований, но нельзя же вместе с водой выплескивать и ребенка. Отвергать искусство или философию во имя непосредственной пользы — это все равно что не желать заниматься механикой, чтобы иметь побольше времени строить мельницы или плавильные печи в каждом дворе.

Он понимает, что возводить государство на более высокую степень законности и свободы необходимо. Но что такое законность и свобода, если они не опираются на внутреннее сознание народа, если существуют лишь материальные побуждения? Пища, одежда и прочее — все это важно, но никакое лучшее общество не сможет существовать без духовного развития человека, который сам безотчетно стремится к прекрасному. Всякий народ обладает врожденным чувством прекрасного, которое может легко улетучиться, если его глушить. Считать это чувство роскошью, стараться убить его, работать только для материального благосостояния — значит отнимать у человека его лучшую половину, «низводить его на степень счастливого животного, которому хорошо, потому что его не бьют и сытно кормят».

Художественность и гражданственность должны жить рука об руку и помогать друг другу. Колесница с одним колесом будет тащиться на боку. Однако общество теперь занято лишь непосредственными жизненными интересами, и он, Толстой, посвятивший себя «искусству для искусства», выглядит еретиком. Так вот, зная, что публика встретит его доводы холодно и неприязненно, он все же решился опубликовать драматическую поэму «Дон-Жуан», не имеющую никакой практической пользы. В одном кругу, он слышал, его осудили так:

— Что он пришел толковать о каком-то испанце, который, может быть, никогда не существовал, когда дело идет о мировых посредниках?

Для кого же он писал? Он верит, что найдутся люди, у которых при чтении зародится какая-нибудь новая мысль или новое чувство. Художник, оказавшийся в роли Робинзона, не способен петь. Ему необходима среда, иначе он будет как свеча, которая горит в пустоте, и лучи ее ни во что не упираются.

Говорят, в «Дон-Жуане» есть подражания «Фаусту» Гёте. Ссылаются на сходство внешней формы прологов —

в обоих произведениях выведены на сцену злой дух и добрые духи. И Толстой разъясняет: форма пролога заимствована из средневековых мистерий и является достоянием не Гёте, а всех писателей. «Значение пролога «Фауста» — это *борьба в человеке* света и тьмы, добра и зла. Значение пролога «Дон-Жуана» — *необходимость зла,* истекающая *органически* из существования добра». Уж скорее надо было обвинить его в подражании Тирсо де Молина, Мольеру, Байрону, Пушкину, сочинителю либретто моцартовской оперы аббату Да-Понте, всем тем, кто, воспользовавшись вечной темой искусства, пытался всякий раз по-новому говорить о том, как мучаются люди, стремясь к совершенству, вступая в разлад с самими собой и с обществом.

«Дон-Жуан» привел нас к осени 1861 года, к упрямому отстаиванию права на существование «чистого искусства», но для этого были свои причины, и к ним надо возвращаться.

Добившись бессрочного отпуска в 1859 году, Толстой не замкнулся в башне из слоновой кости, не стал заниматься «чистым искусством», жрецом которого он хотел бы стать. Жизнь упрямо вторгалась во все, что бы он ни создавал, и на поверку выходило, что «чистого искусства» почти нет, а если и есть оно, то существование его равно мигу...

Наступила пора упорных раздумий и работы, осмысления своего места в жизни. И вот тут-то оказалось, что он не может прийти к согласию ни с одним из течений общественной мысли, направленных против существующего строя, ни самим строем. Он старался обойтись здравым смыслом в суждениях, отметал крайности, подмечал недостатки в любом тенденциозном проявлении и слишком часто говорил правду, а этого не прощают... Можно говорить правду, прикрываясь личиной дурака, можно изысканно шутить, как это было, когда складывался образ Козьмы Пруткова, но не дай бог вам идти напролом с вашей правдой и высказывать ее с наивным благородством князя Серебряного, в котором кое-кто совершенно справедливо угадывает упрощенные черты личности самого Алексея Толстого. Он рыцарь, фигура архаичная уже во времена Сервантеса, герою которого не откажешь в уме, а порой и в здравом смысле. И тем более нелепо выглядит рыцарская прямота в многообразии об-

Калуга.
Гостиный двор.
Фото автора.

Козельск.
Оптина пустынь.
«Дом старца».
Фото автора.



Софья Андреевна Толстая.



Алексей Константинович Толстой
в мундире офицера Стрелкового полка.



Рисунок П. Федотова. Николай I разглядывает в лупу испуганного художника.



Крым.
Имение «Мелас».
Фото автора.

В. А. Перовский
и А. П. Ермолов.



Крым.
Чуфут-Кале.
Фото автора.



И. С. Аксаков.



К. С. Аксаков.



А. С. Хомяков.



Т. Г. Шевченко.

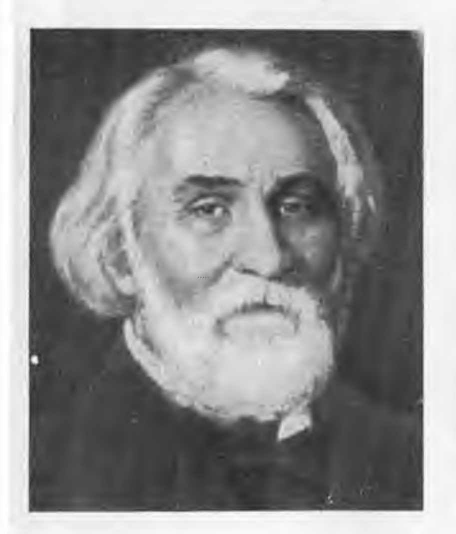




Н. А. Некрасов.



Н. Г. Чернышевский.



И. С. Тургенев.



А. И. Герцен.



А. К. Толстой.

Аллея в Красном Роге. Фото автора.

Красный Рог. Флигель. Ныне музей А. К. Толстого.
Фото автора.



С. А. Толстая.

Остров Рюген. Мыс Аркона. Фото автора.

Баллада съ тенденцiей.

1.

Порой веселой Мая,
По лугу вертограда,
Среди цвѣтовъ гуляя,
Самдругъ идутъ два лада.

2.

Онъ въ мурмолкѣ червлёной,
Каменьями борзмо шитъ,
Тесьмою золочёной
Вкругъ голени обвитъ

Автограф «Порой веселой мая...».

Карловы Вары. Отель «Папп».





Дом на Гагаринской
набережной,
в котором жил
А. К. Толстой
в конце 60-х гг.

Слева направо:
И. А. Гончаров,
Е. Н. Шостак,
А. К. Толстой,
Н. М. Жемчужников,
А. А. Толстая,
К. Н. Алексич.
Фотография 1860-х гг.
Фото автора.



Александринский театр.



Каролина Павлова.



А. А. Фет.



А. К. Толстой.



Склеп,
в котором похоронены
А. К. и С. А. Толстые
Фото автора



«Царь Федор Иоаннович»
на сцене МХАТа.
Федор — И. М. Москвин.
Ирина — О. Л. Книппер.



Князь
Иван Петрович Шуйский —
К. С. Станиславский.
Царь Федор —
В. И. Качалов.

Царь Федор —
Н. П. Хмелев.



«Царь Федор Иоаннович»
на сцене МХАТа.
«Царская палата». 1898.



щественных отношений XIX века. Однако бессмертный Дон-Кихот, порожденный всеобъемлющей иронией Сервантеса, через века протягивает руку графу Алексею Толстому. Но чего-чего, а простоты Никиты Серебряного и наивности Дон-Кихота в Толстом не найдется ни на грош. Он ироничен, наш герой, он остроумен. Разве что по отношению к самому себе он бывал убийственно серьезен. Это одновременно и ахиллесова пята его, и сила, дававшая ему возможность писать искренне, интересно и внятно, что по сию пору прокладывает его произведениям прямую дорогу к уму и сердцу читателя.

Ничто не вызывает столько противоречивых суждений, как цельная натура. Пусть это звучит парадоксом, но пример отношения к Толстому тому порукой. Невозможность подверстать его к любому из списков раздражает людей, тяготеющих к систематизации. Чего стоит одно его кредо:

> Двух станов не боец, но только гость случайный,
> За правду я бы рад поднять мой добрый меч,
> Но спор с обоими досель мой жребий тайный,
> И к клятве ни один не мог меня привлечь;
> Союза полного не будет между нами —
> Не купленный никем, под чье б ни стал я знамя,
> Пристрастной ревности друзей не в силах снесть,
> Я знамени врага отстаивал бы честь!

Поводом для создания этого стихотворения где-то в конце 1857 года была характеристика, данная английскому государственному деятелю XVII века Джорджу Галифаксу в только что вышедшем и прочитанном Толстым четвертом томе «Истории Англии» Т. Маколея: «Он всегда смотрел на текущие события не с той точки зрения, с которой они представляются человеку, участвующему в них, а с той, с которой они по прошествии многих лет представляются историку-философу...» Первоначальное название стихотворения «Галифакс» было впоследствии, при публикации в сборнике 1867 года, снято, поскольку подробное описание отношений Галифакса к партиям своего времени у Маколея послужило лишь толчком для Толстого к изложению собственных принципов в поэтической форме.

Предложенное «Русской беседе» стихотворение «Галифакс» вызвало неудовольствие Ивана Аксакова, который отверг это произведение, считая его вредным. Он писал, что авторитет Толстого может поощрить слабодуш-

ных и породить «перевертней». Теперь, по его мнению, в России полезней было бы проповедовать твердость убеждений. Пожалуй, он был прав, этот «суровый гражданин», прав в принципе, но подразумевал он лишь верность тенденции, что было чуждо Толстому, отстаивавшему право на независимость суждений и нащупывавшему собственный путь в поэзии.

«Не купленный никем...» Эти слова были сказаны в то время, когда утвердился профессионализм в литературе, а занятие журналистикой стало выгодным. По правде сказать, Алексей Константинович никогда не состоял в особенно коротких отношениях с миром журналистов и литераторов. Толстой мог позволить себе пренебречь журнальной суетой. Он не нуждался в протекции, деньгах...

Но если бы все было так просто, то не стоило бы и затевать этого пространного рассказа о взглядах Алексея Толстого.

Крымская война была важной вехой в жизни и творчестве поэта. Видимо, это случилось потому, что и сама Россия после войны стала другой. Более полувека потом она вынашивала революцию, подспудно бурля, выплескивая на поверхность либералов, демократов, нигилистов, террористов, народных заступников, реакционеров, «мальчиков» Достоевского и его же «бесов».

Слабые стороны и либералов-западников и славянофилов очень ловко и смешно обыгрывались создателями образа Козьмы Пруткова. Появлялись пародии на Майкова, Фета и других поэтов, оставивших «Современник» в 1859 году, когда в нем окончательно возобладали революционно-демократические принципы и главной стала публицистика.

Для «чистого искусства», для «реликвий пушкинского периода», как выражался Добролюбов, и был оставлен в журнале отдел «Свисток».

«Мы свистим, — писал он, — не по злобе или негодованию, не для хулы или осмеяния, а единственно от избытка чувств... Итак, наша задача состоит в том, чтобы отвечать кротким и умилительным свистом на все прекрасное, являющееся в жизни и литературе...»

Такая программа вполне устраивала радикально настроенного Владимира Жемчужникова, который передал новый цикл стихотворений Козьмы Пруткова «Пух и перья», содержавший немало подражаний адептам «чис-

того искусства», самому Добролюбову, и тот отнесся к произведениям маститого автора не только с должным почтением, но и предпослал им самое горячее и сочувственное напутствие:

«Мы все думаем, что общественные вопросы не перестают волновать нас, что волны возвышенных идей растут и ширятся, и совершенно затопляют луга поэзии и вообще искусства. Но друг наш Кузьма Прутков, знакомый многим из читателей «Современника», убежден в противном. Он полагает, что его остроумные басни и звучные стихотворения могут и теперь увлечь массу публики. Печатаем в виде опыта одну серию его стихотворений под названием «Пух и перья». От степени фурора, который они возбудят, будет зависеть продолжение».

В «Свистке» произведения Пруткова звучали весьма радикально и пущены были в демократический обиход, чего никак не мог ожидать, например, Алексей Константинович Толстой. Сама по себе история «Свистка» и страстей, которые он разбудил, чрезвычайно интересна.

Итак, в русской литературе побеждали силы реализма, в русской журналистике брала верх революционно-демократическая критика. За ней стояла вера в победу крестьянской революции. В своей борьбе Чернышевский отдавал предпочтение прежде всего тем писателям, творчество которых способствовало пропаганде революционных идей. Он по-новому осмысливал и классическое наследие.

«Новые люди» критиковали некоторых современных им крупных деятелей литературы за либеральное обличительство, самым радикальным образом истолковывали их произведения, стремились революционизировать литературу. Особенно доставалось тем, кого они считали представителями «чистого искусства».

Так вот Толстой, неотъемлемый от Козьмы Пруткова, непременного автора «Свистка», невольно оказался в числе тех, кто высмеивал принципы, им же самим декларируемые.

Сатиры «свистунов», как их называли в некоторых либеральных изданиях, вызвали целую бурю.

— А мы еще громче будем свистать; эта руготня только подзадорит нас, как жаворонков в клетке, когда начинают во время их пения стучать ножом о тарелку, — говаривал Добролюбов.

Смерть Добролюбова и арест Чернышевского не остановили выхода «Свистка». В последнем его выпуске был

напечатан «Проект: о введении единомыслия в России» — прутковская сатира на стремление правительства прибрать к рукам и сократить расплодившиеся издания.

В «Свистке» образ Козьмы Пруткова сложился окончательно. Теперь это был не просто самонадеянный поэт, но и важный благонамеренный чиновник. Опубликованный Толстым в «Свистке» знаменитый «Мой портрет» немало способствовал трансформации Пруткова.

Разумеется, Толстой был недоволен насмешками над «чистым искусством», но резко высказывался всякий раз и использовал свои связи, когда стеснялась свобода печати.

Яркий пример — попытка Алексея Толстого выручить Чернышевского, с которым он был знаком весьма поверхностно.

Как-то в начале шестидесятых годов Льва Жемчужникова посетил незнакомый человек. Завтракавший с женой и детьми Лев пригласил его к столу, но тот не стал есть, а сразу же предложил написать для «Современника» статью о Шевченко. Лев отказался, потому что писал уже для журнала «Основа». Потом он узнал, что это был Чернышевский.

Некоторое время спустя Лев пошел навестить брата Владимира, жившего в квартире отца. Михаил Николаевич Жемчужников сказал сыновьям, что арест Чернышевского — дело решенное. На другой же день Лев был у Чернышевского и предупредил об опасности.

Революционер «засмеялся своим оригинальным нервным смехом»:

— Благодарю за заботу. Я всегда готов к такому посещению... Ничего предосудительного не храню...

В ночь на 8 июля 1862 года Чернышевский был арестован, заключен в Петропавловскую крепость, а потом приговорен к четырнадцати годам каторги, хотя никаких прямых улик на суде не фигурировало.

После суда над Чернышевским, как-то зимой Алексей Константинович Толстой был приглашен на царскую охоту под Бологое. Обычно поезд с охотниками отходил в полночь. К пяти утра приезжали, перекусывали, отдыхали, и к десяти егеря разводили титулованных охотников по лесу, ставя их у нумерованных столбов. Потом загонщики с собаками поднимали страшный шум и выгоняли либо лося, либо медведя навстречу смерти...

Знакомая Алексея Константиновича, камер-фрейлина Александра Андреевна Толстая, вспоминала:

«Вот что случилось во время государевой охоты в зиму 1864—1865 годов в Новгородской губернии. В отступе был обойден медведь; егермейстер, распорядитель охоты, расставил полукругом всех охотников, и Толстому как близкому человеку к государю и редкому петербургскому гостю довелось стоять с ним рядом. В ожидании, пока все займут свои места, а собаки и загонщики поднимут зверя, государь подозвал Толстого и стал с ним разговаривать — вполголоса, как и следует быть на охоте, и без посторонних свидетелей. И вот тут-то литератор А. К. Толстой, близко осведомленный о деталях процесса несчастного Чернышевского, решился замолвить государю слово за осужденного, которого отчасти знал лично.

На вопрос государя, что делается в литературе, не написал ли он, Толстой, что-либо новое, А. К. ответил, что «русская литература надела траур по поводу несправедливого осуждения Чернышевского».

Но государь не дал Толстому даже и окончить его фразы. «Прошу тебя, Толстой, *никогда* не напоминать мне о Чернышевском», — проговорил он недовольным и непривычно строгим голосом и затем, отвернувшись в сторону, дал понять, что беседа окончена».

Этот случай подтверждается и другими источниками. Как ни доброжелательно относился Александр II к Толстому, он уже давно не доверял ему, не видя в нем слепого («с закрытыми глазами и заткнутыми ушами») исполнителя своей воли.

В 1863 году Толстой вступился за Тургенева, которого на этот раз привлекли к делу о лицах, обвиненных в сношениях с «лондонскими пропагандистами» Герценом и Огаревым. Годом раньше он хлопотал об Иване Аксакове, которому запретили редактировать газету «День». А еще раньше, в 1858 году, когда учреждался негласный «Комитет по делам книгопечатания», на предложение министра народного просвещения Е. П. Ковалевского включить в него писателей и людей, «известных любовью к словесности», царь раздраженно ответил:

— Что твои литераторы, ни на одного из них нельзя положиться!

Сперва назывались имена Тургенева, Тютчева, Алексея Толстого...

Вошли же в комитет граф А. В. Адлерберг 2-й (сын министра двора), Н. А. Муханов (товарищ министра про-

свещения) и А. Е. Тимашев (начальник штаба корпуса жандармов и управляющий III Отделением). Поэт Тютчев тотчас окрестил это новообразование «троемужием», но потом туда же ввели четвертого — известного цензора А. В. Никитенко.

Достаточно полистать документы, собранные Мих. Лемке в «Очерках по истории русской цензуры», чтобы убедиться, что фразеология их удивительно напоминает прутковский «Проект: о введении единомыслия в России».

Вот совет министров обсуждает создание нового комитета и считает, что его цель:

«1) Служить орудием правительства для подготовления умов посредством журналов к предпринимаемым мерам; 2) направлять по возможности новые периодические литературные издания к общей государственной цели, поддерживая обсуждение общественных вопросов в видах правительственных».

Вспомним дату, стоящую под прутковским «Проектом»: 1859 год. Император подписал «повеление» об учреждении негласного комитета 24 января 1859 года.

Предлагая создать «руководительное правительственное издание», противоречить которому значило бы подпасть под «подозрение и наказание», Козьма Прутков в примечании к «Проекту» предлагал и другие меры: 1) «Велеть всем редакторам частных печатных органов перепечатывать руководящие статьи из официального органа, дозволяя себе их повторение и развитие»; 2) «Вменить в обязанность всем начальникам отдельных частей управления: неусыпно вести и постоянно сообщать в одно центральное учреждение списки всех лиц, служащих под их ведомством, с обозначением противу каждого: какие получает журналы и газеты. И не получающих официального органа, как не сочувствующих благодетельным указаниям начальства, отнюдь не повышать в должности, ни в чины и не удостаивать ни наград, ни командировок».

И Алексей Толстой, и Владимир Жемчужников, который написал «Проект» и отдал редакции «Современника», были прекрасно осведомлены обо всех перипетиях, связанных с попыткой правительства «нравственно» воздействовать на печать. Для них, вхожих в любые канцелярии и апартаменты, вплоть до дворцовых покоев, «негласность» не существовала.

Но насколько успело правительство в своем воздей-

ствии на печать, видно хотя бы из того, что злой прутковский «Проект» был опубликован.

Общественному мнению уже не суждено было стать управляемым. Закрученная Николаем I пружина распрямлялась со страшной силой. Либеральные веяния, достигшие самых верхов, делали невозможным поворот к старому. Царь, осознавший, что свободу крестьянам лучше дать «свыше», нежели они это сделают сами «снизу», понимал также, что пришло время лавирования и в других областях.

Народ говорит: «Увяз коготок, всей птичке пропасть». Империя надломилась, и это нашло свое отражение, в частности, в зеркале, которое зовется Козьмой Прутковым.

Все это происходило в Петербурге в то самое время, когда Толстой добился бессрочного отпуска и вел оживленную переписку с Иваном Аксаковым.

После запрещения «Паруса» славянофилы надумали издавать газету «Пароход», и это переселение славянской мысли Толстой посчитал в высшей степени курьезным, но знаменательным. Отношения его с фактическим редактором задуманного, но несостоявшегося издания Иваном Аксаковым остаются сердечными. Несмотря на подозрение, что их переписка читается в III Отделении, Толстой позволяет себе рискованную шутку, говорит о роковых местах, где совершаются всякие гадости: там убивают кого-нибудь или сами вешаются. К такому разряду он относит «некоторые государственные учреждения». Попадая в них, даже дотоле всеми уважаемые люди начинают делать гадости. «Наполеон во время итальянской кампании велел сжечь одну такую будку, в которой все часовые вешались. Если бы у нас ограничивались этим, то будку можно бы и не сжигать».

Тогда же было опубликовано в «Русской беседе» известное стихотворение «И. С. Аксакову». Тот как редактор журнала из скромности хотел сменить название на «К NN», но Толстой уже познакомил со стихотворением своих знакомых, и в частности графиню Александру Алексеевну Толстую. Поэтому он не желал, чтобы кто-нибудь подумал, будто он боится упоминать имя Ивана Сергеевича, так как тот под опалой. И настоял на своем. Стихотворение это дает понятие о тогдашнем отношении Алексея Константиновича к славянофильству.

Судя меня довольно строго,
В моих стихах находишь ты,

Что в них торжественности много
И слишком мало простоты...

Толстой считает, что поэт *не должен* ограничивать себя узкопартийными, хотя и высокими, устремлениями. Мир беспределен, и поэт с почти языческой всеохватностью видит красоту «в каждом трепете листа», выражает «тревогу вечную мирозданья», что очень трудно поведать «на ежедневном языке». Но это не значит, что поэту чужда повседневность.

Поверь, и мне мила природа,
И быт родного нам народа —
Его стремленья я делю,
И все земное я люблю,
Все ежедневные картины:
Поля, и села, и равнины,
И шум колеблемых лесов,
И звон косы в лугу росистом,
И пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков...
И все мне дороги явленья,
Тобой описанные, друг,
Твои гражданские стремленья
И честной речи трезвый звук...

Настроение «Родины» Лермонтова, с цитатами из знаменитого стихотворения, с образами, прямо заимствованными из него, а также из «Бродяги» И. Аксакова, — все это понадобилось Толстому с его неистребимой иронией для выявления уже обозначившихся стереотипов прославления родины. В лучших своих стихах декларативности и описательности он противопоставлял сложность человеческих ощущений, передаваемую, кстати, и через восприятие красоты родной земли.

В стихотворное послание Ивану Аксакову вошли четверостишия из других, написанных в сороковых годах и неопубликованных вещей, а также из набросков большого обращения к западникам, стремившимся к внедрению в России буржуазно-демократических свобод, к преобразованию страны, приближению ее к западноевропейскому образцу и наделившим славянофилов презрительной кличкой «квасных патриотов». Верный своему кредо, Толстой становится в строй теснимых. И вот они — отголоски споров друзей-врагов, славянофилов и западников. Обращаясь в своем неоконченном стихотворении к западникам, поэт говорит:

Друзья, вы совершенно правы,
Сойтися трудно вам со мной,

Я чту отеческие нравы,
Я патриот, друзья, квасной!

«На Русь взирая русским оком», Толстой вновь и вновь поет славу красоте родины и русской песне.

Люблю пустынные дубравы,
Колоколов призывный гул
И нашей песни величавой
Тоску, свободу и разгул.

Она, как Волга, отражает
Родные степи и леса,
Стесненья мелкого не знает,
Длинна, как девичья коса.

Как синий вал, звучит глубоко,
Как белый лебедь, хороша,
И с ней уносится далеко
Моя славянская душа.

Но... Вот в этом «но» и проявляется противление восторженности славянофилов, их безусловному приятию исторического пути России. Западники называют патриотов врагами всякого движения вперед. Ну а он, Толстой?

Нет, он не враг всего, что ново,
Он вместе с веком шел вперед,
Блюсти законов Годунова
Квасной не хочет патриот.

Думать и думать о пути России... Он никогда не закрывал глаза на крепостное право, окончательно закрепившееся в годуновские времена, он помнит, как урезали языки непокорным, как мордовали страну царские шуты, любимчики, как душили церковники всякую мысль, «казня тюрьмой Максима Грека» и раздувая скуфьями костры, в которых сгорали Аввакумы. И наконец, в нем все больше растет отвращение (будя вместе с тем творческий интерес) к столь любимому славянофилами московскому периоду истории, когда, как он считал, страна, освободившаяся от ига Орды, восприняла ее нравы, ее жестокость. «Застенки, пытки и кнуты» — наследство, которое еще не изжило себя. Все это так.

Но к братьям он горит любовью,
Он полн к насилию вражды...
Да, он грустит, что в дни невзгоды,
Родному голосу внемля,
Что на два разные народа
Распалась русская земля.

Конца семейного разрыва,
Слиянья всех в один народ,
Всего, что в русской жизни живо,
Квасной хотел бы патриот.

И дело тут вовсе не в отражении славянофильских понятий «публика — народ», не в горечи осознания углубившейся пропасти между дворянством и крестьянством, а в наметившейся тенденции части образованного общества искать путей сближения с народом, что принимало самые разнообразные формы — от либерально-литературного интереса к жизни крестьянства до уже зародившегося почвенничества и предстоящего «хождения в народ». Это еще раз к вопросу о декларированном Толстым «чистом искусстве»...

Кстати, в том же 1859 году, когда в «Русской беседе» появилось послание к Ивану Аксакову, поэт вознамерился опубликовать в журнале свою старую, десятилетней давности, поэму «Богатырь».

И намерение это не было случайным.

Именно к 1859 году колоссальный размах приняло движение против питейных откупов. Помещичьи и государственные крестьяне стали на сходках составлять приговоры об отказе от вина, а тех, кто продолжал покупать водку или посещать питейные заведения, сами крестьяне в своих общинах штрафовали и даже секли. Движение началось в белорусско-литовских губерниях и перекинулось на другие края. От бойкота крестьяне, да и кое-где городские жители перешли к разгрому винных лавок. Добролюбов увидел в этом «способность народа к противодействию незаконным притеснениям и к единодушию в действиях». «Сотни тысяч народа, — писал он тогда же, — в каких-нибудь пять-шесть месяцев без предварительных возбуждений и прокламаций в разных концах обширного царства, отказались от водки...»

Армия подавила «питейные беспорядки». Тысячи крестьян были арестованы. А стихотворение Алексея Толстого запретила цензура. Но оно широко распространялось в списках.

«Богатырь» — это символ спаивания народа. По стране на разбитой кляче разъезжает костлявый всадник в дырявой рогоже, со штофом за пазухой. Он потчует всех без

разбору, и «ссоры, болезни и голод плетутся за клячей его».

Стучат и расходятся чарки,
Питейное дело растет,
. . . .
Беднеет, худеет народ.

И у Толстого и у Жемчужниковых в их письмах и дневниках не раз прорывалось возмущение системой откупов, политикой царского правительства, «лукавыми Иудами, распинавшими свою отчизну», не брезговавшими никакими средствами для выколачивания денег из народа *.

Весна 1860 года застала Алексея Константиновича в Париже. Часто, очень часто навещал поэт этот прекрасный город, но нигде ни словом не обмолвился о своих впечатлениях от него. Он весь в России и в своих произведениях, которые пишет, отсиживаясь в комфортабельных парижских отелях или встречаясь с друзьями и с русскими литераторами, проводившими время в Европе с едва ли не большей непринужденностью, чем в Петербурге — холодном и вместе с тем душном, как говаривал Толстой.

Он вспоминал один из своих разговоров с Соллогубом. Прав тот, когда говорит, что в прежние годы оседлость была потребностью. У каждого семейства был свой приход, свой неизменный круг родных, друзей и знакомых, свои предания, свой обиход, свои нажитые привычки. Железные дороги все это изменили. Теперь никому дома не сидится. Жизнь не привинчивается к почве, а шмыгает, как угорелая, из угла в угол. Семейственность раздробляется и кочует по постоялым дворам.

Толстой остро чувствовал потребность в «привинчивании к почве», к семейственности. Но не получалось... Все куда-то надо было ехать, хотя и не заставлял вроде бы

* «Богатырь» долго не мог увидеть свет в массовом издании. Еще в 1890 году цензор Косович писал в своем заключении: «Принимая во внимание, что означенная рукопись предназначается также для народного чтения, нельзя не выразить опасения, что все стихотворение А. Толстого может быть понято простолюдином в превратном смысле». Стихи подобного рода много навредили Толстому, когда журналистика в России стала ареной «свободного предпринимательства», понимавшего «прогресс» весьма своеобразно. Буржуазные критики не хотели вдумываться в истинный смысл стихов Толстого.

никто. Только получил бессрочный отпуск и... уехал в Петербург и Париж. Вернулся почти тотчас, обосновался было в Красном Роге, и опять в Париж с Софьей Андреевной. Она добавила в компанию Николая Андреевича Бахметева с сынком, а управлять имениями они оставили Петра Андреевича Бахметева, хоть и ясно было, что ничего путного из этого не выйдет. У Софьи Андреевны был комплекс вины перед многочисленной и не очень церемонной родней, Алексей же Константинович из деликатности старался не вмешиваться в ее дела, надеясь, что все как-то образуется.

Путешествия не мешали ему работать. Наоборот, движение подстегивало мысль. В отдалении ярче представало родное. Заграничные впечатления никак не отражались в его творчестве, как это бывало и со многими другими тогдашними русскими писателями, которые кочевали по европейским гостиницам и постоялым дворам, а все думали и писали только о России.

Что же занимает его в Париже? Воспоминания о днях, проведенных в Погорельцах, Красном Роге, Пустыньке. Он все больше склонялся к тому, чтобы устроиться попрочнее не в Погорельцах, а в Красном Роге, где был такой знакомый с детства охотничий дом, построенный еще Кирилой Разумовским по проекту Растрелли. В Красном Роге была устроена Толстым больница и закуплены медикаменты. Там же 15 ноября 1859 года открылось училище для мальчиков, а Софья Андреевна открыла в Погорельцах школу для девочек.

В ноябре же Толстой становится одним из тридцати пяти основателей Литературного фонда, официально называвшегося Обществом для пособия нуждающимся литераторам и ученым. Возобновило свою работу в Москве Общество любителей российской словесности, основанное в 1811 году и пришедшее в такой упадок, что к 1859 году оно насчитывало всего шесть членов. Теперь под временным председательством Хомякова на многочисленных заседаниях 1859 года членами общества были избраны Л. Н. Толстой и И. С. Тургенев (по предложению К. С. Аксакова), М. Е. Салтыков и А. К. Толстой (по предложению И. С. Аксакова), Ф. И. Тютчев, Ф. И. Буслаев, А. Н. Островский, А. Ф. Писемский, А. А. Фет, В. И. Даль... — в общем, весь цвет русской литературы пожелал создать в Москве общественную академию, существовавшую параллельно казенной, петербургской. Идейного единства в обществе не было, но ему предстоя-

ло внести солидный вклад в развитие словесности и изучение русского и других славянских языков.

Из Парижа Толстой внимательно следит за тем, как подвигается в России решение крестьянского вопроса. В одном из писем он возмущается бесконечными отсрочками, пустопорожней говорильней, читает все номера «Колокола», негодует по поводу речи графа Панина, председателя редакционных комиссий, подготавливавших манифест. «Она очень хороша, — пишет он в одном из писем, — особенно ее конец: «Господа, мои двери вам всегда будут отворены, но, к сожалению, я принимать вас не могу». Это напоминает мне, как один начальник, принимая меня и еще несколько человек в комнате, где не было ни одного стула, обратился к нам, делая рукой округлый жест: «Милости прошу садиться, господа!»

Рассказ его очень похож на то, что писалось у Герцена в «Колоколе» по поводу выступления Панина перед депутатами губернских комитетов.

Толстому хорошо работалось в последнее время. В Париже он переделывает «Дон-Жуана» и читает его В. Боткину и бывшему цензору Крузе, получившему возможность поехать за границу на деньги, собранные литераторами. Продолжается нескончаемая доработка «Князя Серебряного». И еще для души он переводит стихотворения Шенье, упиваясь формой, музыкой французских стихов. Ему это доставляет такое же наслаждение, как и Венера Милосская, которой он не раз любовался в Лувре, или «Орфей» Глюка, которого Толстой часто ходит слушать в «Гранд опера». И еще он посещает некое спиритическое общество и не без юмора рассказывает потом, как спириты опубликовали рисунок дома, в котором Моцарт обитает теперь на Сатурне. Вольтер, по их утверждениям, раскаивается в своем былом легкомыслии и во всеуслышание исповедует Иисуса Христа, а Диоген признает, что был весьма суетен, и искренне сожалеет теперь об этом в загробном мире.

Но ирония иронией, а все-таки что-то есть этакое в сеансах Юма, который приезжал к нему в Пустыньку в прошлом году. Теперь вот Юм приглашал Толстого погостить у него в Лондоне...

Толстой готов забивать голову чем угодно, лишь бы не думать о предложении, которое ему сделали через фрейлину Тютчеву — занять какой-то крупный государственный пост, стать едва ли не одним из руководителей III Отделения. Во всяком случае, это можно прочесть

между строк его письма к Болеславу Маркевичу из Парижа. Такое предложение кажется странным и даже невероятным после недоверия, высказанного царем по отношению к литераторам, и к Толстому в частности.

Письмо это (от 20 марта 1860 года) длинное. Тютчева поручила Маркевичу выяснить, согласен или не согласен Толстой с предложением, сделанным через нее царем. И Толстой в письме, упомянув о предложении, старается уйти от прямого ответа, пишет о чем угодно, о своей работе, о спиритах, но только не о «неприятных вещах». Однако уйти от них невозможно, и Толстой наконец, преодолевая отвращение, начинает с пространных рассуждений о том, что каждая личность призвана действовать в пределах своих дарований, а его силы совершенно парализуются, когда речь заходит о той сфере, которую она имеет в виду. Вот, мол, его, Толстого, как она говорит, ценят за искренность. А ведь эту самую искренность всегда лишь терпели. Если Тютчева думает, что он может пойти против себя, то ему остается сказать одно:

«Я говорю и буду повторять, что готов стать на колени перед тем, кто смог бы носить маску ради достижения благородной цели, что готов целовать руку тому, кто сделался бы, например, жандармом ради ниспровержения жандармерии, но для этого потребовались бы *дарования* особенные, которых у меня нет. Хорош был бы я, если бы напялил на себя, к примеру, мундир III Отделения, дабы доказать его нелепость! Да разве есть у меня ловкость, необходимая для этого? Я бы только замарался, никому не принеся пользы».

Вот так! Эта стихия не для Толстого, у него другие дарования. Он шел до сих пор на компромиссы, но теперь будет действовать иначе, совсем не так, как представляет себе мадемуазель Тютчева.

«Скажите ей это, если увидите ее, — надеюсь, она меня поймет. Если мои чувства и мой образ мыслей могли стать известны и выше, я был бы счастлив».

Нам остается только гадать, что это было за предложение и от кого оно исходило. Поскольку оно сделано через фрейлину Тютчеву, можно предположить, что она действовала по просьбе императрицы, а той могли внушить эту мысль Александр Адлерберг, Борис Перовский или Алексей Бобринский, старавшиеся подтолкнуть Толстого на «путь истинный», вовлечь его в дела бюрократические в надежде, что он там увязнет. Но Алексей Константинович оказался несговорчивым. Его не соблазнили

уверения, что он может делать на высоком посту добро. Диким кажется поведение Толстого царедворцам, добивающимся изощренными интригами того, что дается Толстому безо всяких усилий с его стороны. Другое дело, что он старается выразить свой отказ как можно деликатнее. За этим стоит его воспитание и сознание того, что ему желают добра. А как винить людей за доброту? Через год он сделает приписку к одному из писем: «...Лишь бы только эта доброта не была для меня причиной рабства. Цепи — всегда цепи, даже когда они из цветов!»

В июне Толстой, оставив Софью Андреевну в Париже, поехал в Англию, а в августе в английском курортном городке Вентноре на острове Уайте собралось довольно много русских писателей и либеральных общественных деятелей. Среди них были Тургенев, Герцен, Огарев, Анненков, Боткин... Алексей Константинович присоединился к ним и принял живейшее участие в их разговорах и спорах, продолжавшихся несколько недель.

Любопытен этот шаг человека, которому только что предложили занять крупный государственный пост. Впрочем, такова уж была эпоха, когда даже у высокопоставленных чиновников в служебных кабинетах едва ли не на виду лежали экземпляры «Колокола», а лучшие умы предпочитали находиться в оппозиции.

Собравшиеся в Вентноре много говорили о неграмотности крестьянских масс, что казалось препятствием для должного осуществления предстоящей реформы. Возникла мысль основать «Общество для распространения грамотности и первоначального обучения». Тургенев написал проект программы общества. После долгих обсуждений и прений решено было разослать проект влиятельным лицам и виднейшим представителям русской общественности. Судьба проекта была предопределена враждебностью к нему со стороны правительства, которое стало закрывать даже существовавшие воскресные школы.

Герцен уехал из Вентнора еще до выработки проекта. Он все время спорил с Тургеневым, который неодобрительно относился к «славянофильской окраске воззрений Герцена на русский народ».

А через несколько месяцев (24 октября) Тургенев благодарил Герцена за статью «Лишние люди и желчевики». Тургенев отошел от «Современника». В беседах о причинах разногласий с редакцией журнала, к которым то и

дело возвращались собравшиеся в Вентноре, у Тургенева зародился план романа «Отцы и дети», которому предстояло вызвать настоящую бурю...

В «Материалах для биографии» Толстого, составленных А. А. Кондратьевым, а следом за ним у многих комментаторов творчества поэта говорится, что тот прожил в Англии до осени 1860 года. И тотчас сообщается, что в сентябре Толстой вместе с Софьей Андреевной и ее родственниками «обосновался» в Пустыньке, откуда ездил ко двору для исправления флигель-адъютантских обязанностей. Сообщаются даже подробности —всякий раз, когда являлся курьер с извещением о назначении поэта на дежурство, Толстой громко выражал неудовольствие и начинал капризничать. Он привозил из дворца детям всякие лакомства. Докладывая царю о рождении его сына Павла, Толстой якобы получил от обрадованного Александра II в подарок перстень с сапфиром.

Великий князь Павел Александрович действительно родился 21 сентября 1860 года. Однако вызывают сомнение такие факты. Август Толстой провел в Англии, а 11 октября из Лондона он направляет поэту Федору Ивановичу Тютчеву, председателю Комитета цензуры иностранной, письмо с просьбой просмотреть побыстрей посылку с книгами, которая адресована прямо в комитет. Толстому также очень хочется прочесть Тютчеву своего «Дон-Жуана». Месяц с небольшим — слишком малое время, чтобы он мог «обосноваться» в Пустыньке, если в этот срок входит и дорога из Англии в Россию и обратно. И уж никак не вяжется с письмом Тютчеву распространенное утверждение, что Толстой выехал во Францию в ноябре.

Кочуя по Европе, поэт задержался в Дрездене, где жила в то время Каролина Карловна Павлова, внимательно следившая за успехами Толстого на литературном поприще и начавшая переводить «Дон-Жуана» на немецкий язык. Это был родной язык русской поэтессы, дочери профессора физики и химии Карла Яниша, прочно осевшего в России. В девятнадцать лет волей случая она была тепло принята в блестящем салоне Зинаиды Волконской, где познакомилась с Баратынским, Веневитиновым, Шевыревым, Погодиным, а позже с Пушкиным и Мицкевичем, который давал ей уроки польского языка, увлекся ученицей и сделал ей предложение. Однако доб-

родетельные немцы пришли в ужас от возможного брака их дочери с бедняком, да еще стоящим на дурном счету у правительства. Она утешалась умными разговорами с Гумбольдтом, переводами русских стихов на немецкий, дружбой с многими известными поэтами, а в тридцатые годы и сама начала писать по-русски.

Баратынский говорил про поэтессу:

Что́ рифмы, вздор!
Над рифмами смеются.
Уносят их летийские струи,
На пальчиках чернила остаются.

Вышла замуж он ~ будучи уже старой девой, за литератора Николая Филипповича Павлова. Каролина Павлова поспешила открыть собственный салон. В ее особняке на Рождественском бульваре в Москве происходили словесные битвы западников со славянофилами. Здесь читал свои первые стихи студент Фет. Хомяков и Самарин спорили с Герценом и Огаревым, Шевырев с Грановским. Бывали старики М. Н. Загоскин и А. И. Тургенев. Потом появились братья Киреевские и Аксаковы. Высокая худощавая Каролина Павлова величественно читала стихи на всех европейских языках. Гости похваливали ее собственные сочинения, но за глаза посмеивались над ее манерностью. Салон развалился с разорением хозяйки, и причиной тому была страсть к карточной игре ее мужа. Еще Пушкин писал к Нащокину: «С Павловым не играй». От Янишей к московскому генерал-губернатору Закревскому поступила жалоба, и тот приказал произвести у Павлова обыск, но вместо крапленых карт там нашли сочинения Герцена и Долгорукого, «Полярную звезду» и другие «предосудительные» сочинения. За долги Павлов угодил в долговое отделение тюрьмы, «в яму», а в марте 1852 года его выслали в Пермь.

После этого все московское общество отвернулось от Каролины Павловой. По рукам ходили злые эпиграммы Соболевского. Вот начало одной из них:

Ах, куда ни взглянешь,
Все любви могила!
Мужа мамзель Яниш
В яму посадила...

С отцом, матерью и сыном она уехала в Петербург, но холера, унесшая старика Яниша, погнала ее дальше, в Дерпт. По словам Валерия Брюсова, собравшего материалы для биографии Павловой, которые были включены

в дореволюционный двухтомник ее сочинений, именно в Дерпте не то летом, не то осенью 1853 года с ней познакомился Алексей Константинович Толстой. «Она сравнивала себя с пилигримом в пустыне, уже упавшим на песок и умиравшим от жажды, которому встречный путник подал глоток воды», — писал Брюсов. Этим путником был Толстой, который с рыцарским великодушием постарался поднять дух талантливой поэтессы. В Дерпте она написала поэму «Разговор в Кремле», в котором воспевала Россию. Однако в «Современнике» появилась насмешливая рецензия. Павлова уехала из России. Она дружила со знаменитым художником А. Ивановым. В Берлине встретилась со старым остряком Гумбольдтом, сказавшим: «Согласитесь, сударыня, я любезен: я ждал вас тридцать лет. Другой на моем месте давно бы умер».

Каролина Павлова поселилась в Дрездене. Сохранилось письмо Толстого, написанное в этом городе где-то на рубеже 1860 и 1861 годов, поскольку там есть упоминание, что поэт «вчера» забыл что-то у Павловой на столе. Толстой восторгается творческим подходом Каролины Карловны к переводу «Дон-Жуана» на немецкий и даже выучил некоторые переводы своих стихов наизусть. Павлова готовила издание «Дон-Жуана» в Дрездене и просила Толстого написать биографическую справку. Толстой сказал о себе несколько слов, не забыв упомянуть, что в детстве сидел на коленях у Гёте. Написал о том, что уже с 1834 года служит с отвращением. Но об отвращении он советует ей умолчать, «остальное впереди».

Тогда же Павлова написала восторженное стихотворение «Гр. А. К. Толстому»:

Спасибо вам! и это слово
Будь вам всегдашний мой привет!
Спасибо вам за то, что снова
Я поняла, что я — поэт.

За то, что вновь мне есть светило,
Что вновь восторг мне стал знаком,
И что я вновь заговорила
Моим заветным языком...

Толстой сумел поддержать и вдохновить Каролину Павлову еще раз, и очень скоро с пера ее сольются прекрасные и грустные стихи:

Бегут вдоль дороги все ели густые
Туда, к рубежу,

Откуда я еду, туда, где Россия;
Я вслед им гляжу...

Так началось тесное сотрудничество Толстого и Павловой, его непременной переводчицы. Он устраивал ее стихи в русские журналы, выхлопотал пенсию.

19 февраля 1861 года был подписан манифест об отмене крепостного права. Толстой поспешил выехать из Дрездена и уже 5 марта, когда манифест подлежал обнародованию, был в Красном Роге. Он знал, что в Петербурге ожидали беспорядков. Во все губернии были посланы уполномоченные. Генералы неустанно наставляли офицеров, как им действовать в случае, если разразятся бунты. Еще по дороге Толстой видел эти приготовления — суету полицейских, передвигающиеся воинские части, и настроение его портилось с каждым днем. Он ожидал праздника, а дело вроде бы шло к кровопролитию.

Ретивость генералов вызывала раздражение. Заряженные ружья и в самом деле могли выстрелить. 12 марта Толстой написал письмо бывшему цензору Крузе, напомнив ему их споры о спиритизме, Юме, возможности сверхъестественного. Но это лишь повод высказать в фантастической форме свое недовольство происходящим, генеральской, как он считал, глупостью. Письмо его при желании вполне можно было бы подверстать к сочинениям Козьмы Пруткова.

«Как не верить в так называемое сверхъестественное, когда не далее как на прошлой неделе был такой необыкновенный случай в наших краях, что, рассказывая Вам его, я боюсь, что Вы и меня почтете лжецом? А именно: Орловской губернии, Трубчевского уезда в деревне Вшивой Горке пойман был управляющим помещика Новососкина, из мещан Артемием Никифоровым — дикий генерал, в полной форме, в ботфортах и с знаком XXV-летней беспорочной службы. Он совсем отвык говорить, а только очень внятно командовал, и перед поимкой его крестьяне, выезжавшие в лес за дровами, замечали уже несколько дней сряду, что он на заре выходил на небольшую поляну токовать по случаю весны, причем распускал фалды мундира в виде павлиньего хвоста и, повертываясь направо и налево, что-то такое пел, но крестьяне не могут сказать, что̀ именно, а различили только слова: «Славься, славься!» Один бессрочно отпускной, выезжавший также

за дровами, утверждает, что генерал пел не славься, славься! а просто разные пехотные сигналы. Полагают, что он зиму провел под корнем сосны, где найдены его испражнения, и думают, что он питался сосаньем ботфорт. Как бы то ни было, исправник Трубчевского уезда препроводил его при рапорте в город Орел. Какого он вероисповеданья — не могли дознаться. Один случай при его поимке возродил даже сомнение насчет его пола; а именно: когда его схватили, он снес яйцо величиною с обыкновенное гусиное, но с крапинами темно-кирпичного цвета. Яйцо в присутствии понятых положено под индейку, но еще не известно, что из него выйдет».

А вышло вот что.

Толстой решил лично прочесть красноргским крестьянам полученный манифест. Но даже предварительное ознакомление с этим документом, сочиненным митрополитом Филаретом, показало, что он *длинен и невразумителен в части, обращенной к крестьянам.* И в самом деле, когда Толстой надел парадный мундир, вышел на крыльцо своего дома и стал читать манифест собравшимся крестьянам, они слушали молча и недоуменно поглядывали друг на друга.

— Как новое устройство, по неизбежной многосложности требуемых оным перемен, не может быть произведено вдруг, а потребуется для сего время, примерно не менее двух лет, то в течение сего времени в отвращение замешательства и для соблюдения общественной и частной пользы существующий доныне в помещичьих имениях порядок должен быть сохранен доголе, когда, по совершении надлежащих приготовлений...

Толстой оказался прав. В Красном Роге и еще в трех деревнях крестьяне, казалось бы, спокойно восприняли манифест, но про себя решили, что документ *фальшивый.* В одной из деревень крестьяне вскоре сместили старосту и десятника. Хотя Толстому удалось уговорить крестьян не волноваться, он понимал их недовольство и, как показало будущее, решил, не нарушая закона, по возможности удовлетворять крестьянские нужды в покосах и лесе. Тогда же он написал Маркевичу: «Положения, служащие, так сказать, дополнением к манифесту, столь пространны и столь сложны, что черт ногу сломит, и я не сомневаюсь, что во многих местах крестьяне сочтут их чем-то апокрифическим».

Толстой прожил в Красном Роге несколько месяцев. Теша себя надеждой стать хорошим *сельским хозяином,*

он пытался что-то предпринимать, распоряжаться. Указания его выслушивались почтительно, но не выполнялись. Крестьяне часто обращались к нему за помощью, и он никогда не отказывал в ней, защищал их от притеснений приказных крыс и полицейских властей, давал деньги... Наступили новые времена, вступили в силу капиталистические отношения. Изворотливость, прижимистость, умение вкладывать в дело каждую копейку и получать с нее прибыль, каждодневное приращивание своего имущества за счет других правдами и неправдами — все это было чуждо Толстому, исполненному либерального благодушия и благожелательности. И как ни был он богат, состоянию его суждено отныне таять с катастрофической быстротой... Вокруг уже вились дельцы — новые хозяева жизни.

Алексей Константинович ведет оживленную переписку со своими литературными знакомыми. Он весь в творческих планах, он гордится признанием своего таланта и теперь уже хочет избавиться окончательно даже от тех не слишком обременительных служебных обязанностей, которые ему приходилось выполнять время от времени.

Он едет в Петербург. Вот он уже в Петергофе, где тогда находился двор. 26 июля Толстой получает приглашение от императрицы посетить царскую семью на ферме, провести вечер в узком кругу. Однако царь был «холодно милостив» к нему, и Алексей Константинович не решился заговорить с ним об отставке, тем более что многие приближенные императора уверяли поэта в безнадежности его попытки.

«Я хочу предупредить удар и написать ему в Крым. Говорить теперь невозможно», — написал он на другой день Софье Андреевне из Петергофа.

В августе Александр II уехал в Крым отдыхать в Ливадии. Там-то он и получил письмо Толстого, которое, при всех принятых тогда «расшаркиваниях», нельзя не признать смелым и категоричным.

«Ваше величество, долго думал я о том, каким образом мне изложить Вам дело, глубоко затрагивающее меня, и пришел к убеждению, что прямой путь, как и во всем, самый лучший. Государь, служба, *какова бы она ни была,* глубоко противна моей природе. Я сознаю, что всякий в меру своих сил должен приносить пользу своему отечеству, но есть разные способы быть полезным. Способ, указанный мне Провидением, — мое *литературное дарование,* и всякий иной путь для меня невозможен. Я всегда буду плохим военным, плохим чиновни-

ком, но, как мне кажется, я, не самообольщаясь, могу сказать, что я хороший писатель. Это призвание для меня не ново; я бы давно отдался ему полностью, если бы в продолжение длительного времени (до сорока лет) не насиловал себя из чувства долга и уважения к моим родным, которые не разделяли моих взглядов на этот счет. Таким образом, я сперва служил в гражданском ведомстве, а когда разразилась война, я, как все, стал военным. После окончания войны я собирался оставить службу, чтобы всецело посвятить себя литературе, но Вашему величеству угодно было уведомить меня через дядю моего, графа Перовского, о желании Вашем, чтобы я состоял при Вашей Особе. Я изложил моему дяде мои сомнения и колебания в письме, с которым он Вас познакомил, но так как он настаивал на исполнении Вашей воли, я подчинился и стал флигель-адъютантом. Я надеялся тогда победить мою природу — художника, но опыт показал, что я боролся с ней напрасно. *Служба и искусство несовместимы.* Одно вредит другому, и нужно выбирать одно из двух. Конечно, большего одобрения заслуживало бы деятельное участие в государственных делах, но в способности к службе судьба мне отказала, между тем как другое призвание мне дано.

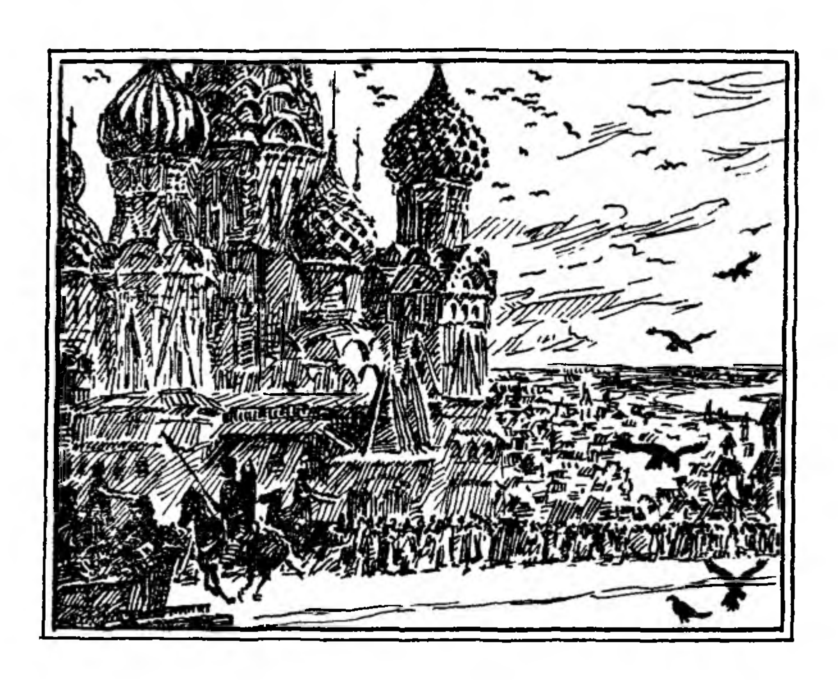
Ваше величество, меня смущает мое положение: я ношу мундир, а связанные же с ним обязанности должным образом исполнять не могу.

Благородное сердце Вашего величества простит мне мольбу окончательно уволить меня в отставку. Я делаю это не для того, чтобы удалиться от Вас, а чтобы идти ясно определившимся путем и перестать быть птицей, наряженной в чужие перья.

Что же касается Вас, государь, которого я никогда не перестану любить и уважать, то у меня есть средство служить Вашей особе: это средство — говорить во что бы то ни стало правду; вот единственная должность, которая мне подходит и, к счастью, не требует мундира...

Гр. А. Толстой».

28 сентября 1861 года последовал указ об увольнении со службы по домашним обстоятельствам с сохранением чина статского советника, который Толстой имел до поступления в полк. Его произвели в егермейстеры, что было необременительно, давало возможность охотиться в царских угодьях и бывать во дворце когда угодно. Той же осенью он был исключен из списков лейб-гвардейского стрелкового батальона.



Глава восьмая
СВОБОДНЫЙ ХУДОЖНИК

Вот и исполнилось то, к чему стремился Алексей Константинович так давно. Ему сорок четыре года, он еще полон сил, в голове теснятся замыслы новых вещей. Поразному описывают его состояние исследователи. Одни подчеркивают социальное значение свершившегося — освободившись от царской службы, теперь он может жить вне общества высшей чиновной бюрократии, чуждой ему по духу. Другие отыскивали в записных книжках варианты перевода стихотворения о Ричарде Львиное Сердце и выделяли стихи: «Он весел душою, он телом здоров; он трубит, поет и смеется». Или: «Привольно дышать на просторе ему, блестят возрождением взоры».

А ведь, по сути, оснований для такой восторженности почти нет. Сам он излишне драматизировал свое былое положение, угнетавшее его скорее морально, поскольку не было такой возможности избегать своих обязанностей при дворе, которой он бы не воспользовался. Уверившись сам и доказав всем, что он настоящий художник, Толстой

понимал, какая ответственность ложится на его плечи после громогласных заявлений о своем призвании. И, пожалуй, нет на свете более тяжкого бремени, чем эта ответственность писателя, поэта, художника перед самим собой и читателями. Требовательность к себе растет вместе с успехом; опытный глаз зорче подмечает недостатки написанного; растет число отвергнутых вариантов; в душу закрадывается страх не оправдать ожиданий читателя, и работа замедляется под гнетом сомнений. Именно это бремя и наваливалось на Алексея Константиновича, порождая постоянное беспокойство, заставляя метаться с места на место...

Но теперь главный источник раздражения — служба при дворе — устранен. Он мог посвятить себя полностью тому, что постепенно созревало в его сознании, — трагедиям на материале эпохи, предшествовавшей Смутному времени. Наброски первой из них — «Смерть Иоанна Грозного» — он возил с собой всюду, но об этой своей работе говорил только в очень узком кругу. У него было ощущение, что он стоит на пороге главного труда своей жизни...

Впрочем, всему свое время. На очереди хроника событий, последовавших за отставкой Алексея Константиновича Толстого, взгляды которого формировались обстоятельствами, не укладывающимися в хронологические рамки.

С тех пор как он наконец получил возможность полностью отдать себя творчеству и заслужил признание читающей публики, он расстался с Козьмой Прутковым. И тем не менее юмор Толстого не только не иссяк, но продолжал проявлять себя и в шуточных стихотворениях для друзей и в его сатирах, получавших самое широкое распространение. Любопытно, что Алексей Толстой нигде не упоминал о своей причастности к созданию Козьмы Пруткова. В воспоминаниях о Толстом, в письмах к нему имя Козьмы Пруткова встречается часто. Писали о прутковской веселости Толстого, о его шутках в духе Пруткова...

Хотя известно, что уже после журнальных публикаций Козьма Прутков был на устах самых выдающихся русских литераторов, Толстой, очевидно, считал свое участие в нем пустячком, не стоившим упоминания. Он и

предполагать не мог второй жизни Козьмы Пруткова, его «посмертной» славы. Впрочем, Толстому хватало собственной славы...

Порой его филиппики против цензуры в письмах принимали форму прутковских афоризмов, но без упоминания самого имени вымышленного поэта, а это говорит о том, что веселая игра не позабыта. Поводом для очередной вспышки «прутковщины» было, например, увольнение Болеслава Маркевича из Государственной канцелярии за бездеятельность в 1860 году, но тот в своем письме к Толстому изобразил дело так, будто начальник канцелярии Бутков преследует его за литературные занятия. Посредственный литератор, но услужливый и веселый человек, Маркевич пользовался неизменным расположением Толстого, который охотно проводил время в его обществе, давал приют и деньги, делился мыслями и заботами в письмах. Он писал о злоключении Маркевича:

«Все люди разделяются на две категории, на преданных и непреданных; остальные различия суть только мнимые; все литераторы, и даже знающиеся с ними, принадлежат к непреданным, стало быть, к вредным. И терпентин на что-нибудь полезен, а литератор ни на что. Преданный человек равняется губке, не испускающей из себя ничего без нажатия. Жать может одно начальство; это право принадлежит ему исключительно. Если у тебя есть моральный фонтан — заткни его. Преданный человек равняется пробке: он охотно затыкает всякое отверстие. Все, чем затыкают отверстия, равняется преданному человеку. Плюнь тому на голову, кто скажет, что просвещение к чему-нибудь служит; но человек может служить в министерстве просвещения, особенно цензором. Благонамеренный цензор! не бери себе в пример Катона. Не старайся понимать своего начальства, его виды необъятны, никто не обнимет необъятного. Обнять Буткова позволяется только в светлое Христово воскресенье, по долгу службы. Бойся обидеть начальника, поднося ему яйцо; он это может принять за личность. Каждый начальник равняется центру, коего периферия неизвестна. Бутков, изгоняя литераторов, равняется Платону. Платон, преследуя поэтов, равнялся Ширинскому-Шихматову. Ковалевский ничему не равняется. Многие равняются Тимашеву».

Алексей Толстой любил поиграть словом, как вот в этих вариациях на темы афоризмов Козьмы Пруткова,

напоминающих в каламбуре о римском «цензоре» Катоне Старшем (который по политическим мотивам исключал достойных людей из сенаторского сословия), или в намеке на идеальное платоновское государство (в нем не нашлось места поэтам, которых, по Платону, следовало бы изгнать) о громадной начитанности поэта.

Творчество Козьмы Пруткова и стихи Толстого, юмориста и сатирика, связаны невидимыми, но прочными нитями. Эта связь в поэтической лихости, в невероятной сатирической меткости. Еще «прутковед» В. Сквозников очень удачно говорил о «словесных (от переизбытка сил!) дурачествах, которыми развлекались веселые аристократы с глубоким народным корнем».

Алексей Константинович был великим ценителем народной речи. Он воспитывал в себе смелость в обращении со словом с детства, внимательно прислушивался к разговорам крестьян, записывал слова и народные выражения, охотно посылая их при случае Владимиру Далю, а о подлинной охоте на сказителей — гусляров и кобзарей — уже говорилось. Как и народ, Толстой не всегда рифмовал свои песни, а если были рифмы, то они, как говорил знаток русской песни А. Востоков, «не с намерением приисканы, а случайно и непринужденно, так сказать, слились с языка».

Весть об отставке Толстой получил в Москве, где 11 ноября в славянофильской газете «День» появилась его песня:

— Государь ты наш батюшка,
Государь Петр Алексеевич,
Что ты изволишь в котле варить?
— Кашицу, матушка, кашицу,
Кашицу, сударыня, кашицу!..

Песня вызвала толки самые разнообразные и дала повод причислить Толстого к славянофилам, считавшим, что начавшаяся при Петре I европеизация сбила Россию с истинного пути. И в самом деле, в песне у Толстого первый русский император крупу для каши достал за морем. «Нешто своей крупы не было?» Своя, мол, была сорная. Петр заварил и месил «палкою» кашу, которую потом пришлось расхлебывать потомкам — «детушкам», и она оказалась «крутенька» и «солона».

Петербургская верхушка была недовольна стихотво-

рением, о чем графиня Блудова сообщила Ивану Аксакову. И тот ответил ей:

— Песня Толстого прекрасна в художественном отношении и может показаться балаганною только важным генералам, утопившим в своей генеральской важности все живое в себе. Кроме того, есть старинная народная песня той же формы...

Слово Толстого действительно «кипело и животрепетало». Оно прочно оседало в памяти. И уже 15 ноября Аксаков писал Толстому:

«Успех Вашего экспромта или песни таков, что начинает пугать и цензоров и меня... Публика подхватила ее, выучила наизусть, увидала в ней намеки на современное положение, на разрешение крестьянского вопроса, — и в восторге. Говорят, третьего дня в Дворянском клубе дворяне то и дело повторяли: «Палкою, матушка, палкою»... Едете ли в Опекунский совет — та же история: чиновники, сдавая деньги, подписывая билеты, твердят про себя: «Кашицу, матушка, кашицу»...

Дворяне, недовольные реформой, считали песню выпадом против правительства. Революционные демократы в той же «палке» видели критику всего царского строя и одобрительно отозвались о песне в «Русском слове». И еще не раз сатиры Алексея Толстого (как и сочинения Козьмы Пруткова) будут истолковывать всяк по-своему. А уж запоминать-то и приводить в своих сочинениях «метко сказанное русское слово» — непременно.

Историк М. П. Погодин в то самое время печатал свой труд «Суд над царевичем Алексеем Петровичем» и не преминул написать «Два слова графу А. К. Толстому в ответ на его песню о царе Петре Алексеевиче»:

«Правду сказали вы, что каша, заваренная и замешенная царем Петром Алексеевичем, крута и солона, но, по крайней мере, есть что хлебать, есть чем сыту быть, а попади Карл XII на какого-нибудь Федора Алексеевича или Ивана Алексеевича, так пришлось бы, может быть, детушкам надолго и зубы положить на полку...»

Впоследствии Толстой никогда не включал этого стихотворения в свои сборники. Что же случилось? Ничего. Просто Толстой не был славянофилом, как не был и западником.

В декабре Алексей Константинович с Софьей Андреевной перебрались в Пустыньку. Роман «Князь Сереб-

рянный» уже написан, и Толстой читает его у императрицы в присутствии сестер Тютчевых, Веневитиновой, А. А. Толстой, Бориса Перовского и других.

Сколько же прошло времени с тех пор, как Толстой взялся за этот труд, оказавшийся таким мучительным? С уверенностью сказать это теперь не может никто. В каком виде был роман, когда он читал его двенадцать лет назад Гоголю?

Толстой возил рукопись с собой всюду, работал урывками, сердился на неровности в стиле и на героя своего, который казался ему «бледнее» всякого первого любовника, глупого и храброго. После войны его любимое детище, как он писал Софье Андреевне, вроде бы было закончено, оставалось только «поработать над героем», заинтересовать читателя характером человека благородного, «не понимающего зла, но который не видит дальше своего носа и который видит только одну вещь за раз и никогда не видит отношения между двумя вещами». Роман или хотя бы главы из него просили для своих журналов Некрасов и Дружинин, но Толстой так и не решился опубликовать что-либо, а тем временем произведение насыщалось народной речью, сказками да прибаутками, не только вычитываемыми в сборниках, но и записанными самим романистом. «Песни сладкие, гусли звонкие, сказания великие» зазвучали в романе с новой силой. Притчи, былины, апокрифы, загадки, плачи, заговоры — чего только не использовано в речи персонажей! Это целая энциклопедия старинной русской словесности и фольклора. Источников, прочитанных Толстым, не счесть. Письмо царя Алексея Михайловича начальнику соколиной охоты, летописи, старинный «Судебник», «Голубиная книга», «Сказания русского народа», «Песни русского народа», «Русские народные сказки», собранные И. П. Сахаровым, — это лишь малая часть того, что держал Толстой в своей великолепной памяти. Отчетливо чувствуешь удовольствие, с которым Алексей Константинович выписывал разговор разбойников Перстня и Коршуна, притворившихся слепыми муромскими сказочниками, с царем Иваном Грозным.

— А есть еще у вас богатыри в Муроме? — спрашивает царь.

«Как не быть! Этот товар не переводится; есть у нас дядя Михей: сам себя за волосы на вершок от земли подымает; есть тетка Ульяна: одна ходит на таракана».

Или вот еще их прибаутки:

«Это, вишь, мой товарищ, Амелька Гудок; борода у него длинна, а ум короток; когда я речь веду скромную, не постную, несу себе околесную, он мне поддакивает, потакает да посвистывает, похваляет да помалчивает. Так ли, дядя, белая борода, утиная поступь, куриные ножки; не сбиться бы нам с дорожки!

— Вестимо так! — подхватил Коршун... — Наша чара полна зелена вина, а уж налил по край, так пей до дна! Вот как, дядя петушиный голосок, кротовое око; пошли ходить, заберемся далеко!

— Ай люли тарарах, пляшут козы на горах! — сказал Перстень, переминая ногами, — козы пляшут, мухи пашут, а у бабушки Ефросиньи в левом ухе звенит!..

— Ай люлюшеньки-люли! — перебил Коршун, также переминая ногами, — ай люлюшеньки-люли, сидит рак на мели; не горюет рак, а свистит в кулак; как прибудет вода, так пройдет беда!»

И не простые это прибаутки, не ради красного словца говорятся — за каждой тайный смысл, понятный разбойникам и... читателю, но не царю.

И как тут не вспомнить слепцов, которым так обрадовался Толстой в Погорельцах. Тогда он вернулся на несколько месяцев к роману, «но не кончил его — недоставало душевного спокойствия». Собрался было через несколько месяцев предложить Погодину главу из романа в сборник «Утро», однако потом извинился: «Мой роман доселе не подчищен и не может выступить в свет в неприличном виде, даже и отрывком. Тысячи мелочей помешали мне им заняться».

20 марта 1860 года Толстой сообщает Маркевичу, что вторая часть «Князя Серебряного» закончена, но обнаружилось, что она отличается по стилю от первой, и надо снова работать. Он начинает беспокоиться о том, как цензура отнесется к образу грозного Ивана Васильевича. Меньше тревожили его анахронизмы, которые он допустил в романе, несмотря на свою добросовестность в изучении исторического материала. События надо было сконцентрировать, и потому он подверг казни Вяземского лет на пять раньше, чем это было на самом деле. Придется анахронизмы оговорить в предисловии. Отрезал же Гёте голову своему Эгмонту на двадцать лет раньше срока...

И вот дошла очередь до предисловия к роману, до извинений в допущенных анахронизмах. Длительную же работу свою он объясняет так:

«В отношении к ужасам того времени автор оставался постоянно ниже истории. Из уважения к искусству и к нравственному чувству читателя он набросил на них тень и показал их по возможности в отдалении. Тем не менее он сознается, что при чтении источников книга не раз выпадала у него из рук и он бросал перо в негодовании не столько от мысли, что мог существовать Иоанн IV, сколько от той, что могло существовать такое общество, которое смотрело на него без негодования. Это тяжелое чувство постоянно мешало необходимой в эпическом сочинении объективности и было отчасти причиной, что роман, начатый более десяти лет тому назад, окончен только в настоящем году».

В конце лета и осенью 1862 года роман наконец увидел свет на страницах журнала «Русский вестник» с таким вот предисловием. Как видим, Толстой не торопился с публикацией того, над чем он работал «с тщанием и любовью». Любопытны его письма, поступавшие к издателю М. Н. Каткову в июле едва ли не каждый день. Тогда роман набирался, и автор очень беспокоился о том, чтобы корректура была поручена человеку, знакомому с древним русским языком и, по его выражению, с археологией. А то как бы наборщики не стали исправлять «богачество» на «богатство» или «печаловаться» на «печалиться», как это сделал переписчик. «Это может изменить не только характер речи, но и исказить смысл».

Что же касается цензурных «придирок», то тут он был непреклонен — либо не менять в романе ни строчки, либо он забирает рукопись. «Если стыдливо-верноподданнические чувства цензуры» будут покороблены, то он согласен, чтобы переменили единственное место в предисловии — это об обществе, которое смотрело на Ивана Грозного «без негодования». Видимо, Толстому сказали при дворе, что здесь может быть усмотрен намек, способный возбудить недоброжелательство читателей и к нынешнему царствующему дому.

Становится понятным, почему Толстой начал обнародование романа с чтения его при дворе. 26 июля он написал Каткову: «Если сильный авторитет может иметь влияние на цензуру, то скажу Вам, что императрица два раза слушала чтение Серебряного в присутствии государя». Тактический ход оказался верным — цензура притихла, и это, кажется, был последний и единственный раз, когда Толстому не досаждали при публикации его крупных произведений.

Интерес к предстоящему появлению романа был всеобщим. Достоевский обратился через Полонского к Толстому с просьбой дать роман для издававшегося им тогда журнала «Время». Толстой поблагодарил Достоевского, но соглашения с Катковым нарушить не мог.

«Русский вестник» был нарасхват, романом зачитывались, имя Толстого склонялось на все лады. Пожалуй, это был один из первых случаев, когда серьезным литературным произведением увлеклась не только «публика», но и народ *.

Друг юности князь Барятинский снобистски заявил, что внимание к Толстому незаслуженно, а роман пустой. В свете вообще были недовольны «Князем Серебряным» и упрекали автора за легкий и популярный склад романа. Иные даже говорили, что Толстой написал сочинение для чтения лакеев. А тот запальчиво отвечал:

— Я бы считал себя счастливым, если бы «Князя Серебряного» читали лакеи, которым у нас до сих пор и читать нечего!

Вскоре Алексей Константинович с Софьей Андреевной уехали в Дрезден, и оттуда Толстой просил Якова Петровича Полонского не лениться и писать, что говорят в поддержку романа или против него. «Были ли какие-нибудь критики и в чем они заключались и в каком именно журнале? Для моего отеческого сердца это очень интересно. Особенно полезно и любопытно для меня было бы знать осуждения и даже брань, как бы она ни была жестка, справедлива или несправедлива».

Необыкновенный успех романа вызывал досаду не только у великосветского общества. «Современник» поместил рецензию Салтыкова-Щедрина, который, замаскировавшись под отставного учителя, некогда преподававшего российскую словесность в одном из кадетских корпусов, ядовито прошелся по страницам сочинения «любезного графа». Ах, как не вспомнить благословенные вре-

---

* Уже в 1863 году роман инсценировали, но постановку запретили. Потом по мотивам «Князя Серебряного» были написаны десятки пьес в стихах и прозе, однако большинству их цензура не дала увидеть сцены. На сюжет романа создано четыре оперы. Премьера последней из них, написанной П. Н. Триодиным, состоялась в театре Моссовета силами артистов «Свободной оперы» С. И. Зимина в 1923 году, и с тех пор «Князь Серебряный», издававшийся десятки раз, почему-то больше ни разу не инсценировался и обделен вниманием кино, хотя по стремительному сюжету и фактуре своей он словно бы создан для экрана.

мена Загоскина и Лажечникова, когда герои были так благородны, героини прелестны, а само действие романов развивалось в соответствии с давно известными прописями изящной словесности, с завязками и развязками. Как нынешние писатели пишут? Бросят невразумительную фразу, а читатель сам догадывайся, что герои делали, «что в тот день обедали, сколько времени жили и как умерли». А тут все выписано с чувством, с толком, с расстановкой. Чистых никак не спутаешь с нечистыми, и слог сочинения совершенно «жемчужный». Что же касается «внутреннего содержания» романа, то тут Толстому припомнил рецензент и его слова о том, что «не бывать на земле безбоярщины». Салтыков-Щедрин счел это едва ли не защитой дворянских привилегий, которые совсем недавно отстаивались «Редакционными комиссиями». (Так воспринялось стремление Толстого показать сущность тирании. Он и сам осуждал, как мы помним, деятельность Панина, но сатирику нужна была трибуна для высказываний на злобу дня.) Или вот пример «истинно национального юмора» — Михеич влепил опричникам по полсотенке нагайками. Ишь какое незлобивое времяпрепровождение! Без него и романа бы не было. А сколько в романе всяких чудес, извлеченных из старинных книг, какие только кушанья не подаются к столу и т. д. и т. п. «Князя Серебряного» можно сравнить лишь со знаменитым романом французского писателя Густава Флобера, вышедшим в прошлом году. Тот удалился в древний Карфаген и рассказывал, что там едали, Толстой же показывает «обжорное московское великолепие».

Критики в те времена изъяснялись, не стесняясь, не выбирая выражений. Вспомним, как бичевал Писарев «глуповского балагура», считая, что и тот удаляется от действительности, погружается в историю, становясь едва ли не «новейшим жрецом чистого искусства».

А между тем интерес к истории был огромен. Как никогда выходило много исторических сочинений. У определенной части русских литераторов, погруженных с головой в современность, это вызывало раздражение. А. Ф. Кони рассказывал, как он встретил на улице Некрасова и в разговоре коснулся исследований об Иване Грозном и его царствовании как о благодатном историческом материале для литературы.

«Эх отец! — сказал Некрасов (он любил употреблять это слово в обращении к собеседникам). — Ну чего ис-

кать так далеко, да и чего это всем дался этот Иван Грозный! Еще и был ли Иван-то Грозный?..» — окончил он смеясь».

В «Отечественных записках» сперва похвалили Толстого за «изящную отделку», поставив его в пример некоторым современным писателям, которые, несмотря на «общее благородство направления», торопятся высказаться, пренебрегая формой. «Г. Плещеев напишет свои «Житейские сцены», а Щедрин еще раз вынесет сор из своего города Глупова». Рецензент опрометчиво утверждает, что для писания всех этих сцен не нужно никакого изучения жизни, никакого знания. Нужна лишь отговорка, что «дело важнее искусства». Все торопятся, хватают носящиеся в воздухе идеи, говорят: «Настоящее нужнее прошедшего; прошедшее отжило, настоящее полно значения; исторический роман — забавляющая сказка; современная повесть — необходимая правда...» А масса жадно бросается читать об этом прошедшем. Доказательство — «Князь Серебряный». Его читали все сословия, все возрасты, «читали из желания знать, думать, научиться, обновить в памяти далекое для уразумения близкого... Народ начал новую жизнь, покажите ему старую; вот одна из причин любопытства, и вполне понятная». Толстой попытался это сделать, и не бездарно. Но... Далее рецензент на десятках страниц подробнейше разбирает недостатки романа.

Критиковали роман «Голос» и «Время», которые объявили, что «Князь Серебряный» весьма скоро будет забыт.

Прошло сто с лишним лет, а читательский интерес к роману не утрачен. Живой патриотический интерес к истории родины, благородство побуждений Толстого, его талант, искренность, любовное изображение лучших черт русского человека и отвращение к русским же негодяям, умение увлечь воображение читателя порука тому, что предсказаниям критиков не суждено исполниться.

Весну и часть лета 1862 года Алексей Константинович и Софья Андреевна провели в Пустыньке, где Толстой написал вчерне первые два акта трагедии в стихах «Смерть Иоанна Грозного».

В Пустыньку к ним наведывались знакомые из Петербурга, благо поездом ехать было всего лишь до Саблина, второй станции от столицы, а там их ждал с экипажем

кучер Кирила. Из майского приглашения Тургеневу, написанного все той же экономной «назывной прозой», следует, что в Пустыньке есть много хорошего, а именно: «рвы, потоки, зелень, комнаты с привидениями, хроники, старая мебель, садовник с необыкновенно крикливым голосом, древнее оружие, простокваша, шахматы, иван-чай, мисс Фрейзер, купальня, ландыши, старые, очень подержанные дроги, я, Владимир Жемчужников, сильно стучащие столы, тихое место, Софья Андреевна, Моцарт, Глюк, Спиноза, два петуха и три курицы, розбиф, Полонский, распускающаяся сирень, опасный мост, прочный мост, брод, бульон, три английские чернильницы, хорошие сигары..., фаянсовый сервиз, экономка Луиза, желающая выйти замуж, свежие яйца, издание древностей Солнцева, Андрейка, комары, кисея, кофей, слабительные пилюли, природа и пр.».

В июне Ивана Аксакова за отказ назвать корреспондента, напечатавшего в «Дне» статью под названием «Рига», которая вызвала неудовольствие Александра II, отстранили от редактирования газеты. Толстой пытался вступиться за него, но не преуспел в своей роли «говорителя правды». Редактирование по возобновлении выпуска газеты перешло к Самарину, а Иван Аксаков вернулся к своим обязанностям лишь в следующем году.

Неизвестно, имело ли успех и еще одно ходатайство Алексея Константиновича. Он прихворнул и потому не мог лично довести до сведения царя то, что считал делом, не терпящим отлагательства. Сохранилось его письмо Александру II. Что же сообщал царь Алексей Толстой?

В Новгороде затевается реставрация древней каменной стены, не имеющая ничего общего с данными археологии. В Новгороде же великий князь Михаил высказал намерение построить церковь в честь своего святого, и местные власти ничтоже сумняшеся снесли Михайловскую церковь, воздвигнутую в XIV веке, чтобы освободить место для новой. А в Пскове разрушают стену знаменитого Крома, собираясь поставить на ее месте другую, в псевдостаринном вкусе. В Изборске памятники уродуют всякими пристройками.

«Древнейшая в России Староладожская церковь, относящаяся к XI веку (!!!), была несколько лет тому назад изувечена усилиями настоятеля, распорядившегося отбить молотком фрески времен Ярослава, сына святого

Владимира, чтобы заменить их росписью, соответствующей его вкусу».

Да что там! Шесть лет назад на глазах самого Толстого в Москве снесли древнюю колокольню Страстного монастыря, и она рухнула на мостовую, как поваленное дерево, — ни один кирпич не отвалился, настолько прочна была старинная кладка. И это было только начало...

Особенно огорчали Алексея Константиновича утраты построек времени Ивана Грозного. Снесли церковь Николы Явленого на Арбате — еле удавалось железными ломами отделять кирпичи друг от друга.

В «Князе Серебряном» у Толстого есть эпизод, навеянный старинным преданием. Лучший кречет царя Ивана Грозного по прозванию Адраган улетел неизвестно куда. Царь повелел сокольнику Тришке отыскать Адрагана, а не найдет — голова с плеч... Шесть дней Тришка искал белого кречета, плакал, плакал, да с горя и заснул в лесу. И явился будто бы ему во сне святой Трифон в образе молодого воина и сказал: «Трифоне! Не ищи здесь Адрагана. Встань, ступай к Москве, к Лазареву урочищу. Там стоит сосна, на той сосне сидит Адраган». Все так и исполнилось. А сокольник Тришка дал обет построить церковку. Стояла эта прелестная церквушка Трифона Напрудного между Бутырской и Крестовской заставами, и Алексей Константинович не раз любовался ею.

А что же ныне? «Ее облепили отвратительными пристройками, заново отделали внутри и поручили какому-то богомазу переписать наружную фреску, изображающую святого Трифона на коне и с соколом в руке».

Есть еще три здания в Москве, за которые Толстой «дрожит». Всякий раз, бывая в старой столице, он заглядывает в церковь Рождества Богородицы в Путинках, в церковь Грузинской Божьей Матери и в Крутицкий монастырь. Видя затевающиеся разрушения и переделки, он спрашивал у настоятелей, на каком основании наносятся эти увечья, уничтожается старинная церковь.

— Доброхотные датели того за свои деньги желают, — отвечали ему.

И с презрением прибавляли:

— О прежней нечего жалеть, она была старая!

Толстой пишет царю:

«И все это бессмысленное и непоправимое варварство

творится по всей России на глазах и с благословения губернаторов и высшего духовенства. Именно духовенство — отъявленный враг старины, и оно присвоило себе право разрушать то, что ему надлежит охранять, и насколько оно упорно в своем консерватизме и косно по части идей, настолько оно усердствует по части истребления памятников.

Что пощадили татары и огонь, оно берется уничтожить. Уже не раскольников ли признать более просвещенными, чем митрополита Филарета?

Государь, я знаю, что Вашему величеству не безразлично то уважение, которое наука и наше внутреннее чувство питают к памятникам древности, столь малочисленным у нас по сравнению с другими странами. Обращая внимание на этот беспримерный вандализм, принявший уже характер хронического неистовства, заставляющего вспомнить о византийских иконоборцах, я, как мне кажется, действую в видах Вашего величества, которое, узнав обо всем, наверно, сжалится над нашими памятниками старины и строгим указом предотвратит опасность их систематического и окончательного разрушения...»

Толчком к этому протесту, выражавшему давние наблюдения и размышления Толстого, была поездка Костомарова, «любезного, хорошего, доброго и милого Николая Ивановича», как называл его в письмах Алексей Константинович. Комментаторы сочинений Толстого относят письмо с примерами «беспримерного вандализма» к краткому пребыванию его в Петербурге в сентябре 1860 года, потому что Костомаров побывал перед этим в Пскове и Новгороде, но в июне — июле 1862 года он совершил туда же вторую поездку.

После смерти матери и примирения с отцом Алексей Константинович стал бывать в доме своего родного дяди художника Федора Петровича Толстого, где по средам собирались художники и писатели и где с восторгом приняли по возвращении из ссылки Шевченко и Костомарова, которому с 1859 года было разрешено читать лекции в Петербургском университете. Актовый зал был всегда битком набит, когда невысокий, сутуловатый, то и дело поправляющий привычным жестом очки профессор всходил на кафедру. Костомаров читал лекции, почти не заглядывая в свои записки, говорил колоритно, рассказывал о людях, живших много столетий тому назад, словно о своих близких знакомых, любовно, заставляя плакать и

смеяться молодую аудиторию, провожавшую его всегда таким громом аплодисментов, что дрожали стекла.

Сперва он наотрез отказался знакомиться с «графами», но Шевченко уговорил его не «фордыбачить», и Костомаров зачастил в дом Федора Толстого.

Позже он писал о Кирилло-Мефодиевском кружке, за участие в котором был арестован вместе с Шевченко: «Взаимность славянских народов в нашем воображении не ограничивалась уже сферою науки и поэзии, но стала представляться в образах, в которых, как нам казалось, она должна была воплотиться для будущей истории. Помимо нашей воли стал нам представляться федеративный строй как самое счастливое течение общественной жизни славянских наций... Во всех частях федерации предполагались одинакие основные законы и права, равенство веса, мер и монеты, отсутствие таможен и свобода торговли, всеобщее уничтожение крепостного права и рабства в каком бы то ни было виде...»

Сосланный в Саратов, Костомаров написал «Богдана Хмельницкого» и «Бунт Стеньки Разина», изучал народную жизнь во всех ее проявлениях и во все века. История Московского государства рисовалась ему в более мрачных красках, чем у славянофилов и даже у С. М. Соловьева, и в этом они вполне сходились с Алексеем Толстым.

Своеобразно понимая историю, Шевченко часто спорил с Костомаровым, шумел, бегал по комнате. Костомаров говорил спокойно:

— Нет, ты постой! Скажи, откуда ты это берешь? Из каких источников? Тарас, я тебе говорю вещи, доказанные в книгах...

— Да боже ж мий милый! Шо мени з твоих источникив!.. Брешешь ты, та и годи!

Грузный и добродушный украинец Хома, слуга Костомарова, ходил за хозяином как за ребенком. Толстые называли его «верным Лепорелло», хотя историк никак уж не походил на Дон-Жуана.

Неизменно теплые отношения с историком Алексей Константинович сохранял всю жизнь. Костомаров любил писать шутливые письма на стилизованном под древнерусский языке, и Толстой отвечал ему такими же письмами. Вот как Толстой приглашал Костомарова приехать погостить в Пустыньку:

«Муже доблий и маститый!

Благоуханные, кабы миррою пропитанные речи твои,

мудрыми каракули изображенны, приях и вразумих, и тако в грядущий день субботний, иже в девятый час, обрящеши в Саблине зимний воз на полози, глаголемый сани... Вси биют ти челом и ждут тя, аки сына блудна и манну небесну. Престани же пасти порося твоя и воротися во храмину, для тя изготовленну.

Худый, окаянный и блудный раб твой и скверно-словец

Алексий.

Пустынище, в день, глаголемый
среда, солнцу зашедшу».

И как тут не вспомнить концовку «Истории государства Российского от Гостомысла до Тимашева», которую написал примерно в то же время, что и приглашение Костомарову, «худый смиренный инок, раб божий Алексей».

Костомаров был антинорманистом и выводил Варягов-Русь не из Скандинавии, а из Жмуди. Толстого же считают норманистом на том основании, что его «История...» начинается с такого рассуждения о варягах:

Ведь немцы тороваты,
Им ведом мрак и свет,
Земля ж у нас богата,
Порядка в ней лишь нет.

Он заставляет Рюрика с братьями говорить на современном немецком солдафонском языке, как и Святослава с Владимиром.

Что Толстой был человеком остроумным — общеизвестная истина. Но юмористом, в нынешнем понимании этого слова, его никак не назовешь. Алексей Толстой в нашей литературе явление уникальное. В его сатирах веселая игра словом, блеск литературный сочетается с удивительной меткостью и глубиной мысли.

И опять же, как и в сочинениях Козьмы Пруткова, сатира его имеет много доньев. Остроумные и подчас злые характеристики русских монархов лежат на поверхности. Привлекая видимой разоблачительной язвительностью, они сделали «Историю» одним из самых популярных произведений своего времени. Она ходила по рукам в невероятно большом количестве списков, так как не могло быть и речи о представлении ее в цензуру из-за кажущегося отсутствия каких бы то ни было иносказаний.

Но в том-то и дело, что иносказания были. За наро-

читой легкомысленностью и задорным ритмом стихов трудно углядеть насмешку не над историей своего народа, а над самими историками. Имя им легион. От официально-фундаментальных ученых с их елейно-скучными характеристиками до злорадных выкапывателей очернительных фактиков, в которых будто бы и заключалась историческая истина.

Алексей Толстой не задыхался от злобы, не выискивал фактики, чернящие народ, не перечеркивал прошлого. Он говорил как свой среди своих. Русский человек, если он и осуждал предков, то с надеждой, что это будет уроком на будущее. Что бы там ни говорили, он был человеком своего времени, и сатиры его были современными и своевременными.

На его глазах развертывались чернильные битвы норманистов и антинорманистов. Но не будем вникать в сотни томов, доказывавших, что Рюрик был скандинавом-немцем, литовцем, прибалтийским славянином... (Последнее для Толстого, судя по некоторым интересовавшим его фактам, было само собой разумеющимся.) Взглянем на послепетровских российских монархов, по крови и духу совершенных немцев. Так отчего бы и Рюриковичам не заговорить рублеными немецкими фразами, исподволь напоминая о тех временах, когда

Ходить бывает склизко
По камешкам иным,
Итак, о том, что близко,
Мы лучше умолчим.

Давно уже замечено, что Толстой добивался комического эффекта употреблением современных бытовых словечек в нарочито торжественной речи. Это совсем уж сплетало историю со временем Тимашева, ставшего министром внутренних дел, и барона Ивана Осиповича Велио, директора почтового департамента, заглядывавшего в чужие письма.

Шутки шутками, а в насмешках над историками и современными Толстому министрами проглядывала еще и боль поэта за русское неумение процветать, несмотря на природные богатства огромной страны, трудолюбие ее народа, обилие светлых умов.

Однако вернемся к профессору Костомарову, который, судя по письмам Толстого, не раз помогал ему в изучении исторических материалов и оценке уже написанного с научной точки зрения. И к антинорманистским взгля-

дам Костомарова, который в 1860 году напечатал в «Современнике» статью «О начале Руси» с эпиграфом из литовской песни: «Выбежали, выбежали двое молодых пловцов из села Руси... О Русь село: там растет цветочек, куда мое сердце стремится!» Он вспомнил Ломоносова, выводившего варягов из славян, вспомнил академиков-немцев, изощрявшихся в доказательствах нерусского происхождения Рюрика. Задел он и Погодина с его книгой «Норманнский период русской истории». Погодин вызвал Костомарова на дуэль, но не стреляться предлагал, а спорить публично. Сейчас даже трудно поверить, какой ажиотаж вызвало это событие. О готовящемся диспуте вели переписку министры. Две тысячи билетов были расхватаны за несколько часов. В сенях Петербургского университета, где продавали билеты в пользу нуждающихся студентов, вскоре их перекупали уже по пятидесяти рублей. П. А. Вяземский и В. Ф. Одоевский и те проникли 19 марта 1860 года в зал «по знакомству» и пристроились кое-как. Давка была страшная. Толпы безбилетных осаждали университет. Во вступительном слове ректора университета П. А. Плетнева прозвучало удивление по поводу такого интереса у молодого поколения «к предмету самому темному и неопределенному», неспособному, казалось бы, вызвать ничего, кроме скуки.

Наступала зрелость русского общества, желавшего познать себя и свое прошлое. Публика шумела, разражалась неистовыми аплодисментами при репликах «дуэлянтов», порой заглушая и саму дискуссию. Костомаров брал верх.

Михаил Петрович Погодин устало сказал:

— Уступите мне хоть то, что норманны были каплей вина в славянском стакане; она все-таки как ни мала, а весь стакан окрасит.

— Капля вина не окрасит славянское море, — ответил Костомаров.

— Уступите же мне хоть эту каплю, у меня гомеопатические требования.

— Я не верю в гомеопатию.

Под конец Погодин воскликнул:

— Да здравствует Русь, от кого бы она ни происходила!

Студенты на руках вынесли «дуэлянтов». Долго еще в журналах гремели отклики на этот диспут. Чернышевский выступил против Погодина.

В декабре 1861 года Петербургский университет из-за студенческих беспорядков был закрыт, а за семь дней до этого Костомаров писал: «Университет стал для меня невыносим так же, как прежде я любил его. Помилуйте: аресты повторяются, шпионы шныряют между студентами, и каждое неосторожное слово передается в III Отделение...»

В Дрездене, основательно устроившись с осени 1862 года на Каролаштрассе, 8, Алексей Константинович погрузился в работу над трагедией «Смерть Иоанна Грозного», первые акты которой нахваливала и уже собралась переводить Каролина Павлова, сказавшая как-то, что Толстой *на Ваньках выезжает,* с чем тот охотно согласился: «Имя «Иван» — нечто вроде плодоносной почвы для меня: св. Иоанн-евангелист (из «Грешницы». — *Д. Ж.*), св. Иоанн Дамаскин, Иван Грозный и, наконец, Дон Джованни (Дон-Жуан. — *Д. Ж.*)».

Как бы Толстой ни защищался от нападок на «Князя Серебряного», в душе он понимал, что в этом романе Иван Грозный изображен односторонне. Романиста подавлял авторитет Карамзина. Он не понимал исторической необходимости укрепления царской власти. Возмущался излишней жестокостью Ивана Грозного, от которой простой народ страдал не меньше бояр.

Но неужели не надоела ему растянувшаяся более чем на десятилетие попытка создать «изображение общего характера целой эпохи»? Почему он обратился вновь к XVI столетию? Это очень трудно — возвращаться к думаному-передуманому, хотя, казалось бы, все под рукой: и знание эпохи, и представление о характерах исторических лиц. Другой бы все бросил и занялся делом, сулящим новые впечатления, новые открытия. Но Толстой был человеком упорным. Он вернулся к прежней теме, переборол в себе возникшее было отвращение к тому, что уже навязло на зубах. Но он не стал перерабатывать для сцены «Князя Серебряного», а задумал историческую трагедию.

Толстой вовсе не собирался следовать примеру Сумарокова, Княжнина, а тем более сонма русских драматургов, которые, подобно Озерову или Кукольнику, создавали ходульно-величавые трагедии, изгнанные со сцены окрепшей натуральной школой. Но верный своему принципу говорить и действовать вопреки господствующему

мнению, он взялся за историческую трагедию как за нечто, доказывающее его приверженность «чистому искусству», независимому от решения животрепещущих вопросов.

Другое дело — что у него получалось. И как бы потом ни толковались трагедии Толстого (семь лет жизни отдано будет трилогии), принципы его удивительно созвучны мнению Пушкина, отрицательно относившегося к французской современной трагедии, в которой какой-нибудь римский Тиберий шестистопными стихами намекает на мысль, заложенную в передовицу вчерашней парижской газеты.

В первых двух действиях уже лежит начало всех конфликтов, намечены все характеры, которые получат полное развитие не только в «Смерти Иоанна Грозного», но и в двух других трагедиях трилогии, что позволяет думать о раннем и далекоидущем, но пока потаенном замысле Толстого.

Видимо, Толстой с самого начала решил не быть историческим буквалистом. Он «сжимал в небольшое пространство» множество событий, давал свое толкование характерам исторических лиц, потому что именно так, по его мнению, лучше раскрывалась правда истории, не говоря уже о главном — единстве и гармонии самого произведения, о его воздействии на зрителя, о чем драматург заботился с первых же стихов трагедии. Позже он скажет:

«Поэт же имеет только одну обязанность: быть верным самому себе и создавать характеры так, чтобы они сами себе не противоречили; *человеческая* правда — вот его закон; *исторической* правдой он не связан. Укладывается она в драму — тем лучше; не укладывается — он обходится и без нее. До какой степени он может пользоваться этим правом, признаваемым за ним всеми эстетическими критиками, начиная от Аристотеля до Рётчера и Белинского, — это дело его совести и его поэтического такта». Сказано слишком резко и неточно — речь идет лишь о праве художника на анахронизмы, на домысливание фактов, а не об исторической правде...

Действие трагедии происходит в 1584 году, но начинается она с желания царя отречься от престола, а это событие, как и убийство сына, как и осада Пскова, произошло тремя годами ранее... Не будем перечислять анахронизмы и художественные вымыслы Толстого... Может быть, стоило бы только сказать, как Толстой выдвигает сразу же на первый план умного и дальновидного Годуно-

ва, которому предстоит проявить себя самым активным образом во всех трех трагедиях. И еще. Толстого обычно упрекают в том, что он, решая темы «в индивидуально-психологической плоскости», мало уделяет внимания народу и его роли в истории. Это верно. Но если у Пушкина отрицательное отношение народа к происходящим в «Борисе Годунове» событиям усматривают в реплике: «Народ безмолвствует», то у Толстого во втором же действии народ становится слепым орудием различных политических сил, использующих его недовольство в своих интересах.

Боясь усиления влияния Годунова, бояре сговариваются извести его, и Михайло Нагой говорит:

Теперь у нас везде, по всей Руси,
Поветрие и хлебный недород.
Уж были смуты: за Москвой-рекой
Два бунта вспыхнуло. В такую пору
Народ озлоблен; рад, не разбирая,
Накинуться на первого любого.
От нас зависит время улучить
И натравить их в пору на Бориса!

Толстой полон сочувствия к простым людям, но он не видит никакой возможности, чтобы они сами могли улучшить свою участь, поскольку возглавить толпу способна только личность, а ему трудно представить себе личность, не преследующую в политике эгоистических интересов. Немало героев наделено им благородными качествами, но при этом все они оказываются неспособными к государственной деятельности. «Такие люди, — скажет Толстой, — могут приобрести восторженную любовь своих сограждан, но они не созданы осуществлять перевороты в истории».

Вот уже двенадцать лет они живут вместе, а еще не венчаны. Кажется, вечность прошла с их встречи на бале-маскараде, но они не замечали перемен друг в друге. Софья Андреевна ворчала на Алексея Константиновича за то, что он без конца курит свои толстые пахучие сигары и дым слоями висит до утра в его рабочем кабинете. В такие ночи Софья Андреевна тоже не спит, читая запойно в своей постели.

Если на Каролаштрассе, 8 заглядывал кто-либо из старых друзей, в глаза ему бросалась разительная перемена во внешности Алексея Константиновича. Он погруз-

нел, от прежнего румянца не осталось и следа — лицо стало землистым, черты его словно бы отяжелели, укрупнились, под глазами напухли мешки. Он болел, тяжко болел. У него и прежде бывали головные боли. Ныла нога, что не позволило в свое время совершить вместе с полком поход до Одессы. Но теперь, казалось, разладилось все — словно огнем прожигало желудок. Толстого часто тошнило и рвало. Были приступы удушья, появились боли в области сердца...

Опытные немецкие врачи часто навещали его, качали головами и писали рекомендательные письма к коллегам — кто в Шлангенбад, кто в Карлсбад, к целебной воде которого и знаменитому тамошнему профессору Иосифу Зегену поэт будет возвращаться до конца своей жизни.

Из Дрездена они с Софьей Андреевной наезжали в другие немецкие города в ту зиму. Побывали в Берлине, где познакомились с историком Шлейденом, политиком Дункером и писателем Ауэрбахом, который издал пятитомное собрание сочинений Спинозы в своем переводе и нашел в Бахметевой большую почитательницу этого философа.

Да, Софья Андреевна снова стала Бахметевой, так как бракоразводный процесс ее с Миллером закончился. Теперь они с Алексеем Константиновичем могли обвенчаться, что и сделали в дрезденской православной церкви, стоящей неподалеку от вокзала Нойштадт и поныне.

Событие это имело место 3 апреля 1863 года при весьма небольшом стечении народа. Шаферами на свадьбе Толстого были специально приехавшие Николай Жемчужников и Алексей Бобринский. Известно еще, что в Дрездене в то время находился Анатолий Гагарин, племянник старого знакомого Толстых, генерал-майора и вице-президента Академии художеств князя Григория Гагарина, прославившегося своими рисунками, сделанными на Кавказе, росписью Сионского собора в Тифлисе и созданием при академии музея древнехристианского искусства. Он все говорил Толстому, что намеревается иллюстрировать «Князя Серебряного». Алексей Константинович давал ему на сей счет советы, но намерение Гагарина почему-то не осуществилось.

Вскоре после свадьбы Алексей Толстой оказался гостем «Матицы сербской» в Бауцене, небольшом городке близ Дрездена.

Но что это за «Матица сербска»?

Некогда племена западных славян населяли Европу до самого Гамбурга на севере и до Венеции на юге. Они были язычниками, враждовали друг с другом и не могли противостоять натиску германцев, уже принявших христианство и образовавших гигантскую империю. Западные славяне частью были перебиты, а частью германизировались настолько, что потом об их происхождении напоминали лишь сохранившиеся в названиях немецких городов и фамилиях корни славянских слов. И только лужичане (сербы, зорбы, венды), покоренные впервые при Карле Великом, еще долго сопротивлялись, в IX веке жили под защитой великоморавского князя Святополка, но потом их вождей истребили, а земли были переданы во владение немецким рыцарям и монастырям. Однако лужицкие сербы, укрывшись на незавидных землях, либо в горах, либо на болотах, сумели сохранить в деревнях свой язык, одежду и жизненный уклад. Короче говоря, к XIX веку в немецком море оставался славянский островок, насчитывавший всего около двух сотен тысяч человек. К тому времени лужичанам разрешили снова селиться в городах, и в Бауцене, или Будишине (по-сербски), образованные патриоты стали бороться за возрождение сербского языка, появились национальные общества, периодические издания, возникла своя литература. Стараниями Яна Смоляра и других в 1845 году была основана, а в 1847-м разрешена «Матица сербска». Такие матицы (матки, королевы пчел), просветительские общества, уже существовали у чехов и южных славян, не обладавших независимостью, и призваны были защищать интересы народа, пробуждать в нем национальное самосознание путем выпуска патриотических книг, устройства читален, концертов, вечеров...

Ян Смоляр, однолетка Толстого, часто бывал в России, запасался книгами, собирал деньги. Он познакомился с Толстым через славянофилов. В ноябре 1859 года Толстой вместе с Хомяковым и Кошелевым пожертвовал на духовное возрождение лужицких славян пятьсот рублей. Ян Смоляр выпускал на собранные деньги народный календарь, учебники, переводы «Отголосков русских песен» Челаковского, «Краледворской рукописи»...

Алексей Константинович с сочувствием следил за возрождением славянской культуры и помогал чем мог. Так, летом того же, 1859 года он встречал на Черниговщине двух молодых южных славян — Барьяктаровича и Симича, которые шли пешком из Болгарии в Петербург.

Он дал им письмо к Ивану Аксакову с просьбой их «принять, обласкать и определить» в Московский университет, снабдив деньгами из литературных гонораров, причитающихся с «Русской беседы».

Ян Смоляр тоже присутствовал на венчании и пригласил Толстого в Бауцен. Уже восьмого апреля председательствовавший на заседании «Матицы» профессор Якуб Бук представил Алексея Константиновича и Анатолия Евгеньевича Гагарина присутствовавшим, и те устроили гостям овацию. Толстой прочел стихотворение, обращенное к Смоляру. Это была импровизация, в которой каждое четверостишие кончалось возгласом «Слава!». Известно также, что 9 апреля Толстой стал крестным отцом девочки, родившейся в семье директора радворской школы Якуба Краля и получившей имя Мария-Мадлена.

Впоследствии Толстой не раз возвращался в своих балладах к славянской старине и, в частности, к XI веку, к крестовым походам на прибалтийских славян. Так, герой его баллады «Боривой» вымышлен, но неудачный поход немецких князей и датских королей Свенда III и Кнуда V на бодричан был действительно предпринят в 1147 году. У Толстого епископ Эрик благословляет союзников теми же словами, что были выдавлены на пряжках у солдат гитлеровского вермахта:

«С нами бог! Склонил к нам папа
Преподобного Егорья, —
Разгромим теперь с нахрапа
Все славянское поморье!»

Свен же молвит: «В бранном споре
Не боюся никого я,
Лишь бы только в синем море
Нам не встретить Боривоя».

Но, смеясь, с кормы высокой
Молвит Кнут: «Нам нет препоны:
Боривой теперь далеко
Бьется с немцем у Арконы!»

Не говоря уже о великолепных рифмах, о неизменной иронии, отметим блестящее знание истории (хотя и тут Толстой не придерживался действительного хода событий).

Стоит заглянуть в историю, чтобы поближе познакомиться с могучим племенем бодричан, или ободритов, или рарогов, что означает один из видов сокола. Был город Рарог, ставший Мекленбургом, который назывался у

датчан Рёриком или Рюриком, а это оказывалось хорошим подспорьем для тех антинорманистов, которые выводили варягов из прибалтийских славян, а Рюрика из князей ободритов. Сам Толстой в силу романтичного склада ума склонялся в своих балладах к отождествлению варягов и викингов-норвежцев, что неверно, так в летописях норвежцы-мурмане перечислены наряду с варягами. Но его интересовало и таинственное вольное братство воинов, обитавших на острове Рюгене, Руге, Руяне, Буяне русских сказок. Как только не называли их — руги, рутены, руяне, руссы, раны... Они носили алые плащи подобно нашим Рюриковичам и поклонялись главному божеству балтийских славян Световиту, каменный храм которого находился в крепости Арконе, на самой северной оконечности Рюгена.

Световит — бог света, солнца. И его антипод — Чернобог.

Толстой бывал на Рюгене, смотрел на валы Арконы, возносящиеся над обрывистым меловым берегом, и остатки Кореницы, где когда-то стояли три великолепных храма, в одном из которых находился дубовый безобразный истукан, изображавший бога войны Ругевита. Толстой читал у Саксона Грамматика об обычаях и божествах местных жителей. В Бергене, самом крупном городе Рюгена, и сейчас можно увидеть в старинной церкви высеченное в камне одной из колонн изображение богатыря, держащего в руках большой рог. Голова его обрита, и оставлен лишь на макушке длинный чуб, «оселедец», наподобие того, какой носил, по описаниям, наш великий полководец Святослав. Кстати, мать его Ольгу византийцы называли «королевой ругов».

Боривой мог сказать:

Я вернулся из Арконы,
Где поля от крови рдеют,
Но немецкие знамена
Под стенами уж не веют.

В балладе «Ругевит», написанной, как и «Боривой», летом 1870 года, Толстой рассказывает уже о событиях 1168 года, когда руяне были покорены, а храмы их разгромлены. Световита и Ругевита выволокли из Арконы и Кореницы и сожгли. Изображая гибель Ругевита, поэт как бы смиряется с тем, что балтийские славяне утрачивают не только свободу, но и гибнут как нация. То, что датчан ведет король Вальдемар I, с материнской стороны

внук Владимира Мономаха, служит утешением Толстому, гордившемуся тесными связями домонгольской Руси со всей Европой.

Трудно работать, когда задыхаешься от астмы, когда болит спина и желудок, когда надо переезжать с курорта на курорт в поисках облегчения от недугов. Спутник в этих скитаниях попался ему неважный. Гагарин оказался сварливым болтуном. О нем Толстой часто упоминает в письмах к Софье Андреевне, которая уехала в Россию, соскучившись по братьям и племянникам.

Письма шутливые, но что это за шутки! В Шлангенбаде он старается много гулять, в лесу увидел улиток. «У всех на правом боку была дыра, чтобы дышать, а у меня... нет такой дыры, и я должен дышать через горло», которое сжимают спазмы. Вскоре он уже во Франкфурте — путь его лежит в Карлсбад через красивейшие города Германии — Эйзенах и крепость Вартбург, связанные с именами Лютера и Баха, Эрфурт, Веймар, а сердце его в России, с Софьей Андреевной. Красиво тут, слов нет, но если тяжела голова и дышать нечем, то какие уж красоты... «Погано, скверно» — прорывается сквозь шутки. Была б здесь Софи, сыграли б с ней в шахматы, что ли... «Пожалуйста, — пишет он ей, — купи себе что-нибудь хорошее, я после проиграю его тебе в шахматы!» Даже в Праге ему было жить нехорошо, «хотя много интересного». К началу июня добрались до Карлсбада...

В этих местах некогда тоже жили славяне, но потом их оттеснили на восток, и в XIV веке немецкий император Карл IV основал в узкой долине речки Тепла городок во свое имя, охотился там и лечился. Начало русскому паломничеству в Карлсбад положил Петр I, об эксцентричном поведении которого здесь осталось много легенд, есть также улица его имени. К концу XVIII века предприниматель Ян Пупп построил первое курортное здание с залом. В его память и по сию пору стоит знаменитый отель «Пупп». Кто только не лечился в Карлсбаде — Бетховен, Шиллер, Гёте, Гумбольдт, а в XIX веке трудно, пожалуй, назвать классика русской литературы, который бы не побывал здесь.

Толстой начал лечение с пеших прогулок. В первые же дни он вставал в пять утра и ходил по живописным окрестностям Карлсбада часов до девяти вечера. С утра

пил по шесть стаканов воды из Мельничного источника, к которому с раннего утра выстраивалась очередь. Доктор Зеген сказал ему, чтобы он не слишком много ходил и не выбивался из сил.

В газетах много писали о польском восстании и о том, как жестоко подавлялись выступления повстанцев генералом Муравьевым. Алексей Константинович интересовался этими событиями и особенно реакцией общественности на родине. Он просил Софью Андреевну присылать русские газеты. Жестокость Муравьева претила ему, и он потом использовал свои связи, чтобы подорвать влияние «Вешателя». Неистовство Каткова, который как-то особенно злобно выступал в своих статьях против поляков, отвратило от него Толстого.

Но как же надо тосковать по родине, если в письмах Толстой почти не удосуживается писать об улицах и памятниках, которыми так богат Карлсбад, а о природе говорит только тогда, когда она напоминает ему края иные... Вот они с Гагариным ходили к горе Аберг и восторгались пейзажами. «Между прочим, там есть одно плоское место с лесом, с рожью и с иван-чаем, совершенно как в России, и такое прекрасное, что я все думал о тебе, и как оно тебе бы понравилось, — пишет он Софье Андреевне. — А одно здесь место есть, на берегу Теплы, за городом, точно как пустыньский луг, который примыкает к Никольскому, и растут в нем все те цветы, как и в Пустыньке, совершенно те же самые, так что Гагарин и я — мы закричали. И чеберу здесь много, и сеном пахнет, и очень, очень хорошо вообще...»

Разумеется, приходилось поддерживать светские знакомства, присутствовать в концертах, которыми славился Карлсбад. Так, Толстой общается с прусским королем, о котором ему нечего сказать, разве что упомянуть толстый гладкий белый загривок. «Король прусский очень добрый, Бог с ним! Пусть живет», — равнодушно замечает Толстой. Иногда он пьет чай у Мещерских, Виельгорских и других петербургских знакомых. Обедает у великой княгини Елены Павловны, хлопоча заодно о пенсии для Каролины Павловой.

А работа подвигается вяло. Правда, уже написано третье действие «Смерти Иоанна Грозного», и Толстой переписывает в день по две страницы его для Павловой, которая напечатала свой перевод двух действий в немецком журнале. И еще читает модную «Жизнь Иисуса» Эрнста Ренана, «этого гадкого католического попа, кото-

рый сбросил ризу, но перенес в свои новые убеждения все приемы и всю недобросовестность дурного попа». Толстой последнее время сдержанно относится к католикам, подозревая в каждом иезуита, оспаривает их идею соединения церквей...

Так он весьма насмешливо отнесся к желанию Листа стать монахом, принять «малое пострижение» и звание аббата. Толстой очень любил виртуозную игру и сочинения музыканта. Познакомились они еще во время приезда Листа в Россию в конце сороковых годов, когда композитор и княгиня Каролина Сайн-Витгенштейн влюбились друг в друга. Она тогда оставила мужа и уехала с дочерью к Листу в Веймар. Муж ее не давал развода. Толстой, как друг по несчастью, сочувственно относился к этой паре и посещал ее в Веймаре. Но теперь князь Сайн-Витгенштейн скончался, а Лист, вместо того чтобы жениться, обрекал себя на безбрачие. Впрочем, это нисколько не повлияло на их отношения, и Толстой переписывался с Листом и княгиней до конца своей жизни.

Новая встреча с ними состоялась уже в Риме, где жил теперь Лист и куда Толстой вместе с Софьей Андреевной приехал в декабре 1863 года. Рим был его старой любовью. Он находил там нужную ему «моральную атмосферу», то есть общество художников, музыкантов, литераторов, любивших, как и он, Вечный город.

Лист часто бывал у Толстых, играл, не заставляя себя долго упрашивать. Алексей Константинович с восторгом внимал звукам знаменитой пьесы Листа о Венеции и Неаполе, возрождавшей дни молодости. Глаза его были прикованы к длинным белым пальцам музыканта, когда тот торжественно склонялся над клавишами, пробуя импровизировать на новые темы, — теперь Лист увлекался псалмами, готовился написать реквием.

Узнав, что на немецком языке уже опубликованы «Дон-Жуан» и первые два действия трагедии Толстого, музыкант захотел прочесть их, и поэт в письмах торопил Павлову с присылкой этих произведений, прося собственноручно написать на обложке «Дон-Жуана» несколько слов, обращенных к Листу.

Дружба с Каролиной Павловой была плодотворна для обоих. Закончив в Риме «Смерть Иоанна Грозного», Алексей Толстой в июне 1864 года уже был в Дрездене и читал ей трагедию. И с удовольствием слушал ее перевод шиллеровской «Смерти Валленштейна», сравнивал с оригиналом и все восклицал: «Верх совершенства!», что не

помешало ему сделать много поправок, которые Павлова приняла с благодарностью.

Многие отмечали, что пятистопный ямб, которым написана трагедия «Смерть Иоанна Грозного» (да и вся трилогия), обыкновенно редко удается поэтам. А. Л. Соколовский, известный в свое время переводчик Шекспира на русский, говорил, например, что Толстой — единственный современный русский поэт, прекрасно владеющий этим размером. И еще писали, что русская сцена видела много неудачных подражаний Шекспиру, Корнелю, Расину, вспоминали озеровский псевдоклассицизм, утверждали, что «Борис Годунов» Пушкина — единственное истинно художественное произведение, которое можно было бы назвать русской трагедией, если бы она не писалась для чтения (что справедливо, так как все попытки поставить ее на сцене оканчивались неуспехом). Сколько прошло перед русским зрителем античных и английских героев! Сколько блистательно сыгранных ролей! Но где же наша родная история, в которой что ни эпоха, то десятки трагедий? Сколько сулит русская история драматургу великолепных характеров и замечательных интриг! Бери, черпай! Но, пожалуй, он, Толстой, первым из русских по-настоящему попробовал себя в трагедии...

Мысли эти содержались в многочисленных журнальных рецензиях. Каролина Карловна, переводя два действия трагедии, предвкушала продолжение, но следующие три действия превзошли все ее ожидания. Интрига развивалась упруго, стремительно. Первое действие было экспозицией, введением в обстановку. Во втором завязывается интрига. В третьем царь Иван Грозный намеревается в очередной раз жениться; царица Мария обращается к честному Захарьину, а тот советует просить о помощи Годунова, которого она инстинктивно боится. И вот уже царь объявляет ей, что она больше ему не жена. Захарьин произносит страстную речь:

...Взгляни на Русь! Каков ее удел?
Ты, государь, — скажу тебе открыто —
Ты, в юных днях испуганный крамолой,
Всю жизнь свою боялся мнимых смут
И подавил измученную землю.
Ты сокрушил в ней все, что было сильно,
Ты в ней попрал все, что имело разум,
Ты бессловесных сделал из людей —
И сам теперь, как дуб во чистом поле,
Стоишь один, и ни на что не можешь
Ты опереться...

Гарабурда, посол Батория, ведет себя с царем надменно. Дела Руси плохи. Для чего же все жертвы? Народ волнуется, проклиная дороговизну, продажность и равнодушие тогдашней бюрократии. Кикин натравливает народ на Годунова, Битяговский — на Шуйского с Бельским. Годунов обещает раздачу хлеба. Так начинается четвертое действие. А тут еще появляется хвостатая комета, и волхвы предрекают смерть царю в кириллин день — 18 марта. Царь заставляет Годунова читать синодик — поминальный список замученных и убитых. Призванный царем схимник, который не покидал своей кельи тридцать лет, помнит лишь то, что было до казанского похода. Он называет верных царю воевод, предлагая опереться на них, но они давно уже казнены. В пятом действии честолюбивый Годунов все больше разжигает тревогу царя, зная, что это может погубить того. Потом царь было успокаивается, перебирает драгоценности, зовет шутов, но Годунов напоминает о том, что кириллин день еще не миновал, чем вызывает у Ивана сердечный приступ. Царь умирает под шум, поднятый вбежавшими скоморохами. Захарьин возвещает:

...Вот самовластья кара!
Вот распаденья нашего исход!

Известно, что Иван Грозный перед смертью успел постричься в монахи под именем Ионы. Многое, а главное, интрига Годунова, надумано Толстым. Однако ощущение грядущих бедствий передано им очень сильно. Трагедия требует продолжения...

В июне Толстой уже снова был в Карлсбаде и читал свою трагедию Гончарову. Тот грузно сидел в кресле и не сводил с поэта взгляда своих красивых серо-голубых глаз, казавшегося апатичным. Гончаров был очень разборчив в друзьях, молчалив, но с теми, кто заслуживал его уважение, говорил образно, изящно. Он дарил своей дружбой Алексея Константиновича, который вскоре написал Софье Андреевне:

«Он восхитился (трагедией. — *Д. Ж.*), но ты никогда не отгадаешь, что́ он осудил и даже сказал, что он на это *негодует*. Зачем сбылось предсказание волхвов? Это, мол, невозможно. И зачем в «Серебряном», которого он ставит очень высоко, сбывается предсказание мельника. Про «Серебряного» говорит, что это подвиг и что меня оценят, когда я умру, — а появления «Смерти Иоанна» уже ждут со злобою, чтобы на нее напасть и уничтожить.

Он же говорит, что она так хороша, что в нашей литературе нет ничего ей подобного, *исключая «Бориса Годунова»*. Он о ней пишет Тургеневу и все говорит про нее и относится ко мне с почтением, а за предсказание даже сердится. Он очень добрый и скромный...»

И в новом письме, через десять дней:

«Ты мне никогда не веришь, а Гончаров говорит, что я стою особняком в русской литературе и внес в нее новый элемент, и ни в чем на других не похож, а все, дескать, другие, и он сам, столпились, дескать, в одну кучку, и это, дескать, нехорошо».

Разумеется, Толстой понимал любезность и доброту Гончарова и потому писал Софье Андреевне с иронией. И все-таки в его словах сквозит радость. Похвала такого человека, который не станет в глаза говорить одно, а за глаза другое, что-нибудь да значит. И писатель большой. Язык его романов великолепен. А то вот довелось недавно читать «Марево» Клюшникова. Роман написан «вприпрыжку». Хоть бы языка не коверкал... «У него беспрестанно: — Здравствуйте! — почесался Николай Иванович. — Нет, этому не бывать! — уехал Петр Данилыч. — Желал бы видеть вас на своем месте! — женился Пуд Савич и т. д.».

Светские знакомые бесят его. Прусский король, который восклицает: «Какая прекрасная погода!», когда идет дождь. Шутит, значит. Кокетничающие дамы...

— Граф, — говорит одна, — я хотела бы вас встретить не только в Карлсбаде, но и в жизни.

— Где это такое? — спрашивает Толстой.

— Везде.

— Я не премину туда явиться.

— Когда?

— Всегда.

— Мерси.

— Не за что.

— Шалун! — сказала она.

— Сирена! — отвечал Толстой.

Он был несказанно рад, когда в сентябре наконец добрался до Пустыньки, где его ждали Софья Андреевна и ее племянники.

Примерно в это время Афанасий Афанасьевич Фет оказался в Петербурге. Маститый поэт был занят тяжбой. В столице он остановился у Василия Петровича Боткина, который жил рядом с Английским клубом. В вос-

поминаниях об этом лете у Фета неподражаемо соединяется высокое с низким, в рассказ о мелочных хлопотах, в разговоры с приказчиками и трактирщиками вплетаются письма Льва Толстого и Тургенева, обед с «несравненным мыслителем и поэтом Ф. И. Тютчевым...».

Однажды Боткин встретил вернувшегося домой Фета словами:

— Здесь был граф Алексей Константинович Толстой, желающий с тобой познакомиться. Он просил нас послезавтра по утреннему поезду в Саблино, где его лошади будут поджидать нас, чтобы доставить в Пустыньку. Вот письмо, которое он тебе оставил.

Фета поразило и специальное шоссе, проложенное от станции Саблино до Пустыньки, и великолепная усадьба на высоком берегу быстрой речки Тосны, и роскошная мебель, начиная от шкафов Буля и кончая стульями, которые показались поэту отлитыми из золота, и превосходные кушанья, подававшиеся в серебряных блюдах с «художественными крышками», и стена вдоль лестницы на второй этаж, которую «забросали» мифологическими рисунками свободные художники, посещавшие дом, и, наконец, приветливость и простота Алексея Константиновича и Софьи Андреевны Толстых.

Памятуя о собственной суете, Фет впоследствии всегда считал Алексея Толстого «безукоризненным человеком».

Человек, до смешного лишенный чувства юмора, Афанасий Фет был склонен простить даже некоторые «странности» и в характере Алексея Константиновича, и в порядках, с которыми он впервые познакомился в Пустыньке.

«Невзирая на самое разнообразное и глубокое образование, — вспоминал Фет, — в доме порой проявлялась та шуточная улыбка, которая потом так симпатически выразилась в сочинениях «Козьмы Пруткова». Надо сказать, что мы как раз застали в Пустыньке единственного гостя — Алексея Михайловича Жемчужникова, главного вдохновителя несравненного поэта Пруткова. Шутки порою проявлялись не в одних словах, но принимали более осязательную обрядную форму. Так, гуляя с графиней в саду, я видел в каменной нише огромную, величиною с собачку, лягушку, мастерски вылепленную из зеленой глины. На вопрос мой — «что это такое?» — графиня со смехом отвечала, что это целая мистерия, созданная Алексеем Михайловичем, который требует, чтобы другие,

подобно ему, приносили цветов в дар его лягушке. Так я и по сей день не проник в тайный смысл высокой мистерии».

Отношения Толстых с Гончаровым тоже становились все более тесными. Они встречались в салоне у Екатерины Евгеньевны Шостак и в Пустыньке. 27 февраля 1865 года Гончаров сообщал Александре Андреевне Толстой:

«Граф Ал. Толстой недавно писал ко мне. Он *грозит* поставить меня летом в своей Пустыньке лицом к лицу с вами и еще с графиней, своей женой. Опасность, ожидаемую от вас, я измерил лично, а от его жены — по слухам от А. М. Жемчужникова: следовательно, мне надо принять свои меры, т. е. заснуть покрепче, чтобы не явиться на очную ставку.

Я графу буду отвечать не ранее, как через неделю, когда могу определенно уведомить его, увенчаются ли успехом мои хлопоты по его делам или нет...»

Пустынька оправдывала свое название. Здесь был покой, нарушаемый лишь по желанию хозяев, когда они приглашали гостей. Пожелтели листья на гигантском дубе, привезенном на сотне лошадей и посаженном еще при маменьке. Этой осенью Алексей Константинович вспоминал смерть Анны Алексеевны, ее привычки, манеру говорить и вздыхал, а на вопросы Софьи Андреевны отвечал, что работа не клеится. Карлсбад немного поправил его здоровье, голова болела реже, но удручала мысль, что он может не успеть осуществить свой большой замысел.

Не забыть бы написать Каролине Карловне, чтобы она внесла изменения в перевод трагедии, потому что в новую трагедию о царе Федоре войдет угличская «катастрофа», и некоторые удары грома в «Смерти Иоанна» надо ослабить до степени отдаленных раскатов, чтобы не предвосхищать событий. В Веймарском театре готовятся поставить спектакль, так пусть их делают, как уже написано, готовящийся к изданию немецкий перевод не должен сильно отличаться от того, что будет напечатано на русском.

К январю 1865 года уже написано достаточно, чтобы можно было поделиться с Каролиной Павловой некоторыми соображениями, посоветоваться... Читая переписку Гёте и Шиллера, он позавидовал им — эти два писателя

«были счастливы, имея возможность проверять друг друга». Может быть, Павлова подскажет что-то. Даст «толчок». Творческих сил у него хватает, но подавляет масштаб того, что он затеял. Нечто подобное говорил Шиллер о своем «Валленштейне». Читал он недавно первый акт «Царя Федора» Софье Андреевне и Алексею Жемчужникову, и те сказали, что это превосходит «Смерть Иоанна». А теперь новость — «Смерть Иоанна» вовсе не трагедия, а пролог к большой драматической поэме, которая будет называться «Борис Годунов», хотя и придется попросить прощения у Пушкина. Последняя трагедия получит название «Дмитрий Самозванец». Вот какой был замысел у Толстого первоначально. Но впоследствии ему многое пришлось изменить в текстах. Как и границы трилогии, закончившейся «Царем Борисом». Теперь все его помыслы тут...

«Смерть Иоанна» он хотел отдать Каткову, но потом передумал и через Гончарова переслал в «Отечественные записки». Костомаров нахваливал трагедию, снисходительно отнесся к анахронизмам и соглашался, что главное — правда в историко-психологическом смысле. То ли вел себя тактично с автором Николай Иванович, то ли потом переменил точку зрения, но два года спустя в статье «По поводу новейшей русской исторической сцены» попенял Толстому, что-де его трагедия «не вполне подходит к нашему идеалу исторической верности». Сейчас же Толстой мечтал «соединить» его с Гончаровым и прочесть им «Царя Федора Иоанновича».

Жизнь Толстого приняла несколько однообразный характер, он ушел с головой в XVI век, отдаваясь ему всей душой. Поэт, измученный болезнью, продолжал искать исцеления в Карлсбаде, пребывание в котором перемежалось поездками в Петербург с Пустынькой, в Лондон, Париж, Рим и в Красный Рог...

Он похудел и чувствовал себя лучше, но стало расстраиваться здоровье Софьи Андреевны. В Карлсбаде летом 1865 года Толстой тосковал по родине, писал жене:

«Вылечись непременно, чтобы мы могли с тобой часто гулять и верхом и пешком, и в Пустыньке, и в Красном Рогу и чтобы твоя рыженькая лошадка Игрушка обрадовалась бы тебе...»

Казалось бы, за чем же дело?

В марте он сообщал Николаю Жемчужникову о неких «иксе» и «зете» — один из них слышал когда-то, что есть на свете деликатность, а второй никогда о ней не

слыхал. «Одним словом, это гадина почти наивная». Речь шла о Петре и Николае Бахметевых, братьях жены, которые после узаконения отношений между Алексеем Константиновичем и Софьей Андреевной завладели правом распоряжаться в его имениях.

После смерти матери краснорогской экономией управлял некий Герман Карлович, которого Толстой уволил, но и потом, судя по сохранившимся в архивах набраскам писем, «злоупотребление и беспорядок» были главным фактором в «деятельности» управляющих имениями. Еще хуже дела пошли под руководством Бахметевых, растранжиривших свое небольшое состояние, а теперь принявшихся мотать громадный кус, доставшийся им по свойству. Их «гусарская натура» не могла противостоять напору новых хозяев земли русской, дельцов с иностранными фамилиями, которые при поддержке европейских банков скупали долговые расписки и закладные (причем делать это они начали еще до реформы), действовали подкупами, искушали помещиков перспективами поправить дела в сомнительных предприятиях и обдирали как липку.

Не устояли перед соблазнами капиталистического века и братья Бахметевы, быстро запутались и повели доверчивого и доброго Толстого к разорению. Но и это бы ничего, если бы они хоть вели себя прилично, а то они напоминали этакого «доброго знакомого», который, подвыпив, незвано вламывается в дом, курит хозяйские сигары, бесцеремонно пуская владельцу их дым в лицо, сбрасывает с письменного стола книги на пол, а на их место водружает ноги, развалясь в кресле, и, если хозяин скорчит недовольную мину, еще закатит истерику, обвинив в скряжничестве и чистоплюйстве... Толстой предпочитал не связываться с такой «наивностью» и удирал подальше.

Именно это и подразумевал А. А. Кондратьев, когда писал:

«Помимо болезни, одной из причин, заставлявших Толстого проводить время за границей, была, по-видимому, его неприязнь к некоторым из родственников Софьи Андреевны. По словам знакомого с письмами поэта к его двоюродному брату Н. М. Жемчужникову г. Г-ко (В. Горленко. — *Д. Ж.*), «Ал. Толстой, обожая жену, очутился в «родственных объятиях» многочисленной родни своей супруги. Тяжесть положения осложнялась и тем обстоятельством, что сама супруга его, по доброте своей, родне этой покровительствовала и любила ее, поэт же должен

был терпеть бесцеремонное отношение к его добру, вмешательство в его дела и большие, совершенно непроизводительные траты из горячей любви к жене...»

А. А. Кондратьев советовал относиться к этому с некоторой долей осторожности, полагая возможную ревность Жемчужниковых к усиливающемуся влиянию Бахметевых.

Бежать жизненных сложностей, прятаться в «единственное убежище» — трагедию «Царь Федор Иоаннович», как писал он Софье Андреевне... Это, пожалуй, самое верное решение, которое мог принять человек, решивший посвятить себя творчеству, художник, высвободившийся из пут служебных и явно не желавший впутываться в дела мелочные, житейские. Толстой с аристократической небрежностью воспринимал разбазаривание своего имущества и вмешивался в дела, например, Николая Бахметева тогда лишь, когда тот отменял его распоряжения о льготах красногорским крестьянам и вызывал их возмущение.

В объяснении характера героя первой трагедии: «Иоанн искренно хочет спасти Россию, но он до конца проникнут мыслию, что она, дарованная ему в собственность божьею милостью, не что, как материал, из которого он может делать, что угодно...» — легко увидеть и характер деятельности Николая I, кончившейся крахом. Однако не только в большом, но и в малом, в житейском и личном, можно усмотреть источники наблюдений, положенных в основу исторических коллизий и характеров. В «Царе Федоре Иоанновиче» еще больше творческой свободы и... жизненности, и поэтому трагедия стала вершиной того, что было создано в этом жанре в России.

При всем усердии трудно, разумеется, усмотреть в слабонравном царе Федоре отражение личности самого Толстого, но и в историческом произведении брал верх талантливейший поэт-лирик, который может притворяться кем угодно и все-таки наделять действующее лицо собственными ощущениями. Если приглядеться к трагедии и «Проекту постановки» ее, появившемуся позже, то в них нет-нет и мелькнет нечто весьма знакомое...

Будем смотреть на «Царя Федора», эту «особую, замкнутую в себе драму», хотя и тесно связанную с другими частями трилогии, глазами самого поэта, который основную идею ее пояснил так:

«Две партии в государстве борются за власть: представитель старины, князь Шуйский, и представитель ре-

формы, Борис Годунов. Обе партии стараются завладеть слабонравным царем Федором как орудием для своих целей. Федор, вместо того чтобы дать перевес той или другой стороне или же подчинить себе ту и другую, колеблется между обеими и чрез свою нерешительность делается причиной: 1) восстания Шуйского и его насильственной смерти, 2) убиения своего наследника, царевича Димитрия, и пресечения своего рода. Из такого чистого источника, какова любящая душа Федора, истекает страшное событие, разразившееся над Россией долгим рядом бедствий и зол».

Не без гордости говорит Толстой о совершенно особенном построении трагедии, в которой борьба происходит не между главным героем и его оппонентами, а между двумя вторыми героями. «Федор играет роль древней греческой судьбы, толкающей своих героев вперед к неизбежной катастрофе», оставаясь при этом не абстракцией, а «живым лицом».

После смерти Ивана Грозного, казалось, ожила вся природа. Колорит новой вещи светлее, люди держат себя свободнее, не ощущая узды, сжимаемой железной рукой покойного царя. Но вместе с тем пробудились и силы, «политические партии», начавшие раздирать государство. «Все сословия принимают участие в их борьбе; жизнь со всеми ее сторонами, светлыми и темными, снова заявляет свои права».

Чего же больше в этой новой жизни — светлых или темных сторон? Великодушный и слабый Федор — царь лишь по праву наследования. Его не готовили управлять государством. В душе его есть нечто поэтическое, хотя и ограниченное любовью к благолепию церковной службы и колокольному звону. Отец презрительно называл его «звонарем». Он годится лишь для того, чтобы в великолепных одеждах, увешанных сверкающими побрякушками, показаться народу и прослезиться в нужном месте, произнося невнятно речи, написанные для него истинными правителями, воплощенными у Толстого в Годунове. Собственно, с этого и начинается трагедия:

...Своей сестрой, царицей,
Сидит правитель Годунов. Он ею
Одной сильней всего боярства вместе;
Как вотчиной своею, помыкает
И Думою, и церковью Христовой,
И всей землей...

«Смерть Иоанна Грозного» появилась в первом номе-

ре «Отечественных записок» в 1866 году. Толстой жил тогда в Риме. Из Петербурга приходили добрые вести о том, что дирекция театров предпринимает попытки добиться ее постановки. Великий герцог Веймарский передал через Листа, что он спит и видит, когда трагедия пойдет на сцене его театра. Разумеется, Толстой рад этому, но прежде, этой же осенью, ему хотелось бы увидеть трагедию в России.

Вообще Лист теперь часто посещает Толстых и охотно садится к роялю. Некогда Алексей Константинович жаловался Софье Андреевне, что не всегда понимает серьезную музыку. Сама прекрасная музыкантша, жена развила в нем и эту способность. И вот, когда любезный Лист однажды после кофе, даже не дожидаясь просьб хозяев, сел за инструмент, у Толстого возникло ощущение, что из мира обыденного он перенесся в какой-то иной мир... Лист играл весь вечер. Толстой пытался передать свое впечатление такими словами:

«Тут уже не приходится говорить о приемах мастерства — даже те, к которым он прибегает, не замечаются или не ощущаются как таковые. Нет больше ни рояля, ни даже звуков, и мы воспринимаем их не слухом, а поиному. Мне кажется, что никогда, даже и во время величайших своих триумфов, он не был ни так велик, ни так прост в своем величии».

Но несмотря на изысканное общество музыкантов, художников, писателей, несмотря на то, что зима в Риме была «похожа на наше лето» и можно ездить по дороге на Остию, где попадаются итальянские мужички в косматых панталонах, видны не то горы, не то облака, поют жаворонки и кричат ослы, или ходить пешком в Колизей по скверно пахнущим улицам и сквозь многочисленные двери в стенах смотреть на кипарисы и пинии, сердце его дрогнуло, когда пришло из Красного Рога письмо от Андрейки с перечислением тамошних цветов — медуницы, барашков, купавок, что похожи на чашечки и плавают на воде, ирисов, что растут высоко, между тростниками... А как нарочито скромно достал из торбы своего первого подстреленного глухаря Андрейка, когда Толстой его взял с собой на охоту в Красном Роге! Приятно вспомнить его довольную мордочку... Интересно, ходят ли они теперь на вальдшнепов? Нет ничего лучшего на свете, как жить в деревне, да еще в лесу! Пусть все собираются в Пустыньку осенью.

«Построим себе в Пустыньке, где-нибудь в лесу, проч-

ный и удобный шалаш и давай там угощать Софу и других... Мы можем так устроить шалаш, чтобы при нем была и землянка, в которой мы могли бы зимой поджидать волков. Можно провести от падали проволоку в землянку к маленькому колокольчику. У нас там будут свечи и чай, а когда волк начнет есть падаль, колокольчик зазвенит, мы и вылезем из шалаша...»

Хорошо! А в этом Риме ни тебе охоты, ни острых ощущений. Опять, как в годы его детства, много говорят о разбойниках, что уводят в горы, режут уши, если им не платят выкупа. Толстой завел револьвер, надеясь хоть на такую охоту, и опять никаких приключений...

Летом надо продолжать лечиться в Карлсбаде. Он сделал крюк, чтобы заехать в Париж, и очень удачно вышло. Несколько раз встречался с Боткиным и Гончаровым, обедал с ними в отеле «Мирабо», и те все рассказывали Толстому, как актеры читают друг другу трагедию и с нетерпением ожидают постановки, готовые во всем подчиниться ему *как режиссеру,* который *назначен сделать перерождение сцены.* Довольный Толстой говорил друзьям, какой он видит на сцене трагедию, и, то ли чтобы не растерять эти соображения, то ли в подражание гоголевскому «Предуведомлению для тех, которые пожелали бы сыграть как следует «Ревизора», начал тотчас по приезде в Карлсбад писать инструкцию актерам *с горя,* мало-помалу расписался до того, что получилась громадная статья с не менее громоздким названием «Проект постановки на сцену трагедии «Смерть Иоанна Грозного».

В Карлсбаде Толстому было противно поведение некоторых спесивых соотечественников. Бывало, такой вот, как вспоминал Алексей Константинович, сидит перед гостиницей «Элефант», рассматривает невзрачно одетых русских из тех, что еле наскребли денег на лечение, и говорит:

— Экая здесь собачья компания!

Зато, когда мимо проходил господин, раздувшийся, с большим безгубым ртом и Толстой заметил, что он похож на лягушку, «аристократ» с почтением сказал:

— Это очень богатый банкир Оппенгейм, я у него на днях обедаю...

Оппенгеймы с их банками, по выражению Достоевского, становились над всей Европой.

Огорчила статья Анненкова в только что возникшем журнале «Вестник Европы», затеянном профессором Стасюлевичем на деньги своего тестя миллионера Утина, ко-

торый сказочно разбогател, как говорят, пуская в оборот фальшивые ассигнации, получаемые из-за границы, от тех же Оппенгеймов.

Анненков «Смерть Иоанна Грозного» боится и хвалить и осуждать, все оговаривается, что, как и у Островского, Мея и Чаева, пишущих исторические пьесы, у Толстого есть несомненный талант. Уж лучше разнос, который устроил Елисеев в «Современнике», чем такие похвалы. Анненков уверяет, что стих у Толстого в народных сценах бледный и слабый, а у самого брат обер-полицмейстер, и пишет он свою критику чухонским языком, не признавая ни синтаксиса, ни грамматики... Алексей Константинович тут же устыдился этой мелкой мыслишки. Надо бы разобраться в словах Анненкова о том, что драматург сперва решил поучать, а идея трагедии пришла после. Вот он и применил европейские приемы драматургии для осуществления своих целей.

Алексей Константинович воспользовался критикой Анненкова, чтобы вставить в писавшийся потом уже «Проект постановки на сцену трагедии «Царь Федор Иоаннович» свои соображения о романской школе драматургов, которая тщательно отделывает *интриги,* и германской — более интересующейся анализом и развитием *характеров.* Что есть искусство? Это взаимопроникновение идеализма и реализма, соединение правды с красотой. Пусть наука говорит полную и голую правду. Искусство, беря типические черты каждого явления, отбрасывает все несущественное. Как живопись отличается от фотографии, так и поэзия от истории. Все это общеизвестные истины. Но вот когда заговорили о его европейских приемах, подразумевая, что осуществуют *русские начала искусства,* он взбунтовался. Говоря о сопернике и жертве Годунова, о прямом, благородном и великодушном, но гордом, стремительном и одностороннем князе Иване Петровиче Шуйском, поэт указывает на то, что чувство чести в XVI веке не было исключительно принадлежностью Запада. Да, московский период, и особенно царствование Ивана Грозного, привел к внешнему величию страны, но за это заплачено внутренним унижением — люди поступались чувством своего достоинства. Но оставалось чувство долга, оставалась честь. Сколько было примеров, когда русские люди предпочитали смерть плену или какому-нибудь другому постыдному делу. И все же связь с Византией и татарское владычество не могли не повлиять на русские нравы...

«Есть русские нравы, русская физиогномия, русская история, русская археология; есть даже русское искусство — но нет *русских* начал *искусства,* как нет русской таблицы умножения. Нет, в строгом смысле, и *европейских начал,* а есть начала абсолютные, общие, вечные».

Толстой исходил из того, что начала искусства, годные для одного народа, годны и для всех других народов, и тут нет ни привилегированных классов, ни народов. Иначе мы не понимали бы того же Шекспира. Другое дело — национальная физиономия, национальные нравы, национальные краски. Дмитрия Донского нельзя заставлять петь серенады под балконом, а Пожарского расшаркиваться, держа шапку под мышкой.

И тут Толстой вспомнил о своих разногласиях со славянофилами. «Странная боязнь быть европейцами, — писал он. — Странное искание русской народности в сходстве с туранцами и русской оригинальности в клеймах татарского ига! Славянское племя принадлежит к семье индоевропейской. Татарщина у нас есть элемент наносный, случайный, привившийся к нам насильственно. Нечего им гордиться и щеголять! И нечего *становиться спиной к Европе,* как предлагают сделать некоторые псевдорусы. Такая позиция доказывала бы только необразованность и отсутствие исторического смысла».

К осени 1866 года Толстой уже был в Петербурге и поселился в Пустыньке. Предстоящая постановка «Смерти Иоанна» на сцене Александринки поглотила его целиком. Он и не представлял себе, какое это хлопотное дело — театр. Напишешь вещь, опубликуешь в журнале, и пожинай горькие или сладкие плоды критики, а театр вовлекает в свою орбиту множество людей, затрагивая и самые высшие сферы; в театре бушуют актерские страсти и плетутся закулисные интриги; и сама цензура по-иному подходит к тому, чему предстоить стать зрелищем...

Она совсем не придиралась к трагедии, когда готовилась публикация в «Отечественных записках», но ее явно насторожил необыкновенный успех произведения. Маркевич писал Толстому еще в Рим, как десятки раз читал трагедию в гостиных, ослепляя отраженным светом петербургских красавиц. Журнал нарасхват. В одном Петербурге он обрел больше сотни новых подписчиков, что по тем временам было почти событием.

Разумеется, кое-кто поругивает Толстого, называет аристократом за то, что он якобы вызывает жалость к погубленным боярам. Правда, Маркевич сам не читал этой

статьи, но слышал, будто «фельетонист старается уверить публику, что этот милый палач (Иван Грозный. — *Д. Ж.*) действовал в пользу демократической и социальной республики». Маркевич настраивает Толстого в определенном духе и радуется, что «Русское слово» запретили на пять месяцев. Он передает критические мнения Костомарова и Мельникова о трагедии, уверяет, что все восхищаются языком ее.

Болеслав Михайлович рад был бы поссорить Алексея Константиновича со всеми, а самому стать его Добчинским (так и сказал — Добчинским), незаменимым и верным ходатаем по делам, тем более что это сулит широкие связи во влиятельных кругах, куда его уже давно ввел Толстой. Он успевает всюду — к Алексею Бобринскому, затеявшему миллионное дело с Поземельным банком, к Феофилу Толстому, композитору и литератору, писавшему под псевдонимом Ростислав, к директору императорских театров Борху, из разговоров с которыми понял, что ставить «Смерть Иоанна» будут, несмотря на издержки. Он уже и актеров перебирает, проча Самойлова на главную роль, да только тот сомневается, вынесет ли на своих плечах роль «колоссального Иоанна»...

Он же поспешил к Толстому в Пустыньку, чтобы сообщить ему в беседке на пруду, каков был результат заседания Совета Главного управления по делам печати, которому цензор Фридберг рапортовал, что считает возможным представить на сцене трагедию, если убрать из нее «некоторые названия предметов, составляющих атрибуты царской власти, монашества и религиозных обрядов, а также несколько резких фраз». Член Совета Варадинов решил, что не стоит показывать жестокостей царя, упоминать об убийстве им собственного сына, читать синодик по замученным. Да еще царь разводится с седьмой, кажется, по счету женой...

Но, видимо, Гончаров, взявшийся провести трагедию через цензуру побыстрее, поработал среди своих коллег неплохо, и те возражали — какая же это трагедия, если ужасов нет. Напротив, жестокость Ивана Грозного не имеет никакой аналогии с современностью, и сопоставление современного самодержавия с его формами в XVI веке «должно произвести утешительное и, следовательно, полезное впечатление на зрителей».

Сказалось и то, что еще 8 октября Толстой познакомился с влиятельным цензором А. В. Никитенко, который записал в дневнике свое впечатление о поэте:

«Он очень приятный человек, с мягкими аристократическими приемами, и притом умный человек. Он благодарил меня за мой голос в пользу его трагедии по случаю присуждения Уваровской премии, которой, однако, ему не присудили такие великие критики, как Куник, Пекарский... * Тут был также (П. И.) Юркевич, председатель Театрального комитета, и говорили о постановке «Иоанна Грозного» на сцену... Граф Толстой прочитал набросанные им на бумагу мысли о том, как должны актеры понимать главные роли Иоанна и Годунова. Эти мысли доказывают, что много и глубоко обдумывал автор свое произведение... Беседа продолжалась до двух часов ночи».

Но и при самом благожелательном отношении к Толстому сценическая судьба трагедии не задалась. Лиц в монашеском одеянии, например, закон запрещал выпускать на сцену даже при домашних спектаклях. Министр просвещения начертал уклончивую резолюцию, предоставив Толстому сомнительное право «исключить и заменить по его усмотрению те места, которые обратили на себя внимание цензуры».

Раз уж речь зашла о цензуре, то, пожалуй, стоит рассказать о судьбе всей трилогии. «Смерть Иоанна» сперва разрешили ставить на сцене императорских театров в Петербурге и Москве и некоторых других городах. Но уже 30 июля 1868 года последовало «высочайшее» решение запретить постановку в провинции где бы то ни было. В тот год Толстой оказался в Орле, где местный театр тоже получил отказ, что вдохновило Алексея Константиновича на французское четверостишие о том, как Мельпомену и Клио в клетку посадили, и на саркастические сетования по поводу затруднений старого приятеля Лонгинова, ставшего во главе цензуры.

«Пьесы разделены на несколько категорий: одни разрешены только в столицах, другие — в провинции, третьи — в столицах и в провинции, четвертые — в провинции с утверждения губернатора. Это весьма напоминает формы парадную, праздничную, полную

* 12 февраля Никитенко писал об общем заседании академии: «Против драмы Толстого «Смерть (Иоанна) Грозного» составляется, кажется, сильная коалиция. И поделом ему! Зачем он не принадлежит ни к какому литературному кружку, да еще и аристократ, по крайней мере по имени и по положению при дворе. А что это человек с большим талантом и написал очень хорошую вещь — какое до этого дело...»

праздничную, полную парадную. Несколько наших лучших генералов сошло с ума от такой путаницы, несколько впало в детство — все застегиваясь да расстегиваясь, двое застрелилось. Сильно опасаюсь, как бы не случилось то же с губернаторами, как бы они не замычали и не встали на четвереньки».

И еще он предлагал представить министру внутренних дел Тимашеву проект разделения репертуара на пьесы, одни из которых можно было бы давать в черноземных губерниях, а другие — в нечерноземных, а то и учитывать добычу угля и нефти...

Еще горше была судьба трагедии «Царь Федор Иоаннович», тоже запрещенной в 1868 году. Цензор Кайзер фон Пилькгейм отдал должное редкой художественности трагедии и исторической верности ее, но в ней возбуждается жалость к царю Федору, «несовместимая с Царским достоинством и несоответствующая народному идеалу о Венценосце». А тут еще сопоставление его с умным и энергичным Годуновым. Иерархи церкви принимают участие в заговоре против царя... Совет было разрешил постановку, но один из членов — Феофил Толстой посоветовал представить трагедию на рассмотрение Тимашеву. Элегантный жандарм 26 мая написал такую резолюцию:

«Нахожу трагедию гр. Толстого... в настоящем ее виде совершенно невозможною для сцены. Личность царя изображена так, что некоторые места пиесы неминуемо породят в публике самый неприличный хохот».

Толстой шел на уступки — заменил иерархов другими лицами, исключил шесть мест, которые, как писал цензор, «могли бы вызвать смех у необразованной части публики», но это не спасло трагедии, так и не увидевшей сцены при жизни поэта *.

Чего меньше всего хотел Толстой, так это высмеивать своего царя Федора. Он и в «Проекте постановки», написанном заранее, подчеркивал высокие душевные достоинства Федора, предупреждал актеров, что публика должна полюбить его. Между тем что смешно и что достойно осмеяния — большая разница. Можно смеяться и не терять любви и уважения к человеку. В Федоре должна быть детскость, и характер его многогранен. Он может

* Только через тридцать лет, в 1898 году, трагедия была поставлена на профессиональной сцене — в театре А. С. Суворина и в только что возникшем Художественном театре, который этим первым своим спектаклем сразу же привлек к себе внимание. В. И. Немирович-Данченко писал К. С. Станиславскому: «Удиви-

спросить с сердцем: «Я царь или не царь?» И признаться кротко: «Какой я царь? Меня во всех делах и с толку сбить, и обмануть нетрудно».

Толстой разражается гневной тирадой с откровенностью, так вредившей ему при жизни и после смерти:

«Я, как Вы знаете, старый служака — ведь я служил в стрелках императорской фамилии, и я же старый морской волк — я ведь был членом яхт-клуба. Так вот я со всей грубой правдивостью, свойственной и тому и другому, скажу Вам, что Ваши салонные консерваторы — г... консерваторы... Черт меня подери, — тысяча дьяволов и три тысячи проклятий! — если в какой-нибудь из моих трагедий я собирался что бы то ни было доказывать. В произведении литературы я презираю всякую тенденцию, презираю ее как пустую гильзу, тысяча чертей! как раззяву у подножья фок-мачты, три тысячи проклятий! Я это говорил и повторял, возглашал и провозглашал! Не моя вина, если из того, что я писал ради любви к ис-

---

тельная пьеса! Я не знаю ни одного литературного образа, не исключая и Гамлета, который был бы до такой степени близок моей душе! Я постараюсь вложить в актеров все те чувства и мысли, какие эта пьеса возбуждает во мне... Это или наша самая большая заслуга, или наше бессилие» (архив биб. МХАТ, 5 июля 1898). И надо видеть черновые наброски Станиславского, чтобы понять, как тщательно и с какой любовью он работал над трагедией. Спектакль имел небывалый успех на родине и за рубежом, тем более что в разное время играли: царя Федора — Москвин, Качалов, Хмелев; Ирину — Книппер-Чехова, Пашенная; Годунова — Вишневский, Ершов, Болдуман; князя Ивана Петровича Шуйского — Станиславский, Лужский; князя Василия Ивановича Шуйского — Адашев, Хмелев, Мейерхольд; другие роли — Ливанов, Массальский, Грибов, Кедров, Тарасова...

В 1890 году трагедию ставили на домашней сцене у кн. Волконского, в 1896 году ее тщетно пытался поставить в свой бенефис А. П. Ленский. П. П. Гнедич писал: «...в девяностых годах я в качестве товарища председателя Художественно-литературного кружка хлопотал у Феоктистова — тогдашнего начальника по делам печати — о пропуске «Власти тьмы» Льва Толстого для представления, — он в недоумении спрашивал:

— Зачем вам нужна эта мерзость?

Но в конце концов пропустил ее. Когда же я заикнулся о «Царе Федоре», он даже голос возвысил:

— Нет, уж это извините! Обращайтесь лично к государю...»

Гнедич же рассказывал анекдот, что перед спектаклем у Суворина по Петербургу прошел слух, что актер, играющий царя, будет загримирован Николаем II, а играющий Годунова будет похож на Витте...

Цензура выбросила много прекрасных реплик, и «Я царь или не царь?» в том числе. Но оставалось: «Видно, богу угодно было, чтоб немудрый царь сел на Руси...»

кусству, явствует, что деспотизм никуда не годится. Тем хуже для деспотизма! Это всегда будет явствовать из всякого художественного творения, даже из симфонии Бетховена. Я терпеть не могу деспотизм, так же как терпеть не могу... Сен-Жюста, Робеспьера... Я этого не скрываю, я это проповедую вслух, да, господин Вельо, я это проповедую, не прогневайтесь, господин Тимашев, я готов кричать об этом с крыш, но я слишком художник, чтобы начинять этим художественное творение... Но что общего у монархии с личностями, носящими корону? Шекспир разве был республиканцем, если и создал «Макбета» и «Ричарда III»? Шекспир при Елизавете вывел на сцену ее отца Генриха VIII, и Англия не рухнула. Надо быть очень глупым, господин Тимашев, чтобы захотеть приписать императору Александру II дела и повадки Ивана IV и Федора I. И, даже допуская возможность такого отождествления, надо быть очень глупым, чтобы в «Федоре» усмотреть памфлет против монархии. Если бы это было так, я первый приветствовал бы его запрещение. Если бы было так, из «Ревизора» следовало бы, что не нужны городничие, из «Горе от ума» — что не нужны чиновники, из «Тартюфа» — что не нужны священники, из «Севильского цирюльника» — что не нужны опекуны, а из «Отелло» — что не нужен брак».

Особенно доставалось от Алексея Толстого Феофилу Толстому — «эху салонных консерваторов», двуличному Янусу, который предал его Тимашеву, а сам распинался перед поэтом, льстил ему в письмах, сравнивал с Шекспиром, поминал «Лаокоон» Лессинга.

Не мню, что я Лаокоон,
Во змей упершийся руками,
Но скромно зрю, что осажден
Лишь дождевыми червяками!—

писал Алексей Константинович этому члену совета Главного управления по делам печати, печатавшего критические статьи под псевдонимом Ростислав. И. А. Гончаров рассказал Алексею Константиновичу, как Феофил Толстой, председательствуя в Совете по делам печати, подал свой голос против «Царя Федора Иоанновича», ратуя в то же время как литератор за разрешение пьесы. Из другого послания к Ф. М. Толстому сохранилось лишь несколько ядовитых строк: «О, будь же мене голосист, но боле сам с собой согласен...» и «Стяжал себе двойной венец: литературный и цензурный».

До боли жаль ему «Царя Федора Иоанновича», над которым он продолжал работать и в последующие годы, хотя понял всю безнадежность попыток увидеть трагедию на сцене. Зато он увидел все-таки «Смерть Иоанна Грозного», единственную из написанных им для театра вещей. Признаться, это совсем немного для прославленного драматурга. Видимо, в его произведениях была та художественная правда, которая не устраивает ни консерваторов, ни прогрессистов.

Премьера «Смерти Иоанна Грозного» состоялась в четверг 12 января 1867 года в Александринском театре.

Театральная хроника того времени утверждает, что она была главным событием сезона, и относит это отчасти к «громкой литературной известности автора». Много воды утекло с тех пор, как на этой же сцене состоялось первое и единственное представление «Фантазии», на котором Алексей Константинович блистательно отсутствовал. Негодование Николая I, скандальный провал комедии в свое время развлекли его, и только... На сочинение той штучки вместе с постановкой ее ушел месяц, и меньше всего Толстого интересовал тогда спектакль, хотя, как мы помним, одну из ролей играл великий Мартынов...

Теперь же Толстой волновался, и его подбадривали письма Гончарова, к которому уже обращались актеры с просьбами о ролях. Иван Александрович отвечал актерам уклончиво, советуя подождать Толстого.

Прибыв в октябре в Петербург, тот обосновался в «Отель де Франс», куда к нему поспешил за ролью актер Нильский, не оставивший заметного следа в истории русской сцены, но поведавший в своей «Закулисной хронике» о встречах со знаменитыми актерами и драматургами. В небольшом и скромном номере гостиницы его встретил камердинер Алексея Константиновича, услужливый и красивый Захар, попросивший подождать возвращения из дворца хозяина, который приехал через полчаса в егермейстерском мундире.

— Простите, что заставил ждать, — сказал Толстой. — Впрочем, подождите заодно и еще минуту: я моментально разоблачусь...

«Редко приходилось мне встречать таких бесконечно симпатичных, высокообразованных и безгранично добрых людей, каковым был Алексей Константинович Толстой, — вспоминал Нильский. — Это была воплощенная

добродетель, личность во всех отношениях образцовая и светлая. При своем общественном положении, богатстве и поэтическом таланте он был самым простым, доступным и обаятельным человеком. Всякий бы другой при этих условиях непроизвольно стал бы в рамки недосягаемой персоны, а граф Толстой сумел блестящим образом усвоить себе искреннюю простоту и тем располагать к себе всех окружающих».

Судя по разговору, который у них состоялся, подготовка к спектаклю уже шла полным ходом. Известно, что на постановку была отпущена 31 тысяча рублей, что лучшие художники занимались декорациями и костюмами, а консультировали их археологи и историки, включая Костомарова, что композитор Серов написал музыку для танца скоморохов. До премьеры еще было далеко, а в газетах уже то и дело появлялись противоречивые заметки о том, кому какая достанется роль...

После смерти Александра Евстафьевича Мартынова первым актером Александринки считался Василий Васильевич Самойлов. Он получил прозвище Протея благодаря виртуозному искусству сценической трансформации. Толстой восхищался им в водевилях еще в тридцатых годах, потом в тургеневском «Завтраке у предводителя»... В театре Самойлов держался уверенно и резко, роли не всегда учил, надеясь на суфлера и свой талант. Но если уж он брался за роль по-настоящему, то работал над ней тщательно, карандашом и акварельными красками набрасывал позы, костюмы, продумывал грим.

Самойлову-то и предстояло играть Ивана Грозного. Он уже играл такую же роль в инсценировке «Князь Серебряный», которая был сделана неким С. Добровым и шла в Александринке. Толстому не понравился спектакль, а Самойлов, как он считал, должен играть роль Годунова. Но театральное начальство уже решило отдать эту роль известному актеру Павлу Васильевичу Васильеву.

Когда-то его пригласили на место покойного Мартынова, и он блестяще начал в Александринке, но, недовольный репертуаром, уехал в провинцию. Теперь он, тщательно вживавшийся в образ, оказался главным соперником Самойлова. И ареной этого соперничества предстояло стать «Смерти Иоанна Грозного».

Нет, Толстой определенно не знал, какие театральные страсти он разбудил своей трагедией. Вот он встречается и переписывается с «почтеннейшим Василием Васильевичем». Но ему нравится и Павел Васильевич — Толстой

слышал, как у знакомых Васильев читает «Гамлета». И как читает!

Маленького роста, полный, с одутловатым лицом, маленьким носом, трудно поддающимся гримировке, хриплым голосом, он заставлял забывать о своих недостатках. Особенно хорош он был в пьесах Островского. И хотя затмить Самойлова ни ростом, ни голосом, ни даже театральной техникой он не мог, публика полюбила его.

Самойлов был взбешен тем, что ему придется играть с Васильевым — Годуновым, и отказался, от главной роли.

— Это будет не трагедия, а фарс, — возмущался он. — Я вовсе не хочу быть в комедиантской обстановке. Он будет жалок и смешон.

Тогда Толстой, слабо разбиравшийся в закулисной стороне дела, предложил роль Годунова Самойлову, так как был твердо уверен, что она «гораздо труднее и гораздо Вас достойнее». Куда там!..

Дело до того запуталось, что начальник репертуара Федоров и директор Борх стали отсылать и автора, и актеров на суд к министру двора. Роль Годунова досталась Нильскому. Роль царицы — Струйской, жене Васильева. Но это было лишь начало борьбы за роли...

Репетиции не принесли облегчения. На них являлось множество известных литераторов, ученых, художников, музыкантов, и непременно бывал Толстой. И страдал. На глазах его происходило совсем не то, о чем он думал, когда писал трагедию. Господи, как бесцветно читают свои роли актеры! И какой же из Васильева Иван Грозный! Но Толстой пытался утешить себя, что это первые наброски, нащупывание, поиски направления. Феофил Толстой говорит, что Васильев совершенно не подходит для роли Грозного, но что поделаешь — Алексей Константинович дал слово не отнимать у него этой роли, если Самойлов изменит свое решение. А слово есть слово.

Может быть, выручит Маркевич, столь блистательно читавший трагедию? Не внушит ли он актеру, играющему Годунова, что тот должен проявлять обаятельную силу, а вовсе не копировать Тартюфа. «Человек, который борется с *Иоанном,* уже самим своим положением завоевывает внимание публики. От артиста зависит правдоподобностью игры оправдать возбужденное ожидание. Для этого он должен проникнуться убеждением, что его задача: всех обмануть, *всех обворожить* и всех себе подчинить, начиная с публики».

А как мямлит Васильев! «Нервности, больше вообще

нервности или впечатлительности, восприимчивости, раздражительности — да и *царственности* больше...»

И все актеры обижаются. Всех надо ублажать...

Радовали лишь декорации и костюмы.

На 12 января назначена премьера, а 11-го от Васильева пришел Владимир Жемчужников и сказал, что застал актера совершенно больным и без голоса. Васильев велел передать, что вряд ли выздоровеет, и отказывался от роли. Интриги Самойлова и неуверенность в Васильеве автора сделали свое дело.

И все-таки премьера состоялась.

С утра, страшась того, что произойдет на сцене, Толстой поехал приглашать Александра II.

Театр был переполнен. Император, почти вся семья его, двор, дипломатический корпус, министры, литераторы — короче говоря, явился «весь Петербург». Сидя в директорской ложе, Толстой приходил в отчаяние от глухого и невнятного голоса Васильева. Выручал сановитый, изящный, красивый Нильский. Да и прочие старались. Достаточно сказать, что даже роль шута играл замечательный комик Горбунов.

И зал взрывался аплодисментами. Хлопали автору, вызывая его на сцену. По словам Нильского, поэт хотел было подчиниться желанию публики, но его остановил граф Борх:

— Нельзя! Вам нельзя!

— Почему?

— Вы как придворный чин не имеете права показываться на сцене, а можете откланяться публике только из директорской ложи.

— Но это стеснение?

— Правило-с!

Нет, он не «свободный художник». Вежливо, но твердо ему напомнили, что он никогда уже не выйдет из круга условностей и обязанностей.

На другой день Нильский отправился к Бобринскому, у которого теперь жил Толстой. Актер был чрезвычайно доволен. Это был бенефис Нильского, и на его долю «очистилось почти пять тысяч рублей». Толстой подарил ему и свой гонорар. Театральный счетовод записал: «Графу Толстому за пьесу «Смерть Иоанна Грозного» с 2/3 сбора 1/10 часть. 12 января. Бенефис Нильского (от поспектакольных автор отказался). Сбор — 1832 р. 25 к. С 14 янв. по 26 февр. 14 спектаклей. Сбор — 25777 р. 50 к. Причитается к выдаче — 1718 р. 50 к.».

Приводится эта выписка не для того, чтобы дать представление о заработке драматурга, а для того, чтобы показать, каков был успех трагедии, несмотря на все огорчения Толстого по поводу исполнения главной роли. Многие рецензенты тоже считали Васильева «совершенно невозможным Иоанном Грозным».

Вскоре Алексей Константинович писал княгине Сайн-Витгенштейн: «Я самому себе не отдавал отчета во впечатлении на публику от моей пьесы, так как с самого начала она была жертвой разных закулисных тщеславий, вследствие чего главная роль выпала на долю второстепенного таланта, по крайней мере, в этом амплуа. Публика, газеты и сами актеры разделились на два лагеря, и последовала жестокая война. Много кричали, что г-н Васильев, который играл Иоанна, добровольно отказался от своей роли в пользу г-на Самойлова, который был встречен криками восторга и осыпан дождем цветов и лавровых венков при своем появлении. С 12 (24-го) января пьеса дается два раза в неделю, и зала всегда переполнена. Неслыханная до сих пор вещь — дирекция открыла подписку, и записываются за 10 и 15 дней, чтобы получить ложу; несколько человек приехали из Москвы и не могли достать билеты. Не обвиняйте меня в лицемерии, но я в большой мере приписываю этот успех точности и красоте декораций и костюмов... Что касается г-на Серова, то я даже его еще не знал, когда он написал свою музыку, полную красок и оригинальности. Я его попрошу дать мне копию, которую я пошлю милому г-ну Листу. Серов намеревается написать музыку и к другим актам. Что касается меня, то я видел пьесу всего три раза, — два раза с Васильевым и один раз с Самойловым. Я даже не достал бы билета последний раз, если бы министр двора не дал мне свое кресло. Самойлов великолепен внешностью и манерами, но он не знал своей роли, когда я его видел, — и это испортило некоторые места».

Да, Васильева в главной роли сменил Самойлов. Скорее всего дирекция театра пошла навстречу пожеланиям публики, которой не терпелось увидеть соревнование двух великих артистов, хотя и с Васильевым театр делал полные сборы. Самойлов на первой же репетиции стал менять привычные для исполнителей места и сценическую обстановку. Он не сидел, а метался по сцене, хотя Иван Грозный в трагедии был уже смертельно больным. Толстому казалось, что играет он лучше Васильева, но как неприятно было слышать коверканье стихов. Не было

случая, чтобы во втором действии Самойлов не осведомлялся перед выходом у помощника режиссера:

— Что я говорю?

Тот, посмотрев в книгу, отвечал:

— Вы выходите со словами: «Что делаешь ты здесь?»

Самойлов выходил и всякий раз произносил:

— Зачем ты пришел сюда?

Толстой восклицал:

— Это же трагедия в стихах! Нет, он положительно не знает своей роли! Скажите ему, что он, звезда первой величины, упускает случай поиграть на нервах своих слушателей, как Лист на клавишах фортепиано, потому что в минуту, когда ему надо выражать страсть, гнев, страх, угрызение совести, отчаяние, он ищет слов.

Зрители упорно обсуждали и осуждали игру и Васильева и Самойлова, а на спектакли большинство ходило вновь и вновь. Общие чувства, казалось, выразил поэт-импровизатор Минаев в эпиграмме, кончавшейся так:

...Я Павла Васильева вижу, Василья Васильича тоже,
Но где же Иван-то Васильевич Грозный?

А. С. Суворин, на которого часто ссылаются современные историки театра, однако, высоко оценил игру обоих актеров, отдавая все же предпочтение Васильеву:

«Страшно было смотреть на г. Васильева, когда он заворочался на своем кресле, объятый неодолимым суеверным ужасом, когда лицо его стало передергиваться судорогами, и уста молили, чтобы не боялись его. Эта мольба производила потрясающее впечатление, этот ужас сообщался всем всецело, и невольно приходило на мысль сравнение с человеком, запертым в клетку и испытывающим ужасные муки...

Г-н Самойлов удовлетворил нас своею игрою меньше, чем г. Васильев... Перед нами был Людовик XI, кардинал Ришелье, вообще что-то чрезвычайно иностранное...»

Историки театра выпустили много томов, посвященных постановкам трагедий А. К. Толстого, актерам, режиссерам, писали монографии о спектаклях, ставивших на ноги целые поколения тружеников сцены, но скупо и даже с некоторым удивлением упоминали о самом авторе, словно он имел лишь косвенное отношение к спектаклям, делавшимся общественными явлениями в самые разные времена.



Глава девятая

«ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»

Говорят, чужая душа — потемки. А у Толстого она светлая, прозрачная, как воздух в погожее утро. Были люди, и великие люди, заботившиеся о том, что будут писать о них биографы и говорить потомки, и потому предупредительно создававшие собственный образ, ограничивая порой себя в высказываниях, чтобы не нарушать цельной картины, которая так удобно вписывается в соответствующую эпоху. А у этого что на уме, то и на языке. Рубил сплеча Алексей Константинович в своих писаниях, оставаясь в личном общении добрым, сильным, располагающим к себе человеком. «Поэт-богатырь», иногда говорили о нем, подразумевая не только то, что он любил слово «богатырь» и не раз делал героями своих баллад легендарных русских богатырей, но и ум, страсть, благородство побуждений, прямоту высказываний и поэтическую силу.

«Когда я смотрю на себя со стороны (что весьма трудно), то, кажется, могу охарактеризовать свое творчество в поэзии как мажорное, что резко отличается от преобла-

дающего минорного тона наших русских поэтов, за исключением Пушкина, который решительно мажорен».

Пушкин считал национальным признаком русских «веселое лукавство ума». Алексей Константинович Толстой обладал этим качеством в полной мере. Было бы кстати вспомнить здесь о «Нравоучительных четверостишиях» Языкова, которые, как считают, были им написаны вместе с Пушкиным. Они кажутся совсем «прутковскими». Вот, например, «Закон природы»:

Фиалка в воздухе свой аромат лила,
А волк злодействовал в пасущемся народе;
Он кровожаден был, фиалочка мила:
Всяк следует своей природе.

«Нравоучительные четверостишия» были задуманы как пародии на дидактические стихотворения И. И. Дмитриева, но об этом вспоминают лишь в примечаниях — стихи живут собственной жизнью уже более ста пятидесяти лет.

Алексей Толстой молился на Пушкина. Издания стихотворений великого поэта он испещрял своими пометками, любовно следя за всеми оттенками пушкинской мысли, восторгаясь пушкинской рифмой. Иногда он позволял себе делать шутливые дополнения к стихам Пушкина или комментарии к ним.

Так в «Анчаре» после стихов:

А князь тем ядом напитал
Свои послушливые стрелы
И с ними гибель разослал
К соседям в чуждые пределы...

Толстой вспоминает:

Тургенев, ныне поседелый,
Нам это, взвизгивая смело,
В задорной юности читал.

Толстой улыбался пристрастию молодого Пушкина к «Вакху, харитам, томным урнам...». Некоторые дополнения Толстого полны озорства. Так, под «Царскосельской статуей»

Чудо! Не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой:
Дева над вечной струей вечно печальна сидит.

Толстой пишет:

Чуда не вижу я тут. Генерал-лейтенант Захаржевский,
В урне той дно просверлив, воду провел чрез нее.

Бьющее через край озорство слышится в четверостишиях-советах, которые Толстой собрал под общим заглавием «Мудрость жизни».

Самые смешные, самые лихие стихотворения Толстого всегда содержат зерно неожиданного глубокомыслия, которое, вызвав смех, заставляет задумываться. Вот, казалось бы, всего лишь баллада о нелепом всепрощении:

Вонзил кинжал убийца нечестивый
В грудь Деларю.
Тот, шляпу сняв, сказал ему учтиво:
«Благодарю»...

А философ Владимир Соловьев, начав в своих «Трех разговорах» с шутливого разбора ее, написал едва ли не целый трактат о том, что носители зла завидуют недостижимой для них бездонности и простой серьезности доброты, что зло ничего не может поделать с добротой — она для него непроницаема...

Но если бы стихотворения, исторические баллады, трагедии Толстого были бы исполнены лишь юмора или романтических чувств, пластичности образов, живописности, то, наверно, справедливо было бы суждение Чехова, сказавшего Бунину: «Послушайте, а стихи Алексея Толстого вы любите? Вот, по-моему, актер! Как надел в молодости оперный костюм, так на всю жизнь и остался». Чехов подметил только блеск и красоту антуража толстовских произведений, благородство героев, «непринужденность выражений» и «молодечество», как говаривал поэт о некоторых своих вещах, но совершенно упустил из виду то, что по духу ему было бы ближе, припомни он в ту минуту «прутковщину» и сатиры поэта. И уж больно разительно отличался чеховский творческий метод от толстовского в приземленности своей. Чехов брал героев из самой что ни на есть обыденной среды и поглядывал на Толстого с позиций прирожденного демократа. Могло сказаться и распространенное к тому времени пренебрежительное мнение о человеке, не иначе, как с насмешкой произносившего слово «прогресс».

Еще во время встречи Толстого с Тургеневым, Герценом и другими на острове Уайте велись разговоры о «Современнике» и причинах разногласий с редакцией журнала. Тогда-то и зародился у Тургенева план романа «Отцы и дети».

Хотя Тургенев старался быть беспристрастным к «нигилистам», роман вызвал бурю. Уже не было в «Современнике» Чернышевского и Добролюбова, но заменившие их «семинаристы» в лице Антоновича шумно бранили Тургенева за «чистую клевету на литературное направление», что окончательно поссорило романиста с Некрасовым. Антонович подхватил упомянутое Тургеневым слово «нигилист» и пустил его в оборот. Салтыков-Щедрин трактовал Базарова как «хвастунишку и болтунишку, да вдобавок еще из проходимцев». Писареву Базаров представился блестящим художественным воплощением лучших стремлений и симпатий молодого поколения.

В письме к жене в декабре 1872 года Алексей Толстой сообщал, что перечитывает «Отцов и детей».

«Я не могу сказать тебе, с каким неожиданным удовольствием я это читаю.

Какие звери — те, которые обиделись на Базарова!

Они должны были бы поставить свечку Тургеневу за то, что он выставил их в таком прекрасном виде. Если бы я встретился с Базаровым, я уверен, что мы стали бы друзьями, несмотря на то, что мы продолжали бы спорить».

Это письмо многое раскрывает в очень своеобразном и сложном характере Алексея Константиновича Толстого.

Вспомним, когда родилось его стихотворение «Пантелей-целитель», в котором он открыто заявил о своем неприязненном отношении к части русской журналистики.

Они звона не терпят гуслярного,
Подавай им товара базарного!
Все, чего им не взвесить, не смеряти,
Все, кричат они, надо похерити;
Только то, говорят, и действительно,
Что для нашего тела чувствительно...

Оно появилось в «Русском вестнике» в 1866 году. Но почему же не раньше?

Острое чувство справедливости заставило Толстого вступиться за Чернышевского перед самим царем. Он питал уважение к мужественной борьбе Добролюбова и Чернышевского.

Иначе воспринимал Толстой тех, кого Бакунин назвал «недоученными учениками Чернышевского и Добролюбова». Знаменитый анархист в том же 1866 году советовал Герцену, тоже не нашедшему общего языка с молодыми

нигилистами, искать себе читателей и среди них, людей очень энергичных.

В демократической журналистике усилилась разноголосица, вызванная идейным разбродом. Некоторые в своей пропаганде естественнонаучного материализма доходили до вульгарности, в критике дворянской литературы — до нелепостей. Особенно раздражал Толстого безапелляционный тон, в котором выражались мнения.

В письме к де Губернатису он писал:

«Что касается нравственного направления моих произведений, то могу охарактеризовать его, с одной стороны, как отвращение к произволу, с другой, к ложному либерализму, стремящемуся возвысить то, что низко, но унизить высокое. Впрочем, я полагаю, что оба эти отвращения сводятся к одному: ненависти к деспотизму, в какой бы форме он ни проявлялся. Могу прибавить к этому ненависть к педантической пошлости наших так называемых прогрессистов с их проповедью утилитаризма в поэзии».

И там же добавил: «Любопытен, кроме всего прочего, тот факт, что в то время как журналы клеймят меня именем ретрограда, власти считают меня революционером».

Мнение «властей» часто выражалось в цензурных запретах печатать стихи Толстого, провинциальным театрам категорически отказывали в разрешении ставить его пьесы. В то же время журналисты, возмущенные его антинигилистическими стихотворениями, распространяли свой гнев на все его творчество.

Видя одной из главных задач защиту свободного волеизъявления художника от диктата нигилистов *, он провозглашал:

Правда все та же! Средь мрака ненастного
Верьте чудесной звезде вдохновения,
Дружно гребите, во имя прекрасного,
Против течения!

Но когда он читал это стихотворение молодежной аудитории, она воспринимала его как призыв к борьбе против «мрака ненастного» существовавших порядков и восторженно аплодировала.

---

* В. И. Ленин различал «революционный нигилизм», «анархизм или интеллигентский нигилизм», а также «оппортунистический нигилизм, который проявляют либо анархисты, либо буржуазные либералы».

К. Маркс отмечал «школьнический нигилизм, который теперь в моде среди русских студентов...».

«В Потоке-богатыре», переносясь от времен князя Владимира во времена поближе, его герой видит самодержца, который как «хан на Руси своеволит», а еще позже — галдящую толпу остриженных девиц в сюртуках, аптекаря, провозглашающего, «что, мол, нету души, а одна только плоть и что если и впрямь существует господь, то он только есть вид кислорода». А это уже прямо перекликается с прутковским «Церемониалом».

В спорах демократического лагеря о будущности России очень часто высказывались вульгарные мнения о полном уничтожении семьи, государства, искусства, о торжестве рационализма, что давало Толстому с его, как он говорил, «шишкой драчливости» обильную пищу для насмешек. В сатире «Порой веселой мая...» у него сад цветущий собираются засеять репой, соловьев истребить за бесполезность. Междоусобица в демократическом стане породила злые слова о грызущихся толпах «демагогов» и «анархистов», согласных лишь в том, что всеобщее благоденствие наступит, как только все будет отнято, а потом поделено. И Толстой предлагал в шутку средство борьбы с ними:

Чтоб русская держава
Спаслась от их затеи,
Повесить Станислава
Всем вожакам на шеи.

И он оказался провидцем в отношении, например, М. А. Антоновича и Ю. Г. Жуковского, которые некогда яростно обвиняли Тургенева в «клевете» на демократическое движение, а потом перешли на государственную службу и дослужились до генеральских чинов.

И еще несколько десятилетий часть тех бывших нигилистов, которые постепенно превратились в либеральных профессоров, никак не могла простить Толстому его насмешек. Злопыхательствующие критики вроде Скабичевского вообще не хотели видеть в нем оригинального поэта и обрушивали свой гнев на все, что когда-либо было им написано.

Когда-то тоже ходивший в нигилистах Н. Котляревский, наоборот, защищал Толстого. Он вполне резонно заметил:

«Толстой стоял не одиноко, когда с опасением следил за развитием ультрарадикальных взглядов и настроений, которые как будто предвещали ну если не конец света, то вихрь отрицания и разрушения. И не одни консерваторы

и поклонники уютной косности разделяли с ним эти опасения.

Чтобы верно судить о том положении, какое Толстой занял по отношению к крайним нашим партиям в 60-х годах, надо держать в уме несколько исторических справок; надо вспомнить, например, как Герцен отнесся к «желчевикам» и какие колкости он говорил Чернышевскому...»

Должен ли юмор непременно смешить? Петрушку колотят палкой, и это вызывает смех у непритязательных зрителей. А бывает, что старое привычное вдруг предстает в новом освещении. Свежий насмешливый глаз видит как-то по-иному, и рождается новая мысль, которая на первых порах вызывает не бурный смех, а либо просто радостное ощущение прозрения, либо даже горечь разочарования в привычном. И все же это юмор...

Иные из афоризмов Козьмы Пруткова вызывали смех сто лет назад, другие стали смешными в наше время. Поводы, которые послужили их рождению, давно забыты, но афоризмы зажили собственной жизнью и отличаются завидным долголетием.

В девятнадцатом веке литературные поденщики часто, пользуясь иностранными источниками, перекраивали изречения Паскаля, Ларошфуко, Лихтенберга и других афористов и публиковали их в отечественных газетах и журналах. В свою очередь, Козьма Прутков перекраивал напечатанные афоризмы, но уже на свой лад. «Перерабатывал» он и русских авторов. Он подражал «Историческим афоризмам» Погодина. Он взял выражение из «Капризов и раздумий» Герцена: «Нет такого далекого места, которое не было бы близко откуда-нибудь» и переделал его в свое: «Самый отдаленный пункт земного шара к чему-нибудь да близок, а самый близкий от чего-нибудь да отдален».

Совсем недавно М. И. Привалова исследовала некоторые источники «Мыслей и афоризмов» Пруткова. Она высказала предположение, что многие афоризмы Пруткова родились в результате чтения и переосмысления «Пифагоровых законов» Марешаля.

Пьер-Сильвен Марешаль был участником Великой французской революции. На русский язык «Пифагоровы законы» были переведены еще в начале XIX века В. Сопиковым. Книга эта немало способствовала пропаганде в России идей буржуазной революции, она обличала са-

модержавие, крепостничество, церковь. Марешаль говорит: «Порядок да будет твоим божеством! Сама природа через него существует!» Козьма Прутков утверждает: «Человек! Возведи взор твой от земли к небу, — какой, удивления достойный, является там порядок!» Марешаль: «Будь добродетелен, если хочешь быть счастлив». Прутков: «Если хочешь быть счастливым, будь им!» Привалова считает даже, что такая побудительная форма прутковских афоризмов, как: «Бди!», «Козыряй!», возникла из-за того, что Марешаль злоупотреблял повелительным наклонением. Но это предположение весьма сомнительно. Скорее тут сказался самонадеянный характер самого Пруткова, сына своей эпохи.

Интересно другое. Уже советский исследователь В. Сквозников писал о том, что Прутков пародировал мудрость, что это была косвенная реакция на рационализм и что «для людей новой эпохи в афоризмах Пруткова звучит прежде всего здоровая нота — отвращение от абстрактного и самонадеянного мышления».

М. И. Привалова, помня о нападках Алексея Толстого на демократический лагерь, высказала предположение, что отвращение к рационализму Толстой питал задолго до антинигилистических стихотворений. «Скорее всего автором пародийных вариаций на «Пифагоровы законы» Марешаля мог быть А. К. Толстой, которому не могли импонировать взгляды последнего с их анархизмом, грубой уравниловкой и нигилистическим отношением к искусству».

И она приводит слова Марешаля из «Манифеста равных»:

«Мы готовы снести все до основания, лишь бы оно (равенство) осталось у нас. Если надо, пусть погибнут все искусства...»

Авторство афоризмов Козьмы Пруткова тщательно замаскировано, и, по мнению М. И. Приваловой, причину этого надо искать в желании «деликатного» В. М. Жемчужникова, который в восьмидесятые годы не хотел вспоминать «о неблаговидных выпадах покойного А. К. Толстого».

Столь недвусмысленное осуждение взглядов А. К. Толстого, да еще приписываемое В. М. Жемчужникову, требует идейного осмысления их.

Еще в «Манифесте Коммунистической партии» К. Маркс и Ф. Энгельс говорили о том, как буржуазия, достигая господства, разрушает феодальные, патриархаль-

ные, идиллические отношения и не оставляет между людьми никакой другой связи, кроме голого интереса, бессердечного «чистогана», как она топит в эгоистическом расчете религиозный экстаз, рыцарский энтузиазм, сентиментальность, как она в конечном счете оставляет на месте всех благоприобретенных свобод одну бессовестную свободу торговли, как она даже поэтов превращает в своих наемных работников...

Позже К. Маркс и Ф. Энгельс же, осуждая крайние формы нигилизма, писали, что «эти всеразрушительные анархисты, которые хотят все привести в состояние аморфности, чтобы установить анархию в области нравственности, доводят до крайности буржуазную безнравственность».

Правильно понять реакцию А. К. Толстого на нигилизм значило бы осознать и некоторые причины появления громадного пласта русской литературы и, в частности, многих произведений Ф. М. Достоевского.

Но послушаем другую сторону. Хотя бы князя В. П. Мещерского, который рассказал, какие дипломатические ходы делал Толстой в 1864 году против М. П. Муравьева, усмирившего польское восстание. Либеральные государственные деятели Валуев и Суворов старались изо всех сил подорвать влияние Муравьева, опиравшегося на завсегдатаев гостиной графини Блудовой, на фрейлину Анну Федоровну Тютчеву, сблизившуюся уже со своим будущим мужем Иваном Аксаковым. Но если либералами руководил расчет «сломить крупную силу независимого государственного деятеля», то «в лице графа Толстого, как пишет Мещерский, было страстное, но честное убеждение человека самых искренних и даже фанатичных, гуманно космополитичных взглядов и стремлений... Его мечты требовали не муравьевской энергии после мятежа, а признания в поляках элементов культуры и европейской цивилизации выше наших; отсюда у него естественно исходило требование гуманности вместо строгости...»

Князь В. П. Мещерский решил, как он выражался, вступить в журналистику «с охранительными боевыми задачами». Аристократ стал выпускать газету «Гражданин», в которой взял на себя неблагодарное дело бороться с монархических позиций против печати демократического и либерального толка.

Но в новых условиях даже сановники предпочитали

считаться либералами, и Мещерский вскоре почувствовал, что открыто, по его словам, «быть консерватором значило одно и то же, что быть мошенником». При дворе журналистику не уважали вообще, и царь Александр II однажды пренебрежительно спросил Мещерского: «Ты идешь в писаки?»

Еще только задумывая газету, которую к концу первого года ее существования редактировал Федор Михайлович Достоевский, начавший печатать в ней свой «Дневник писателя», князь Мещерский как-то пытался заручиться сотрудничеством Алексея Константиновича Толстого, хотя знал, что тот «одинаково искренне ненавидел две вещи: службу чиновника и полемику газет и журналов»...

Мещерский долго говорил ему о развращающем влиянии на молодежь существовавших газет и журналов, о «Санкт-Петербургских Ведомостях» Суворина (он в те времена считался «шальным нигилистом») и кончил тем, что изложил свою программу — защищать церковный авторитет, самодержавие и обличать все увлечения либерализмом.

И дальше в воспоминаниях Мещерского можно прочесть признание, которое весьма расширяет наше представление об А. К. Толстом:

«Помню его, с оттенком тонкой насмешливости, пристально в меня устремленный, недоумевающий взгляд, когда я ему говорил о своих журнальных мечтаниях. Взгляд его так ясно и так искренно говорил мне: вот дурак! — что я почти чувствовал себя перед ним сконфуженным.

Да и не по этому одному граф А. К. Толстой относился к моему предприятию со скептицизмом и недоумением. Фанатизм, с которым он оберегал самобытность своего «я», был так силен и глубок, что граф Толстой не причислял себя ни к какому лагерю; он дорожил правом не думать как другие как лучшим благом своей свободы, а так как культ духовной свободы он ставил выше всего, то мне казалось, что он при всей своей оригинальности скорее клонится к либералам, чем в нашу сторону, где он не симпатизировал слишком определенным рамкам верований».

Очевидно, что Мещерский понимал слово «либерал» несколько иначе, чем Толстой. Но главное не в этом. Главное в том, что Толстой не верил в «идеальность консервативных стремлений» Мещерского.

«Он как будто признавал, что перенесенные в область реального, эти идеальные стремления консерватизма обратятся в холопский культ Держимордного кулака и чиновничьего пера...»

«Он скорее... был мыслями с увлекавшимися свободою, чем с теми, которые во имя консервативного культа мечтали эту свободу обуздать. Он отрицал пользу такой узды для самих идеалов и предсказывал, что она будет только на помощь произволу чиновника».

Толстой, как всегда, высказал свое мнение без околичностей. Ко времени этого разговора по рукам ходило уже немало списков сатирических стихотворений, в которых ярко проявилась его способность видеть смешные и нелепые стороны жизни.

В те годы сатира процветала. Редкое из многочисленных изданий не имело специального отдела, где печатались стихи, песни, эпиграммы, в которых затрагивались самые острые проблемы политической жизни. Сатирические журналы во главе с «Искрой» стали общественной силой.

Однако сатиры Толстого в этих изданиях места себе не находили. Он так крепко бил по царской бюрократической машине, что о прохождении его сатир через цензуру не могло быть и речи. Все они были напечатаны лишь через много лет после его смерти.

Достаточно вспомнить «Историю государства Российского от Гостомысла до Тимашева», или стихотворение о китайце Цу-Кин-Цыне, приказавшем высечь совет, или «Бунт в Ватикане»...

Можно было удалить от власти Муравьева-«Вешателя», но на смену ему пришли такие сановники, как П. А. Валуев и А. В. Головин, не скупившиеся на либеральные позы и речи вроде тех, что принимали и произносили министр или полковник Биенинтенсионе в драме Козьмы Пруткова «Министр плодородия» или опять же министр в сатирической поэме Алексея Толстого «Сон Попова»:

Мой идеал полнейшая свобода —
Мне цель народ — и я слуга народа!
Прошло у нас то время, господа, —
Могу сказать: печальное то время, —
Когда наградой пота и труда
Был произвол. Его мы свергли бремя...

Даже грозное III Отделение переменило стиль и методы работы. Оно сумело из нелепого происшествия — появления чиновника Попова без штанов у министра —

извлечь целое дело. Толстой первый в русской литературе заговорил о существовании этого учреждения, о «лазоревом полковнике», вкрадчивой речью вконец запугавшем Попова, который настрочил донос на десятки своих невинных знакомых...

Лев Николаевич Толстой говаривал о «Сне Попова»:

— Ах, какая это милая вещь, вот настоящая сатира и превосходная сатира!

И еще:

— Это бесподобно. Нет, я не могу не прочитать вам этого...

И он мастерски читал поэму, вызывая взрывы смеха у слушателей.

Особенно доставалось в стихах Алексея Толстого председателю Главного управления по делам печати Михаилу Лонгинову и члену совета того же управления Феофилу Толстому, чью предательскую казуистику поэт высмеивал в своих посланиях, закончив одно из них издевательской цитатой из Козьмы Пруткова:

Нам не понять высоких мер,
Творцом внушаемых вельможам,
Мы из истории пример
На этот случай выбрать можем:

Перед Шуваловым свой стяг
Склонял великий Ломоносов —
Я ж друг властей и вечный враг
Так называемых вопросов!

Михаил Николаевич Лонгинов, библиограф и историк литературы, некогда либерал, человек, близкий к «Современнику» и принадлежавший к окружению Козьмы Пруткова, наконец получил возможность применить к делу свои взгляды, изложенные им в памятном нам письме к Алексею Жемчужникову и в речи на заседании Общества любителей российской словесности. Лонгинов-цензор свирепствовал так, что его осуждали даже друзья. Алексей Толстой прослышал, что он среди прочего запретил даже книгу Дарвина, и написал свое «Послание к М. Н. Лонгинову о дарвинисме», предпослав ему шутливое предупреждение: «Читать осторожно, сиречь не все громко» и прутковские афоризмы.

Алексей Толстой был человеком верующим, но он не мог представить себе, как можно принимать всерьез жестокие, человеконенавистнические ветхозаветные сказки, которые не имеют ничего общего с христианской этикой.

Но именно они, войдя составной частью в церковное учение, многие века тормозили развитие науки и служили примером для весьма нехристианских нравов. Толстой шутливо упрекнул Лонгинова даже в «ереси» — Комитет по печати предписывал самому богу приемы сотворения человека. «И по мне, — писал Толстой, — шматина глины не знатней орангутанга. Но на миг положим даже: Дарвин глупость порет просто — ведь твое гоненье гаже всяких глупостей раз во сто».

Толстой и тут не удержался от язвительных слов в адрес нигилистов, которые со своей неопрятностью и поведением «норовят в свои же предки».

Лонгинов тоже сочинил стихотворное послание к Толстому, в котором отрицал слухи о запрещении книги Дарвина. Толстой в письме к Стасюлевичу написал: «Он отрекается от преследования Дарвина. Тем лучше, но и прочего довольно...»

Весну и лето 1867 года Алексей Толстой провел в Пустыньке. И работал не покладая рук. Наконец вышел первый сборник его стихотворений. Тщательно отбирал их Толстой, но, занятый театром, новой трагедией, балладами, он необдуманно воспользовался предложением Маркевича держать корректуру сборника, который вышел с многочисленными опечатками и искажениями. Это расстроило Толстого, но не лишило чувства юмора в стихотворной благодарности, посланной Маркевичу:

Сменив Буткова на Каткова,
Отверг ты всякий ложный стыд.
Тебе смысл здравый не окова;
Тебя нелепость не страшит.
И я, тобою искаженный,
С изнеможением в кости
Спешу, смущенный и согбенный,
Тебе спасибо принести.

Сам Толстой был чрезвычайно придирчив к себе. Поражает легкость, складность его стихов. Но какой труд стоит за этой «легкостью», мог поведать только автор их, как он это сделал в марте, справляясь у Павловой о переделке перевода «Смерти Иоанна Грозного», умоляя ее, чтобы материнские чувства к уже сделанной работе не помешали ей пересмотреть стих за стихом и черкать безжалостно... «Вы не можете себе представить, как я беспощаден к «Федору» и как я зачеркиваю не только целые

листы, но и целые тетради. Вы, пожалуй, скажете про меня: заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет, но, право, без этого нельзя. Только так и может выйти что-нибудь порядочное».

Ему хочется, чтобы сохранилась лаконичность оригинала, чтобы не возникало двух стихов, где нужен один. Ему хочется, чтобы и в Германии трагедия имела такой же успех, как и в России. И он не без гордости сообщает, что очередь в кассу выстраивается с 8 утра, что прошло уже очень много представлений, а барышники продают билеты в кресла по 25 рублей, что газеты осыпают его похвалами и бранью, из чего составился у него едва ли не целый том, что чиновники украли половину отпущенных на постановку денег, что есть лишь поклонники и злобствующие, а равнодушных нет. К злобствующим принадлежит петербургский полицмейстер, считающий, что «пьеса крамольная, направленная на поругание власти и на то, чтобы научить народ строить баррикады». И еще «Последователи покойного Муравьева говорят, что пьесу надо запретить. *Все красные и нигилисты ею возмущены* и что есть сил набрасываются на меня».

Павлова приехала в Пустыньку и провела там целый месяц. «Довела перевод до такой степени совершенства, что я назвал бы его шедевром, если бы не был автором оригинала». Сделано это было не без помощи Толстого, который владел немецким так совершенно, что бегло писал на нем неплохие стихи. Видимо, Павлова заразила Толстого интересом к переводам, и, когда пришло время опять ехать в Карлсбад, он захватил с собой томик Гёте, бродил по горам и заносил в записную книжку строфы из «Коринфской невесты» и «Бога и баядеры».

Он пытался даже теоретизировать в сфере перевода, не первый сделал открытие, что надо отдаляться от «подстрочности», и стоял за вольность переложения — отбрасывал без церемоний стихи, которые казались ему вставленными «как заклепки». В результате вышло правило:

«Я думаю, что не следует переводить *слова* и даже иногда *смысл,* а главное, надо передавать *впечатление.*

Необходимо, чтобы читатель перевода переносился бы *в ту же сферу*, в которой находится читатель оригинала, и чтобы перевод действовал на *те же нервы».*

Толстому исполнилось пятьдесят лет. «Я — старенький», — писал он Софье Андреевне, а мысли у самого

почти юношеские — не пора ли поработать над своим «я», которое «есть неизбежная изнанка чувства чести», чтобы оно не брало верх над всем остальным. Этакое самоунижение паче гордости...

А тем временем великий герцог Карл Александр Саксен-Веймар-Эйзенахский пригласил его посетить свои владения, обхаживал, и никогда еще Толстой не проводил так приятно время в Германии. И снова он в замке Вартбург неподалеку от Эйзенаха. Из его комнаты с окошками в свинцовых переплетах, как медовые соты, вид в узкий двор замка, а с другой стороны — на горы, покрытые лесом. Тут и старинные картины, и инструменты миннезингеров XII века, и комната с привидением, и лестницы винтом, и посуда XI столетия — все как положено, все дышит рыцарством и Западом. В Эгере Толстой остановился в грязнейшей гостинице, зато напротив дом, в котором убили Валленштейна. В Вильгельмстале ему вспомнилось детство, гувернер Науверк, поведавший историю Фауста. Тут же он встретился с Павловой. Приехал герцог, рассказывавший легенды об исторических руинах, которые попадались на каждом шагу...

«И как у тебя сердце бьется в азиатском мире, так у меня забилось и запрыгало сердце в рыцарском мире, и я знаю, что прежде к нему принадлежал...» — написал он жене. В Веймаре его познакомили с актером Лёфельдом, который должен был играть Ивана Грозного. Актер и поэт остались в восторге друг от друга.

Толстого поразило, как немцы берегли старину, каждое здание, обстановку. Возобновляли приходившее в негодность. Герцог пользовался уважением своих подданных и понравился Толстому, который сказал ему это на прощанье.

— Боже мой, — ответил герцог, — я благодарен, но я знаю, что это ко мне не относится. Это наследство, и я его хранитель. Я стараюсь как можно лучше действовать, но я знаю, что я портной, который всеми силами старается хорошо заштопать старое платье.

И через сотню лет после смерти Толстого в городах, где он побывал, остался цел и невредим (либо восстановлен) каждый камень...

В октябре Алексей Константинович вернулся в Петербург и привез с собой «Змея Тугарина», которого он впоследствии считал лучшей из своих баллад. Во всяком случае, это была программная вещь, отчетливо выражающая его взгляд на русскую историю.

Некогда славен и могуч был Киев. Правил в нем князь Владимир, и на пиру у него однажды выступил неведомый певец:

Глаза словно щели, растянутый рот,
Лицо на лицо не похоже,
И выдались скулы углами вперед,
И ахнул от ужаса русский народ:
«Ой рожа, ой страшная рожа!»

Он предрекал гибель Киеву в огне, потерю русскими чести, которую заменит кнут, а вече — каганская воля. Он слушал смех богатырей, угрозы Ильи Муромца...

Певец продолжает: «И время придет,
Уступит наш хан христианам,
И снова подымется русский народ,
И землю единый из вас соберет,
Но сам же над ней станет ханом!..»

Страшное время настанет на Руси.

«Обычай вы наш переймете,
На честь вы поруху научитесь класть,
И вот, наглотавшись татарщины всласть,
Вы Русью ее назовете!
И с честной поссоритесь вы стариной,
И, предкам великим на сором,
Не слушая голоса крови родной,
Вы скажете: «Станем к варягам спиной,
Лицом повернемся к обдорам!»

Это все та же мысль о «клеймах татарского ига», хотя баллада обрывается на обнадеживающей ноте — русским народом в конце концов будут править русские и по-русски.

Пирует Владимир со светлым лицом,
В груди богатырской отрада,
Он верит: победно мы горе пройдем,
И весело слышать ему над Днепром:
«Ой ладо, ой ладушки-ладо!»

«Змей Тугарин» был началом целой серии баллад, в которых Толстой яростно отстаивал мысль о том, что Русь только тогда и была Русью, когда она и Европа были неотделимы. «Песня о Гаральде и Ярославне», «Три побоища», «Песня о походе Владимира на Корсунь», «Гакон Слепой» — все они порождены тесным знакомством Толстого с Московской Русью, неприятием ее и поисками

светлого, подлинно русского начала в домонгольском периоде, когда, по его представлениям, честь, достоинство человека и свобода ценились превыше всего. В это же время он разражается яростными филиппиками в письмах против славянофилов. Отправляя «Змея Тугарина» в «Вестник Европы», он ждет «с нетерпением московской (славянофильской. — *Д. Ж.)* и нигилистической брани».

Брани, кстати сказать, не было, но Толстой сам рвется в драку, и, когда в «Вестнике Европы» появилась статья Стасова «Происхождение русских былин», где доказывалось, что они заимствованы на Востоке через посредство монгольских и тюркских племен и относятся совсем не к Киевской Руси, а к эпохе монгольского владычества, он сразу же замечает ее и потом долго не может успокоиться из-за слабости возражений славянофилов и отсутствия публичных выступлений серьезных ученых. Буслаева, например. Что толку обвинять Стасова в отсутствии патриотизма?

«Счастье Стасова, что его противники так глупы и что атакуют его не с той стороны... Что-либо прочитать и что-либо не переварить не одно и то же, а Стасов решительно ничего не переварил. Вольно Оресту Миллеру угрожать ему какой-то диссертацией об Илье Муромце, вместо того чтобы согласиться с ним, что большая часть наших былин *восточного* (sic!), хотя нисколько не монгольского, а *чисто арийского* происхождения (что противоречит в корне утверждениям Стасова), а затем разбить его в пух и прах за его смешение этих элементов, которые не имеют между собой *ровно ничего общего»*.

Но ведь Стасов опирался на материал, собранный Рыбниковым, Сахаровым, Афанасьевым и всеми теми другими подвижниками, которых старательно изучал и Алексей Толстой. Но это же былины уже испорченные «лакейской» переделкой в московский период. Где найдется тот ученый, который разглядит в них первобытные русские черты, киевские, новгородские?

«Россия, современная песне о полку Игоря, и Россия, сочинившая былины, в которых Владимировы богатыри *окарачь ползут, в норы прячутся* — это две разные *России»*.

У Толстого большой счет к ученым. «Так поступают, увы! отчасти и славянофилы! Так поступали и глубоко симпатичные мне Константин Аксаков и Хомяков, когда они гуляли на Москве в кучерских кафтанах с косым (та-

тарским) воротом. Не с этой стороны следует подходить к славянству».

Он призывает отказаться от формального понимания истоков русской культуры и мироощущения и обратиться к глубинной истории индоевропейских народов, к еще той поре, когда они стали «отделяться от древнего арийского ствола, и нет сомнения, что и интересы и мифология у нас были общие». Вон у Вальтера Скотта в «Айвенго» упоминается саксонский бог Чернобог. Взял он это, верно, из саксонских хроник, а следовательно, вместе с Генгистой или с Горсой пришли в Британию и славяне, принесшие этого бога. «Тьфу на этот антагонизм славянства к европейисму!» Долой Золотую орду!

Письма Толстого тех лет полны всяких сведений о тесных связях Киевской Руси и вообще славянства со всеми народами Европы.

«У Ярослава было три дочери — Елизавета, Анна и Анастасия. Анна вышла замуж за Генриха I, короля Франции, который, чтобы посватать ее, послал в Киев епископа Шалонского Роже в сопровождении 12 монахов и 60 рыцарей. Третья дочь, Анастасия, стала женой короля Венгрии Андрея. К первой же, Елизавете, посватался Гаральд Норвежский, тот самый, что воевал против Гаральда Английского и был убит за три дня до битвы при Гастингсе, стоившей жизни его победителю. Звали его Гаральд Гардрад, и так как он тогда находился еще в ничтожестве, то и получил отказ. Сраженный и подавленный своей неудачей, он отправился пиратствовать в Сицилию, в Африку и на Босфор, откуда вернулся в Киев с несметными богатствами и стал зятем Ярослава. Вот сюжет баллады. Дело происходит в 1045 году, за 21 год до битвы при Гастингсе».

Тянет, тянет его *туда*. Возникают замыслы новых баллад.

«Я буду писать их в промежутках между действиями «Царя Бориса», и одну из них я уже начал. Ненависть моя к *московскому периоду* — некая идиосинкразия, и мне вовсе не требуется принимать какую-то позу, чтобы говорить о нем то, что я говорю. Это не какая-нибудь *тенденция*, это — *я сам*. И откуда это *взяли*, что мы антиподы Европы? Над нами пробежало облако, облако монгольское, но было это всего лишь облако, и пусть черт его умчит как можно скорее».

Не отрицая норманнской теории, Толстой горячо воз-

ражает против того, что скандинавы вместе с государственностью установили у нас свободу. «Скандинавы не устанавливали, а нашли вполне установившееся *вече*». Были процветавшие русские республики, а московское собирание, по его мнению, установило деспотизм. Разумеется, это надо было, чтобы сбросить иго и выжить Руси. Но что получилось? Толстой становится грубым: «Клочок земли — это лучше, чем куча дерьма».

Но глубоко ошибется тот, кто подумает, что негодование Толстого носит чисто исторический характер. Прежде всего он не может примириться с утверждением славянофилов о том, что одной из главных черт русского характера надо считать смирение, «примеры которого мы явили в преизбытке и которое состоит в том, чтобы сложить все десять пальцев на животе и вздыхать, возводя глаза к небу: «Божья воля! Поделом нам, г....а м, за грехи наши! Несть батогов, аще не от бога!» и т. д.».

И вот тут выясняется, что негодование Толстого относится к современной ему России, которая должна принимать на свой счет «глупости Тимашева» и ему подобных. Он обрушивает свой гнев и на всю нацию, проявляющую удивительное терпение к произволу и беспомощности правителей, считает страну неподготовленной к принятию конституции. Не замечая иной раз великих достижений нации, особенно ярких именно в XIX веке, он, так любящий родину, брюзжит, что «русское дворянство — полное ничто, русское духовенство — канальи» и т. д. и т. п.

В этом же письме Толстой в самых резких выражениях порицает порядки, существовавшие в царской России. У него «хватает смелости» признаться в том, что ему хотелось бы родиться где угодно, но только не здесь. Он думает о красоте русского языка, об истории России и готов «броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали с *талантами*», данными природой русскому человеку. Это перекликается с известным восклицанием Пушкина: «Черт догадал меня родиться в России с душой и талантом!»

Русскому человеку никогда не было свойственно чувство национального чванства. Кто-кто, а русские любят поговорить о собственных недостатках, о неумении навести у себя порядок, о собственной лени и беспечности, а тем временем страна набирает мощь (не трудами ли их?) и в силу все той же критичности ума в духовном отношении опережает остальной мир, хотя и осознает

это с некоторым опозданием, не всегда вовремя воплощая плодотворные мысли своих сынов.

Говоря в биографии о взглядах героя, трудно придерживаться хронологического порядка — приходится иной раз идти сквозь его переписку, протяженную во времени. Интересно недавно обнаруженное автором у потомков Н. Барсукова письмо Толстого к Погодину от 17 июня 1870 года, в котором он не соглашался с историком, считавшим, что поэт представил Бориса Годунова подлецом.

«Где же он у меня подлец! Возьмите все три трагедии вместе (они составляют трилогию) и проследите роль Бориса. Он даже не злодей, а человек, следующий иезуитскому правилу: цель освящает средства с тою разницею, что его цель действительно высока. Вы с истинно *западным,* но скажу даже, с рыцарским чувством заступаетесь за его жену. Такое чувство я не только буду оспаривать, но радуюсь, что оно нас сближает, ибо я в душе *западник* и ненавижу московский период, но мне кажется, что это чувство неприменимо к настоящему случаю. Упрек Бориса, Вас возмущающий,

«Не твоему то племени понять,
Что для Руси величие пригодно» —

не заключает в себе ничего подлого. Борис женился на дочери Малюты, конечно, не по любви, а по расчету. Мария Григорьевна стоит неизмеримо ниже Бориса. Со смертию Малюты и Иоанна она не только ему не подмога, но помеха; от родства с ея подлым племенем остался на Борисе один срам, и она надоела ему как горькая редька».

Помимо того что в этом письме еще раз проясняется образ Годунова, проходящий через всю трилогию, мы возвращаемся к поискам в Древней Руси настоящего народоправства, которое Толстой видел в вече, сохраненном князьями.

И даже появление «Государя-батюшки» было объяснено Толстым весьма оригинально. «Петр I, несмотря на его палку, — писал он, — был более *русский,* чем они, «славянофилы», потому что он был ближе к дотатарскому периоду... Гнусная палка была найдена не им. Он получил ее в наследство, но употреблял ее, чтобы вогнать Россию в ее *прежнюю родную* колею».

Однако тянувшийся к некой «идеальной Европе» Алексей Толстой в отличие от либералов-западников презирал обывательский дух современных ему европейцев, с кото-

рыми познакомился в своих многочисленных поездках. Он метко критиковал буржуазный практицизм. Мемуарист К. Головин вспоминал о споре Алексея Толстого с Тургеневым в Карлсбаде.

— Наполеон предсказал, — говорил Тургенев, — что через сотню лет Европа будет либо казацкою, либо якобинской. Теперь уж сомненья нет: ее будущее в демократии. Поглядите на Францию — это образец порядка, а между тем она все более и более демократизуется.

— То, к чему идет Франция, — возражал ему Толстой, — это царство посредственности. Мы накануне того дня, когда талант станет препятствием для политической карьеры. Как вы не видите, Иван Сергеевич, что Франция неуклонно идет вниз...

Они еще поспорили, что считать «подъемом», а что «упадком», но Тургенев так и не убедил «западника» Толстого в преимуществах западной демократии.

Возвратившемуся в 1867 году в Петербург поэту предстояло провести хлопотливую зиму, и они с женой решили не утруждать себя бесконечными поездками из Пустыньки. Они наняли дом на Гагаринской набережной, который был открыт для весьма широкого круга их знакомых, встречавшихся у Толстых по понедельникам. Прекрасная музыкантша и человек энциклопедически образованный, Софья Андреевна царила на этих литературных вечерах, «золотым голосом» своим очаровывая гостей.

Но, по словам современников, Софья Андреевна при первом знакомстве как бы ощупывала людей, окачивая их холодной водой скрытой насмешки. Толстой старался сгладить возникавшее было неприятное чувство добродушной благосклонностью. Говорили о сочетании у него ума и сердечной доброты, а также о природном юморе, столь тонком, что иные каламбуры и шутки, весьма и весьма меткие, нисколько не обижали тех, кого они касались. Толстой славился умением сближать людей. По понедельникам никогда не приглашали сразу много людей, чтобы не было разнородной толпы, и гости чувствовали себя приятно и весело. Даже резкие на язык люди вели себя в их доме весьма сдержанно. Гостями бывали Гончаров, Майков, Тютчев, Боткин, Островский, композитор Серов, Тургенев, Маркевич...

Лучшие артистические силы Петербурга приглаша-

лись на эти вечера, и Боткин писал к Фету, что «дом Толстых есть единственный дом в Петербурге, где поэзия не есть дикое бессмысленное слово, где можно говорить о ней, и, к удивлению, здесь же нашла приют и хорошая музыка...» И еще: «Нынешнюю зиму самый приятнейший дом был у Толстых».

Уже в конце октября 1867 года Толстой посылает Костомарову шутливое приглашение на обед в новом доме, обещая познакомить его с Василием Ивановичем Кельсиевым, «иже из келии 3-го Отделения изшедшим», тощим и невзрачным человечком. В свое время Кельсиев эмигрировал, сотрудничал у Герцена, ведя пропаганду среди старообрядцев. В 1867 году он отступился от Герцена, вернулся в Россию и действительно после короткого пребывания у жандармов оказался на воле и был принят во многих домах. Никитенко вспоминает, что у Толстых говорил он «преимущественно о раскольниках, о которых он высокого мнения, как о настоящих представителях русской народности». Видимо, это и привлекло к нему Алексея Константиновича, когда-то занимавшегося делами старообрядцев.

Вместе с Костомаровым у Толстых появился Михаил Матвеевич Стасюлевич, обходительный обрусевший поляк из бывших либеральных профессоров, женившийся на Любови Исааковне Утиной, дочери миллионера и сестре известных нигилистов Николая и Евгения. Они жили в громадном доходном доме Утиных на Конногвардейском бульваре, где селилась теперь новая знать — например, барон Гораций Гинцбург, на Ленских приисках которого впоследствии безжалостно расстреляли рабочих. Новая знать роднилась со старой — дочь Стасюлевича уже была Баратынской. На деньги тестя Стасюлевич создал новый журнал, взяв для него старое название — «Вестник Европы» (как у издания Карамзина).

Появившись у Толстых 8 ноября 1867 года, Стасюлевич сразу сообразил, что именно здесь он познакомится с знаменитейшими из литераторов. Уже через два месяца он сообщал жене: «Литературный салон Толстого имеет огромное влияние на судьбу В. Е.». Еще бы! 16 ноября Островский читал здесь «Василису Мелентьеву», 26-го Павлова — перевод трагедии о Валленштейне. Стасюлевич наложил руку на все творчество самого Толстого, заручившись поддержкой Софьи Андреевны. Новую балладу «Змей Тугарин» он ловко провел через цензуру. Буквально в тот же день, когда Алексей Константинович от-

дал ему свою вещь, оттиск для корректуры уже лежал на письменном столе у поэта. Удобное знакомство...

А тут еще Гончаров поспевал со своим романом, который получит название «Обрыв». Кстати, когда Гончарова упрекали в обломовской лени, он предлагал «вместо *лени* поставить *артистическую, созерцательную натуру,* способную и склонную жить только своею внутреннею жизнию — интересами творчества, деятельностью ума, особенно фантазии, и оттого чуждающуюся многолюдства, толпы: то была бы и правда, особенно если прибавить к ней вышеупомянутую нервозность, робость!». И добавлял: «Вот какая моя обломовщина! Она есть если не у всех, то у многих писателей, художников, ученых! Граф Лев Толстой, Писемский, гр. Алексей Толстой, Островский — все живут по своим углам, в тесных кружках!»

В своих воспоминаниях Гончаров писал о Толстом, с которым познакомился тотчас после Крымской войны. Как и все, он говорил об уме, таланте, открытом и честном нраве Алексея Константиновича. Особенно запомнилась ему та зима, когда он каждый день ходил на Гагаринскую набережную и однажды встретился там со Стасюлевичем, «который тогда старался оживить свой ученый журнал беллетристикой и *сойтись с Толстым,* который готовил, после «Смерти Иоанна», драму «Федора Иоанновича».

Гончаров сказал Толстому, что у него есть три части нового романа. Стасюлевич мечтал уже, как «высоко прыгнет» его журнал, если удастся прибрать к рукам и Гончарова. Но настоящая охота началась только после возвращения Алексея Константиновича из Германии...

Пробыв в Веймаре конец января и начало февраля 1868 года, Толстой вернулся с триумфом, переполненный впечатлениями, о которых не уставал рассказывать с юмором в своих письмах жене, Маркевичу, Листу. Главный трагик Лёфельд еще раньше поразил его высоким ростом, величественной осанкой, резкими и подвижными чертами страстно-зловещего лица, словно бы созданного для того, чтобы передавать порывы гневной души Ивана Грозного. Актер хорошо знал свою роль. Царский посох ему сделали тупой, чтобы он, увлекшись, не пронзил бы кого. В общем на репетициях он Толстому понравился. Огорчало, что для «славянского» антуража актеров нарядили в какие-то тюрбаны. Бояре кланялись, сложив крестообразно на груди руки. Толстой возмутился, а ему отвечали: «Но ведь это восточное!» Раздосадованный тем, что рус-

ских смешивают с турками и татарами, поэт сказал: «Потому-то этого и не следует делать!»

30 января состоялась премьера. Зал был переполнен. Лёфельд играл хуже, чем на репетициях, но этого, кроме автора, никто не заметил. Толстого вызывали на сцену после каждого действия. Он считал, что своим успехом комедия обязана «высокохудожественному» переводу Павловой. Что же касается Лёфельда, то в нем Толстой разочаровался — одних внешних данных мало, актер должен быть еще и умен...

А 1 марта в Петербурге у Боткина впервые читался «Царь Федор Иоаннович». Присутствовали Гончаров, Костомаров, Тютчев, Майков, Щербина, Никитенко, Анненков и, конечно, Стасюлевич, уже заготовивший в ближайшем номере «Вестника Европы» место для трагедии, которая, как он писал жене, «чуть не ускользнула» от него.

К Толстым, по выражению Гончарова, все льнули как мухи. Не составлял исключения Иван Александрович, писавший Александре Толстой: «Вы обладаете свойством задирать меня. Простите за это вульгарное слово... Им (свойством. — *Д. Ж.*) обладают немногие, между прочим, более других обладает гр. А. К. Толстой». Подразумевается здесь не стремление к ссоре, а побуждение к действию. Уставший от романа Гончаров был вдохновлен участием Толстых, их интересом к его неоконченному творению.

По версии Гончарова, Толстые и Стасюлевич целую неделю бывали у него с 2-х до 5-ти дня и слушали его чтение трех частей романа. «Как они изумились этим трем частям! Как вдруг я вырос в их глазах! Хотя они сдержанно выражали одобрение, но я видел какую-то перемену в их отношении ко мне, на меня глядели с каким-то удивлением, иногда шептали что-то, глядя на меня, и я видел, что произвел хорошее впечатление».

А что было на самом деле? В конце марта Толстой в записке к Стасюлевичу с просьбой напечатать в «Вестнике Европы» приложенную поэму Полонского «Ночь в Летнем саду» напомнил и об ожидании корректурных листов «Царя Федора»; в ней также выражалось желание, чтобы редактор присутствовал при чтении на Гагаринской набережной неизданного романа Гончарова.

Потворствуя мнительному Ивану Александровичу, вечно озабоченному приоритетом своих сюжетов и мыслей, это деяние осуществили в обстановке сугубой секретности, в спальне Софьи Андреевны, и, когда после обе-

да явился поэт Щербина, от него тщательно скрывали причину посещения Гончарова...

Чтение продолжалось месяца два и в Петербурге и в Пустыньке.

В Москве тем временем поставили «Смерть Иоанна», и тоже с громадным успехом. Достаточно сказать, что главную роль играл Шумский, что в спектакле Малого театра были заняты великий Пров Садовский, у которого «маска срасталась с телом», И. В. Самарин и другие корифеи сцены. Именно там хотел Алексей Константинович увидеть премьеру «Царя Федора Иоанновича», прочил на главную роль «нашего достойнейшего Сергея Васильевича» Шумского, но... цензурная судьба этой трагедии нам уже известна.

Толстой продолжал работу над «Царем Борисом», заготовив впрок дидактическую концовку:

От *зла лишь зло родится* — всё едино:
Себе ль мы им служить хотим иль царству —
Оно ни нам, ни царству впрок нейдет!

Эта трагедия тоже не увидела сцены.

Летом 1868 года Алексей Константинович ненадолго съездил подлечиться в Карлсбад, а Софья Андреевна с племянницами отправилась в Красный Рог, где пыталась «оказывать посильную помощь населению, страдавшему от голода и тифа», как отмечал А. Кондратьев.

Уже в июле Толстой присоединился к ней. Отныне он будет постоянно жить в Красном Роге, выезжая оттуда лишь в крайнем случае. Таким случаем была необходимость отвезти в Одессу на лечение Софью Андреевну, которая страдала бессонницей и болезнью глаз. Это произошло в феврале 1869 года, а 14 марта в местном Английском клубе в честь Толстого дали обед. Местный театр собирался поставить «Смерть Иоанна Грозного», пошел на издержки, но тут доставили телеграмму о запрещении постановки. Одесская публика была возмущена. Обед, устроенный в честь Толстого, был своего рода демонстрацией против запрещения, но, чтобы смягчить такую окраску и придать событию официальный характер, в Английский клуб явились и губернатор и даже генерал-губернатор всего края.

Приветственное слово произнес Константин Михайлович Базили, писатель и бывший дипломат.

Ответная речь Толстого и на этот раз была направлена «против течения». Нет, он не возмущался преследованиями цензуры и запрещением постановки своей трагедии. Более того, он воздал должное присутствию высоких сановников. Но честь, оказанную ему, Толстой относил как к своей литературной деятельности, так и к своим «задушевным убеждениям». Они-то и стали темой его речи. Он возвращался к давно выношенным мыслям, чтобы высказать в конце концов идею, которая опять была сочтена крамольной...

— На всех нас лежит обязанность по мере сил изглаживать следы этого чуждого элемента, привитого нам насильственно, и способствовать нашей родине вернуться в ее первобытное, европейское русло, в русло права и законности, из которого несчастные исторические события вытеснили ее на время.

Так он мягко, но настойчиво напоминал о беззакониях и самоуправстве, которые считались едва ли не нормой в отношении власть имущих к бесправному народу.

— В жизни народов, милостивые государи, — продолжал Толстой, — столетия равняются дням или часам отдельной человеческой жизни. Период нашего временного упадка со всеми его последствиями составит лишь краткий миг в нашей истории, если мы не в нем будем искать нашей народности, но в честной эпохе, ему предшествовавшей, и в светлых началах настоящего времени...

И вот тут он сказал главное. «Во имя нашего славного прошедшего и светлого будущего» Толстой предложил присутствовавшим выпить «за благоденствие всей русской земли, за все русское государство, во всем его объеме, от края и до края», за всех подданных государства, «к какой бы национальности они ни принадлежали!».

Ну, казалось бы, что в этой столь привычной для нас фразе вызвало возмущение определенных кругов? Почему они обрушились на Толстого, избрав своим рупором Болеслава Маркевича, друга поэта, поляка, который напрочь отказался от своей национальной принадлежности? То, что мы считаем само собою разумеющимся, тогда было предметом ожесточенных споров.

Весной 1869 года в Петербурге умирал поэт Щербина, чьи антологические стихи породили множество подражений Козьмы Пруткова. Жил он в бедности, почти в нищете, в тесной и душной квартире. Бесконечные заботы подорвали его здоровье. Толстой все звал его в Красный

Рог, надеясь вылечить этого доброго человека. Но тот уже потерял волю к жизни. Маркевич навестил его и спросил, как он воспринял слова Толстого о национальностях. Щербина ответил, что это, верно, какой-то ляпсус.

— Граф — такая благородная и всеми уважаемая личность, что надо ему помешать себя компрометировать и других в соблазн приводить, — сказал он.

Эти слова Маркевич привел в письме к Толстому от 17 апреля, где очень пространно пытался доказать, что еще Александр I допустил ошибку, признав существование польской национальности, и тем самым создал почву для настроений, враждебных России. Поляки полонизировали живущих на их землях русских, как онемечивали немцы в Прибалтике, хотя латыши, например, выражали свое желание составлять с русскими одну семью. «Дело в том, — пишет Маркевич, — что каждая *национальность,* если только потворствовать ее инстинктам, непременно будет стремиться сначала к автономии, а затем и к полной независимости». Он приводит в пример Англию, Францию, полностью ассимилировавших племена, входившие первоначально в их состав. То же происходит и с Пруссией. Маркевич призывает на помощь дарвиновскую теорию борьбы, из которой выходит победителем самый ловкий и храбрый, а потому призывает признать, что «России, дабы не быть поглощенной иностранным элементом, остается только поглощать и научиться переваривать иностранные элементы».

А в ранних письмах Маркевича мы находим хвалы Каткову, Самарину, Черкасскому как защитникам принципа «собирательства», национальной идеи, «завещанной России всем ее прошлым». Но он видит укрепление могущества страны лишь в полном обрусении подвластных ей иноплеменников. «Единые законы, единый язык, единое управление как в центре империи, так и в окраинах — вот цель, к которой должно стремиться». Вслед за Катковым и Самариным, о которых Толстой говорит неодобрительно, Маркевич призывает не давать денег на развитие окраин. «Пусть лучше эти деньги возвращаются туда, откуда мы их берем: наш родной народ более в них нуждается, чем эти балтийцы, с которыми ему приходится бороться».

Неуклюжими, глупыми и даже преступными называет Толстой некоторые доводы Маркевича. Разве можно запрещать говорить по-польски в кофейнях и аптеках, как это делает статс-секретарь по делам Царства Польского

Н. А. Милютин? Объявлять польскую национальность вне закона?

«Вы называете себя русским, но упреки, которые Вы мне делаете за мой тост, это упреки немца! Вы вместе с бедным Щербиной говорите: «Разных национальностей в могущественном государстве допустить нельзя!» Милые дети! Посмотрите в лексикон! Что такое национальности? Вы смешиваете *государства* с национальностями! Нельзя допустить разных государств, но не от вас зависит допустить или не допустить *национальностей!* Армяне, подвластные России, будут армянами, татары татарами, немцы немцами, поляки поляками!»

Толстой не был бы Толстым, если бы не попытался испробовать себя в сатире на ту же тему. Так родилась «Песня о Каткове, о Черкасском, о Самарине, о Маркевиче и о арапах». Толстой напоминает свою собственную мысль о том, что «никого не вгонишь в рай дубиной». К чему, например, пришли англичане, решившие поглотить ирландцев? И чем меньше национальность, тем менее простительно прибегать к насилию и попирать ногами законы общества.



Глава десятая

КРАСНЫЙ РОГ

Афанасий Афанасьевич Фет всегда испытывал чувство живейшей симпатии к Алексею Константиновичу Толстому. Редкие случайные встречи их непременно сопровождались задушевными беседами. Фету с Толстыми было *«хорошо и просто»*. Давно его приглашали в Красный Рог, соблазняя охотой на вальдшнепов и глухарей, чтением «Царя Бориса» и новых баллад. Он было собрался ехать в начале 1869 года, да Толстой повез жену в Одессу. Письма Алексея Константиновича были короткими и деловыми, но Фет, приводя их в своих воспоминаниях, говорил, что «нельзя же требовать от прирожденного поэта, который, как искрометное вино, рвет пробку, прежде чем польется в стакан, чтобы он в дружеском письме охорашивал слова, как кауфер свою восковую куклу». Так воздавал он должное искусству Толстого вести беседу, польщенный признанием супругов о том, что он, Фет, останется в русской поэзии *навсегда*.

И вот он в Брянске, где ждет его прекрасная графская тройка в коляске-тарантасе. Он едет по дороге, кое-

где застланной бревенчатым накатом, сквозь хвойные леса, мимо озер, затянутых ряской, вспугивая диких уток. Приняли его очень радушно и поселили во флигеле, чтобы он мог, не тревожа никого, подыматься ранней зарей на охоту. У Толстых гостил блестящий молодой дипломат Хитрово, за которого вышла замуж племянница Софьи Андреевны, тоже Софья.

«Трудно было выбирать между беседами графа в его кабинете, где, говоря о самых серьезных предметах, он умел вдруг озарять беседу неожиданностью a'la Прутков, — и салоном, где графиня умела оживить свой чайный стол каким-нибудь тонким замечанием о старинном живописце, или каком-нибудь историческом лице, или, подойдя к роялю, мастерскою игрою и пением заставить слушателя задышать лучшею жизнью».

После завтрака устраивались чтения «Федора Иоанновича» и тогда еще неоконченного «Царя Бориса». Както все выехали на прогулку в линейке, которую везла четверка прекрасных лошадей. Хозяйственный Фет спросил Толстого о цене левой пристяжной. И услышал в ответ:

— Этого я совершенно не знаю, так как хозяйством решительно не занимаюсь.

По дороге Толстой затянул песню, Софья Андреевна вторила ему. Фета поразило обилие стогов сена на лугах. Ему объяснили, что сено накопляют два-три года, а потом за неимением места для склада сжигают.

Фет был совершенно огорошен.

«Этого хозяйственного приема толстого господина, проживавшего в одном из больших флигелей усадьбы, которого я иногда встречал за графским столом, я и тогда не понимал и до сих пор не понимаю», — писал он.

Фета тревожила перемена в Толстом, лицо которого было багрового цвета от прилива крови к голове. Спасаясь от головной боли, Алексей Константинович старался побольше гулять, но это не помогало ему.

В имении жил доктор Кривский, который был предметом постоянных шуток Толстого. Именно ему посвящены очень смешные «Медицинские стихотворения». Врач вспоминал, что Толстому рядом с обеденным прибором всегда клали листок бумаги, на котором часто появлялись веселые экспромты. Соседей помещиков, приезжавших в гости, поэт переносил с трудом и оживлялся только тогда, когда они откланивались.

Старых же друзей он старается залучить в Красный

Рог, где якобы разгуливают медведи «в полумиле от дома». Всем описывает подробно маршрут от Петербурга или Москвы до Брянска, куда обещает прислать лошадей, как Фету. И Костомарова зовет, подробно выспрашивая, например, почему Иоанн Датский (жених Ксении Годуновой) воевал в Нидерландах под знаменами Испании. Ему надо знать все о персонажах трагедии. «Я весь погрузился в «Царя Бориса» и ничего не вижу вокруг себя, ничего не замечаю, ни холода, ни одиночества, ровно ничего — вижу только мою драму, которой отдался всей душой, и хотя я не стесняюсь историей, но желал бы дополнить ее пробелы, а не действовать *против* нее». Софья Андреевна поддерживает это его настроение, уверяя, что теперь он пишет так хорошо, как не писал никогда.

Теперь он уже осознает, что сельский хозяин из него вышел плохой. Быть прижимистым, считать каждую копейку не в его духе. Он гордится тем, что у него лучшие отношения с его бывшими крепостными, что они *добрые друзья*, что они никогда не жаловались на него, что, как и прежде, он помогает крестьянам то деньгами, то дровами, позволяет пасти скот на своих полях, что им всегда оказывается медицинская помощь, а для их детей существует бесплатная школа...

О доброте и бесхозяйственности его рассказывали легенды. Однажды его бывшие крестьяне попросили у него дров, и он предложил им вырубить находившуюся возле усадьбы липовую рощу, что они немедленно и сделали. Толстой совершенно не был в состоянии отказывать просителям. Его без конца обманывали управляющие имениями, которым он все прощал.

Конец зимы 1869 года для крестьян был тяжелый. Многие голодали.

Толстой писал тогда: «Смотреть на то, что творится, — ужасно. И все-таки они предпочитают умирать от голода, чем работать. Делайте из этого какой угодно вывод, но *здесь*, по крайней мере, эмансипация отбросила их далеко назад. Значит ли это, что я враг эмансипации? Боже меня сохрани! Но мне кажется, что для каждой местности существуют свои особые законы и что нельзя ставить на одну доску все местности. Свобода стала *здесь* не благом, а злом для крестьян. За 150 верст отсюда, в Погорельцах, другом нашем имении, она явилась, напротив, благодеянием, и пьянство *прекратилось совершенно* — так что евреи уезжают оттуда, считая, что невыгодно оставаться в таком месте, где не пьют».

Алексей Константинович слабо разбирался в новых хозяйственных отношениях. Крестьяне из одной кабалы попали в другую, но если, по словам Достоевского, помещики «хоть и сильно эксплоатировали людей, но все же старались не разорять своих крестьян, пожалуй, для себя же, чтоб не истощать рабочей силы», то новому сельскому капиталисту или кабатчику «до истощения русской силы дела нет, взял свое и ушел».

Возмущало Толстого и поведение духовенства. Красногорский священник отец Гавриил брал с голодных крестьян 25 рублей за венчание и не меньше за крестины, похороны. «Это же позор, что единственный носитель просвещения, священник, вызывает в деревнях ужас, что он тиран, и крестьяне не любят его, а боятся».

Некогда очень богатый человек, Толстой теперь постоянно нуждался в деньгах. Прежде он барственно отказывался от гонораров, а теперь много пишет ради денег и даже просит работы у Стасюлевича, этого приказчика новых хозяев страны: «Не нужно ли Вам перевода чего-нибудь серьезного (а пожалуй, и нет) с французского, немецкого, итальянского, английского или польского языка? Разумеется, за плату, и что вы даете за хорошие переводы?»

Но гонорары не покрывали расходов. Имущество закладывалось и распродавалось...

Жизнь в Красном Роге, видимо, обходилась дешевле, чем в других местах, и потому Толстой будет теперь обитать здесь постоянно, выезжая лишь на курорты для поправки совершенно расстроенного здоровья. У него сильнейшие головные боли, но он работает не покладая рук. Единственное отдохновение его — охота.

Красный Рог хорош во все времена года. Вот описание из письма-приглашения поэту Полонскому: «Если бы Вы знали, какое это великолепие летом и осенью: леса кругом на 50 верст и более, лога и лощины такие красивые, каких я нигде не видел, а осенью... не выезжаешь из золота и пурпура... До того торжественно, что слезы навертываются на глаза». Весной цветет алый шиповник. Хорошо с Андрейкой, уже приехавшим в отпуск гардемарином, провести весеннюю черную теплую звездную ночь у пылающего костра в лесу. В соседнем болоте кричит цапля. Но вот глухарь начинает свою загадочную и вызывающую песню. Нет ничего более поэтичного и пре-

красного, чем увидеть в свете луны глухаря, красующегося на еловой ветке. Весенние леса — «журавли трубят в горн, утки дуют в трубы, дрозды играют на гобоях, а соловьи — на флейтах».

А тем временем на столе уже лежит тысяча *«новых стишков»*.

Той весной Гончаров в письме поругивает Толстого за балладу о Гаральде, а больше пишет о заговорах против себя, мщении, шпионстве даже, о подозрениях относительно Тургенева и Стасюлевича. Тут как раз подоспел оттиск первой части «Обрыва». Вспомнили чтения в спальне Софьи Андреевны, которая частенько делала замечания:

— Иван Александрович, тут надо, чтоб бабушка не скинула, а надела чепец...

Гончаров рассердится, а потом подумает, заулыбается и исправит. Умница Софья Андреевна — не было стихотворения, которое не прочел бы ей Толстой (как она всегда называла его), доверяя ее безупречному вкусу.

В 1869 году Алексей Константинович собирался поехать в Рим. Но не поехал и только усердно переписывался с друзьями и знакомыми. Особенно длинное письмо он написал Сайн-Витгенштейн, которая решила, что он не приехал в Рим, желая работать «в атмосфере родины». Нет, не потому он не поехал в Рим. «Я останусь в России не для того, чтобы поближе видеть Россию. Страшно сказать, но не только *любишь* больше свою страну издали, но и *видишь* ее лучше, и лучше *понимаешь*. Вспомните, что наш величайший гений, Гоголь, тот, который с полной справедливостью может называться *всемирным гением*, написал свои «Мертвые души» в Риме». Но истинной причины своего нежелания ехать Толстой все-таки не объяснил. Он писал о лесах, перерезанных полями, о соловьях, кукушках и лягушках. Он ловит себя на том, что становится болтливым в письмах, вдруг осознавая, что напоминает пьяницу — славянина, который пьет одну воду месяцами, но уж если запьет...

А дело в том, что следовало экономить и попытаться поправить хозяйство. Очень скоро он опять признается Погодину: «Агроном я плохой, администратор также, деревней я наслаждаюсь с точки зрения Фета (его прежней точки зрения, а не теперешней)...»

Все чаще он предается воспоминаниям о юности. Ведь это Погодин настоял в 1835 году, чтобы Толстого допустили к экзамену в Московском университете.

А тут как раз сцепились Маркевич со Стасюлевичем по поводу классической и реальной систем образования. Толстой, как и Маркевич с Катковым, стоял за классическую, но не признавал дискуссий, в которых публично полоскалось грязное белье.

Стасюлевич и Маркевич
Вместе побранились;
Стасюлевич и Маркевич
Оба осрамились...

В сентябре Толстой опять ездил на лечение в Германию и Карлсбад. В Веймаре посетил дом Гёте. Ничего не переменилось здесь с тех пор, как Толстой мальчиком побывал в этом доме, — та же мебель и на том же месте, по пахло пылью, молью. Толстому было грустно и хорошо. Когда-то дом Гёте показался ему роскошным, а теперь беднее красногорского. Гёте, видно, гордился гипсовыми статуями, крашенными под бронзу, чего не потерпели бы Разумовские и Перовские, так старавшиеся украсить дом в Красном Роге.

В эту поездку Толстого покорил Вагнер. Ему все прежде внушали, что композитор не признает мелодии, а Толстой, начиная с великолепного хорала в увертюре «Тангейзера», не пропустил до конца оперы ни одной ноты и не почувствовал ни одной минуты усталости.

В октябре Алексей Константинович вернулся в Красный Рог и закончил «Царя Бориса». Он доволен и считает, что хоть сюжет и незамысловат, но цветов и красок тут больше, чем в первых двух трагедиях. Наконец здание окончено. Он не раз повторял, что, создавая трилогию, бессознательно придерживался древнего архитектурного правила для трехэтажных зданий: внизу дорический ордер, потом ионический и, наконец, коринфский.

Теперь можно окинуть взглядом этот громадный, растянувшийся почти на целое десятилетие труд. Итак, у власти стоят три совершенно разных человека. Неограниченный произвол Ивана Грозного ослабляет страну. Правдивый, честный, но слабый Федор «хотел добра... все согласить, все сгладить» и оказывается затолканным толпой воспрянувших честолюбцев. Умный, государственно мыслящий, волевой Борис Годунов становится жертвой собственного преступления, сводящего на нет в глазах народа все его заслуги. Смутное время грядет, и в трило-

гии уже заложено понятие о разрушительных силах, которые вырвутся на волю в период междувластья.

Выходит, Россия — страна, которая непрерывно катится в пропасть, и какой бы правитель ни приходил к власти, все будет плохо. Так почему же она так и не скатилась в эту пропасть, а выходила из всех бедствий с новым самосознанием, которое позволяло ей в кратчайший срок становиться еще более могущественной? Ответ может быть лишь один — велик русский человек! У Толстого он многолик, психологически необычайно сложен, сметлив, предприимчив. Иван Грозный, Годуновы, Шуйские, Захарьин, Бельский, Сицкий, Битяговский, Кикин, царь Федор, Луп-Клешнин, Богдан Корюков, царица Мария, Мария Годунова, Ирина, Василиса Волохова... Это далеко не все герои и персонажи трилогии, и каждый из них наделен Толстым печатью неповторимости. Пусть ему не нравятся очень многие из его персонажей, пусть каждый из них себе на уме... Вот только что Толстой написал в Берлине стихи на немецком языке: «Гордо шествуют пруссаки. Одно удовольствие смотреть на них: сзади сверкают затылки, впереди сплошная грудь... Они предписывают нам свой кодекс, они творят немецкую историю! И каждая прусская задница считает себя лицом!» В этом нет никакого унижения для немецкого народа, о гении которого Толстой говорил неоднократно. Дело в психологии, в единообразии мышления, в дисциплине, в любви к порядку, которая давала немецкой нации жизнеспособность и силу. Но нет ли силы и в видимом отсутствии порядка у русских людей, столь разнообразных, столь самостоятельно мыслящих? Когда они складываются в народ, то иной раз минусы, помноженные на минусы, дают плюсы, что в конце концов приводит в недоумение здравомыслящих немцев и других иностранцев, мучительно старающихся разгадать «русскую загадку».

Разумеется, в совокупности действующих лиц толстовской трилогии не весь народ. Но как любопытно вглядываться в эти характеры и еще держать рядом «проекты постановок», которые сами по себе являют увлекательное чтение, психологически очень острое.

У Толстого все герои — чисто русские люди. И действуют они в типично наших обстоятельствах, переживших век, охватываемый трилогией.

Советский исследователь творчества поэта И. Ямпольский совершенно верно отмечает: «Показателен, например, следующий эпизод, происходивший на спектаклях

«Смерти Иоанка Грозного» в Александринском театре незадолго до Октябрьской революции. Сцена в Боярской думе вызвала в зрительном зале своеобразную политическую борьбу. Одни аплодировали словам Бориса Годунова и в его лице идее самодержавия, другие — боярина Сицкого. Разумеется, часть публики, аплодировавшая Сицкому, меньше всего думала о том, что он является защитником боярских интересов; энтузиазм вызывали его свободолюбивые речи против деспотизма. И это вполне закономерно. Обобщающая сила образов Толстого выводит их за пределы той идейной концепции писателя, к которой они генетически восходят».

Когда «Царя Бориса» стали читать по спискам, которые Толстой послал в Петербург и Москву, пошли толки, что это чуть ли не кощунство — писать о том же, что и Пушкин. Поэт возражал, что то же обвинение можно предъявить и всем живописцам, дерзнувшим писать мадонн после Рафаэля. Конечно, влияния Пушкина трудно было избежать, но оригинальность творения Толстого очевидна. Именно тогда, в ноябре 1869 года, он вспомнил стихи Пушкина:

Несчастный друг! Средь новых поколений
Докучный гость, и лишний и чужой...

И обрушился на Писарева за его старую статью «Пушкин и Белинский», говорил, что некоторые «истолкователи останутся животными, а Пушкин — поэтом *навеки»*. Вот и Евгений Утин, шурин Стасюлевича, напечатал в «Вестнике Европы» статью «Литературные споры нашего времени», в которой оказывает странную услугу новому поколению, признавая фигуру гончаровского Марка Волохова его представителем. «Отчего люди *нового поколения* начинают кричать: пожар! — как скоро выводится на сцену какой-нибудь мерзавец?» — спрашивал он Стасюлевича, а длинный роман Ауэрбаха «Дача на Рейне» называл «галиматьей».

* * *

10 июля 1870 года поезд пришел в Дрезден полчетвертого утра. К рассвету Алексей Константинович добрался до гостиницы, но заснуть не мог — болела голова. Он вышел в город, который когда-то так нравился ему, но вид его показался унылым, воздух — дурным, голоса прохожих — отвратительными.

Толстой вернулся в номер и засел за письмо к Софье

Андреевне, здоровье которой тоже оставляло желать лучшего.

«...не могу лечь, не сказав тебе то, что говорю тебе уже 20 лет, — что я не могу жить без тебя, что ты мое единственное сокровище на земле, и я плачу над этим письмом, как плакал 20 лет назад. Кровь застывает в сердце при одной мысли, что могу тебя потерять, — и я тебе говорю: как ужасно глупо расставаться! Думая о тебе, я в твоем образе не вижу ни одной тени, *ни одной,* все — лишь свет и счастье...»

Он подумал, что надо бы попросить Софью Андреевну собрать все, что написано о Новгороде. Пусть пришлет материалы о новгородских обычаях, о взаимоотношениях вече с князем. Имена, улицы, должности — все понадобится для новой драмы, а сюжет такой — представить человека, который, чтобы спасти город, берет на себя кажущуюся подлость.

Естественно было бы после трех трагедий перейти к «Дмитрию Самозванцу», но уж больно заезжена эта тема. Зимой, покончив с «Царем Борисом», он нашел сюжет в истории Новгорода XIII века.

Город обложили суздальцы. В Новгороде еще существует вече — буйное, строптивое сердце вольного города. Одни из новгородцев готовы лечь костьми, но не признавать власти князя. Воевода Фома со своими сторонниками стоит за подчинение суздальскому князю. По настоянию посадника Глеба Мироныча воеводой становится боярин Чермный, искусный полководец, под руководством которого отбиваются все приступы. Усталый, он засыпает мертвым сном, а его любовница Наталья, желая спасти своего брата, похищает у боярина ключ от тайного хода из кремля. Брат приводит суздальцев в город. Однако враги перебиты, и народ требует от Чермного ответа. Посадник, понимая, что Чермный очень нужен теперь городу, берет вину на себя. Вече осуждает его на изгнание...

Таков замысел, который Толстой продумал, а в Карлсбаде стал записывать прозой наскоро, карандашом, действие за действием, «чтобы войти в охоту и набросить краски», только имена действующих лиц, упомянутых нами, появились позже.

Павлова одобрила сделанное, но, когда он вернулся в Красный Рог, больная и раздраженная Софья Андреевна отозвалась неодобрительно о «Посаднике». У Алексея Константиновича и руки опустились. Вопреки склонностям он взялся за хозяйственные дела. Управляющий

«съел» три четверти доходов с имения. Пришлось опять менять его. Лишь время от времени писал стихотворения, которых у него набралось уже «достаточно» — «1500 ненапечатанных стихов». Отдал дань он и новгородской теме, написав «Ушкуйника»:

Одолела сила-удаль меня, молодца,
Не чужая, своя удаль богатырская!..

К февралю 1871 года Толстой заглянул в рукопись «Посадника» и стал перекладывать драму на стихи.

«И о чудо! тотчас все очистилось, все бесполезное отпало само собой, и мне стало ясно, что *для меня писать стихами легче, чем прозой!* Тут всякая болтовня так ярко выступает, что ее херишь и херишь!» Это он написал Полонскому в ответ на присланное письмо и сборник «Снопы», который тот издал на деньги, заработанные гувернерством у миллионера, железнодорожного концессионера С. С. Полякова. «Мне кажется — я или на границе умопомешательства, или накануне бешенства...», — жаловался Полонский. Толстой посочувствовал ему.

И у самого жизнь была несладкая. Хозяйственные расходы удалось сократить. Разобрался в ведомостях — на бумаге продавался пуд хлеба, а на деле — два. Появилась лишняя тысяча рублей, да и ту в марте истратил. «Везу Софью Андреевну в Одессу советоваться у доктора, — писал он Бобринскому 4 марта. — У нее уже с месяц болят глаза, все сильнее и сильнее, оттого что она испортила их чтением при лампе и ночью, и теперь совсем не может читать».

В эти последние годы Толстой понес много утрат.

Умер отец, Константин Петрович. Последние годы он жил скромно. Сын со снохой изредка навещали его в маленькой петербургской квартире. От имений он давно отказался. Много молился. В завещании своем написал:

«Друзей моих, буде я кого-нибудь огорчил словом или делом, прошу меня простить от души, равно и я прощаю от чистого сердца всех, от кого-либо имел неудовольствие или обиду, и не понесу за предел гроба моего ни злобы, ни ненависти ни на кого...»

Свое небольшое имущество — бронзу, серебро, книги — он оставил брату Федору Петровичу. Медали и некоторые портреты просил передать жене сына Софье Андреевне, а сыну — аттестаты, коробку с орденами, писанный красками свой портрет и золотую табакерку.

Алексей Константинович тоже все чаще думал о смерти и в 1870 году составил завещание, по которому

все движимое имущество и сочинения переходили в собственность Софьи Андреевны, а имения — Красный Рог, Погорельцы, Пустынька и земли в Байдарской долине, в Крыму, — должны были перейти после смерти Софьи Андреевны «в вечное и потомственное владение» брата Николая Михайловича Жемчужникова. С согласия Софьи Андреевны он позаботился о том, чтобы фамильное имущество в конце концов вернулось в его род.

Толстой очень любил своего племянника Андрея Петровича Бахметева, Андрейку. Теперь тот учился в морском училище (кадетском корпусе), но тосковал по домашней жизни. Видимо, он спутался с какой-то веселой компанией, наделал долгов и просил взять его из училища. Алексей Константинович наотрез отказался это сделать. Они с Софьей Андреевной были одного мнения — честь требует, чтобы Андрей не бросал службы. Толстой не очень ловко читал ему мораль, уговаривал не подражать «развратным и бессовестным товарищам», советовал покаяться перед Софьей Андреевной, и если уж ему будет невмоготу, то они переведут его в другое училище. Но самое главное — оставаться честным человеком, идти своим путем...

И все-таки они забрали Андрейку в Красный Рог, потому что он заболел чахоткой, все зяб, кутался в широченные дядины халаты, пил молоко с каплями, прописанными доктором, и в 1872 году угас. Судя по письмам Алексея Константиновича, который начинал их со слов: «Милый ты мой маленький, хороший мой!», он всегда относился к Андрейке как к родному сыну и очень горевал, когда того не стало.

Но все эти скорбные события, прогрессирующая болезнь не сломили духа Алексея Константиновича, не приглушили его живейшего интереса к событиям тогдашней общественной жизни, к литературным новостям, не прекратили лихорадочных бдений над бумагой, появления все новых сатир, превосходных баллад и лирических стихотворений. Он подбадривал Гончарова, не находившего себе места в новой действительности, где все казалось тому враждебным, во всем мерещился подвох, но слова, обращенные к тоскующему писателю, были отражением собственных ощущений.

Не прислушивайся к шуму
Толков, сплетен и хлопот,
Думай собственную думу
И иди себе вперед!

До других тебе нет дела,
Ветер пусть их носит лай!
Что в душе твоей созрело —
В ясный образ облекай!

Тучи черные нависли —
Пусть их виснут — черта с два!
Для своей живи лишь мысли,
Остальное трын-трава!

Все так же он обращается в своем творчестве к новгородскому и киевскому периодам нашей истории. Он восторгается древней архитектурой и «выстроил бы стеклянный колпак» над разрушающимся дворцом в Боголюбове. Его волнуют международные дела, угрозы Пруссии и Англии в адрес России. Если будет война, он не останется в стороне. «Я же пойду в саперы, чтобы не брить бороду, и уж тогда — Европа держись! Представляю себе ее испуг». За шутливым тоном непреклонная решимость.

Его любовь и тоска предельно обнажены в лирике. Он по-прежнему весь искренность. Самые сложные чувства воплощаются в стихах ясных, точных и настолько мелодичных, что они становятся песнями. В последние годы жизни он пишет стихотворения «Темнота и туман застилают мне путь...», «Вновь растворилась дверь на влажное крыльцо...», «На тяге», «Прозрачных облаков спокойное движенье...» А кто не вспомнит «пасторали», так пленившей Чайковского и Римского-Корсакова?

То было раннею весной,
    Трава едва всходила,
Ручьи текли, не парил зной,
    И зелень рощ сквозила...

Вызывает уважение стоицизм, с которым он переносит неприятности. Толстого отличало светлое мироощущение, дар неустанно любоваться людьми и природой. «О лес! о жизнь! о солнца свет!» Он часто печален, а печаль — чувство глубоко личное, лишенное какой бы то ни было мизантропии. Кого винить?

Про подвиг слышал я Кротонского бойца,
Как. юного взвалив на плечи он тельца,
Чтоб силу крепких мышц умножить постепенно,
Вкруг городской стены ходил, под ним
                                        согбенный,
И ежедневно труд свой повторял, пока
Телец тот не дорос до тучного быка.

В дни юности моей, с судьбой в отважном споре,
Я, как Милон, взвалил себе на плечи горе,
Не замечая сам, что бремя *тяжело*;
Но с каждым днем оно невидимо росло,
И голова моя под ним уж поседела,
Оно же все растет без меры и предела!

А сколько в балладах и былинах этих лет жизненной силы, лукавства, задиристости! «Поток-богатырь», «Порой веселой мая...», «Илья Муромец», «Сватовство», «Алеша Попович» с их культом молодечества, природы, с их верой в светлые начала. Романтика «Канута» и «Слепого»...

Он не изменил своим убеждениям, не отступился от них ни на йоту. Как-то Стасюлевич, подыгрывая ему, сказал о нигилизме — «дрянность, блохи, мазурики, нечистота», и Толстой ответил ему: «Позвольте мне в этом случае взять сторону нигилисма и защитить его от Вашего пренебрежения. Он вовсе не дрянность, он глубокая язва... Он вовсе не забит и не робок, он торжествует в значительной части молодого поколения; а неверные, часто несправедливые, иногда и возмутительные меры, которые принимала против него администрация, нисколько не уменьшают уродливости и вреда его учения».

Алексей Константинович выступал против репрессий. Он за полемику, за сатиру, за борьбу в равных условиях. Смех убивает нелепость лучше запретительных мер. А он, Толстой, оказывается «между двух огней, обвиняемый Львовым и Тимашевым в идеях революционных, а газетными холуями — в идеях ретроградных. Две крайности сходятся...». И ведь верно — он выставлял со смешной стороны раболепство перед царем, писал сатиры на пьянство, на спесь, на взяточничество, «и никому не приходило в голову этим возмущаться». Другое дело — нигилизм.

«Нигилисм будет отрицать все на свете, но его самого никто не смей отрицать! Гвалт! Это еще одна смешная его сторона, которую следовало бы выставить. Доктор Боткин, с которым я иногда спорил в Карлсбаде о нигилисме, приводит в его защиту, что из его среды вышли дельные люди и даже дельные женщины. Слава богу! Хорошо сделали, что вышли, а не остались».

Иногда хочется плюнуть на все и кричать лишь: «Да здравствует человечность и поэзия!» Особенно ранним утром в Красном Роге, когда петухи поют, будто они обязаны по контракту с неустойкой. Повар Денис и ку-

харка Авдотья затопили на кухне, чтобы печь хлеб. В деревне зажглись огоньки... Так бы вот и прожить жизнь, но надо везти жену в Венецию или Пустыньку. «Ей хочется узнать, существует ли Наполеон III или нет?.. Какое мне до этого дело? Я знаю, что есть Денис и есть Авдотья, и мне этого достаточно... Черт побери и Наполеона III, и даже Наполеона I! Если Париж стоит обедни, то Красный Рог с его лесами и медведями стоит всех Наполеонов, как бы их ни пронумеровали».

И все-таки приходилось ездить за границу на лечение. Елизавета Матвеева, двоюродная сестра Алексея Константиновича, навестила Толстых, живших зимой 1873/74 года в Ментоне вместе с семьей Алексея Жемчужникова. Она вспоминала, что лицо Алексея Константиновича было постоянно багровым, пронизанным толстыми синими жилами. На него было мучительно смотреть. Но как только боль немного утихала, он снова шутил и всех смешил.

Толстые жили в старинном доме среди запущенного сада. Дом «покоем» выходил к морю и был выкрашен розовой краской и размалеван голубями, головками девушек. Толстому нравилось это жилище, до которого в шторм долетали с моря брызги, стекавшие по стеклам.

Матвеева ревниво подозревала Софью Андреевну в неискренности, в игре по отношению к Алексею Константиновичу и тут же с женской непоследовательностью отмечала, что «ее внимательный уход за Толстым... был очень трогательным». Однажды вечером все перебрались на плоскую крышу. Море успокоилось, искрилось в лунном свете. Толстой уверял, что чувствует себя хорошо, перекидывался с Алексеем Жемчужниковым шутками, забавными воспоминаниями, стихотворными экспромтами.

Вдруг он сказал:

— А что, как вы думаете, вот бы кто-нибудь нам с моря серенаду спел! Хорошо бы!

И вдруг послышался плеск весел. Поравнявшись с домом, гребцы подняли весла, послышались аккорды гитары, и красивый, сильный тенор запел по-русски:

Осень. Обсыпается весь наш бедный сад,
Листья пожелтелые по ветру летят...

Толстой встал, взволнованный. Это была его песня. А бархатный тенор все пел:

В очи тебе глядючи, молча слезы лью,
Не умею высказать, как тебя люблю.

«Я взглянула на Толстого, в его глазах блестели слезы», — вспоминала Матвеева. Лодка поплыла дальше.

На другое утро разговор коснулся происшествия предыдущего вечера. Софья Андреевна сочла это каким-то абсурдом. Толстого, видимо, покоробили ее слова, но он ничего не сказал.

Родные Толстого так и не примирились с его женитьбой на Софье Андреевне. Софья Алексеевна Львова вспоминала о покойной матери Толстого, своей сестре:

— Бедная, бедная Анна! Если б она знала!..

Дочь Софьи Алексеевны, Елизавета Матвеева, тоже предубежденно относилась к этому браку, запоминала размолвки между супругами. Ей даже показался странным девиз Софьи Андреевны: «Я ищу, но все подвергаю сомнению». Когда она это сказала, Толстой будто бы очень страдал.

Было это уже в Карлсбаде в 1874 году. На другой день во время прогулки по тенистой дорожке, после того как Толстой выпил свою воду, Матвеева спросила:

— Алеша, ты веришь в бога?

Он хотел было по обыкновению ответить шуткой, но передумал и конфузливо ответил:

— Слабо, Луиза!

— Как! Ты не веруешь! — воскликнула Матвеева.

— Я знаю, что бог есть, но...

— Алеша, ты на себя клевещешь, — перебила его сестра и разразилась длинной тирадой, отчитывая Толстого за то, что он завалил свою веру «всяким хламом».

Тут же она сделала вывод, что во всем виновата Софья Андреевна, которая, однако, была «хороший критик и чутко подмечала все, что касается изящества формы, но она мертвящим дыханием сомнения и неверия глушила порывы души мужа». Она-де и «крылья ему обрезала» в разгар работы над «Посадником». И в то же время она говорит о том, как внимательно слушала Софья Андреевна, когда Толстой читал ей свои произведения. Алексей Константинович боготворил Софью Андреевну и писал ей за два года до своей смерти из Рима: «Во мне все то же чувство, как двадцать лет назад, когда мы расставались — *совершенно то же*». 28 сентября 1875 года, ровно за три месяца до кончины, он напишет из Карлсбада: «А для меня жизнь состоит только в том, чтобы быть с тобой и любить тебя, остальное для меня —

смерть, пустота, Нирвана, но без спокойствия и отдыха».

На нивы желтые нисходит тишина;
В остывшем воздухе от меркнущих селений,
Дрожа, несется звон. Душа моя полна
Разлукою с тобой и горьких сожалений...

В тот год в Карлсбад из Лейпцига приехало какое-то немецкое ученое светило. Толстому захотелось его «огорошить», и он втянул в разговор жену. А разговор шел о древней истории, и уже через полчаса профессор был положен на лопатки. Он только в восторге всплескивал руками.

— В первый раз встречаю такую эрудицию в женщине!

Толстой наблюдал за схваткой с превеликим удовольствием.

Софья Андреевна говаривала, что не любит людей «нараспашку», ей нравилось «отгадывать» таких, про которых нельзя заранее сказать, что он сделает или скажет. Она любила сильные ощущения, то, что, по ее словам, «царапает нервы».

Лечение в Карлсбаде не приносило Толстому облегчения. Лето было жарким, в тесной долине с каждым днем становилось все более душно. И все же он пытался работать. Елизавета согласилась стать переписчицей его произведений и каждый день проводила несколько часов в его кабинете. Подготовку издания книги она начала с лирики, баллад и былин. Толстой предварительно просмотрел все, чтобы не попалось стихотворение, которое, по его мнению, было бы неприлично читать девушке.

Она писала за столом, а он лежал на полу, на матрасе за ее стулом, положив на голову мешочек со льдом. Адски болела голова, но, как только становилось легче, он вставал, садился рядом с сестрой, диктовал, иногда по памяти, часто останавливал запись, менял кое-что. Потом снова бывали такие приступы боли, что он не мог сдержать стона. И тогда он капризничал, ему казалось, что поля узки, что много описок. Переписывая «Алешу Поповича» в пятый раз, Матвеева не сдержала слез. Вошедшая Софья Андреевна тотчас заметила ее красные глаза и напустилась на Толстого:

— Что ты ей сделал? Отчего она плакала?

На другой день Алексей Константинович встретил свою Луизу, стоя на коленях, держа три томика Гоголя

на голове (она говорила, что у нее нет сочинений Гоголя).

«Добродетельнейшей Луизе от многогрешного Алексея», — написал он на титульном листе.

В Карлсбад пришел номер итальянского журнала, в котором была помещена статья де Губернатиса о Толстом. «В Италии, — писал критик, — поэт, ходивший на медведя, мог бы показываться за деньги». Он сравнивал Толстого с князем Серебряным и выражал сожаление, что «великий поэт» теперь тяжело болен. Статья кончалась так:

«Желаю, чтобы прежний охотник на медведей и тиранов мог поскорее оправиться и вернуться на поле сражения».

— Берегись, Софа, — сказал Толстой, смеясь, — я уже рукава засучил, сейчас поплюю в ладони и полезу драться.

Толстого (как и Тургенева, других русских) в Карлсбаде лечил доктор Зеген. Жена доктора считала себя писательницей. Она принимала Толстого восторженно, бросалась целовать ему руки, ахала без конца. Он не знал, куда деваться, и говорил потом:

— Она еще хуже Павловой.

Госпожа Зеген мучила его чтением своего романа, Толстому приходилось хвалить...

— А ведь трудно хвалить сахарную водицу, да еще с бантиком! Я не знал, что сказать, даже в пот ударило, — сказал он, вернувшись в гостиницу.

Однажды у Зегенов стали говорить о русских писателях, о том, что нет хороших переводчиков на немецкий и французский языки. Кто-то сказал, что переводить некоторые русские выражения на другой язык трудно — их просто нет. И тогда Толстой сказал, что Софья Андреевна прекрасно переводит с листа, без подготовки. Принесли томик Гоголя. Софья Андреевна долго отказывалась, а потом стала читать по-французски «Старосветских помещиков» быстро, не запинаясь. И все нашли, что ее перевод лучше и точнее уже изданных.

Луиза уехала. Из Карлсбада пришло письмо:

«...Сюда приехал твой приятель Тургенев. Седовласее, чем когда-либо! Жалуется, как всегда, что сосет под ложечкой, и брюзжит. А жалко все-таки, что отвыкает он от родной почвы, ничего из него больше не будет!»

А Тургенев писал Матвеевой о Толстом:

«Он, бедный, кажется, очень болен, и доктор Зеген

отзывался о нем неутешительно... Вижу я Алексея Константиновича, разумеется, почти ежедневно и даже вместе пустился в благотворительность. Он славный человек, и я жалею, что к нему относятся несправедливо...»

Речь шла о чтении в пользу погорельцев из Моршанска. Вспоминал он и о хлопотах Толстого, когда Тургенева арестовали в 1852 году.

Произведения Толстого уже пользовались европейской известностью, его засыпали предложениями о переводах, на немецкий язык его сочинения успешно переводила Каролина Павлова. Но жить с непрерывной головной болью было тяжело, он ходил медленно, осторожно. И несмотря на это, Толстой продолжал много работать, принимая всевозможные средства для успокоения болей.

Николай Жемчужников, приехавший в Красный Рог в августе 1875 года, вспоминал изнуренный вид двоюродного брата, который, однако, бодрился и говорил:

— А я себя чувствую несравненно лучше, совсем поздоровел, и все благодаря морфину. Спасибо тому, кто посоветовал мне морфин.

После изобретения англичанином Вудом подкожного впрыскивания морфий стали усиленно применять в терапии и особенно после Крымской и франко-прусской войн. Но уже вскоре врачи осознали страшные последствия употребления этого наркотика. Едва ли не в тот год, когда Толстому впрыснули его впервые, стали говорить о необходимости дезинтоксикации больных и появился термин «морфиномания».

Да, морфий давал ощущение «хорошего самочувствия», но за временным облегчением наступали еще более жестокие мучения, дозы наркотика все увеличивались...

Маркевич нарисовал характерную картину отравления морфием. 24 сентября 1875 года он писал А. Н. Аксакову из Красного Рога:

«Но если бы Вы видели, в каком состоянии мой бедный Толстой, Вы бы поняли то чувство, которое удерживает меня здесь... Человек живет только с помощью морфия, и морфий в то же время подтачивает ему жизнь — вот тот заколдованный круг, из которого он уже больше выйти не может. Я присутствовал при отравлении его морфием, от которого его едва спасли, и теперь опять на-

чинается это отравление, потому что иначе он был бы задушен астмой».

Толстому лучше дышалось в сосновом лесу, куда его вывозили каждый день. В комнатах стояли кадки с водой, и в них свежесрубленные молодые сосенки.

Как-то показав на дверь на балкон, которая была заперта, Толстой сказал: «Я думаю, вам придется отпереть эту дверь, коридор слишком узок».

Он все увеличивал дозы морфия, чтобы облегчить страдания, и 28 сентября в половине девятого вечера Софья Андреевна, войдя к нему в кабинет, нашла его лежащим в кресле. Она думала, что муж заснул, но все попытки разбудить Толстого оказались тщетными.

Алексей Константинович хотел, чтобы его похоронили в дубовом гробу. Но когда привезли заказанный в Брянске гроб, оказалось, что он мал для его богатырского тела. Наскоро сколотили сосновый, и красногорские мужики понесли его хоронить на сельское кладбище, что приютилось возле Успенской церкви, которая и поныне стоит у оживленного шоссе, ведущего в Брянск.

Впоследствии прибыл заказанный Софьей Андреевной в Париже металлический саркофаг, в который и поместили сосновый гроб. Саркофаг стоял в склепе у церкви, а когда умерла гостившая в Португалии у племянницы Софья Андреевна, ее тело привезли и положили рядом.

Узнав о скорбном событии, Иван Сергеевич Тургенев прислал из Буживаля (Франция) письмо, помещенное в ноябрьском номере «Вестника Европы». В нем Тургенев перечислял заслуги Алексея Толстого: «Он оставил в наследство своим соотечественникам прекрасные образцы драм, романов, лирических стихотворений, которые — в течение долгих лет — стыдно будет не знать всякому образованному русскому...»

«Всем знавшим его, — продолжал Тургенев, — хорошо известно, какая это была душа, честная, правдивая, доступная всяким добрым чувствам, готовая на жертвы, преданная до нежности, неизменно верная и прямая. «Рыцарская натура» — это выражение почти неизбежно приходило всем на уста при одной мысли о Толстом... Натура гуманная, глубоко гуманная!»

Алексей Константинович Толстой остался явлением уникальным в нашей литературе. Любое подражание ему отдавало фальшью, хотя многих привлекала кажущаяся простота его манеры. Так, Горький советовал одному молодому писателю: «Не попробовать ли вам себя в балла-

дах? Вроде тех, что Алексей Толстой писал? Почитайте-ка его!» Увлекались Толстым и такие непохожие на него поэты, как Блок, Брюсов и Маяковский, который знал его стихотворения «наизусть, от доски до доски». Толстого любят и читают в наше время, потому что произведения его исполнены глубокого смысла, отвечающего и нашим мыслям и чувствам. И еще потому, что он, не переносивший скуки в литературе, писал всегда интересно. Его баллады остаются непревзойденными. Его трагедии всякий раз, когда их ставят, оказываются событием в театральной жизни. Его лирические стихотворения никогда не переставали звучать со сцены в исполнении лучших певцов и декламаторов. П. И. Чайковский писал: «Толстой — неисчерпаемый источник текстов под музыку; это один из самых симпатичных мне поэтов». И так думал не он один. Около ста пятидесяти его произведений положено на музыку. И вот внушительный список композиторов, увлекавшихся творчеством Толстого: Ф. Лист, Н. А. Римский-Корсаков, А. Г. Рубинштейн, А. К. Лядов, А. С. Аренский, М. П. Мусоргский, Ц. А. Кюи, М. А. Балакирев, А. Т. Гречанинов, С. В. Рахманинов, В. И. Ребиков, Н. М. Стрельников, Б. В. Асафьев, М. М. Ипполитов-Иванов, В. С. Калинников, Н. Н. Черепнин, Р. М. Глиэр, С. М. Ляпунов, А. М. Пащенко...

Известен интерес В. И. Ленина к творчеству А. К. Толстого. Томики с произведениями поэта были в его личной библиотеке, и в своих статьях Ленин часто цитировал точные и образные стихи и выражения Толстого, зная их популярность. А вот что вспоминал Бонч-Бруевич об отношении Ленина к Козьме Пруткову:

«В. И. Ленин очень любил произведения Пруткова как меткие выражения и суждения и очень часто, между прочим, повторял известные его слова, что «нельзя объять необъятного», применяя их тогда, когда к нему приходили со всевозможными проектами особо огромных построек и пр. Книжку Пруткова он нередко брал в руки, прочитывал ту или другую его страницу, и она нередко лежала у него на столе».

Многогранный талант Алексея Константиновича Толстого, обаяние его личности, благородство души принесли ему бессмертие.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А. К. ТОЛСТОГО

1817, 24 августа * — В Петербурге у советника Государственного ассигнационного банка графа Константина Петровича Толстого и его супруги Анны Алексеевны, урожденной Перовской, родился сын Алексей. *Октябрь* — Отъезд А. А. Толстой с сыном из Петербурга.

1826, август — Алексей Толстой «выбран товарищем для игр» наследника престола, будущего царя Александра II. *Осень* — А. С. Пушкин часто навещает в Москве А. А. Перовского, дядю и воспитателя Алексея Толстого, который становится свидетелем их разговоров.

1827, лето — Поездка с матерью и А. А. Перовским в Германию; встреча с Гёте.

1829—1830 — Толстой живет в Петербурге у В. А. и А. А. Перовских и часто видит там Пушкина, Жуковского, Крылова, Вяземского, Погодина и др. А. С. Пушкин читает «Бориса Годунова» у А. А. Перовского.

1831 — Поездка с матерью и А. А. Перовским в Италию. Знакомство с К. П. Брюлловым.

1834, 9 марта — Зачислен «студентом» в Московский архив министерства иностранных дел.

1835, декабрь — Сдает экзамены в Московском университете «из предметов, составляющих курс словесного факультета, для получения ученого аттестата на право чиновников первого разряда».

1836, начало — К. П. Брюллов пишет портрет Толстого. *9 июля* — В Варшаве на руках у Толстого умирает А. А. Перовский.

1837, 13 января — Назначен «к миссии нашей в Франкфурте-на-Майне, сверх штата».

1838—1839 — Пребывание в Германии, Италии, Франции. Работа над рассказами «Семья вурдалака», «Встреча через триста лет», повестью «Упырь». Встречи за границей с Н. В. Гоголем.

1840, 9 марта — Произведен в коллежские секретари. *Декабрь* — Перемещен «младшим чиновником во второе отделение Собственной Его Имп. Вел. Канцелярии».

1841, 9 апреля — Читает «Упыря» у В. А. Соллогуба. *Лето* — Поездка в Оренбург.

1842 — В «Журнале коннозаводства и охоты» № 5 помещен очерк «Два дня в киргизской степи».

1843, 27 мая — Пожалован званием камер-юнкера. *Осень* — В «Листке для светских людей» № 40 опубликовано стихотворение «Серебрянка» («Бор сосновый в стране одинокой стоит...»).

1845 — В литературном сборнике В. А. Соллогуба «Вчера и сегодня» помещен рассказ «Артемий Семенович Бервенковский».

1846 — Во второй книге того же сборника появляется «Амена» — отрывок из несохранившегося романа «Стебеловский».

1847—1849 — Работает над балладами «Курган», «Князь Ростислав», «Василий Шибанов», «Богатырь», задумывает роман

---

* Даты приводятся по старому стилю.

«Князь Серебряный» и набрасывает первые главы. Возникновение «прутковского кружка».

1850, 28 апреля — Командирован в Калугу. *Лето* — Встречается с Н. В. Гоголем у А. И. Россет-Смирновой и читает ему баллады и отрывки из «Князя Серебряного». Навещает Козельск и Оптину пустынь. *Осень* — Возвращается в Петербург и работает с А. М. Жемчужниковым над комедией «Фантазия».

1851, 8 января — Скандальная премьера «Фантазии» в Александринском театре. *Январь* — Встреча с Софьей Андреевной Миллер.

1852, весна — Арест Тургенева и хлопоты Толстого о его освобождении.

1854 — Публикация в «Современнике» стихотворений Толстого и «Досугов» Козьмы Пруткова. *Лето* — формирует отряд для борьбы с англо-французскими десантами.

1855, 25 марта — Зачислен в стрелковый полк, назначен ротным командиром и произведен в майоры. *Май — июнь* — Проходит военную подготовку в селе Медведь. *Декабрь* — Присоединяется к полку под Одессой.

1856, февраль — Заболевает тифом. *Март* — В Одессу приезжает С. А. Миллер. *Лето* — Поездка с С. А. Миллер и В. М. Жемчужниковым в Крым. *Август* — Коронация Александра II и назначение Толстого флигель-адъютантом. *Осень* — Сближается со славянофилами. Публикует «Крымские очерки» в журнале «Современник». Назначается делопроизводителем «Секретного комитета о раскольниках». *Декабрь* — Встречается с Л. Н. Толстым.

1857, 2 июня — Скончалась мать поэта А. А. Толстая.

1858 — В первом номере «Русской беседы» публикуется поэма «Иоанн Дамаскин». *Осень* — Поездка в Крым.

1859 — Живет и работает в Погорельцах. *5 марта* — Уволен со службы «в бессрочный отпуск», работает над поэмой «Дон-Жуан».

1860 — Поездка с С. А. Миллер во Францию. *Август* — Встреча в Англии с Герценом, Огаревым, Тургеневым, Анненковым, Боткиным и основание «Общества для распространения грамотности и всеобщего обучения».

1861 — Возвращается в Красный Рог и пытается стать «хорошим сельским хозяином». *Июль* — Едет в Петербург. *28 сентября* — Указ об увольнении со службы.

1862 — Работает над «Смертью Иоанна Грозного». В № 4 журнала «Русский вестник» публикуется драматическая поэма «Дон-Жуан», а в № 8, 9, 10 — роман «Князь Серебряный». *Осень* — Отъезд в Германию.

1863, 3 апреля — Венчается с Софьей Андреевной в православной церкви в Дрездене. *Декабрь* — Поездка в Рим, встречи с Листом, завершение работы над «Смертью Иоанна Грозного».

1864, лето — Проводит в Германии и читает трагедию Каролине Павловой и Гончарову.

1866 — Трагедия печатается в первом номере «Отечественных записок».

1867, 12 января — Премьера трагедии в Александринском театре. Публикация первого сборника стихотворений А. К. Толстого.

1868, 30 января — Состоялась премьера «Смерти Иоанна Грозного» в Веймаре в присутствии автора. В «Вестнике Европы» № 5 печатается трагедия «Царь Федор Иоаннович». *14 марта* — Произносит речь на обеде в Одессе.

1869, октябрь — Заканчивает в Красном Роге трагедию «Царь Борис».

1870, весна — Трагедия публикуется в «Вестнике Европы» и отдельным изданием. *Июль* — Возникает замысел «Посадника».

1871—1874 — Публикует баллады «Гакон Слепой», «Боривой», «Ругевит», «Ушкуйник», «Поток-богатырь», «Илья Муромец», «Порой веселой мая...», «Алеша Попович», «Садко», многие стихотворения, переводы.

1875, 28 сентября — А. К. Толстой скончался. Похоронен в склепе у Успенской церкви в Красном Роге.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

I. Произведения А. К. Толстого

Стихотворения графа А. К. Толстого. Спб., 1867.

Полное собрание сочинений гр. А. К. Толстого, т. I—IV, издание А. Ф. Маркса (под редакцией П. В. Быкова и со вступительной статьей С. А. Венгерова). Спб., 1907—1908.

Собрание сочинений А. К. Толстого, т. I—IV, «Художественная литература» (со вступительной статьей И. Г. Ямпольского). М., 1963—1964.

Собрание сочинений А. К. Толстого, т. I—IV. Б-ка «Огонек». М., 1969, 1980.

II. Литература об А. К. Толстом

Белинский В. Г. Упырь. Сочинение Красногорского (А. К. Толстого). Спб., 1841. — «Отеч. записки», 1841, т. XVIII, № 10, отд. VI, с. 42; также в Полном собрании сочинений Белинского, т. V. М., АН СССР, с. 473—474.

Тургенев И. С. Письмо к редактору по поводу смерти графа А. К. Толстого. Собр. соч., т. XI. М., 1956, с. 258—260.

Фет А. А. Мои воспоминания. В 2-х ч. М., 1890.

Страхов Н. Н. Критические заметки. — В кн.: Заметки о Пушкине и других поэтах. Изд. 2-е, Киев, 1897, с. 212—221.

Котляревский Н. Старинные портреты. Спб., 1907, с. 275—416.

Жемчужников Л. М. Мои воспоминания из прошлого. Л., 1971.

Мещерский В. П. Граф А. К. Толстой. — «Гражданин», 1875, № 40, 5 октября, с. 911—914.

Меньшиков М. О. Поэт русского Возрождения. (По поводу писем графа А. К. Толстого.) — Книжки «Недели», 1895, № 11, с. 194—228. также в кн.: Меньшиков. Критические очерки. Пб., 1899, с. 294—329.

Денисюк Н. Гр. Алексей Константинович Толстой. М., 1907.

Денисюк Н. (составитель). Критическая литература о произведениях гр. А. К. Толстого. В 2-х выпусках. М., 1907.

Покровский В. (составитель). Алексей Константинович Толстой. Его жизнь и сочинения. Сборник историко-литературных статей. Изд. 2-е. М., 1908.

Кондратьев А. А. Граф А. К. Толстой. Материалы для истории жизни и творчества. Спб., 1912.

A. Lirondelle. Le poète Alexis Tolstoï. L'homme et L'oeuvre, Paris, 1912.

Берков П. Н. Козьма Прутков — директор Пробирной палатки и поэт. К истории русской пародии. Л.—М., АН СССР, 1933.

Ямпольский И. Г. А. К. Толстой-драматург. — В сб.: Классики русской драмы. Л.—М., 1940, с. 229—249.

Ростоцкий Б., Чушкин Н. «Царь Федор Иоаннович» на сцене МХАТ. М.—Л., 1940.

Стафеев Г. И. Сердце полно вдохновенья. Жизнь и творчество А. К. Толстого. Тула, 1973.

Сквозников В. Козьма Прутков. — В кн.: Сочинения Козьмы Пруткова. М., 1974.

Жуков Д. А. Козьма Прутков и его друзья. М., 1976.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Жуков Д. А.
Ж 86 Алексей Константинович Толстой. — М.: Мол. гвардия, 1892. — 383 с., ил. — (Жизнь замечат. людей. Сер. биогр. Вып. 14 (631).
В пер.: 1 р. 70 к., 100 000 экз.

Книга рассказывает о жизни и творчестве замечательного русского поэта, драматурга и сатирика Алексея Константиновича Толстого — создателя популярного исторического романа «Князь Серебряный», одного из авторов знаменитого Козьмы Пруткова. А. К. Толстой представлен в живом общении со своими известными современниками, в ярких проявлениях общественной деятельности и личной жизни.

Ж $\frac{4702010200-308}{078(02)-82}$ Без объявл.

ББК 83.3Р1
8Р1

ИВ № 3226

Дмитрий Анатольевич Жуков

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ

Редактор **Ю. Лощиц**
Серийная обложка **Ю. Арндта**
Художник **Н. Козлов**
Художественный редактор **А. Степанова**
Технический редактор **Т. Кулагина**
Корректоры **Г. Трибунская, Т. Пескова**

Сдано в набор 22.04.82. Подписано в печать 13.12.82. А13355. «Обыкновенная новая». Печать высокая. Условн. печ. л. 20,16+ +1,78 с вкл. Учетно-изд. л. 23,2. Тираж 100 000 экз. (1-й завод 50 000 экз.). Цена 1 р. 70 к. Заказ 2083.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.